

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

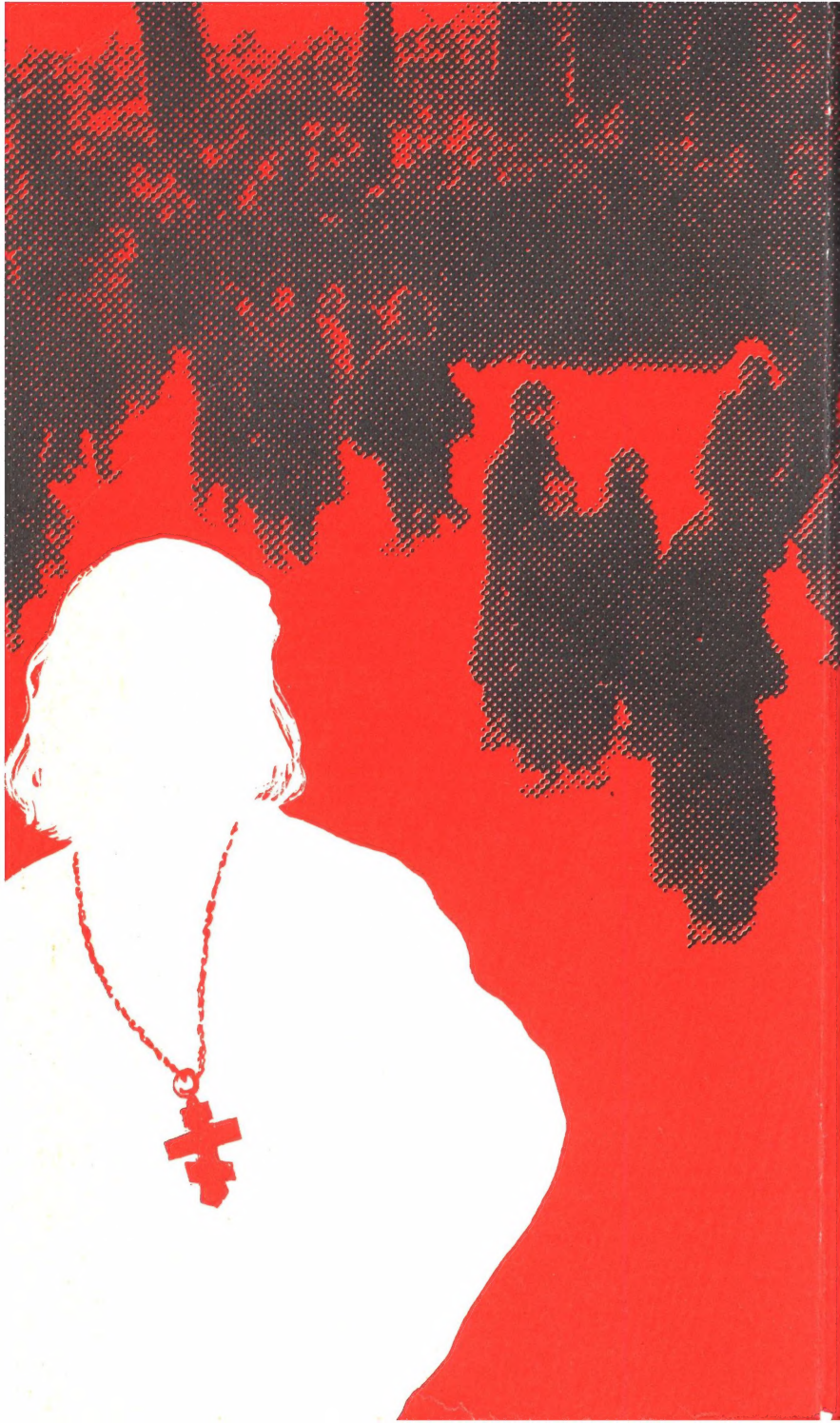
ПЕТЕРБУРГ · ПЕТРОГРАД ·
ЛЕНИНГРАД

Вл. Кавторин

ПЕРВЫЙ ШАГ К КАТАСТРОФЕ

9 января
1905 года





Вл. Кавторин

ПЕРВЫЙ ШАГ К КАТАСТРОФЕ

ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

ПЕТЕРБУРГ • ПЕТРОГРАД • ЛЕНИНГРАД

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ.

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ.

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКИЙ

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, БЕЛЫЙ КНЯЗЬ СЛАВЯНСКИЙ.

и явоча, и проч...

Суты и волнения въ столицахъ и во многихъ мѣстностяхъ Имперіи Насъ глубоко и тяжелою скорбью преспока-няютъ сердца Наше Вѣлаго Россійскаго Государя императора, и жалость и печаль народина Его зечаль отъ волненій, имѣвшихъ начало въ дѣлѣ губокомъ возмущеніи народна въ провинціи и единству Державы Нашей

Великий обсяг Шарпінґа, який повільно, але наполегливо і цілеспрямовано здійснюється, і який намагається як скоротити, так і збільшити. Існуючі в Україні тенденції, які повільно, але наполегливо здійснюються, і які намагаються як скоротити, так і збільшити. Існуючі в Україні тенденції, які повільно, але наполегливо здійснюються, і які намагаються як скоротити, так і збільшити.

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение поручения, данной воим:

1. Даровать наследникам основные принципы свободы и равенства личности, свободой совести, слова, собраний и

[illegible]

и 3. Установить, что не есть воспрять силу без одобрения Государственной Думы в этом законодательном деле.

Привыкнув к ней, Россия вспомнила о том, что в ее недрах скрывается Радимов, помочь прекращению сего неслыханного и жуткого издевательства над жизнью и смертью.

Данъ въ Петергофѣ, октябрь 1825 года. Христова тысяча двадцать патов, Царствованіа

На военномъ Соборѣ въ И...

„НИКОЛАЙ“.

Из сему делу Службы Его Величества Генерал-Майор Трегубов рину приговорило

9 января
1905 года

Вл. Кавторин

ПЕРВЫЙ ШАГ К КАТАСТРОФЕ

Свободное размышление
строго по документам

63.3(0)53

K12

Редактор *Е. Б. Никанорова*

Художник *А. А. Власов*

К $\frac{0503020300-154}{M171(03)-92}$ 25-92

ISBN 5-289-00725-3

© В. В. Кавторин, 1992

© А. А. Власов, оформление, 1992

Россия — самая безгосударственная,
самая анархическая страна в мире.
И русский народ самый аполитический народ,
никогда не умевший устраивать свою землю...
Анархизм — явление русского духа,
он по-разному присущ и нашим крайне левым,
и нашим крайне правым.

Россия — самая государственная
и самая бюрократическая страна в мире,
все в России превращается
в орудие политики...
И нужно сказать,
что всякой самодеятельности и активности
русского человека ставились неодолимые препятствия.
Огромная, превратившаяся
в самодовлеющую силу русская государственность
боялась самодеятельности
и активности русского человека,
она слагала с русского человека
бремя ответственности за судьбу России
и возлагала на него службу,
требовала от него смирения...

Николай БЕРДЯЕВ

О ЧЕМ, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ

Беря в руки незнакомую книгу и прикидывая, стоит ли ее читать, я обычно эти три вопроса себе и задаю: о чем она? Зачем (с каким внутренним заданием) написана? И, главное, почему — то есть что за надоба, за интерес двигали ее автором?

Ну а собственному читателю эти гадания могу, естественно, облегчить, сразу же и вполне откровенно на все три вопроса ответив.

О чем — ясно уже из заглавия. О начале самой первой из русских революций, о ее первособытии, о первотолчке величайшей драмы XX века, масштабнейшего из социальных экспериментов, выпавших на долю всего человечества.

Зачем — объяснить тоже несложно. Вопросы об исторических судьбах нашего народа, о смысле и значении русской революции имеют сегодня интерес далеко не только академический. Они стали вопросами нашей живой жизни, выбора завтрашнего, даже сегодняшнего нашего шага. А можно ли судить о смысле драмы, не разобравшись в ее завязке, не поняв механизма первого действия? Впрочем, многие судят, и даже с большим апломбом!.. В чем, по-моему, и беда.

Сложнее всего ответить на вопрос третий — **почему** написана эта книга, какой такой личный интерес двигал ее автором? Тем более что автор не историк, не философ, а литератор. Область, где он чувствует себя дома, — вовсе не архивные документы, а вымышленные, свободно слагаемые сюжеты и судьбы. И менять свою профессию он отнюдь не собирается. Но...

Пора сознаться, что чуть ли не с отроческих лет донимало его «одно сомнение». Какие бы ни читал он описания событий 9 января 1905 года — ни одному почему-то не смог до конца поверить. И если уж совсем откровенно, то эта упорная недоверчивость и для него составляла загадку.

Ну, скажем, открыв солидный труд академика А. Н. Панкратовой «Первая русская революция 1905—1907 гг.» и прочтя там: «революционным **организациям рабочего класса, руководимым большевиками**, царская охранка пыталась противопоставить полицейскую организацию политически отсталых рабочих. Одним из **агентов начальника охранного отделения Зубатова**, сотрудником охранки был священник петербургской пересыльной тюрьмы **Георгий Гапон**... Охранка снабжала Гапона **ежемесячными субсидиями**, оплачивала квартиры гапоновского общества и т. п... Гапон **оказался вынужденным разрешить рабочим-гапоновцам участвовать в забастовках, происходивших на отдельных предприятиях Петербурга** в конце 1904 года... Когда необычайное возбуждение охватило рабочих Пе-

тербурга, Гапон предложил им устроить шествие к царю для вручения петиции с требованиями рабочих. Эта идея была подхвачена малосознательными рабочими, несмотря на то что большевики с самого начала разоблачили полицейскую провокацию. **Полиция и охранка одобрили план Гапона, замышляя кровавую расправу над рабочими**, — прочтя это ныне, я имею все основания не верить, поскольку прекрасно знаю, что все мною подчеркнутое явно противоречит хорошо известным документам.

Более того: к 1951 году, когда вышел труд А. Н. Панкратовой, большинство этих документов давно уже было опубликовано, не зная их историк не мог, и потому почтеннейший академик здесь, грубо говоря, слегка подвирает.

Но это я знаю теперь. А когда впервые прочел нечто подобное в школьном учебнике, то ни о каких документах еще знать не мог, правда? И все-таки почему-то этой версии не поверил, не смог в себе нечто для этого перебороть. Душа не приняла!

А какие, собственно, она имела на то основания — тогдашняя моя комсомольско-восторженная душа? Никаких. Все это просто как-то «не укладывалось», не отвечало логике здравого смысла. Если уж задумала полиция «кровавую расправу», то почему именно над «малосознательными» и робкими гапоновцами? Над теми, кто по темноте своей так верил в царя, что даже большевистскими разоблачениями пренебрег?.. А с другой стороны — вдруг бы они этим разоблачениям поверили? А? И не пошли за Гапоном? Что ж, так бы и не началась у нас революция?.. Или началась бы, но не так скоро? Но выходит тогда, что своими разоблачениями большевики революцию тормозили, а какой-то полицейский поп подталкивал?

В общем, хорошо, что я тогда увлекался еще и футболом, а то чистый мой комсомольский ум от такой истории и вовсе мог бы за разум заехать...

Впрочем, в возрасте уже куда более зрелом, когда знаний маленько прибавилось, а комсомольской восторженности у меня столь сильно поубавилось, что стал я собственным умишком доходить до той простой истины, что революция вовсе не радостный праздник свободы, а кровавая тяжкая драма, трагический слом народной судьбы, — когда это произошло, мой скепсис по отношению к подобным описаниям и истолкованиям событий 9 января только усилился. Даже те из них, где ни единой фактической ошибки я не находил, вызывали во мне целую бурю сомнений.

Ну вот, например:

«Одной из первых подверглась нападению многотысячная колонна рабочих Нарвского района. Во главе ее шел Гапон и группа стариков-путиловцев с непокрытыми головами. В руках они несли иконы, хоругви. Перед колонной, тоже с непокрытыми головами, шли полицейские: помощник пристава и околоточный...

Но около Нарвских ворот на колонну во весь опор помчался отряд кавалеристов. Рабочие расступились, пропустив его. А затем сомкнули свои ряды и пошли дальше. И вдруг совершенно неожиданно пение псалмов и молитв было прервано треском солдатских залпов. «Что вы делаете? — закричал помощник пристава полковнику, командовавшему солдатами. — Как можно стрелять в крестный ход и портрет царя?» Но полковник хорошо знал, как можно стрелять... Даже помощник пристава получил две пули в грудь, а околоточный свалился замертво с пробитой головой. Может быть, этот незначительный эпизод ярче всего демонстрирует провокационный характер кровавого воскресенья: одни царевы слуги организовали шествие и возглавили его, а другие в упор стреляли по хорошо „организованным“ целям» (К. Шацилло).

Описано вроде бы в полном соответствии с сохранившимися документами и мемуарами, но...

Но почему, собственно, этот эпизод «демонстрирует провокационный характер кровавого воскресенья»? Провокаторы, конечно, могли бы организовать и «вывести под пули» живую цель, но стать во главе ее и получить эти пули в собственную грудь — не слишком ли героической получается провокация?.. Не логичней ли предположить, что ни помощник пристава Жолткевич, ни околоточный Шорников просто не знали о приказе, данном войскам, как, впрочем, одно царское ведомство и вообще частенько не знало, что замышляет и готовит другое?

Что же до царского портрета и церковных хоругвей, то их появление во главе колонны — совершенно очевидно! — было не провокацией, а попыткой защитить демонстрацию, зримо подчеркнув ее лояльный по отношению к высшим идеалам государства характер.

Вера в такую защиту несколько, конечно, наивна. Но ведь она не случайно благополучно дожила почти что до наших дней, и, скажем, в июле 1962 года портреты В. И. Ленина так же плохо защитили от кровавой расправы новочеркасских рабочих, как и царские портреты в январе 1905-го — петербургских. Ну, а затем — новочеркасских рабочих тоже ведь убеждали (и они почти что позволили себя убедить), что их за-

бастовка и демонстрация были «делом рук провокаторов».

В Новочеркасске, однако, ясна хотя бы цель подобной интерпретации событий. А вот какой смысл даже восемь десятилетий спустя по-прежнему убеждать нас в «провокационном характере» 9 января 1905 года?.. Может, историки чего-то просто не знают? Может, другая, более убедительная версия данных событий не выстраивается у них из-за скудости документов, из-за их недоступности?..

Когда-то, признаться, так я и полагал. Но чем больше интересовался 9 января, чем ближе все, связанное с ним, изучал, тем явственней убеждался, что тут историками многое уже сделано. Найдены и опубликованы горы документов, тщательно изучены отдельные эпизоды, но... Как только дело доходит до общей концепции, до глобальной трактовки смысла и хода события — словно зажимает кто-то умные уста историков и начинает за них торопливо проборматывать старые идеологические формулы. Да откуда же, кстати, они, эти формулы? Когда родились? Почему укрепились и смогли так долго прожить, почти не меняясь?

Грандиозное, внезапное для большинства наблюдателей и до основания потрясшее страну событие не могло не породить у общества множество недоуменных вопросов. И вполне естественно, что авторами первых ответов стали не историки, а политики. Вот, например, что писал по горячим следам, еще в 1908 году, Л. Троцкий:

«Итак, сперва экономическая стачка по случайному поводу... Радикалы... недовольны чисто экономическим характером стачки и толкают ее вождя, Гапона, вперед. Он вступает на путь политики и находит в рабочих такую бездну недовольства, озлобления и революционной энергии, в которой совершенно утопают маленькие планы его либеральных вдохновителей. Выдвигается социал-демократия. Враждебно встреченная, она вскоре приспособляется к аудитории и овладевает ею. Ее лозунги подхватываются массой и закрепляются в петиции.

Правительство исчезает. Где причина этого? Коварная провокация? Или жалкая растерянность? И то, и другое. Бюрократы в стиле князя Святополк-Мирского тупоумно растерялись. Шайка Трепова, торопившаяся положить конец «весне» и потому сознательно шедшая навстречу бойне, дала событиям развернуться до их логического конца».

Узнаете? Да, схема уже готова. Остается обеспечить ее «научное обоснование». Но, думаю, нет повода винить Троцкого. Он политик. Его задача — дать событиям такую трактов-

ку, которая служила бы в будущем социал-демократической пропаганде. Вот он и доказывает: прогрессивные лозунги — заслуга эсдеков; пролившаяся кровь — вина Гапона и Трепова. Дальнейшее — понятно: победа тех, на кого эта концепция работала, закрепила ее в качестве некой априорной исторической истины.

Но спрашивается: истории-то какое дело до дележа чьих-то заслуг и вин? Ее забота — одна только правда, кому бы она ни служила, чьи бы заслуги ни высветила. Политики могут объявлять благом все, что способствовало задуманной ими революции, и зачислять в негодяи и дураки всех, кто пытался так или иначе ей помешать, — это их дело! История же знает — обязана знать! — что в принципе одни и те же социально-политические цели достижимы как революционным, так и эволюционным путем, что исторический процесс в каждой своей точке принципиально альтернативен и что случившееся не обязательно означает самое разумное или неизбежное...

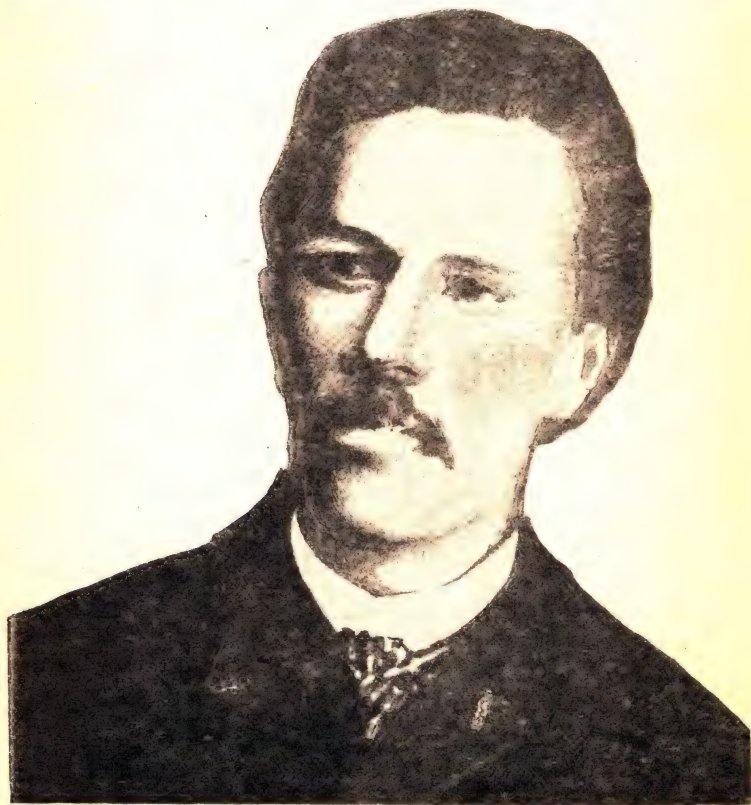
Вот тут-то, если хотите, и ответ на наш третий вопрос: почему написана эта книга? Да потому, что автору ее показалось необыкновенно интересным и увлекательным, имея в руках документы, предаться свободным размышлениям о сути и смысле событий, ставших началом первой русской революции. Повторяю: размышлениям вполне свободным, но с документами в руках. То есть так, чтобы только документы свободу этих размышлений и ограничивали.

И особенно интересным это показалось автору именно сейчас, когда столь многое в жизни общества явственно аукается с кануном первой революции. Вот послушайте, например:

«Проведение нужных реформ у нас отлагается и отлагается бюрократией: завтра, завтра, не сегодня... Каждый старается отдалить решение этой задачи, передать в виде наследства своим преемникам, а горючий материал все накапливается и накапливается, а за это промедление, пожалуй, придется заплатить тяжелой ценой в будущем — экономическим разорением и т. д. Между тем развитие образования, дарование права единения, свободная пресса обезвредили бы этот горючий материал; правда, на первое время, быть может, будут эксцессы, но на это надо идти, это прорезывание зубов...»

Кто поверит, что то написано профессором И. Х. Озеровым в 1906 году, а не кем-то из наших публицистов в 1986-м или даже в 1989-м? Так что степень свободы наших размышлений о начале, о первотолчке революции не безразлична и дню сегодняшнему.

ЗУБАТОВЩИНА



Глава первая

С. В. Зубатов: личность, судьба, идея

С кем, с кем, а с Сергеем Васильевичем Зубатовым у нас полная ясность. Степень единодушия даваемых ему историками характеристик такова, что, если сложить одну из кусочков многих, швы не заметит никто.

Итак, «Зубатов С. В. (1864—1917) — жандармский полковник, вдохновитель и организатор «полицейского социализма» («зубатовщины»). С середины 80-х гг. платный агент московской охраны, в 1889—1896 гг. помощник, а в 1896—1902 гг. начальник московского охранного отделения, где широко организовал систему политического сыска, создал т. н. «летучий филерский отряд» для борьбы с революционными организациями. В 1901—1903 гг. организовал полицейские рабочие союзы — «Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве в Москве», «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» и др. с целью отвлечения рабочих от революционной борьбы. В октябре 1902 г. назначен начальником особого отдела департамента полиции. После краха своей провокаторской политики был уволен со службы и отошел от политической деятельности. Вскоре после отставки сослан во Владимир. В конце 1904 г. ссылка отменена. С 1910 г. жил в Москве». «В дни Февральской революции, — меланхолически завершает его биографию столь авторитетное справочное издание, как «Историческая энциклопедия», — опасаясь привлечения к суду, Зубатов застрелился».

Шпион, провокатор, развратитель умов, трус... Клейма на нем ставить негде!

Впрочем, последняя фраза «Исторической энциклопедии» роняет в душу едкую каплю сомнений. В самом деле: привлечения к какому суду так уж мог опасаться Зубатов в феврале семнадцатого? Какие такие разоблачения ему грозили? После революции было найдено и опубликовано немало документов о разных зубатовских

делах и делишках — это правда. Но ведь правда и то, что все это были уже лишь штришки, дополняющие, проясняющие, но отнюдь не меняющие картину, созданную первой волной разоблачений в 1906—1911 годах. А ту волну Зубатов перенес стойко — отмалчиваясь, иногда огрызаясь, но не оправдываясь. Так с чего бы теперь, весной семнадцатого, терять голову и хвататься за револьвер? Он уже 13 лет был в отставке, ни во что не вмешивался... И вдруг — выстрел! Сразу же после известия о царском отречении от престола!

Может, дело не в страхе, а в крайней приверженности той идее, которую Зубатов так красноречиво проповедовал за добрый еще десяток лет до рокового выстрела: «Она (монархическая идея.—В. К.) сама в себе живородна; она не только отвечает глубочайшим свойствам и потребностям души народной, но и вообще настоятельнейшим нуждам человеческого общения. В прошлом она существовала тысячелетиями (великие монархии Древнего Востока и греко-римского мира), а народное представительство, просуществовав всего сто лет, трещит уже по всем швам...»¹

Историки, правда, ставят под сомнение полную искренность этих возвышенно-монархических идей Зубатова. Это, мол, кому писано? Князю Мещерскому, разные подобные бумаги ловко подсовывавшему для прочтения самому Николаю и вообще при дворе человеку влиятельному. Следовательно, пером отставного охранника могла двигать здесь задняя мысль: прочтут, оценят преданность, позовут.

Что ж... Возьмем свидетельство со стороны: «Дивную, могучую теорию царизма, вами созданную, могут понять только немногие идеологи; этой волшебной мечтой толпа не увлечется...» Это из письма к Зубатову Марии Вильбушевич, 19-летней купеческой дочки, восторженной революционерки, ставшей столь же восторженной зубатовкой.

Разумеется, можно изобрести доводы, чтобы поставить под сомнение и это свидетельство: вольно, мол, дуре всерьез принимать жандармское красноречие, но...

Но какие ни изобретай аргументы, а все-таки — когда человек, узнав, что проповедуемая им идея

¹ Принадлежность этого «Письма из провинции» (Гражданин, 1907, № 31—32) перу Зубатова установлена Б. П. Козьминым.

рухнула, берет револьвер и ставит точку — тут хочешь не хочешь, а приходится признавать, что проповедь эта была не просто политической казуистикой, а *идеей*. Идеей, в которую он уверовал со страстью не меньшей, чем любой утопист.

Но если действительно была идея, пережить крах которой Зубатов не смог, то не стоит ли признать, что он был не просто чиновником и политиком, но — *личностью*? Быть может, преступной, искореженной, но — личностью? А уж коли личностью, то и дела его не просто карьера, а — поднимай выше! — судьба, духовная драма...

Сознаю, впрочем, что, предлагая по-новому взглянуть на биографию «полицейского обер-шпиона» Зубатова, я рискую наткнуться на капитальнейшую стену почти подсознательного сопротивления. Ибо Русь-матушка, при всей гипертрофированной государственности своего сознания, всесильные свои карательные органы покои веков презирала, ремесло их числила недостойнейшим, и для большинства из нас слова «полицейский», «жандарм», «гэпэушник» — поднесь суть не столько обозначение должностей, сколько презренные клички.

Но я и не собираюсь, читатель, подсунуть тебе портрет такого идейно-нравственного жандарма, упаси меня Бог! Моя задача иная. А потому сошлюсь-ка я на авторитет Солженицына, на то место из «Архипелага», где он размышляет, как легко мог бы оказаться и по другую сторону колючки: «От добра до худа один шаток, говорит пословица. Значит, и от худа до добра». Вот я и хочу этот самый «шаток» в судьбе Зубатова отыскать. И посмотреть: что же и почему шатнуло его ко злу? И вся ли его душа при этом под новенькие жандармские сапоги выплеснулась или чуток осталось? И если осталось, то что этот «чуток» с человеком делал?..

Эхо взрыва, грохнувшего 1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала, прокатилось по всей России. Не было, наверное, уголка, где бы оно не откликнулось. Конституционные проекты были положены под сукно; архаичное III отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии сменили энергичные «отделения охраны порядка и общественной безопасности»; Россию принялись охлаживать и подмораживать.

Но «совиные крыла» Победоносцева большинство, как водится, разглядело над нею не сразу; тем более — не сразу им ужаснулось. Ведь сначала люди, как правило, замечают не сам по себе крутой общественный поворот, а лишь отражение его в чем-нибудь обыденном, почти домашнем.

«В самом начале восьмидесятых годов, тотчас после катастрофы 1 марта, среди учащихся московских средних учебных заведений началось небывало широкое движение. Почти не было семьи в большом круге моих знакомых, в которой имелся бы ученик одного из средних учебных заведений и которая не «пострадала» бы от этого движения. Родители бегали встревоженные по городу, знакомились друг с другом и советовались, как быть, какие принимать меры против этого непонятного и страшного в их глазах духа, обуявшего их детей. Движение носило вначале характер увлечения идеями Писарева, а внешним образом выражалось в форме иногда смешной. Так, какой-нибудь сын богатых родителей сменял свой обычный костюм на красную или синюю рубаху и широчайшие плисовые шаровары, ходил в дырявых сапогах, я уж не говорю о неизменном атрибуте молодых «нигилистов» — широкополой шляпе и толстой дубине» (К. Терешкович).

Мы думаем, что молодежная контркультура — явление XX века, но и столетие назад она, как видим, уже существовала. Не принимая каких-то тенденций общественной жизни, молодежь творила собственную моду из элементов, идеологами этих тенденций яростно отвергаемых. Боюсь, правда, что родители нынешних «рокеров» или «металлистов» не столько посочувствуют, сколько позавидуют тревогам московских пап и мам конца прошлого века: Писарев — это, может быть, и опасно, да все же не СПИД, не наркотик...

Думаю, впрочем, что писаревские идеи проявлялись потом, и очень по-разному, а вот первое воздействие его статей на всех этих мальчиков и девочек было почти наркотическим: он завораживал их своей напористой логикой, хмелил ожиданием чего-то неопределенного, но непременно великого! (Сужу отчасти и по собственному опыту, ибо в те же 16—17 лет безмерно им увлекался.)

Ну и Сережа Зубатов в те годы, естественно, был обычным, на всех похожим московским юношей: «Я помню его еще в гимназическом костюме, когда он яв-

лялся на квартиру нашей семьи, где-то за чугунным мостом, к моему старшему брату, бывшему тогда одним из членов кружка Гоца, Фондаминского и др. Общее впечатление он сразу произвел на меня очень хорошее, по крайней мере внешнее: у него было интеллигентное, умное и энергичное лицо с высоким лбом и жидкими, откинутыми назад, каштанового цвета волосами... Вскоре Зубатов оказался исключенным из шестого класса третьей, помнится, московской гимназии, как говорили, за неблагонадежность» (К. Терешкович).

Ну разумеется — за неблагонадежность! Сказать, что его исключили за что-то другое, гимназисту восьмидесятих было так же трудно и почти позорно, как и Грушницкому полувеком раньше признаться, что он не разжалованный, а всего лишь юнкер!

Впрочем, подлинные причины, заставившие Сережу Зубатова сменить гимназическую фуражку на широкополую шляпу нигилиста, тоже весьма любопытны и характерны для того времени и его героев. «Коснусь еще своего знакомства с Рубинком, — писал Зубатов спустя два с лишним десятилетия. — Он не только был знаком со мною, но и явился невольной причиной оставления мною гимназии. Из воспоминаний М. Р. (Гоц.—В. К.) видно, как велико было около меня число евреев. Рубинок же посещал меня наиболее часто. Это раздражало моего покойного отца, который, войдя как-то в мою комнату (с отдельным выходом) в утренние часы и в предэкзаменационное время и застав меня дома, устроил мне сцену, которая после разговора кончилась тем, что он поехал в гимназию и забрал мои бумаги. Не учебное начальство исключило меня, а родной отец в минуту раздражения на моих „товарищей“».

Колоритная сцена, не правда ли? Папаша Зубатов особенно здесь хорош со своим властным «ндравом»! Впрочем, этой эскападою добился он лишь результата прямо противоположного желаемому, ибо среди сверстников его Сережи вне гимназии маска «исключенного за неблагонадежность» оставалась единственным нарядом, в котором не стыдно показаться на люди. А ведь маска ко многому и обязывает! На квартире «исключенного за неблагонадежность», конечно же, должен был собираться — и собирался! — кружок молодежи, где, как минимум, должны были читать Миля с комментариями Чернышевского, ибо мода на политэкономия была тогда почти столь же по-

вальной, как теперь на рок-музыку. Правда, по свидетельству М. Р. Гоца, у Зубатова читали еще и Лаврова, и Михайловского, потрясая при этом курсисток и гимназисток своею столь ранней ученостью.

Подобных кружков по Москве было тогда не счесть, каждый из них жил в чем-то наособицу, но были и общие центры притяжения. Например, библиотека сестер Мухомовых на Тверском, где охотно, хоть и не гласно, выдавали для чтения всех опальных, а потому и модных авторов, в том числе и тех, что попали «в знаменитый *index librorum prohibitorum*, изданный русским правительством весной 1884 года после закрытия журналов „Отечественные записки“, „Дело“ и др. и разгрома в петербургских литературных сферах, заподозренных в каких бы то ни было, хотя бы отдаленных, отношениях к „Народной воле“» (К. Терешкович). Молодежь, понятно, летела на этот манкий огонек, трепеща крылышками; тут можно было встретить всю Москву, всех ее молодых радикалов, а также постараться занять среди них некое видное положение, стать интеллектуальным их лидером, вожаком...

В юности, однако, слишком страстное желание занять видное положение среди сверстников частенько оборачивается весьма нелепыми жестами, которые как раз тех, к кому тебя больше всего тянет, от тебя же и отталкивают. Зубатова больше всего тянуло, пожалуй что, к Мишке Гоцу, племяннику знаменитого чаеоторговца Высоцкого, моднику, умнице, крайнему радикалу; именно перед ним особенно хотелось ему чем-то блеснуть.

«Как-то Зубатов прочел мне свое произведение,— позднее вспоминал Гоц,— в котором он излагал собственную теорию нравственности. Все в его теории основывалось на сильной воле, для чего требовалось сознательно совершить целый ряд гадостей, о которых в печати даже и говорить неудобно. Совершать эти гадости человек должен был вполне понимая их значение, но заставляя себя идти против усвоенных нравственных понятий и этим упражняя свою «волю». Когда он прочел свое сочинение, у нас началась страшная перепалка...» Однако, разоблачив столь раннюю любовь бывшего приятеля к пороку, Гоц тут же и оговаривается: «Я глубоко убежден, что в то время Зубатов не мог быть шпионом. Для этого он был слишком молод и слишком искренен в своих нравственных или, вернее, безнравственных исканиях».

И тут-то он совершенно прав, ибо в таком возрасте (а не забудем, что наши герои еще 17—18-летние ребята) искренность и страстность нравственных исканий куда важней, чем все те завиральные идеи, коими во все века полны юношеские трактаты. А уж в восьмидесятые годы прошлого века...

Герберт Спенсер, один из популярнейших в это время и полузапрещенных в России философов, совсем не зря констатировал угасание среди своих современников «кодекса сверхъестественной этики», издревле якобы занесенного на боговдохновенные скрижали, и попытался заменить его «наукой о нравственности». Неизвестно, читали ли Гоц и Зубатов Спенсера, но воздухом своей эпохи они дышали, а убежденностью в шатости и недостаточности прежних нравственных аксиом он насыщен был до предела! Да и идея воли как главного человеческого качества тоже не Зубатовым была выдумана.

И хотя сорокалетний Гоц мысль своего приятеля о дозволенности «всяких гадостей» во имя волевого достижения поставленной цели с презрением отвергает, это еще не гарантия, что Гоц восемнадцатилетний был так уж далек от подобных идей.

Вообще воздух эпохи — штука чрезвычайно властная, подчиняющая себе если не всех, то явное большинство. И чтобы получше представить себе этот «воздух», здесь не худо бы вспомнить, что первая половина восьмидесятых и вообще-то была для русских радикалов временем невеселым, смутным. «Из боевых выступлений удалось лишь одно — убийство Судейкина руками предателя Дегаева, но это был уже не тот красивый жест, каким Исполнительный Комитет когда-то пленял молодые умы, а страдальческая гримаса умирающей партии...» (Л. Меньшиков).

Дегаевщина разъела народовольческие связи, смутила умы и ожесточила сердца. Все валилось из рук. Даже героические, сверхчеловеческие усилия Германа Лопатина по склеиванию оставшихся от партии черепков закончились лишь тем, что в октябре 1884 года он был схвачен прямо на Невском — внезапно, так, что ничего не успел сделать со списками адресов и явок. И грянул колоссальный провал, крохотной частичкой которого стал, например, и арест Осипа Рубинка, ближайшего зубатовского приятеля.

«В половине 80-х годов,— вспоминает И. И. Майнов,— когда первый состав народовольцев был выкошен уже весь начисто, Петр Александрович Муханов да вот эти москвичи — Мишка Гоц, да Осип Минор, да Зотов с несколькими товарищами петровцами (студентами Петровской академии.—В. К.) — на части рвались, чтобы при помощи всяких понаехавших из провинции ретивых первокурсников не опустить знамени — поддерживать народовольческий дух в студенчестве, продолжать пропаганду среди рабочих, одним словом, воевать, как подобает истым народовольцам. В то же самое время в кругах нестуденческой молодежи усердствовал в народовольческом духе вновь проявившийся революционер Сергей Пик, сын купца, в его кружках толклось много публики из московских обывательских семей, русских и еврейских».

Вот эти люди толклись и в библиотеке сестер Михиных на Тверском. Их встречи, их споры, их не слишком умелая конспирация, при всей высоте идей и личных побуждений, были всего лишь поздним закатом народовольчества, его предсмертными судорогами.

Ну, а теперь попробуйте вообразить себе положение среди них недоучившегося гимназиста, мелкого телеграфного служащего Сергея Зубатова. Протест против отцовского самовластья, усвоенная маска «пострадавшего за неблагонадежность», даже личные чувства (а одна из сестер Михиных, Александра, стала вскоре его невестой) — все властно толкало Зубатова в эту среду, а среда... «Я думаю,— вспоминал Гоц,— что именно разрыву со мной и Фондаминским Зубатов обязан был тем, что не попал в московскую народовольческую организацию... Один за другим из нашего кружка принимались в недра организации, и наши резкие неблагоприятные отзывы о Зубатове, который все время вращался в периферии, окружавшей организацию, заставляли держать его вдали, хотя и приходилось пользоваться его услугами».

Когда собственные неблагоприятные отзывы не мешают пользоваться «услугами», о подлинном смысле которых Зубатову даже не сообщают, то это, понятно, вряд ли свидетельствуют о том, что этим людям так уж претит «использование» других людей против их воли и вопреки собственному нравственному чувству.

Конечно, юные подпольщики действовали так потому,

что были подпольщиками, потому что вынуждены были действовать в атмосфере рушившихся надежд, жестоких репрессий, бесконечного, угнетающего психику и мутящего разум предательства. Трижды прав Герман Лопатин: в такой обстановке «всегда будет вырабатываться известное число уродливо развитых личностей». Можно сказать даже и жестче: каждая личность в такой обстановке приобретает нечто «уродливо развитое».

Межеумочное же — ни туда ни сюда — положение Сергея Зубатова способствовало не только его «уродливо развитому», вечно оскорбленному самолюбию, но, пожалуй, и некоторым размышлениям, выработке самостоятельной позиции, тем более что к этому его подталкивало и рано пробудившееся стремление к учительству, интеллектуальному лидерству хотя бы в узком кружке (тут, возможно, и «комплекс недоучки» сказывался). Он много читал и думал.

Но о сути его размышлений мы попробуем рассказать чуть дальше, а пока — о том роковом шаге, «шатке», который отбросил его окончательно с дороги радикальной на дорогу жандармскую.

Многажды уже цитированный Михаил Гоц считал, что Зубатова «затянуло» в конце 84-го — начале 85-го. «Помнится, мне передавали в 85-м году, что Зубатова вызывал к себе начальник московской охраны Бердяев, который предложил ему поступить в шпионы или быть высланным из Москвы. Зубатов рассказывал, что с негодованием отверг предложение, но на самом деле, вернее всего, тогда же начал доблестную службу. По крайней мере из Москвы он выслан не был и вскоре очутился в должности на центральном телеграфе». Предательству Зубатова Гоц приписывает и крупный провал весной 86-го года, когда был арестован почти весь кружок С. Пика (Михаил Волошинов, Аиcья Болотина, Исаак Эйдельман и др.).

К тому же Гоц рисует своего давнего знакомого не просто провокатором, но человеком, упивающимся своим провокаторством, смакующим его: «Он назначил Соломонову свидание в каком-то глухом месте, кажется на кладбище, заявил ему, что должен уехать по какому-то очень опасному поручению, трогательно простился с ним и даже перекрестил его. Когда Соломонов вернулся домой, там его ждала уже полиция...»

Воспоминания М. Гоца были опубликованы в «Былом» осенью 1906 года. В ноябре номер был прочитан

и во Владимире, где все еще жил «анакхоретом» сорокалетний отставной полковник С. В. Зубатов. Ссылка кончилась, пенсия была возвращена, он мог поселиться и в столицах, но жил во Владимире, как вспоминал сам, «абсолютно не имея знакомых в городе, зарывшись в книги, газеты и переживая таким образом „вторую молодость“». Воспоминания Гоца, естественно, произвели в доме Зубатовых впечатление пренеприятное, особенно на верную супругу Александру Николаевну, «оскорбившуюся на Гоца». По ее настоянию и послал Сергей Васильевич 22 ноября 1906 года большое письмо издателю «Былого» В. Л. Бурцеву: «В интересах истины прошу дать место на страницах редактируемого Вами журнала нижеследующим моим замечаниям».

Очень любопытно проследить, что и как опровергает «отставной обер-шпион». Прежде всего он отводит обвинение в выдаче кружка С. Пика: «Наоборот, именно в поведении этих господ лежит причина моего озлобления на деятелей конспирации вообще и резкий разрыв с этой категорией людей».

Тут, прошу прощения у читателей, опять последует длинная выписка, но я уверен, что читать ее, сравнивая с предыдущими выписками из воспоминаний Гоца, занятие прелюбопытнейшее.

«М[ихаил] Р[афаилович], — пишет Зубатов, — не в силах «сам себе дать отчет, что именно нас разъединяло», но я ему помогу и скажу: обоюдная властность натуры, ревность к кружковской гегемонии и разность мировоззрений (он был общественник, а я писаревец, культурник-идеалист) и моя библиотечная реформаторская деятельность, которой я отдавался всей душой, но по поводу которой не раз замечал кривые улыбки на конспиративных устах.

Арест Пика и других отразился на библиотеке самым для нас удивительным образом: инспекция по делам печати предложила дежурившей в библиотеке сестре жены, слушательнице Лубянских курсов по математическому отделению, выехать из родительского дома на частную квартиру [или заделать всякое сообщение библиотечного помещения с квартирой. Из последней не было другого приличного выхода]¹, пришлось выехать

¹ Текст, заключенный в квадратные скобки, вычеркнут в оригинале рукою Зубатова.

любимейшему члену семьи, к тому же совершенно чуждому какой-либо кружковщины. Не желая ее оставить одну, к ней переехала мать. Получился страшнейший семейный скандал. Тесть, отставной полковник, кинулся на меня, но я ничего не понимал. Наконец, 13 июля 1886 г. меня пригласили в охранное отделение, где мне и поведали, как «пользовались моими услугами» кривоулыбающиеся господа: они обратили нашу библиотеку в очаг конспираций, очевидно считая себя вправе, за благостью своих конечных целей, совершенно игнорировать мою личность, стремления, волю и семейное положение. Я оказался в глупейшем и подлейшем положении. Сообразив, что со своей точки зрения они могли считать себя вполне правыми (такова тактика) и, следовательно, подобным же неприятностям всегда могла подвергнуться масса лиц, инакомыслящих и действующих, я дал себе клятву бороться впредь всеми силами с этой вредной категорией людей, отвечая на их конспирацию контрконспирацией... Охранное отделение тут же предложило мне и практический способ осуществления моих намерений. Он показался мне чересчур исключительным, но, обсуждая зрело этот план, я нашел его вполне достигающим цели и открывающим даже широкие перспективы для положительной деятельности».

Отвергает Зубатов и обвинение в предательстве Гоца: «К катастрофе с М[ихаилом] Р[афаиловичем] я не причастен. Это факт, и время установит его с точностью». Зато о мерзкой проделке с Соломоновым молчит, косвенно как бы даже ее и подтверждая: «Справедливость требует добавить, что в краткий период моей контрконспиративной деятельности (несколько месяцев) имело место два-три случая, очень тяжких для моего нравственного существа...»

Понятно, что Зубатов не столько уточняет факты «ради истины», сколько создает свой «образ Зубатова», творит свою легенду о происшедшем с ним: доверчивый «культурник-идеалист», ничего не знавший и знать не желавший, кроме своей «библиотечной реформаторской деятельности», был так бессовестно «использован» конспираторами, в такое «поставлен подлейшее положение», что, потрясенный, немедленно сообразил всю безнравственность «красных иезуитов», воспылал благородным гневом и «покаялся бороться всеми силами...».

Все, разумеется, было не так. Как использовалась библиотека жены, Зубатов знал прекрасно, сам такому использованию немало содействовал, что и подтверждается воспоминаниями В. Гольцева, К. Терешковича и Л. Меньщикова. Но, конечно, узнать, что об этом осведомлены и в охранке, причем осведомлены в таких подробностях, которые никаким «наружным наблюдением» не установишь, было ему весьма неприятно. (Вычеркнутая им часть фразы эти подробности, выболтанные компанией С. Пика, и задевает; и вычеркнул ее Сергей Васильевич скорее всего по старой жандармской привычке ни в коем случае не открывать публике именно подробности, технику своего дела.) Вот благодаря этой-то болтливости ротмистр Бердяев мог припереть его к стенке так, что вопрос, видимо, и в самом деле стоял либо о высылке (как минимум!) из Москвы, либо...

Да, конечно, мотивы и своих, и чужих поступков Зубатов трактует по-своему, так, как ему выгодно, но фактические его уточнения оказываются, как правило, верны. Его секретное сотрудничество, например, действительно продолжалось всего несколько месяцев — с июля 1886-го до поздней весны 1887 года, когда он, по свидетельству Л. Меньщикова, видя свой неизбежный провал, не думал уже о своей реабилитации, а прямо заявлял... своим знакомым: «Я служу в охранке».

Впрочем, Меньщиков также утверждает, что Гоца и его типографию выдал именно Зубатов. Но доказательств никаких не приводит, а некоторые им же сообщаемые подробности заставляют в этом весьма усомниться. В самом деле: сперва была арестована именно типография, а с нею — некто Виктор Данилов, бежавший из Сибири и живший в Москве по подложному паспорту, сфабрикованному Гоцем; а уж затем, месяца через полтора, сам Гоц. Зубатов же, отлично знавший именно Гоца, с его типографией совершенно не соприкасался. Согласимся, что такой порядок действий вряд ли был бы возможен, выдай Гоца он. Но у охранки были тут и другие источники информации. «В то время как Н. Ф. Дмитриев (на квартире которого и была устроена Гоцем подпольная «шлепалка». — В. К.) сидел в тюрьме, ожидая ссылки, — сообщает тот же Л. Меньщиков, — брат его Григорий Дмитриев был назначен делопроизводителем московского охранного отделения». Большое, не-

ожиданное повышение для мелкого чиновника петербургской охранки... Не тут ли и собака зарыта?

Впрочем, чтобы точнее оценить сведения, сообщаемые Л. П. Меньшиковым, надобно хотя бы вкратце рассказать и о нем самом. В ранней юности принимал участие в работе революционных кружков, был арестован (выдан Зубатовым), но вскоре после дачи «откровенных показаний» освобожден и принят на службу в охрану — сначала филером, потом в канцелярию. В своей книге «Охрана и революция», написанной уже при советской власти, уверял, что то был обдуманый шаг убежденного революционера: «Разбираясь в обстановке моего ареста и «провала» других лиц, я скоро пришел к заключению, что неудачи революционеров часто являются результатом их собственных ошибок; что главная причина ошибок — почти полное незнание оружия врага...» Вот и решил-де он пожертвовать собой, изучить это оружие и познакомить революционеров с тайнами охранки. Изучение растянулось на два десятилетия беспорочной службы. Лишь в 1906 году начинает Меньшиков потихоньку приторговывать полицейскими тайнами. При внимательном чтении его книги складывается впечатление, что это был человек примитивно-конформистского склада, в сущности весьма недалекий, но с цепкой, въедливой памятью старого канцеляриста. Так что сообщаемым им фактам следует доверять. Но — фактам. Что же касается причинно-следственных связей между ними, то тут критическая оценка воспоминаний Меньшикова не помешает.

Вернемся к Зубатову. Если уточнения насчет Пика и Гоца ему явно выгодны, то кладбищенская эскапада с Соломоновым — увы!.. И казалось бы: ночь, кладбище — какие тут свидетельства и доказательства? Можно отпереться вполне голословно: не было — и все тут! Но Зубатов молчит.

Дело, видимо, не в конкретной сцене, а в том, что именно М. Соломонов проболтался агенту Сергееву о появлении в Москве в конце января 1887 года нового нелегала. Установив за Соломоновым слежку, охранка легко вышла на его след, а затем, проследив за отправкою им (это был З. Коган) двух стоп бумаги в Тулу и таким образом определив приблизительно местонахождение давно разыскиваемой «центральной типографии», его арестовала. Следом были взяты также М. Соломонов и Н. Богораз.

Правда, они все оказались крепкими орешками; тульская типография так и не была раскрыта охранкой, а как бы раскрылась сама при обстоятельствах весьма странных, о чем и стоит сказать пару слов.

В июле 1886 года некие супруги Минялго сняли на Георгиевской улице в Туле дом. Вскоре у них поселился и родственник — Николай Кудриченко, а в декабре — его брат Василий. Особого интереса у соседей супруги не вызывали, жили себе потихоньку, пока в начале апреля 1887 года домовладелица Бородинская не обнаружила вдруг, что нанятый у нее дом совершенно пуст.

При обыске внезапно брошенной квартиры полиция без труда нашла все принадлежности для печати, готовый набор «Листка Народной воли», № 3, обложки для брошюры «Варшавский процесс 29-и» и т. п. Тут-то и выяснилось, что под видом братьев Кудриченко жили здесь до недавнего времени арестованные в Москве Н. Богораз и З. Коган.

«В истории тульской типографии,— пишет Л. Меньщиков,— одно обстоятельство остается далеко не выясненным: что, собственно, заставило обитателей тульской конспиративной квартиры покинуть типографию два месяца спустя после ареста Когана, когда ей... ничего уже почти не угрожало? И почему квартира была брошена так спешно, что в ней осталось и паспортное бюро, и даже тетрадь с адресами?..»

Леонид Петрович прямо не говорит, но как бы намекает, что и здесь возможна какая-то особо тонкая и каверзная провокация Зубатова. Думаю, однако, что дело страшней и проще: после двухмесячной полнейшей неизвестности, оторванности, непрерывного ожидания краха у людей просто не выдержали нервы — и действовали они под влиянием внезапного приступа паники, близкого к умоисступлению. Косвенно это подтверждается еще и тем, что Вера Обухова (супруги Минялго — это она и А. Пашинский) меньше чем через год оказалась в цюрихском приюте для душевнобольных, где вскоре и умерла.

Такие дела! И отрицай не отрицай странное прощание с М. Соломоновым на кладбище, а все равно от главного не отречешься: всякая неосторожно сказанная Зубатову фраза оборачивалась десятками мрачных драм, сломанных судеб... И тут уж не оправдаешься!

Впрочем, что значит «не оправдаешься»? Уж в чем, в чем, а в поисках самооправдания человеческий ум бывает дьявольски изворотлив, пускает в ход все — от мелочных обид до великих идей и прекраснейших целей. И, незаметно одно другим подменяя, всегда подсунет припертому к стене такую «формулу перехода» на другую сторону баррикады, которая не только его оправдает, но при необходимости и возвысит, обеспечив потребный личности уровень самоуважения...

И вот, возвращаясь здесь к роковому для Зубатова дню 13 июля 1886 года, когда никого еще не предавший «культурник-идеалист» был вызван к ротмистру Бердяеву и благодаря болтливости своих приятелей приперт им к стене, мы можем утверждать, что какой бы силы взрыв страстей, обид, попранного самолюбия и ощущения житейской пропасти, в которую его могли походя, небрежно столкнуть «кривоулыбающиеся господа», при этом не последовал, но для человека зубатовского склада, т. е. начитанного, логичного, привыкшего ставить себя выше других именно в интеллектуально-нравственном отношении, — перейти в противоположный стан и не сломаться морально было возможно лишь опираясь на такую «формулу перехода», которая бы представила это граждански честным поступком *идейного человека*. Короче: нужна была политическая идея, этот переход не только оправдывающая, но и возвышающая.

Такую идею в одночасье не выдумаешь! И коль скоро переход все-таки совершился без психологического надлома, значит, она к этому моменту уже была, существовала, хотя сам переход, быть может, и помог ей оформиться именно так, а не иначе.

Вот тут-то нам и необходимо попробовать восстановить зубатовские размышления тех лет, постараться «реставрировать» его идею, хотя если не давать воли фантазии и не забегать далеко вперед (а забегать нельзя, идеи — штука подвижная), то собирать ее для «реставрации» придется нам буквально по крохам.

Вот он сам себя мимоходом характеризует: «писарец, культурник-идеалист». Чтобы понять смысл этой весьма распространенной идеологической этикетки 80-х, нам придется вспомнить, что разные люди читали Писарева по-разному. Одним запоминалось: «Вот credo нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбить;

что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть». Другим — совсем другое: «Переворотов в истории было очень много, падали и политические, и религиозные формы, но господство капитала над трудом вышло из всех переворотов в полной неприкосновенности». И далее — убедительнейшие слова о необходимости медленного, «химического воздействия» ради постепенной «гуманизации среднего сословия».

Впрочем, запоминалось-то, может, и все, но что из запавшего в душу действительно становилось жизненным сгедо — это порой зависело от личной склонности, выбора, а порой — и от житейских обстоятельств, давление которых могло «шатнуть» человека туда или сюда... Вот, например, типичная история одного из зубатовских сверстников.

«Я был тогда всецело поглощен своим самообразованием, — пишет К. Терешкович, — и по установившемуся тогда в среде лиц, с которыми я был близок, принципу, не только ни к какому революционному делу не приступал, пока не считал себя подготовленным к нему при помощи известного запаса систематических знаний, но даже нелегальной литературы почти не читал... В ноябре (1886 г. — В. К.) произошли массовые аресты, захватившие, между прочим, Гоца, Фондаминского и других серьезных членов народовольческой организации. Вскоре после этого был нанесен удар по центральной организации арестом в Москве Богораза и захватом в Туле центральной типографии...»

Вот тогда-то — по сути, на пепелище, очертя голову — бросается Терешкович в революционную деятельность. «Однажды один из петровцев (студентов Петровской академии. — В. К.), которого я знал уже некоторое время и которому имел полное основание доверять, является ко мне и предлагает свести меня с Зубатовым, как бы вторично познакомить, но уже для дела».

Нет, я не буду рассказывать, как создавалось Зубатовым «Дело Терешковича и сына сенатора Зарудного». История банальнейшая. К тому же нам важен Зубатов-политик, а Зубатова — героя сыска мы, по возможности, оставим за скобками.

Я хочу обратить внимание читателя на другое. На то, что рассказанная Терешковичем история — это ведь

тоже пример резкого нравственного «шатка» под давлением обстоятельств и вызванного ими эмоционального взрыва; только по смыслу и направлению этот «шток» противоположен зубатовскому.

Но так же, как внезапный выбор Терешковича был психологически облегчен и подготовлен сложившимися вокруг него обстоятельствами, точно так же и обстоятельства, складывавшиеся вокруг Зубатова, готовили и облегчали его выбор, его «шток»...

Напомним: путь в университет для него оказался закрыт, служба на телеграфе начитанного и самолюбивого юношу, конечно, не увлекала, а кипевшая вокруг и вначале столь для него притягательная революционная среда его упорно не принимала, — что ж оставалось? Да только то и оставалось, что заняться культурной работой и стать ярким проповедником путей «естественного развития»... Ведь тут один шаг определяет всю логическую цепочку последующих.

Впрочем, зачем нам гадать? Мы можем свои предположения и проверить. У нас есть свидетельство, и тем более надежное, что сам мемуарист явно не понимает смысла сообщаемых фактов. «Я тоже имел несчастье принадлежать к числу знакомых Зубатова, — пишет Л. Меньшиков. — Познакомился я с ним у В. А. Денисова, жившего на окраине Москвы в собственном домике, где я и мои товарищи П. В. Иевлев и Н. Н. Вольский собирались иногда потолковать о политике. В одно из таких собраний пришел человек «приятной наружности», которого хозяин дома рекомендовал нам просто «Сергей Васильевич»; гость принес с собой рукопись «О Земском Соборе» (творение Гольцева), которую и стал читать, терпеливо выслушивая наши выпады на излишнюю умеренность этой программы».

Вполне понятно, почему Зубатов носился с этой программой, он ею пользовался как пробным камнем, на котором выявлялась степень «неблагонадежности» его собеседников, так как само собой разумеется, ни один искренний революционер не мог спокойно, без возражений, слушать эти «постепенновские» призывы к «умеренности и аккуратности».

Согласимся, однако же: на роль «пробного камня неблагонадежности» куда больше подошла бы какая-нибудь брошюрка крайне радикального содержания. Так что Зубатов, скорее всего, принес статью Гольцева

именно как *свою программу* и как программу отстаивал ее в споре. Тем любопытнее, что за программа.

Во многих воспоминаниях говорится о близости Зубатова «к кружку ученых и литераторов, группирующихся вокруг Гольцева». Но говорится обычно со слов самого Зубатова, а ему во всех отношениях выгодно было эту близость преувеличивать: в глазах молодежи это прибавляло ему солидности, учености, вызывало доверие. Сам Гольцев позднее утверждал, что никакой близости не было: просто студентки, бравшие у него на даче книги, предупредили, что с осени за книгами для них будет заходить некий услужливый молодой человек, вот он и заходил, составил даже каталог гольцевской библиотеки (в качестве шпионства или все-таки дружеской услуги — остается неясным). И все. Но не забудем, что так же, как Зубатову в 1886 году выгодно было степень их близости преувеличивать, так Гольцеву в 1906-м — преуменьшать. Истина же, как обычно, лежит где-то посередине. И кстати, в краткой заметке Гольцева есть одна фраза, на это по сути указывающая: «Он брал книги, возвращал, получал другие. Иногда он оставался на короткое время и высказывал печальные мысли о современном положении вещей. Я утешал его...»

О положении каких вещей могла идти речь? Не о порядках же на телеграфе, правда? Речь явно шла о положении политическом, настроениях в среде радикальной и либеральной интеллигенции, а оба собеседника были неплохо осведомлены о царивших там разброде и растерянности, о том, что многие пали духом, отошли в сторону, иные же, потеряв веру в старые методы, толкуют о поисках новых путей...

Вот если представить себе такой разговор, то как раз в качестве утешения и могла попасть к Зубатову гольцевская статья «О Земском Собрании» — она никогда не печаталась, ходила по рукам и опять же, вероятно, не только для личного употребления, но и для пропаганды, поправления молодых умов... И коль скоро Зубатов действительно занялся, как мы видели, ее пропагандой, значит, и впрямь нашел в ней что-то весьма для себя утешительное. Но что?

Статья начинается с печальных констатаций: «В воздухе носится недовольство старыми путями, искания новых». Все прежние надежды на перемену власти, по

мнению автора, тщетны. Нельзя надеяться на войну, ибо «если бы даже, что весьма возможно, династия Романовых пала под взрывом негодования после первых же неизбежных поражений», то страна все равно «выдвинула бы нового цезаря и прочно усадила бы его на троне». Народный бунт «невозможен в настоящее время ввиду недостаточности в народе ясного понимания своего положения, понимания — кто его враги и кто его друзья». И наконец, «революционный переворот прежде всего фактически неосуществим». Но если все так и надежд на перемену власти нет, что же делать, к чему стремиться?

«В России,— считает между тем В. Гольцев,— уже накопилось достаточно положительных сил, необходимых для нового энергичного движения вперед». И прежние «террористические стремления молодежи» могли бы только ослабить, отодвинуть «возникновение достаточно могущественного направления, которое указало бы мирный исход из теперешней сумятицы...» Недоверие к социалистам исчезнет, если они откажутся «от мысли о захвате власти, перевороте, народном бунте и социальной ликвидации. Социалисты же откажутся от всего этого, когда почувствуют больше доверия к обществу, к возможности мирных реформ, когда увидят образование сильной партии, сплотившейся под знаменем Земского Собора». Что это за знамя? А вот «когда все прогрессивные силы сплотятся воедино, не замедлит появиться орган. Разработается план созыва Земского Собора. Создастся стройная программа реформ... Царь созывает Земский Собор, который положит начало новому, народническому периоду русской истории». Короче говоря, статья В. А. Гольцева — это довольно прекраснородное сочинение на тему «Ребята, давайте жить дружно!».

Но все ведь зависит от того, как это читать, в каких обстоятельствах, какую для себя вычитывать перспективу. Если человек уже решил, что он «писаревец, культурник-идеалист», сторонник медленного «химического воздействия» на общество ради «гуманизации среднего сословия», то он, следовательно, и должен стремиться к реформам, а для их проведения необходим социальный мир. И еще нужна власть. Да, власть! Ибо без нее — какие же реформы? Объявив себя реформатором, отвергать сотрудничество с властью никак нельзя.

Да с кем ведь сотрудничать? Что конкретно Зубатову предложили? Работать на охранию, шпионить, посылать

людей в тюрьму, отлавливать их, точно зверей... Позор!

Но тут-то на помощь «идейным соображениям» и приходят личные обиды: ах, позор, говорите? А они-то, они — честно действуют? Они людей не «используют», не ломают их судьбы? И тут же — опять к теории: ведь их «террористические стремления» подлинному прогрессу только мешают — так? Да и к тому же он на позорное ремесло шпиона соглашается только пока, только чтоб получить в руки толику власти, которую и использует в дальнейшем как инструмент реформаторства.

Как видим, сочинение почтеннейшего В. А. Гольцева очень даже могло Зубатова утешать, ибо удачно подхватывало прежние его размышления и давало точку интеллектуальной опоры для перехода по другую сторону баррикад.

Что же до кладбищенского прощания с бывшим дружкой Соломоновым или визита к родителям Терешковича, где Зубатов, как бы впервые узнав о его аресте, «стал проливать по этому поводу крокодиловы слезы», то для мемуаристов это — безусловное доказательство зубатовского иезуитства, упоения тайной властью... Но согласимся: о минутах упоения не вспоминают как об «очень тяжелых для нравственного существа моментах». И значит, внутренне, субъективно, все это переживалось Зубатовым совсем иначе. Возможно, то была некая неуклюжая попытка как-то разделить политических противников, с которыми он вступил в тайную борьбу, и бывших приятелей, о бедах которых по-прежнему сокрушался. Возможно, Зубатов тут чувствовал себя даже человеком, идущим на тяжкие личные жертвы ради своей «высокой идеи», — кто знает?

Но вот вопрос действительно, по-моему, важный: чем все-таки была тогда для Зубатова программа постепенных реформ под эгидой монаршей власти — только ли маскировкой и оправданием житейски необходимого перехода в противоположный стан? Или же частью подлинно духовной, интеллектуальной жизни личности, ее долговременных стремлений и идеалов?

Свидетельства и тут приходится собирать по крохам, но сумма их выходит, по-моему, достаточно убедительная. Вот некоторые примеры.

15 февраля 1887 года начальник московской охраны сообщает в департамент полиции: «Иконников был бли-

зок прежде с сотрудником Сергеевым... И вот от Иконникова-то вчера Сергеев и услышал опять о типографии... А адрес ее у Иконникова Сергееву спрашивать неудобно, тем более что Сергеев известен Иконникову за человека, не сочувствующего программе „Народной воли“».

Конечно! Это зеленому Терешковичу можно принести с телеграфа свежую весть о событиях 1 марта 1887 года, да тут же и взять «для распространения» несколько экземпляров брошюры «Политический террор», которая станет важнейшим «вещдоком». А Иконников помнит, что Зубатов говорил раньше. Но выходит, и раньше, *до службы*, Зубатов действительно был противником народоувольческой программы?

Еще один полицейский документ — донос Н. Н. Шелонского, зимой 1887 года добровольно предложившего охранке свои услуги по «освещению» того самого гольцевского кружка ученых и литераторов, на близость к которому любил намекать своим сверстникам Сергей Зубатов. «На следующих собраниях,— пишет Шелонский,— изыскивались „ненаказуемые способы воздействия“, которые добились бы неприкосновенности личности и свободы печати, а при помощи последней — ниспровержения существующего порядка... С этой целью предлагается печатать за границей ряд критических лекций: Гольцев — „Представительные собрания и свобода личности в России“; М. Ковалевский — „Судьбы современного русского общества“; Янжул — „Основа народного хозяйства в России“».

Отметим здесь имя И. И. Янжула. Спустя 20 лет Зубатов напишет издателю «Былого» о первых шагах своих рабочих организаций: «Сами рабочие пролезли к И. И. Янжулу, он их направил к И. Х. Озерову. Я все время держался в стороне, оберегая одной рукой рабочих от бестактности, а другой — примиряя Трепова с находимой ими интеллигенцией».

Но в начале нашего века рабочие, даже весьма развитые, вряд ли все же читали труды академиков. Вот Зубатов — тот читал, и не только опубликованные. Он, конечно же, рабочих к Янжулу и направил. Но если так, то ведь это означает, что и в начале 90-х годов он оставался верен идеям, рожденным в гольцевском кружке во второй половине 80-х,— так?

Ну, и еще раз обратимся к такому не слишком проницательному, а потому особо надежному мему-

аристу, как Л. П. Меньщиков. В конце 1892-го — начале 1893 года, рассказывает он, Зубатов руководил розыском в Твери. Благодаря провокаторше А. Е. Серебряковой московским охранникам удалось «сесть на хвост» ее доброму знакомому С. Н. Прокоповичу, проследить слишком частые его визиты в Тверь, а там, на Солодовой улице в тихом доме Барыбина, подолгу следя за движениями теней в окнах, заподозрить существование вожделенной «шлепалки», т. е. типографии. Вскоре, правда, выяснили: нет, всего лишь гектография, журнал «Союз» выпускают... Поэтому, мол, с ликвидацией не спешили.

Но дело было не только в типографии, считает Меньщиков. Зубатов, стоявший за спиной Бердяева, начавший в это время играть уже «первую скрипку», не хотел как человек широкого провокаторского размаха играть «по маленькой»: он собирался выждать, когда около «Союза» соберется опять вся революционная «наличность», чтобы одним ударом обескровить крамолу.

«Но Жорж Семякин, начинавший чувствовать в Зубатове будущего соперника, находил нужным защищать противоположную тактику, а на этой почве между Москвой и Петербургом возгорелась полемика» (Л. Меньщиков). В конце концов департамент полиции счел нужным преподать (отношением от 4 мая 1893 года) московскому охранному отделению «к руководству» следующие «аксиомы»:

1) «Всякая организация с революционными целями — вредна и чем она совершеннее и конспиративнее, тем она опаснее»;

2) «Никакая революционная программа не может служить гарантией безвредности сообщества даже в ближайшем будущем».

Зубатов потянул еще немножко, но в октябре в присутствии «его превосходительства» Г. Семякина в доме Барыбина был все же произведен обыск, давший, впрочем, довольно жалкие результаты: нашли только гектографию, да и ту уже не на ходу, а зарытою в землю, в саду. Большого дела не получилось.

Так выглядит эта история под пером знатока полицейских интриг Л. Меньщикова. Попробуем, однако, вчитаться в нее повнимательнее. С чего бы это департаменту внушать московской охранке, что «никакая революционная программа не может служить

гарантией безвредности сообщества»? Неужели Бердяев с Зубатовым придерживаются иной точки зрения? Если так, а дело обстоит, видимо, так, то стоит вникнуть, что же за программа могла, на их взгляд, гарантировать «безвредность» творящихся в подполье дел?

Откроем второй номер того самого гектографированного журнала «Союз», что выпускался в Твери от имени «соединенных групп социалистов-революционеров»: «Соединенные группы считают экономические требования столь же существенными для целей партии, как и требования политические... Но при экономической программе они придерживаются своего основного правила: требовать только ближайших, постепенных реформ, стремиться к проведению мероприятий, практически осуществимых». Что касается террора, то группы, не отрицая его в принципе, считают все-таки, что «при настоящем положении вещей, когда вопрос идет о широком общественном движении», от него следует отказаться.

Нет, очень возможно, что Семякин и чувствовал уже на затылке горячее дыхание молодого и зубатого коллеги, «осадить» которого был весьма не против, но здесь это явно был мотив лишь сопутствующий. Спор шел именно об этой программе, некоторыми своими положениями весьма напоминавшей гольцевское сочинение «О Земском Собрании». Ее-то безвредность (видимо, очень осторожно, «по крайней мере в ближайшей перспективе» — потом-де, если что, успеем прихлопнуть!) и пытался отстаивать перед своим начальством Зубатов.

Увы!.. Не удалось. «Я верил,— напишет он через полтора десятилетия,— что развивающееся равновесие общественных сил сделает излишним механический фактор». И мы можем убедиться: действительно верил, доказывал, хотя это и было, без сомнения, не так уж выгодно для реноме восходящей звезды полицейского сыска.

И тут-то, наверное, самое время сказать несколько слов в оправдание тех казуистических способностей человеческого ума, о которых упоминалось выше. Вообще-то к ним принято относится с презрением, в чем тоже есть свой резон, но все-таки...

Все-таки нельзя не заметить, что изобретенное Зубатовым идейное оправдание своего перехода в ох-

ранку — оно-то и позволило ему сохранить тот «чуток души», о котором мы помянули в самом начале. И этот «чуток», как видим, настойчиво требовал от него в дальнейшем поступков для жандарма совсем не стандартных. Требовал быть человеком, а не только чиновником.

Впрочем, тверская операция, в ходе которой Зубатов-политик потерпел явное поражение, стала для Зубатова-сыщика началом блистательного взлета: «Департамент полиции, потерявший веру в жандармов, стал часто осуществлять свои расследования при посредстве московского охранного отделения».

Политику же и реформаторские потуги опять пришлось отложить до лучших времен. Впрочем, не за горами было уже и 20 октября 1894 года, когда смерть тяжелого (во всех отношениях) самодержца Александра III вызвала разного рода подвижки на всех этажах власти, в том числе и столь для Зубатова благоприятную, как замена московского обер-полицмейстера Власовского, не очень-то склонного слушать «умничанья» молодого да раннего охранника, на «только что слезшего с лошади» полковника Д. Ф. Трепова. Зубатовская судьба приближалась к главным своим рубежам — тем, за которыми он начинает действовать уже не столько как сыщик, сколько как политик.

Но кем же вступает он на эти рубежи? Кто он по своей главной сути? Шпион? Предатель? Провокатор? Беспринципный карьерист? Ловец чинов и дензнаков?

М. Соломонов, Л. Меньшиков, К. Терешкович и многие другие имели полное право считать его предателем и шпионом. Обвинение в провокаторстве тоже, увы, не бьет мимо цели. «Когда, — вспоминает Терешкович, — по инициативе рязанцев было решено поставить в Москве типографию, но не хватило шрифта, я обратился к Зубатову, он взялся его достать и, разумеется, достал».

Но это только одна сторона. А есть и другая.

У того же Зубатова, как мы видели, свой, весьма устойчивый комплекс идей, свое, тоже весьма устойчивое, представление о путях дальнейшего общественного развития. «Сам я верил и верю, — писал он В. Л. Бурцеву в 1906 году, — что правильно понятая монархическая идея в состоянии дать все нужное стране при развязанности общественных сил, притом без крови

и прочих мерзостей». Вот наиболее общая формулировка его программы. И в общем-то вся его политическая деятельность в эту программу вписывается. У нас нет оснований говорить, что он изменял ей или ею маскировался, и следовательно, мы не можем отрицать, что он жил и действовал как человек идейный и принципиальный — независимо от того, нравятся нам или нет его идеи и принципы.

«С другой стороны,— писал он в редакцию «Вестника Европы» о рабочих, арестованных московской охранкой в 1896 году,— поступая с массой этих темных людей формально, *сознательное должностное лицо* рисковало не только *не достичь конечных целей своей служебной деятельности*, но и являлось способным «рубить сук, на котором сидело» (подчеркнуто мною.— В. К.)».

Так кто же такой Зубатов?

Зубатов — «сознательное должностное лицо», идейный чиновник, желающий «достичь конечных целей своей служебной деятельности», а следовательно, эти цели и формулирующий, и им подчиняющий свои действия, а потому, как увидим, и непрестанно входящий в конфликт с бюрократическою системой.

Думаю, что рассказанного в этой главе достаточно, чтобы обрисовать и личность Зубатова, и его идею (по крайней мере в тех смутных, зародышевых формах, в которых она существовала в начале 90-х годов); что же касается его судьбы, то ведь судьба человека идейного в своих главнейших чертах определяется судьбой его идеи, ее столкновением с действительностью. Так что рассказ о судьбе Зубатова неотделим далее от истории «зубатовщины», а она и составит сюжет целого ряда последующих глав этой книги.

Глава вторая

«Политический мужик»

Два очень разных наблюдателя и участника российской политической жизни отметили одну и ту же дату — 1896 год — как начало совершенно нового этапа ее развития.

«„Что это ноне все политического мужика стали сюда возить? — спросил меня в 96-м году старый седой над-

зиратель московской тюрьмы, водивший обыкновенно политиков на прогулку. — Раньше все господ возили, студентов там, барышень, а теперь вот наш брат, серый мужик-рабочий пошел», — писал первый историк РСДРП М. Лядов, в 1896 году и сам вместе со многими рабочими очутившийся за решеткой. — «Политический мужик», т. е. рабочий, с 96-го года все больше и больше начинает теснить политического барина».

«В 1896 году в Москве обнаружилось массовое рабочее движение, поднятое революционерами, — отмечает и С. Зубатов. — Естественно, за арестами главарей в помещении охранного отделения потянулись массы необычных клиентов — в лице рабочих».

Чувства, рожденные открытием этой новой черты политической ситуации, у наших наблюдателей, понятно, разные. У Лядова «необыкновенные клиенты» охранки и тюрем рождали надежду и гордость, у Зубатова — тревогу и тяжкое недоумение.

И то сказать! Давно ли, казалось бы, Михаил Никифорович Катков уверенно пугал «человека в цилиндре», т. е., надо полагать, либерала и вообще интеллигента, «слесарем с закопченными руками», который вот-вот-де скажет ему: «Спуску вам много давали. Всех бы давно передушить». И вдруг, спустя каких-то полтора десятка лет, этот самый слесарь превращается в «политического мужика»!

Задумаешься! «Попадаясь с прокламациями так называемого «частного характера», — писал задумавшийся Зубатов, — то есть с такими, в которых излагались одни только бытовые неурядки, без какой-либо революционной фразеологии (дурная основа, придирки мастеров и пр.), но внизу которых значилась обычная революционная подпись (такой-то союз российской социал-демократической рабочей партии) с приложением печати партии, рабочие эти попадали в удивительное и непонятное для себя положение: в охранном отделении интересовались вопросом, от кого такой-то рабочий получил прокламацию, где достал ее, принадлежит ли он к издававшему ее преступному обществу, а рабочий сворачивал все время разговор на содержание листка, на мастера, основу и пр. Подобного рабочего, взятого на месте преступления, надлежало бы выслать, а он, в сущности, оказывался политически невинен, как младенец. Мало того, вслед за его арестом являлась его жена с ребятами и плакалась, что ей с семьей есть нечего. Создавалась

настоятельная необходимость серьезно разобраться во всей этой путанице, а пока что приходилось прибегнуть к самоограничению и самообузданию в области репрессий».

Репрессии — это, впрочем, такая область, где российскому чиновнику прибегнуть к «самоограничению» во все времена было особенно трудно. В столице, во всяком случае, «самоограничиться» не пожелали. И в том же 1896 году во время стачки «стали силой принуждать идти на работу. Конные жандармы, напавшие на толпу рабочих на улице, гнали ее по направлению к фабрике и загоняли во двор... Околоточные и городовые, в сопровождении дворников, по утрам врывались в квартиры, стаскивали рабочих с постели, полураздетых женщин отрывали от детей и тащили на фабрики. Рабочие прятались куда могли: на чердаки, в сиртиры...»

Веселая жизнь! Даже правительству стало ясно: с этим надо что-то делать. И как всякая развитая бюрократия, оно поступило двояко: одной рукой были сделаны некоторые уступки, издан 2 июня 1897 закон «о нормировке рабочего времени», т. е. об ограничении его 11½ часа днем и 10-ю ночью; а другой — был тут же подписан циркуляр МВД от 12 августа, суть которого, по словам одного из невольных его исполнителей — фабричного инспектора С. Гвоздева, сводилась к тому, чтобы ни в коем случае не допускать уступок рабочим и прекращать забастовки репрессивными мерами: расчетом рабочих, высылкою их по месту жительства и арестом «зачинщиков».

Ну и, решив таким образом «рабочий вопрос», правительство наконец-то пожелало его изучить. Хотя бы элементарно — узнать, сколько в стране рабочих, где они живут, сколько зарабатывают, отчего бастуют...

Читателю, не забывшему тут удивиться и возмутиться: почему, мол, так поздно, не первая же была забастовка? — предлагаю тут самому немножко поразмышлять. Ибо эта традиция — «открывать» всякую подвижку общественных сил с большим запозданием и оттого особенно болезненно — благополучно жива у нас и поднесь. Итак, уважаемый читатель, почему? Ну?.. Правильно! Считалось, что «рабочий вопрос» — это только там, на Западе, а в России такого нет и быть не может! «Благодаря счастливым условиям землепользования, — говорится в «резюме» одного из заседаний Комитета министров, — большая часть русских рабочих тесно

связана с землею и на фабричные работы идет как на отхожие промыслы, ради подсобного заработка, сохраняя постоянную живую связь с деревней...»

Стойкости сих «патриотических» понятий у власть имущих немало способствовали наши родные — и тоже почти бессмертные! — методы изучения действительности. Ибо, решив наконец-то все о рабочих узнать, правительство первым долгом засекретило документацию собственной фабричной инспекции, запретило газетам сообщать о стачках и «входить в рассуждения об онных», а затем разослало по всей стране эмиссаров в высоких генеральских чинах.

«В конце 90-х годов жандармский генерал Пантелеев... объезжал ряд губерний с целью собрать материал о положении рабочих,— пишет уже знакомый нам С. Гвоздев.— Источником, из которого он черпал нужные ему сведения, являлись, конечно, чины полиции. И вот перед приездом генерала ко мне является жандармский ротмистр; с таинственным видом он закрывает все двери в мой кабинет и шепотом сообщает, что пришел ко мне по весьма секретному делу... А именно: узнать, сколько же зарабатывают рабочие? Я сказал, что в моем участке заработок рабочих колеблется в пределах от 3 руб. 50 коп. до 60 руб. в месяц. Я сказал правду, нисколько не кривя душой, и не мог сказать ничего иного, не вдаваясь в длинные объяснения, едва ли доступные жандармскому пониманию, но я не знаю, какие выводы мог сделать отсюда генерал Пантелеев».

Чему удивляться? «Дух бюрократии,— как замечено еще Марксом,— есть тайна, таинство», а Россия, как задолго до нас сказано, «самая бюрократическая страна в мире». Но понятно, что если мы действительно хотим знать, сколько же в России конца прошлого века было рабочих, как они жили и почему бастовали, то заглядывать в генеральские отчеты нам незачем.

Легче всего ответить, сколько было рабочих. Согласно итогам переписи на 28 января 1897 года — 7 042 959 человек. Правда, ряд статистиков, и среди них такой известный, как А. Погожев, считали эти данные заниженными. Возможно. Но даже учтя все предлагавшиеся ими поправки, мы получим цифру никак не больше девяти миллионов. Для стодвадцатимиллионной страны с двухмиллионной регулярной армией это немного. Однако же значение того или иного общественного слоя в политической жизни да-

леко не всегда определяется его численностью. Зубатов, например, считал, что сила рабочего класса в том, что «в его руках обреталась вся техника страны» и что он «опирался внизу на крестьянство, к сынам которого принадлежал», а сверху «необходимо соприкасался» с интеллигенцией. «Будучи разъярен социалистической пропагандой и революционной агитацией в направлении уничтожения государственного и общественного строя, коллектив этот мог оказаться серьезнейшей угрозой для существующего порядка вещей».

Однако же просто так, одной пропагандой, «разъярить» миллионы людей — задача невыполнимая. Для пропаганды нужна почва, нужны объективные предпосылки... Это понимало даже правительство, и даже оно желало знать: есть ли таковые? И в чем заключаются?

Нам с вами ответ вроде бы известен давно, его легко можно найти в любой популярной книжке о революции: «Доведенные до отчаяния голодом и нищетой, рабочие...»

Но, читая не популярные книжки, а документы и свидетельства современников, насчет голода и нищеты начинаешь испытывать все возрастающие сомнения. Действительно ли рабочий жил хуже, беднее, чем, например, крестьянин?

Конечно, всякое покушение на постулаты, игравшие в течение десятилетий роль азбучных истин (а тезис о голоде и нищете рабочих безусловно принадлежит к таковым), занятие опасное. Тем более — когда у вас нет обобщающих данных и выводы приходится строить на сопоставлении результатов частичных, выборочных обследований и разрозненных свидетельств современников. И все-таки...

И все-таки давайте попробуем, по-возможности объективно, представить себе уровень жизни российского рабочего на грани веков. Начнем с заработков. Согласно поданной в Министерство финансов справке, средняя заработная плата на Путиловском заводе с 1899 по 1904 год выросла с 37 руб. 54 коп. до 43 руб. 46 коп. За средними цифрами, как и всегда, скрыт довольно широкий разброс зарплат в зависимости от профессии и квалификации. Мастерские инструментальной мастерской получали, например, в среднем 59 руб. 47 коп., а рабочие по двору — только 18 руб. 59 коп. в месяц.

Но, главное, как нам оценить эти цифры? Те же 40 руб. в месяц — это много или мало? Если сопоставить

с ценами на основные продукты питания — в 1891 — 1900 годах фунт печеного хлеба стоил 2,1 коп. (чуть больше 5 коп. за килограмм), а мясо — 4 руб. 44 коп. пуд (28 коп. килограмм); а в 1901—1904 годах цены на хлеб и мясо составили соответственно 2 коп. (5 коп. килограмм) и 4 руб. 77 коп. (30 коп. килограмм), — то заработки рабочих на грани веков покажутся нам весьма приличными. Но полученная таким образом картина конечно же неверна! Дело в том, что продукты питания в аграрной России были весьма дешевы, необходимые же промышленные изделия, и особенно жилье, — дороги.

По данным М. И. Покровской, «на Выборгской стороне стоимость квартир во всех домах колебалась от 5 до 30 руб. В среднем же квартира обходилась 13 с половиной рублей с водой, но без дров. На дрова следует в среднем считать 4 руб. в месяц». Конечно, в других городах, а особенно в селах, цены на жилье были скромнее, но и заработки там были поуже.

В 1904 году комиссия по улучшению быта рабочих военного ведомства на основании обследования бюджетов рабочих семи крупнейших заводов определила прожиточный минимум в столице для одинокого мужчины в 21 руб., а для одинокой женщины — в 17 руб. в месяц. Прожиточный минимум для семейных был определен от 32 до 38 руб. в месяц, в зависимости от участия трудоспособных членов семьи в общих расходах.

Что ж... Если, имея в руках эти данные, снова взглянуть на заработки путиловцев, то увидишь, что рабочие по двору там действительно бедствовали и голодали, сторожа и дворники (среднемесячный заработок — 21 руб. 90 коп.) могли прожить, только будучи холостыми, зато все остальные существовали более или менее сносно. Во всяком случае, питаться и одеваться могли не хуже, чем крестьяне или мелкие ремесленники, даже лучше. И наверное, не случайно в России, в отличие от всей Европы, уровень смертности в больших городах был даже ниже, чем в сельской местности. Поскольку экологические и морально-психологические условия городского существования заведомо хуже, то это объяснимо только более высоким уровнем потребления.

И еще одно: если были рабочие, не получавшие даже прожиточного минимума, то были ведь и другие. Читая воспоминания рабочих тех лет (а их, естественно, оставили лишь наиболее грамотные и квалифицированные),

то и дело наталкиваешься на упоминание заработков в сто и больше рублей, то есть в 2,5—3 раза выше семейного прожиточного минимума. Что же перед нами — рабочая аристократия, которой нет дела до проблем основной массы? Можно бы сказать и так, но имена именно этих рабочих будут то и дело встречаться в нашем повествовании в качестве руководителей и инициаторов забастовочного движения.

Но если не было голода и нищеты, то неоткуда было взяться и отчаянию — так? Нет!.. Отчаяние-то как раз было! Было тягостное ощущение заведомой ущербности своей жизни, отверженности, какой-то ее окаянности... Вот это как раз и не выдуманно! «Как-то раз мне случилось пойти в гости к одному чернорабочему, — вспоминал питерский мастерской Л. Тимофеев. — Жил он в артельной квартире, в которой кроме него помещалось еще 17 человек. Квартира эта представляла собой большую, сильно закопченную комнату с двумя окнами... Посреди комнаты стояли длинный стол на козлах и две такие же длинные скамьи... Рядом с комнатой — кухня, служившая в то же время и прихожей. В углу кровать кухарки. Вот и вся обстановка квартиры, где помещается 18 человек. Оказалось, что из 18 женаты были одиннадцать и у всех жены в деревне. Только к одному недавно приехала жена, не видевшая своего мужа целых четыре года... Количество денег, высылаемых в деревню каждым членом этой артели, не превышало 3—5 рублей в месяц».

Насколько типична эта картина совершенно безрадостного, отчаянного бытия? Согласно переписи 97-го года, только 42% петербургских рабочих-мужчин и только 35% женщин состояли в браке. По выборочным же обследованиям В. Леонтьева (Положение текстильных рабочих в Петербурге. Мюнхен, 1906), дети каждого четвертого из женатых рабочих проживали не с ним, а в деревне. Так что «счастливые условия землепользования» и «живая связь с деревней» означали для многих рабочих не что иное, как невозможность нормальной семейной жизни и необходимость, урезая себя во всем, отправлять в деревню часть заработка. И притом значительную. Ведь 3—5 руб. в месяц — это от одной восьмой до четверти среднего заработка чернорабочего! Причем деньги эти вовсе не обязательно отправлялись семье. В обследованных Леонтьевым рабочих бюджетах встречаем мы и такую, например, неожиданную статью расходов: «Припла-

чивает три рубля к сдаваемому наделу». А в «Материалах для оценки земель Владимирской губернии» (т. X) упоминается о том, что живущие в городах рабочие вносят миру свою долю оплаты старосты, караульщиков, мукосеев, — даже «за расхищение хлеба в запасном магазине».

Объясняются эти странности просто. В 1894 году Государственный совет, утверждая новое положение о видах на жительство, исходил из того, что «пока будет существовать круговая порука членов общества, последнее не может быть лишено права побуждать их к исправному выполнению лежащих на них повинностей и прибегать в этих видах, между прочим, к задержанию их отлучек по паспортным документам». Естественно, что, имея в руках такую узду, община смотрела на *своих* рабочих как на возможный источник дохода. Отсюда и засвидетельствованное Л. Тимофеевым правило: чем рабочий сильнее связан с деревней, тем беднее обставлено его «городское проживание».

Итак, рабочих в России около 9 миллионов, и большинство из них относится если и не к наиболее нищим, то к наиболее бесправным жителям империи. Во всяком случае, они ощущают свое бесправие чаще и острее прочих, поскольку выбиты из колеи крестьянского быта, оторваны ото всего родного, живут нездоровой, крайне скученной, по большей части бессемейною жизнью, в которой, естественно, постоянно чем-то ущемлены, раздражены, постоянно подозреваемы в склонности к бунту и в самом деле, пожалуй, склонны к нему.

Уяснив это, стоит задать себе третий из «генеральских» вопросов: чего они хотят, чего добиваются? Отчего бастуют?

Требования, выдвигавшиеся по ходу различных забастовочных движений, нам известны, перечислены во многих книжках, но... Но я не уверен, что смысл их до конца понятен, что мы постигли чувства и стремления, руководившие этими людьми. Ибо, как писал уже знакомый нам рабочий Л. Тимофеев, «жизнь рабочих так замкнута и так ревниво оберегается заинтересованными людьми от посторонних глаз, что решить его (вопрос о подлинных причинах забастовочного движения. — В. К.) бывает нелегко. В свою очередь, те требования, которые выставляются рабочими во время массовых движений, сами по себе не дают еще полного понятия о желаниях и стремлениях большинства рабочих, взятых порознь».

Так что давайте попробуем понять, что же стояло за типичными требованиями забастовщиков (тем более что и в современной жизни такие размышления могут иметь не только чисто теоретический интерес).

Историки делят требования забастовщиков в основном на экономические и политические. Но возьмем такое популярное «экономическое» требование, как «отмена штрафов». Велик ли был от них ущерб, многое ли могли выиграть здесь рабочие?

На Путиловском средний размер штрафов составлял 2 руб. 63 коп. в месяц, т. е. около 5% заработка. Но столица и тут всех сильно опережала. В провинции (например, по участку фабричного инспектора С. Гвоздева) штрафы за 1900 год составили всего 0,61% заработка рабочих. И тот же Гвоздев, однако, пишет: «Штрафы — это бесконечный источник печалей рабочего класса. Это — **самая досадная** статья расхода». Почему? Да потому, что «при наложении взысканий больше, чем при каких-либо иных действиях заведующего, может проявляться его пристрастное отношение, может отражаться его случайное настроение, могут сказаться посторонние влияния». Именно штрафами «хозяева хотят выразить свое глумление над рабочими... постоянно напоминая ему о той зависимости, в какой он находится» (Л. Тимофеев).

Еще меньше экономического смысла в таких популярных «экономических» требованиях, как обратный прием уволенных товарищей или, наоборот, увольнение ненавистного мастера. Ведь никто ж при этом всерьез не надеялся, что новый мастер будет, скажем, больше платить, но... «Мастер — это тот винт в заводской жизни, который ближе всего нажимает на рабочего и от которого ближайшим образом зависит его существование...» И требование забастовщиков об удалении мастера выступает на заводе таким же последним и единственным ограничением произвола, как и гвардейский шарф на шее императора.

Популярность таких требований отнюдь не свидетельствовала о нищете рабочих. Это был протест против социально-нравственной приниженности, собственного бесправия и произвола администрации. Это был вопрос гордости, а не «желудка», борьба за человеческое достоинство, а не за «копейку»... Что и запомним. Хотя были, конечно, и чисто экономические требования — как не быть?

И еще одно немаловажное соображение — о хозяевах. По данным А. Погожева, за последнее десятилетие XIX века возникло не менее 40% всех фабрично-заводских предприятий, имевшихся в России накануне первой революции. Эта «учредительская горячка» отражала стремительное расширение основного промышленного и транспортного капитала России. По приблизительным оценкам экономистов, мощность производственного аппарата промышленности выросла в стране за последнее десятилетие XIX века в два, а тяжелой индустрии — в три раза!

Столь бурный рост возможен только в ранней молодости. Капитал же в молодости, как известно и из истории иных стран, особенно безжалостен и нахрапист. Его хватательный рефлекс еще не ограничен мудрым предвидением отдаленных последствий. Он «жить торопится». «К общей характеристике фабрикантов, — свидетельствует С. Гвоздев, — следует добавить, что большинство их обладало удивительной мелочностью, скупостью, почти граничащей со скаредностью, главным образом, конечно, в том, что не касалось их лично самих; вместе с тем они иногда проявляли полное невнимание к таким дефектам в деле, которые приносили им громадные убытки».

Вот эта молодая, бестолковая наглость и мелочность российского капитализма, многократно к тому же умножаемая нашей патриархальщиной и традиционным небрежением личностью зависимого человека, неколебимой уверенностью, что «нанялся — продался» и «закон барину не указ», и создавали тот господствующий фон отношений, при котором в рабочем ценилось не мастерство, не выучка, даже не старательность, а более всего — покорность и вечная благодарность «благодетелю фабриканту». У того же С. Гвоздева, откровенного радетеля капиталистического производства, но человека вдумчивого и объективного, находим мы, например, такое свидетельство: «Общее число рабочих за 8 лет увеличилось более чем в полтора раза, а за 12 лет моего заведования участком вдвое». Но при этом «рабочих пришлых из других промышленных районов на фабриках моего участка никогда не было (владельцы считали их смутьянами. — В. К.). Мужчин местных, уже в известной степени эмансипированных фабрикой, фабрика часто браковала, как элемент наиболее беспокойный... То, что они более опытные, более искусны в работе, фабриканты не ценят, они не могут еще ценить этого, не в пример запад-

ноевропейским предпринимателям». А в результате: «За восемь лет значительно увеличился процент наиболее слабых и отчасти менее оплачиваемых работников — женщин, подростков и малолетних».

Но «молодая жадность» капитала — явление интернациональное. И влияние феодальных традиций на подобном этапе развития — так же. Особенность же российской ситуации в другом — в традиционной государственной поддержке промышленности и в государственном же, полицейском подавлении рабочего движения, всякого вообще протеста. Как мы увидим дальше, это полицейское подавление зачастую соответствовало желаниям и даже прямо выраженным требованиям капиталистов. Но соответствовало ли оно интересам капитализма как общественного строя? Интересам развития национального хозяйства страны?

Да ни в малейшей степени! Ускоренное развитие промышленности требует постоянного качественного улучшения рабочей силы, роста ее мастерства, знаний, здоровья... Возьмем хотя бы самое элементарное: квалифицированный промышленный труд требует грамотности, знаний; того же требуют и сами условия существования рабочих — новая, урбанизированная среда, которая стихийно создается ими и вокруг них. И русский рабочий тянулся к знаниям, но в то же время всякий рабочий знал, что с книгами надо обращаться очень осторожно и читать их так, чтобы товарищи не видели, потому что и они могут в известную минуту удостовериться его «неблагонадежность», так как он «книжки читал» (Л. Тимофеев).

Российская полицейщина очень любила российский капитализм, потакала ему во всем! И — это можно сказать без всяких преувеличений — поистине душила его в объятьях!

Итак, жизнь фабричная, заводская была на грани веков зоной наибольшего социального напряжения, аккумулятором протеста, взрывной, разрушительной силы... Но значит ли это, что рабочий вопрос в России имел только одно, революционное решение?

Тут мы опять упираемся в представление, десятилетиями игравшее роль азбучной истины: борьба рабочих за свои права ведет к революции и ни к чему иному привести не может. Но так ли это?

В цикле своих статей о различных перипетиях первой русской революции известный историк П. Н. Милюков

предпринял настойчивые попытки разграничить такие понятия, как «социализм» и «революционаризм». «Социализм,— писал он,— есть мировоззрение; революционаризм есть метод, прием. В стране с развитой политической жизнью социализм может бороться мирными и легальными средствами; в России и предводители дворянства в своих недавних заявлениях выступали настоящими революционерами». И далее: «Революция есть только метод, способ борьбы, а не цель сама по себе».

Милюков, как известно, кадет и вообще будущий министр Временного правительства, так что он нам не указ! Если мы и обращались иногда к его соображениям, то лишь для того, чтобы с презрением их отвергнуть. Революция априори была признаваема за величайшее благо и единственный путь к социализму. Над реформизмом принято было смеяться, и, указывая на его никчемность, мы с торжеством цитировали Розу Люксембург: «Кто высказывается за законный путь реформ **вместо и в противоположность** завоеванию политической власти и общественному перевороту, тот выбирает на самом деле не более спокойный, не более надежный и медленный путь к той же **цели**, а совершенно **другую** цель, именно — вместо осуществления нового общественного порядка только незначительные изменения в старом».

Изысканы были и другие убедительные цитаты на ту же тему.

Например, французский социалист Ги Молле уже в конце шестидесятых годов нашего века писал: «Ни в одной из стран, где социал-демократы находились у власти, им не удалось преобразовать экономический строй. Именно Скандинавские страны дают нам наилучший и наглядный пример. Я полагаю, что наши товарищи получили от капиталистического общества все, что можно было получить посредством реформ. Но наступает время, когда следовало бы сделать решающий шаг, скачок и начать штурм самого капиталистического режима, то есть развязать подлинный революционный процесс».

За последние годы доказательная ценность цитат у нас, однако, резко упала. Мы стали требовать фактов. И даже научились наконец замечать некоторые из них. Мы, например, обнаружили, что в Швеции, хотя и не случилось там ни революций, ни гражданских войн, ни коллективизаций, ни иных «глубочайших вторжений» в природу частной собственности, социализма все же каким-то образом куда боль-

ше, нежели у нас. А известнейший экономист и парламентский лидер Гавриил Попов первым стал утверждать, что «опыт французской и нашей революций говорит о глубокой противоречивости метода революций и ограниченности их конечных итогов. Анархия и стихия имеют одну перспективу — диктатуру, революционную или консервативную, но в любом случае несущую огромные беды трудящимся».

Конечно, «ограниченность итогов» любой революции — вещь очевидная. Но именно признание очевидностей дается подчас лишь огромным трудом, почти героическими усилиями. Так не пора ли сделать еще один шаг в том же направлении — не пора ли признать, что отнюдь не все, что вело к революции и вызывало ее, было благом? И не все, что ей противостояло, — злом? Что если революционные цели — т. е. все то, что либерал Милюков называл «переворотом в условиях жизни и приемах мысли» и что виделось ему как «нечто непобедимое и неотвратимое, нечто надвигавшееся на нас с железной последовательностью стихии», — были достижимы на пути реформ, то, быть может, именно этому пути и следовало отдать предпочтение? И если этого не произошло, то, очевидно, не благодаря кому-то и не по вине кого-то, а потому, что выбор между революционным и реформистским путем совершается только всем обществом, являясь некой равнодействующей всех его прозрений и заблуждений, подвигов и преступлений.

Так не вытекает ли отсюда и следующее: никакая перемена оценочных знаков (чем сейчас, когда пишется эта книга, увлечено множество людей, кажущихся себе очень смелыми) сама по себе в истории, а тем более — в истории революции, серьезного значения не имеет, и уж тем более — никак не подвигает нас к истине. Исследователь и вообще не должен заранее знать, кто прав и кто виноват, — его дело — выяснить правоту каждого из его героев (будь это конкретные лица или целые социальные группы — неважно), понять причину возникновения у них тех или иных стремлений, идей, интересов (независимо даже от того, в результате прозрений или заблуждений они возникали!), увидеть механизм и результат столкновения их с идеями и стремлениями других...

Такая задача, понятно, намного сложнее. И нет никаких гарантий, что справишься. Но — не попробовать ли?

«Бывали ли вы, читатель, когда-нибудь в крупных фабричных селах средней России? Невеселая картина представляется здесь вашему взору. Голая, ровная местность; непаханные и несеянные, поросшие сорной травой голые поля; тихо протекающая в ровных берегах без кустика, без ракирки вонючая речка,— вот обычный ландшафт, среди которого, проезжая по селу, вы издали видите высокие трубы и громадные корпуса фабричных зданий... Вы увидите здесь длинные ряды маленьких избушек без всяких признаков хозяйственных построек, утопающих в убийственной грязи и нечистотах; вы увидите полуголых ребятишек, копающихся среди сорных куч; развешанное на веревках и кольях тряпье, представляющее одежду обитателей этих лачуг; заметите массу подозрительных чайных с пьяными субъектами возле них...»

Это все тот же С. Гвоздев, фабричный инспектор. Но вчитайтесь, вслушайтесь, *как* он пишет о жизни рабочих. Не правда ли, это повествование о чем-то странном, загадочном, даже болезненном?

На грани веков жизнь рабочих вообще была модной литературною темой. О ней писали консерваторы, либералы, радикалы... Солидные журналы охотно помещали «очерки рабочего быта», и, скажем, многожды цитировавшиеся мной довольно корявые записки рабочего Тимофеева увидели свет не где-нибудь, а в «Русском богатстве»! И вот, чем глубже погружаешься в море этой литературы, тем яснее тебе, что жизнь рабочих для большинства авторов есть некая терра инкогнито, неизвестная, неведомо когда и как возникшая жизнь, непонятная, но своей непонятностью и манящая, именно ею и внушающая кому надежды, а кому — опасения.

Даже у радикалов, стоит им отойти от теоретического пафоса, заговорить о чем-то конкретном и бытовом, сразу обнаруживается та же опасливая неуверенность, с которой, впрочем, и свойственно всякому человеку погружаться в незнакомую для себя среду.

Вот, например, воспоминания профессора Святловского, в девяностые годы одного из руководителей социал-демократических рабочих кружков в столице:

«Летом 1890 года я вернулся в Москву, а с осени переехал в Петербург для работы в Публичной библиотеке в условиях самостоятельной жизни и самостоятельного заработка, чего требовала выработанная мною к

тому времени программа **практической** жизни и поведения. Это была смесь ригоризма со стоицизмом, смутная ненависть к буржуазной изнеженности и извращенности и стремление к простой и трудовой жизни. Я ходил в поддевке, грубых сапогах и кожаной фуражке, старался спать без матраса на досках, есть только самое простое и необходимое. От денежной помощи матери я решительно отказался и жил только на свой скудный заработок...

Через несколько дней я был введен Лунеговым в «кружок». Как сейчас помню плохо освещенные улицы и какие-то проходные дворы в Коломенской части, через которые, почти крадучись, я шел с Лунеговым и одним из его соквартирантов в «кружок» на квартиру рабочего экспедиции кузнеца Егора Афанасьевича Афанасьева, у которого должны были происходить занятия. В довольно просторной комнате, — Егор в качестве кузнечного подмастерья хорошо зарабатывал и имел неплохую квартиру, — уже собралось семь человек рабочих разного возраста».

Какова атмосфера таинственности, опасности!.. А ведь занятие в кружке посвящено химии и никакого отношения к политике еще не имеет!

В течение почти четверти века — целого исторического периода! — кружки, подобные описанному Святловским, были едва ли не единственным «местом встречи» рабочих и радикальной интеллигенции. При этом, однако, стороны смотрели на смысл этих встреч во многом по-разному.

Интеллигенты шли сюда вооруженными идеальными представлениями о народе вообще и о рабочих в особенности, о той особой роли, которую должен сыграть рабочий класс в построении светлого будущего. Образовательные программы были для них необходимой, но переходной и даже докучной частью работы. Как пишет тот же Святловский, «параллельно с занятиями политическими и экономическими вопросами *приходилось* (выделено мною. — В. К.) внедрять начатки общего образования и общего мировоззрения. Некоторых на этот путь, весьма возможно, подталкивало общее увлечение позитивизмом, так как тогда многие были уверены, что истинное понимание социального вопроса может явиться только в результате медленного и продолжительного развития».

Для Святловского, пишущего свои воспоминания уже после революции, такой подход к делу кажется слишком вялым, а следовательно — ошибочным. Это понятно. «Руководители спешили перейти к политике. Рабочим же по некоторым предметам хотелось получить дополнительные и более обстоятельные сведения, так как вообще «учиться» желание было исключительно большое» (В. Святловский). И это, наверное, тоже понятно.

Ввиду того что каждая сторона в кружковой работе имела свои цели, не всегда принимаемые и даже понимаемые другой, то и плодами ее ни одна из сторон не оставалась довольна. Кружковая работа, пишет Юлий Мартов в своих «Записках социал-демократа», «сообщала кой-какие знания сотням пролетариев и приобщала их к социалистическим идеям, но при этом часто отрывала лучших из наших учеников от их класса материально, содействуя их переходу в мастера (иногда более способные наши ученики, подготовившись, сдавали экзамены в виде «экстернов» и переходили в состав интеллигенции); главное же, создавала среди пропагандированных рабочих свой особый замкнутый кружковый мирок, противостоящий широкой пролетарской массе, к которой нельзя было подступиться со стороны книжки, толкующей о дарвинизме или экономических законах».

«Нет! Нам, конечно же, требуется нечто иное!» — считали молодые нетерпеливые революционеры (а революционеров терпеливых природа, верно, так и не изобрела). И собственное недовольство казалось им тем более обоснованным, что вокруг то и дело вспыхивал стихийный рабочий протест, громыхали забастовки, бунты, кончавшиеся частенько стычками с полицией и другими происшествиями... И думалось: вот он — сухой порох революции! Только поднеси спичку! А поднести не удавалось.

И это было тем более досадно, что рядом увенчивалась успехом пропаганда тоже социал-демократическая, но отнюдь не революционная — пропаганда «экономистов». Правда, цена этого успеха была для радикально настроенной молодежи совершенно несоразмерна. Ведь требовалось отказаться от целей высших и дальних — от ориентации на революцию! И полностью переключиться на презренные «вопросы желудка», на борьбу за те мелкие, частные уступки, которые можно *здесь и сейчас* вырвать у сильных мира сего.

«Марксизм нетерпеливый, марксизм отрицающий,— писал один из столпов «экономизма» Акимов,— марксизм примитивный (пользующийся слишком схематическим представлением классового деления общества) уступает место марксизму демократическому, и общественное положение партии в недрах современного общества должно резко измениться. Партия признает общество, ее узкокорпоративные, в большинстве случаев сектантские задачи расширяются до задач общественных, и ее стремление к захвату власти преобразуется в стремление к изменению, реформированию современного общества в демократическом направлении».

Увы, он спешил выдать желаемое за сущее! «Марксизм нетерпеливый» ничего уступать не собирался — наоборот, упорно искал новые методы воздействия на рабочих и на общество в целом. И это, конечно же, не было простым упорством, простым нетерпением.

Главным теоретиком и пророком для «экономистов» был Э. Бериштейн. «Нельзя не признать,— писал он,— что могущественное пространственное расширение всемирного рынка в связи с необычайным сокращением времени, необходимого для передачи сведений и перевозки, настолько увеличивает возможность сглаживания расстройств рынка, а чрезвычайно возросшее богатство европейских промышленных стран, в связи с эластичностью современной кредитной системы и с развитием промышленных артелей, настолько уменьшает обратное воздействие мелких и частичных расстройств на общее положение дел, что, по крайней мере на продолжительное время, можно считать невероятным возникновение всеобщих промышленных кризисов, подобных бывшим раньше».

Перечитав это беспристрастными нынешними глазами, мы, пожалуй, должны заметить, что в длительной исторической перспективе сей ревизионист оказался, безусловно, прав: капитализм выучился жить без кризисов. И произошло это именно благодаря расширению всемирного рынка, усложнению хозяйственных связей, эластичности кредитной системы, а также, не в последнюю очередь, и в связи с постоянным «сокращением времени, необходимого для передачи сведений и перевозки».

Но прав он именно и только в *длительной* перспективе. В перспективе же ближайших десятилетий его правота оказывается довольно сомнительной. Ведь капитализм поджидало в XX веке еще несколько жесточайших всемирных кризисов, войн и т. п.

Что же касается России, то в ней промышленный подъем уже в 1898 году сменился сползанием к кризису, которое было ускорено двумя неурожаями подряд. К тому же «экономисты» в упор не хотели замечать столь важную черту российской действительности, как государственно-полицейская поддержка капитала, при которой любая экономическая борьба поневоле становилась и политической. Это мы явственно видели, анализируя смысл стихийно возникавших «экономических» требований.

Короче, у «нетерпеливого марксизма» были свои зоны, свои точки опоры в действительности. И потому он, конечно же, нашел свои методы воздействия и пропаганды. В середине 90-х годов революционно ориентированная социал-демократия переходит от кружков к работе непосредственно в массах,— переходит, зачастую опираясь на те же кружки, но по-новому осмысливая их роль и значение. Из средства постепенной выработки цельного марксистского мировоззрения они становятся центрами ускоренной подготовки агитаторов, умеющих подходить к «серой массе», толковать с ней о «копейке» и тех же «вопросах желудка», а вовсе не о дальних социалистических ориентирах, но при этом, однако, экономическая борьба рассматривается лишь как средство сплочения и организации масс. Главной целью забастовки, скажем, становятся не те или иные уступки хозяев, не улучшение условий труда и быта, а сама по себе политическая «закалка», приобретаемая рабочими. Ю. Мартов вспоминает, что в 1896 году он приехал в Петербург и через друзей «пустил в петербургскую публику привезенную рукопись «Об агитации». Она читалась и обсуждалась в очень размножившихся с моего последнего приезда социал-демократических кружках и встретила очень хороший прием».

Брошюра эта действительно сыграла роль важную, чему удивляться не стоит, поскольку она была обобщением большой и успешной практической работы, сделанной в предшествующие годы автором и его друзьями в Западном крае,— работы, в результате которой и выросла такая боевая организация, как Бунд.

Но разворачивалась эта работа, как признает и сам Мартов, весьма драматично, ибо оказалось, «что для нее (рабочей молодежи.— В. К.) кружки были в известном смысле самоцелью, орудием приобщения к зна-

нию и личного выхода из темноты, в которой пребывали рабочие массы, и под этим углом зрения она смотрела на всю нашу работу... *Мы видели в них рычаги для приведения в движение всего рабочего класса, орудия в руках революционной организации; они смотрели на себя как на поднимающиеся из отсталой массы личности, создающие новую культурную среду* (выделено мною. — В. К.)».

Абрам Гордон, один из старых кружковцев, посвятил этим дебатам специальное сочинение — «Письма к интеллигентам». «Мы изображались автором в виде представителей чуждого рабочему классу буржуазного слоя, — пишет Ю. Мартов, — вздумавшего использовать рабочих для наших собственных целей, превратить их в пушечное мясо революции, для чего хотим удержать их в состоянии полужнания, чтобы навсегда упрочить свое политическое господство в рабочем движении. Этой нашей тенденции противопоставлялась народническая идея обязанности интеллигентов, вышедших из буржуазии, вернуть народу свой долг безоговорочной передачей им всех доступных им знаний, и нам предлагалось, отказавшись от претензий на руководство рабочим движением, смотреть на себя как на служебный аппарат, который должен быть в распоряжении выбивающихся из тьмы передовых рабочих».

Но «с конца 1894 года положение в Вильне стало улучшаться» (Ю. Мартов). Новый подход к делу поддерживали наиболее радикально настроенные люди, «несколько человек из недипломированной молодежи», которых Мартов, вероятно, не без оснований именует «полуинтеллигентами». Хорошо зная и еврейский язык, и быт местных ремесленников, каждый из них легко «собирал кучу бородачей из новой профессии¹, прямо подходил к «вопросам желудка» и призывал к боевой профессиональной организации, совершенно минуя темы об устройстве современного общества, о политической несвободе и дурмане религии...» Правда, новые методы агитации отразились и на самом движении: «Все чаще при проведении стачки в ход для вразумления штрейкбрехеров, а иногда и особенно подлых хозяев, пуска-

¹ Поскольку основную массу пролетариата в Западном крае составляли работники мелких ремесленных мастерских, то подпольные кассы взаимопомощи, из которых и вырос затем Бунд, строились вначале по цеховому признаку: «щетинщики», «слесари» и т. п.

лись кулаки и палки». Но то, что забастовки «обогащались» таким образом чертами неуправляемого бунта и даже вульгарных хулиганских выходов, не смутило, да, разумеется, и не могло смутить, столь бескомпромиссных революционеров. И не в хулиганстве здесь главная соль.

Признаться, мне очень грустно читать об этом переходе к «новым методам пропаганды» у разных авторов, а особенно — у Ю. Мартова. Ведь он был человек очень неглупый, а главное, безусловно интеллектуально честный, то есть не пугавшийся додумывать все до конца и видеть в своих делах и товарищах черты не только прекрасные. А тут — не увидел. Даже через четверть века, когда писал мемуары.

А ведь произошла поразительная, по сути, метаморфоза! Люди, считавшие своей главной задачей рост политического *самосознания* пролетариата, его *раскрепощение*, внесли в свою работу элементы политической манипуляции *чужим сознанием*, то есть прибегали к одному из самых подлых способов его закрепощения! Внесли, правда, без злого умысла, ухитрившись даже как-то и не заметить...

Удалось это, я думаю, по двум причинам. Во-первых, потому, что пропагандисты были неколебимо уверены в своей теоретической правоте, в том, что развитие самосознания рабочих все равно может привести лишь к тем идеям и результатам, которые уже им известны; а во-вторых — из-за слепящего революционного нетерпения, из-за того, что не было сил годами, десятилетиями ждать результатов, хотелось увидеть их быстрее, как можно быстрее, немедленно!

Что же до таких «аргументов пролетариата», как кулак и палка, т. е. попросту до хулиганства, то отношение революционаристского сознания к нему тоже не так просто, как на первый взгляд кажется.

«Зима 1893—1894 годов, — вспоминает известный большевик С. Мицкевич, — прошла вообще очень оживленно в Москве: устраивались часто «вечеринки» с докладами, образовалось много кружков «саморазвития», образовалось несколько политических групп, более знаменитая из которых, «босяки», хотела опереться в политической борьбе на будто бы революционный и многочисленный класс босяков, а также «разночинцев», понимая под этим словом мелкую служилую интеллигенцию».

Это подается автором как некий забавный курьез, этакое завихрение мозгов, по молодости лет и ввиду благих революционных намерений простительное. На самом же деле перед нами одно из наиболее ранних и потому «смутных» проявлений той грубо уравнилельной и антиинтеллигентской тенденции в российском рабочем движении, наиболее законченное выражение которой получило позднее имя «махаевщины».

О самом Иване (Яне-Вацлаве) Константиновиче Махаевском (Махаеве, А. Вольском) нам известно не так уж много. Родился он в 1867 году, юношей участвовал в польском национальном движении, при перевозке нелегальной литературы был арестован, пять лет провел в тюрьме, затем был выслан в Вилуюск. В ссылке им написан ряд трактатов, составивших затем его основной труд — книгу «Умственный рабочий». В 1900 году, отбыв ссылку, поселился в Иркутске, пропагандировал свои взгляды среди железнодорожных рабочих. К 1 мая 1901 года его кружок выпустил листовку, призывающую рабочих бороться не против капитала, а против «всего образованного общества». В 1903 году снова арестован, но при помощи своих сторонников бежал из Александровского централа. Через год выпустил в Женеве третью часть своего «Умственного рабочего». В 1906-м — вернулся в Россию, затем снова эмигрировал. Окончательно вернулся в Россию в 1917 году, отрекся от своего учения и скромно жил в Москве, работая техредом журнала «Народное хозяйство». Умер в 1926 году.

Но интересен не сам Махаевский, а критика махаевцами Маркса, у которого, считали они, «за всю долгую жизнь не нашлось ни одной минуты свободного времени, чтобы подумать об установлении прочной основы для классового разделения общества». Махаевцы же выявили таких основ целых три: 1) общность одного из *коренных* принадлежащих данному обществу источников дохода; 2) вытекающая отсюда общность *основных* экономических интересов и 3) общность большей или меньшей противоположности ко всем остальным основным экономически-антагонистическим группам... «Центр тяжести этой формулы лежит в словах „коренные источники дохода“».

Поставив во главу угла не производство, а распределение, не отношения собственности, а соотношение доходов, махаевцы с ученым видом заявили, что только «наглые софисты марксизма» могут утверждать, что «между жалованьем интеллигента и заработной платой рабочего нет принципиальной экономической разницы».

На самом же деле «рабочий класс эксплуатируется не для праздной жизни одного лишь класса капиталистов, а и для господства паразитарного существования особого класса производителей «нематериальных благ», т. е. интеллигенции». Стало быть, и враги пролетариата («ручных рабочих») не только капиталисты, даже не столько капиталисты, сколько «все образованное общество», интеллигенция, захватившая «львиную часть общественного дохода» и к тому же «скрывающая это деликатное обстоятельство за ширмами высоконаучной теории Маркса».

Классовый идеал пролетариата, считали махаевцы, «не социализм, а эгалитаризм — уравнивание доходов, имущественное равенство, экспроприация всего привилегированного общества, не исключая и интеллигенции с ее знаниями».

Как видим, бессмертный лозунг Шарикова: «Все поделить!» — взят Булгаковым прямехонько из жизни; он даже сатирическим заострением не является!

Правда, надежного, практичного способа «отбирать и делить» таланты и знания махаевцы так и не изобрели. Но это их не смущало. В конце концов они соглашались делить и одни только деньги, так как «в современном капиталистическом строе свободен лишь тот, кто богат, и в той мере, в какой он богат»... А стать богатым для пролетария — пара пустых. Все зависит **«только от одной его «наглой» требовательности, от одной его «хамской» ненасытности».**

К чести теоретиков махаевщины надо признать, что они были людьми откровенными. Объявив врагом рабочих интеллигенцию, они сделали и следующий шаг: «Квалифицированный рабочий является уже переходной ступенью к умственному труду». Отсюда для них естественно следовала проблема «оздоровления рабочего движения», и оздоровителем его, по убеждению махаевцев, мог стать только... хулиган, босьяк, люмпен. Ибо только воинствующий «хулиган» способен внести и во всю остальную рабочую среду живую, отрезвляющую струю здравого пролетарского смысла, разглядевшего наконец, где раки зимуют и что надо делать в интересах пролетарского освобождения.

Сама по себе махаевщина — кратковременный и незначительный эпизод российского рабочего движения. Но настроения, ее породившие, существовали уже задолго

до Махаевского и, увы, не умерли вместе с ним. Они — долговременный фактор, который не могли не принимать в расчет политики, пытавшиеся утилизировать в своих целях горючий материал рабочего недовольства. Чем и объясняется, по-моему, не только терпимое на практике отношение к «босаяцким» приемам борьбы во время забастовок, но и появление «теоретических надежд» на некое оздоравливающее влияние «наглой» требовательности и «хамской» ненасытности.

Но главное, что заставило меня, говоря о переходе социал-демократии к новым методам пропаганды, тут же вспомнить и о махаевщине, — это, конечно, не сходное отношение к употреблению грубой силы. В этих коллизиях, взятых, безусловно, на разных — подчеркну даже еще раз: *на разных* полюсах рабочего движения, равно как и в коллизиях, связанных с «экономизмом», просматривается, на мой взгляд, та общая ось, вокруг которой все споры той поры и вертелись.

Ось эта — взаимоотношения рабочих и интеллигенции, соотношение их роли и интересов. Проще всего здесь позиция «экономистов»: истинно пролетарскими они признают только сиюминутно экономические интересы. Революционно же настроенная социал-демократия идет к рабочим с проповедью целей прежде всего политических, освободительных, в достижении которых и видит особую роль пролетариата. Она, однако, торопится, всеми способами навязывая эти цели и тем, кто еще далек от их осознания (хотя объективно они не только связаны с интересами рабочих, но и отражаются, как мы видели, в стихийно выдвигаемых ими требованиях). И как реакция на эту торопливость, на силовые приемы внушения и пропаганды, возникает неизбежное противодействие, — начиная с требования от интеллигенции лишь «служения» рабочим, даже обслуживания их (трактат А. Гордона), и кончая теориями о скрытой враждебности рабочих и интеллигенции и противоположности их интересов (махаевщина).

Таким вот, или примерно таким, видится мне фон подлинных социальных проблем и их идеологических отражений на рубеже веков, на котором возникает и бурно начинает внедряться в жизнь *зубатовская идея*.

Глава третья

Зубатовская идея

Зубатовщина оставила после себя множество материалов, так или иначе декларирующих политические цели этого движения. Но это еще не значит, что мы хорошо представляем себе, чего же хотел и на что надеялся его инициатор.

Между тем если «неизбежность краха», повторяющаяся почти как заклинание в заголовках множества работ о зубатовщине, не очень-то нас убеждает, если мы все-таки хотим знать, *почему* случился этот самый крах, *почему* зубатовское движение, создававшееся, чтобы затормозить революцию, на самом деле ее страшно ускорило, то выяснить первоначальные идеи и намерения ее инициатора нам просто необходимо, ибо без этого не проследить и те «приключения и преобразования», которые они претерпели, сталкиваясь с многослойной реальностью и пытаясь к ней приспособиться.

Поэтому, мне кажется, необходимо вернуться к тому, о чем мы вкратце уже говорили, — к «монархической идее» Зубатова, к его письмам, опубликованным в 1906—1907 годах в «Гражданине». Это — весьма редкий у Зубатова «внеслужебный» жанр, где автор не имеет иных целей, кроме изложения и пропаганды собственной доктрины.

«Народная масса, — пишет он здесь, — во все времена и у всех больших народов (не говоря уже о нашем), всегда живо верила, что только монарх является представителем общих интересов, защитником слабых и угнетенных. В Риме, в средние века она неизменно поддерживала монархическую власть в ее борьбе с аристократией и побилитетом... Народное представительство, просуществовав всего сто лет, трещит уже по всем швам, и не выдерживающая критики его политическая идея умирает, уступая место процессу развивающейся самоорганизации народа (печать, профессиональные движения всех видов и пр.). Введенная в заблуждение хитроумной системой народного представительства народная масса дрогнула было, но, раскусив сей орех, охладела к нему».

Именно здесь Зубатов очень близко сходится с другим носителем и пропагандистом «выстраданной монархической идеи» — Львом Тихомировым. Еще в августе 1888

года этот бывший народоволец писал царю в прошении о помиловании:

«Чрезвычайную пользу... я извлек из личного наблюдения республиканских порядков и практики политических партий. Нетрудно было видеть, что самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, есть в действительности совершенная ложь и может служить лишь средством для тех, кто более искушен в одурачивании толпы. Я увидел, как невероятно трудно восстановить или воссоздать государственную власть, однажды потрясенную и попавшую в руки честолюбцев. Развращающее влияние политиканства, разжигающего инстинкты, само бросалось в глаза. Все это осветило для меня мое прошлое, мой горький опыт и мои размышления и придало смелости подвергнуть строгому пересмотру пресловутые идеи французской революции. Одну за другой я их судил и осуждал. И понял наконец, что развитие народов, как всего живущего, совершается лишь органически, на тех основах, на которых они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое развитие может быть только мирным и национальным...

Таким путем я пришел к власти и благородству наших исторических судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом *власти*, поднятой превыше всяческих алчных стремлений честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния и совершенствования составляет *верховная власть* с веками укрепленным авторитетом».

Полагаю, что читатели простят мне обширность этих двух выписок. Слово «монархист» у нас так долго существовало лишь в качестве бранного, что в конце концов для многих приобрело даже некий притягательный ореол. И сейчас, когда я пишу эту главу, сидя в ленинградской Публичке, прямо под окном бойко идет торговля грубо стилизованными под икону картинками самодеятельного художника: семейство Николая II с аккуратно вызолоченным нимбиком над каждой головой. Так что поговорить о «монархической идее» и о том, соответствовала ли ей реальная власть реальных Романовых, — дело нелишнее. Правда, для нас эти сюжеты всего лишь попутные, но все-таки...

Прежде всего я бы разграничил монархизм традиционный, т. е. непосредственно переживаемую вассаль-

ную преданность и любовь к двум равновеликим величинам — «Царю и Отечеству», и монархизм идейный, который и возникает-то только тогда, когда сознание уже обогащено иной политической практикой, возникает именно в противовес идее республиканской.

Бурная и неустойчивая жизнь молодых демократий, обнажающийся при этом разгул и цинизм политических страстей порождают у многих неуверенность и тоску по «чистой», идеальной власти, вознесенной над злобою дня и свободной от «алчных стремлений честолюбцев». Создается иллюзия, что освященная «незыблемым веками авторитетом» власть монарха существует как бы сама по себе, вне опоры на борющиеся политические силы, и поэтому способна в их борьбе играть роль регулятора, арбитра и даже «нравственного авторитета».

Такова, собственно, позиция Тихомирова. Взгляды Зубатова, если вчитаться в его статьи внимательно, еще сложнее и любопытнее. Он отлично видит, что неустойчивость демократий ведет вовсе не к возрождению монархий, но к возникновению различных форм «развивающейся самоорганизации народа» — свободной печати, профессиональных союзов... И что это «развязывание общественных сил», их непосредственный выход на политическую арену создает стабилизирующую систему стяжек и противовесов. Однако Зубатов считает это «развязывание» не органическим порождением демократии, а чем-то самим по себе хорошим, что под сенью монархии, следовательно, окажется еще лучше. Так рождается то, что он именует «правильно понятой монархической идеей»: власть монарха как некий балансир и регулятор свободной борьбы «развязанных» общественных сил. По Зубатову — вся беда лишь в том, что между царем и народом обыкновенно образуется средостение из сословных, профессиональных и классовых элементов, обуживающих понятие «народ» до собственного объема и извращающих все нормальные государственные отношения. К числу этих элементов он относит: а) аристократию (плутократию), традиционно заинтересованную в ограничении самодержавия; б) нобилитет, под которым скорее всего следует понимать крупную и среднюю буржуазию, и в) интеллигентов, которых он, за исключением «крупных» и «национально мыслящих», зачисляет в революционеры по самой их природе «идеологов». Ну а все, кто остает-

ся за пределами этих групп, — это и есть народ¹, поддерживающий самодержавие и поддерживаемый им в борьбе с указанными группами образованного общества, а потому от сильной власти только выигрывающий. Поэтому первостепенную задачу русской государственности Зубатов видел в том, чтобы «слить воедино царя и народ», перекинув между ними своеобразный политический мост над всем «образованным обществом».

Например, «зная непочтительность к себе народной массы и живую веру ее в монархический принцип, нобилитет старается сохранить «монархию» в целях вящего использования ее в своих видах и при том безнаказанно со стороны народных масс. Поддавшаяся в истории на эту удочку монархическая власть принуждена была затем играть роль дворцового гренадера на сундуках нобилитета». Следовательно, надо не поддаваться, а «для равновесия (в качестве противоядия) с чувствующей себя гордо и поступающей нахально буржуазией нам надо прикармливать рабочих, убивая тем самым двух зайцев: укрощая буржуазию и идеологов и располагая к себе рабочих и крестьян»².

И вообще он уверен, что «при нынешнем положении девизом внутренней политики должно быть «поддержание равновесия среди классов», злобно друг на друга посматривающих».

Очень характерен в этом смысле следующий эпизод его переписки с В. Л. Бурцевым. Желая получить у Зубатова какие-либо воспоминания или документы, Бурцев в 1906 году попытался ему довольно грубо польстить,

¹ Не могу не обратить внимание читателя на неожиданную «точку схода» охранительской идеологии с самой что ни на есть ура-революционной, Зубатова — с Махаевским. Эта общая точка и есть противопоставление «народа» образованному обществу.

² Считаю здесь необходимой весьма существенную оговорку.

Разумеется, зубатовские взгляды отражали не только идеальные представления о монархии. Отчасти они коренились и в политической традиции русского царизма, в идеале всегда стремившегося именно к балансированию между классами. Цезаристские настроения крестьян были неплохой почвой для этой политики.

Следует, однако, учесть два, как минимум, обстоятельства, в силу которых реальные действия власти бывали весьма далеки от идеальных ее устремлений. Во-первых, столь же давней была в России и традиция государственной поддержки промышленности, на рубеже веков вогласовать эти традиции было совсем не просто; а во-вторых, Николай II безусловно знал дело, когда утверждал, что Россией правит не монарх, ею правят «столоначальники», — сердцу же столоначальника интересы работодателя всегда ближе, чем интересы рабочего.

причислив едва ли не к скрытым противникам режима: «Я был поражен, когда прочитал у вас, что вы рады, что Плеве вас «выбросил», иначе самому у вас не хватило бы энергии порвать с тем, что вы уже **отрицали**. Это ужасно! Я знаю, человек с умом не мог не видеть вреда и ужаса дороги, по которой шел Плеве». Но Зубатов на лесть не клюнул и ответил едва ли не возмущенно: «Выводы ваши совсем не соответствуют посылкам моего письма. Я вам писал, что долголетняя практика убедила меня в ненужности, излишестве политической свалки, логическим выводом из чего явилось затеянное мною еврейское и рабочее движение. Я верил, что развивающееся равновесие общественных сил сделает излишним механический фактор. Следовательно, мое *sredo* основывалось на примирении, уравнивании борющихся сил. Откуда вы взяли, что я «их» отрицаю, считаю вредными людьми? Они необходимая историческая сторона».

Таковы в общих чертах представления Зубатова о движущих силах современного ему общества, их идеальном взаимодействии. Но, разумеется, он не мог не видеть, сколь многое в реальной политической практике было бесконечно далеко от рисуемых им схем. Он мечтал о слиянии народной массы с монархией, а видел ее нарастающее слияние с радикальной интеллигенцией; он мечтал о «развязанности» общественных сил, а вынужден был «вязать» даже те, которые считал совершенно безвредными — вспомните, к примеру, уже рассказанную нами историю «тверского дела»; считал, что монархическая власть ни в коем случае не должна играть роль «дворцового гренадера на сундуках нобилитета», но вспыхивала очередная забастовка, вновь, «как нарочно, неправыми оказывались не рабочие», а он, представитель этой самой монархической власти, все равно должен был всячески оберегать покой и интересы «чувствующей себя гордо и поступающей нахально буржуазии», а искренних монархистов-рабочих высылать из Москвы...

Из этого остро ощущаемого разлада между «монархическим идеалом» и монархической действительностью и родилась его идея мирных, легальных общественных движений. Не только рабочих — он пытался создать легальное студенческое движение, придать мирный и промонархический характер движениям национальным и т. д.

Вот для того, чтобы проследить само формирование

этих идей и начало их организационного воплощения, нам и придется вернуться к прерванному в первой главе рассказу о его чиновничьей карьере, а отчасти и к его полицейским подвигам.

В ближайшие после инцидента с «тверской ликвидацией» годы Зубатов, проглотив пилюлю и удвоив служебное рвение, явно стремится продвинуться в чинах и должностях... Это, между прочим, и до сих пор наиболее распространенная иллюзия всякого «идейного чиновника»: перетерплю, мол, пока, зато поднимусь еще выше, обрету «хотя бы столько власти, сколько ее в мизинце губернатора», и вот тогда, без помех, начну осуществление своих идей!

А пока что даже самые первые шаги и успехи московской социал-демократии не проходят мимо обостренного его старательностью внимания охранного отделения. Благодаря его любимой «мамочке», известной провокаторше А. Е. Серебряковой, он был прекрасно осведомлен и о «школе экономического материализма» в квартире Давыдовых, и о попытках С. Мицкевича (будущий видный большевик) «обзавестись связями среди рабочих Московско-Брестской железной дороги, пользуясь содействием помощника машиниста С. Прокофьева», тоже будущего большевика, и о многом другом. Еще в октябре 1984 года тщательно «разработав» одно из перлюстрированных полицией писем, охранка обратила внимание на семейство Величкиных, Л. Руму и П. Колокольниковца, и, таким образом верно определив «лидеров»¹, стала постепенно выявлять круг дел и связей московского «Рабочего союза».

Но главные тревоги охраны и лично Зубатова связаны были пока что с другим. Приближалась коронация, и для того, чтобы получить с нее не шишки, а пышки, требовалось схватить не кого-нибудь, а непременно террористов, злоумышляющих на священную особу его императорского... А кого хватать? От народовольцев уже оставались рожки да ножки, будущие эсеры в большинстве еще занимались мирным культурничеством. Зубатов, однако, не оплошал и тут. У него давно уже был под наблюдением кружок П. В. Оленина, все еще, правда, только планировавший организовать производство

¹ Жаргонное обозначение лиц, неотступно следуя за которыми, филеры устанавливали схему связей внутри подпольной организации.

взрывчатых веществ, но ждать, когда новоявленные террористы перейдут к «опытам», Зубатов не мог — до коронации оставалось немного времени, и поэтому 28 апреля 1896 года последовала «ликвидация», во время которой кроме Оленина, Иванова и Захлыстова было арестовано еще двадцать человек... В заключение описанной выше ликвидации Зубатов получил от начальства выражение особой благодарности «за искусное ведение агентуры» (Л. Меньщиков).

Должно признать, что благодарность эта была вполне заслуженной. Что-что, а агентура всегда была у Зубатова поставлена образцово. Она была символом его полицейской веры и даже, пожалуй, его тайной слабостью. «Вы, господа,— по свидетельству А. Спиридовича поучал он своих подчиненных,— должны смотреть на сотрудника как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный ваш шаг — и вы ее опозорите...»

Но как только коронационные пышки были получены, Зубатов тотчас вернулся к своему поединку с «марксятами» — материала накопилось достаточно, «а кроме того, ему хотелось поскорее обзавестись хорошей агентурой на низах, чтобы с большим успехом вылавливать потом на нее интеллигентов-агитаторов, в которых он видел главное зло».

Так пишет все тот же Меньщиков. Но у Зубатова были и более весомые основания торопиться. 3 июля 1896 года забастовали мастерские Курской железной дороги, 4-го к ним примкнули мастерские Смоленской, 5-го встали шелковая фабрика Грессера и чугунолитейный завод Перинуда. Ждать дальше становилось просто опасно! 6-го последовала «ликвидация». Арестовано было около 60 человек, четыре пятых из которых были рабочие. Некоторые, как, например, Л. Рума, были арестованы и позже, но все же «несколько сот рабочих», о которых говорится в листовках, а также в мемуарах М. Лядова и С. Мицкевича, есть сильное преувеличение.

В охране начались горячие денечки.

«Надо отдать справедливость энергии Зубатова,— вспоминает Л. Меньщиков,— его красноречию, диалектическим способностям; целые часы, даже сплошь — дни, за бесконечным чаем, в табачном дыму, вел он свои беседы с арестованными, которых привозили для этого поодиночке в охранный отдел, где усаживали в мягкие

кресла начальнических кабинетов и в случае, когда диспуты слишком затягивались, кормили обедами, взятыми на казенный счет из соседнего трактира.

Чего хотел достигнуть этой тактикой Зубатов, понять нетрудно. В бесконечных спорах на теоретические темы, в разговорах почти «запросто» мало-помалу он незаметно выяснял моральный облик, степень убежденности, удельный революционный вес своих партнеров, старался отравить их умы ядом сомнения в успехе своего дела, намечал жертвы — лиц, которые, казалось ему, по состоянию своей психики могли бы вступить на путь предательства.

Наибольшее внимание Зубатов уделял, разумеется, интеллигентам. Особенно много пришлось ему спорить с Л. Румой, который считался наиболее начитанным марксистом. Зато К. Величкина относилась к «подходам» Зубатова так резко отрицательно, что иногда хитроумный начальник охраны выходил из терпения, выскакивал из кабинета красный от волнения и отпускал по адресу своей экспансивной собеседницы площадную ругань. С рабочими, конечно, разговоры у Зубатова были короче, вся забота его в этих беседах была направлена на то, чтобы восстановить «невинные жертвы своей неосознанности» против «эксплуатирующих их интеллигентов-пропагандистов» и в подходящих случаях — предложить «раскаяться». Из арестованных рабочих несколько человек вышли из тюрьмы платными агентами охраны».

С фактической стороны эти воспоминания не вызывают ни малейших сомнений. Особенно ценно свидетельство о стойкости Леопольда Румы. М. Лядов, С. Мицкевич, а следом за ними ряд других авторов, без указания на какие-либо факты, по одним лишь подозрениям и слухам упорно обвиняли Л. Руму в предательстве, а ведь слухи эти скорее всего были формой мести охраны за его несговорчивость.

Но нельзя не обратить внимания на то, что рассказ Меншикова полон вопиющих противоречий. Например: если основная цель Зубатова была в приобретении «агентуры на низах», то отчего же он «главное внимание» уделял интеллигентам? И откуда тогда такая эмоциональная напряженность споров с ними? Думается, что, даже не располагая мы иными свидетельствами, и этого было бы достаточно, чтобы предположить, что у Зубато-

ва была и какая-то иная цель, иной интерес, скрытый от мемуариста.

Что же это был за интерес? И что служило внутренним источником той необыкновенной энергии, что была явлена Зубатовым в ходе следствия?

Как чиновник Зубатов был в это время на взлете. Совсем недавно, да к тому же и «вне правил, так как он не был жандармским офицером», назначенный начальником московской охраны, он был обласкан начальством и любим (по полицейским меркам — достаточно искренне) подчиненными. Но главное, пожалуй, в другом: ему неожиданно удалось занять именно то положение, к которому он с юности безуспешно стремился, — положение интеллектуального лидера, счастливо обретя внимательных учеников не только среди подчиненных, но и среди начальства, особенно в лице нового обер-полицмейстера Москвы Д. Ф. Трепова, а через него и в лице всесильного августейшего генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Это открывало выход в настоящую политику, позволяло влиять на принятие масштабных государственных решений.

О Трепове стоит сказать несколько слов особо.

Новый московский обер-полицмейстер был сыном петербургского обер-полицмейстера Ф. Ф. Трепова, всероссийски прославленного выстрелом Веры Засулич и ее последующим оправданием в суде присяжных. В более узких кругах он был известен также как обладатель таинственно возникшего, но очень солидного состояния. Но... То ли полицейские дарования дело не наследственное, то ли и Федор Федорович не блистал ими (составить себе состояние из ничего — это, согласимся, талант несколько иного рода), но обременен талантами Дмитрий Федорович не был и до своего назначения в Москву на ниве государственной прославился только однажды. Во время похорон Александра III его молодцы-кавалеристы стояли в шпалерах почетного караула. И вот, завидя приближающийся катафалк с императорским гробом, командир решил подтянуть их, во весь голос рявкнув: «Не робей, ребята, веселей гляди!» Или что-то в этом роде...

Впрочем, из всех воспоминаний о Трепове едва ли не самые интересные и верные именно зубатовские. «Вы обходите Д. Ф. Трепова, — писал он Бурцеву в декабре 1906 года, — видимо к нему не благоволя. А ведь он — инициатор Государственной думы, автономии высших

учебных заведений, рабочего законодательства и пр.¹ Для меня он очень дорог. Он мой политический ученик, мой «alter ego», мой стойкий и верный друг (в деле с Плеве)... Назначение Д. Ф. в Москву застало меня уже в полном служебном расцвете, в роли баловня и фаворита Питера. Он же в это время только слез с лошади и 2 месяца сидел дома, читая законы и циркуляры. Что меня очень поразило, это внимательное чтение им прокламаций, нелегальных брошюр и пр., чего я ранее не замечал ни за кем из начальствующих лиц. Второе мое открытие состояло в том, что [он] придавал им веру, требовал проверки сообщавшихся в них фактов... и в официальных донесениях приставов по рабочим недоразумениям держался принципа «по совести и справедливости», накладывая порой правильные, но резкие резолюции на бумагах в таком, например, роде: «Опять хозяева виноваты!» Словом, он был чудной души человек, щепетильно блюдуший свою честь и совесть. Но он был гвардейский офицер, и отсюда происходят все его странности: высокомерие, бранчивость, резкость... Беда была с ним ладить в минуты массовых беспорядков. Будучи хорошим стратегом, он долго терпел, но стоило задеть действительно его полицейских чинов, и он становился неумяемым. Сколько раз я пытался убедить его не обращать на это внимания и относиться к событию как к действию в раже, но ничего не мог поделать. «Не могу же я позволить бить свою полицию; нет, об этом мне и не говорите...» Будучи в Петербурге, он оставался верен выработанным им принципам и со свойственной ему прямо-той и искренностью проводил их на практике. На этой работе он и сгорел. Его петербургские эксцессы я объясняю неудачным подбором сотрудников и дурным влиянием окружающих».

Понятно, что и любой неопытный полицмейстер попал бы под сильное влияние своего прославленного начальника тайного сыска². Но Зубатову нужен был не «управ-

¹ Современный читатель, вероятнее всего, усомнится в справедливости такой информации, но — напрасно. Это действительно так. Просто мы до того привыкли к плоскостному, однолинейному представлению о деятелях нашей истории, что нам уже трудно представить себе, что автор свирепознаменитой фразы «Патронов не жалеть!» был, в общем-то, довольно либеральным деятелем.

² Известный историк Р. Ш. Ганелин (пользуясь случаем, я еще раз благодарю его за ряд ценных указаний) заметил на это, что в резолюциях типа «опять хозяева виноваты» не следует видеть непре-

ляемый начальник», а именно политический ученик, и именно такой, чтобы, усвоив его идеи, смог вынести их «на самый верх». Трепов, со своим гвардейским блеском и благородством, со своей «солдатской прямотой» и даже со своей гвардейской же недалекостью, идеально подходил для этой задачи, как, по своим личным задаткам, и для самой идеи. К тому же ему все можно было внушить быстро и достаточно надежно по полной его политической неосведомленности и непросвещенности.

А время поджимало. Ведь долгие диспуты Зубатова с арестованными «марксистами» объяснялись еще и тем, что он просто хотел их получше понять, ибо явственно ощутил, что столкнулся с явлением принципиально новым, еще небывалым. Если за крупными «ликвидациями» народовольцев непременно следовало временное успокоение и приятное расслабление, то теперь, выловив едва ли не всю «революционную наличность», Зубатов очень быстро смог убедиться, как мало от этого изменилось.

Не прошло и недели после изъятия деятелей «Рабочего союза», а 39 рабочих фабрики Шейбеля забастовали... Ну, тут еще хоть случай особого рода. Хозяин женился, и рабочие на радостях были им на два дня распущены. Однако, поиздержавшись на свадьбу, хозяин оплатить эти дни, как было обещано, не пожелал. И тут уж даже полицейский пристав стал на сторону рабочих, по собственной инициативе уговорив хозяина раскошелиться по-хорошему.

Но ведь это же не всегда и не каждого уговоришь. А всякого рода «брожения» следуют одно за другим — то тут, то там... Осенью же и вовсе пошли чудеса: во главе «брожения» рабочих Московско-Курских железнодорожных мастерских вдруг оказался десятник императорских поездов А. Д. Осеев, монархист яростный. Но... Монархизм не помешал ему бастовать, хотя монарх любую забастовку считал опасным бунтом, достойным по-

менно зубатовское влияние — ведь еще отец московского оберполицейстера Ф. Ф. Трепов не раз «притеснял» промышленников.

Ничуть не оспаривая его суждения, хотел бы все-таки подчеркнуть, что в том-то и состоит, по-моему, секрет зубатовского влияния, что, подхватывая эти смутные — коренящиеся отчасти в семейных, а отчасти и в общегосударственных традициях «попечительской политики» — стремления своего патрона действовать «по совести и справедливости», он возвращал их ему же в виде четко сформулированной политики, в виде идей и положений, которые можно было солидно излагать и отстаивать на любом уровне.

давления вооруженною силой. Как тут прикажете быть? И как объяснить, что революционеры сидели себе в тюрьме, а на заводе «Старый Бромлей» 28 ноября вновь началось «брожение» столь бурное, что охранке, чтобы предупредить забастовку, пришлось изъять и выслать из столицы двадцать три «подстрекателя»...

Не интересоваться такого рода сюжетами новый полицмейстер просто не мог: «Шкура от всех беспорядков трещала моя, а потом и Трепова». А забастовка — явный беспорядок. Это публика может не знать, а Зубатов-то и Трепов отлично знают о телеграмме, посланной всесильным министром финансов С. Ю. Витте по поводу петербургской стачки: «Для меня эти беспорядки не неожиданность, целый год подбрасывали прокламации, и я удивляюсь, что полиция не открыла очевидно существующую шайку... Нужно всех зачинщиков выслать из города». Итак, с одной стороны, во всякой забастовке виновата оказывается полиция (не выловила «шайку»), с другой — сколько ни вылавливай «шаек»... Вот ежели бы, как того и желает Трепов, «по совести и справедливости» заглянуть в корень всех этих проблем...

«С критерием «по совести и справедливости» можно было зайти далеко. Мы и зашли. Он скоро сошелся с великим князем (Сергеем Александровичем, дядею царя, московским генерал-губернатором. — В. К.), я был в фаворе в Петербурге, и мы занялись «переоценкой ценностей». События выдвинули рабочий вопрос. Я написал о нем громадный доклад. Д. Ф. целую неделю возился с ним... Наконец через неделю он выкроил из моего доклада ту записку, которую вы знаете, и дал ее отшлифовать. Мысли доклада стали его неколебимым убеждением, он говорил о них и развивал их везде, в особенности в высших сферах и в своем столичном по фабричным делам присутствии, а с ведомствами вел из-за них жестокую войну» (Зубатов — Бурцеву).

То, что упомянутая здесь «Записка» является итогом зубатовских раздумий во время следствия по делу московского «Рабочего Союза», видно уже из простого сопоставления дат: дело завершилось «высочайшим повелением» (об административной высылке под гласный надзор на различные сроки от 4 марта 1898 года, а записка подана Трепову 8 апреля того же года. Но совместная с Треповым «переоценка ценностей» начата Зубатовым еще даже раньше: «Начиная с 1897

года я пытался найти почву для примирения» (из письма Зубатова Бурцеву).

12 августа 1897 года Министерство внутренних дел издало циркуляр о борьбе со сходками и стачками, 4-й и 8-й параграфы которого требовали всех активных участников стачек, «обыскав, арестовать и выслать». «С изданием этого пресловутого циркуляра,— резюмирует публицист начала века А. Морской (В. И. фон Штейн),— правительство само как бы признало движение (рабочее.— В. К.) преступлением не только политическим, но и государственным».

Однако же московская администрация поняла (или сделала вид, что поняла) суть циркуляра совсем иначе. Главными параграфами сочли здесь другие — 2-й и 5-й, осторожно предлагающие выяснять и устранять, «по возможности, поводы к неудовольствию в тех случаях, когда рабочие имели основание жаловаться».

С этого момента и пошла московская рабочая политика в столь явный раздрай с общеимперской, что вскоре из новой столицы в старую прибыла весьма представительная комиссия во главе с тайным советником В. Кокцовым — разбираться. Она обнаружила: «1) что принятие мер к предупреждению споров и недоразумений между фабрикантами и рабочими путем исследования на месте возникающих неудовольствий и миролюбивого соглашения сторон проводится на фабриках и заводах столицы не только чинами фабричной инспекции, но и чинами полиции, иногда без участия и ведома инспекции; 2) что полиция принимает заявления рабочих, касающиеся нарушения порядка и благоустройства на фабриках и заводах, но не для направления их по принадлежности к фабричной инспекции, а для производства самостоятельных дознаний без участия инспекции; 3) что московский обер-полицмейстер дает непосредственно от себя указания фабричным инспекторам, притом иногда несогласные с законом и изданными в развитие его правилами».

Осудив столь «ненормальное положение вещей» в Москве, председатель комиссии тайный советник Кокцов счел необходимым добавить, что, по его «личному убеждению», причины сего заключаются, «во-первых, в личном взгляде московского обер-полицмейстера на обязанности его по отношению к фабрично-заводскому населению... Исходя из той мысли, что рабо-

чие только тогда будут обращаться к правительственной власти со своими пожеланиями и ждать от нее удовлетворения (а не от противоправительственных элементов), когда убедятся, что власть эта сильна и стоит на стороне их интересов, безотлагательно восстанавливая нарушенную справедливость,— московский обер-полицмейстер считает всякое неудовольствие, высказанное по какому бы то ни было поводу среди рабочих,— беспорядком на фабрике или заводе, не только дающим полиции право, но даже возлагающим на нее обязанность вмешаться в разбор неудовольствия...»

Как видим, Трепов воспринял зубатовские политические уроки всерьез: проводил его принципы на практике и с известным мужеством отстаивал их перед начальством, идя даже на межведомственные конфликты.

Для понимания сути этих конфликтов надо иметь в виду, что официально российская промышленность находилась в ведении Министерства финансов, отношения рабочих и хозяев регулировались его фабричной инспекцией. И «принцип законности» был знаменем этого ведомства. «Рабочий труд рабочего человека и рабочий вопрос,— писал позднее Зубатов,— министерством финансов рассматривались лишь со стороны строго формальной и исключительно экономической точки зрения, под которую, конечно, никак нельзя было подвести революционность рабочего коллектива с его разнообразными стремлениями. А потому явления этого оно как бы не хотело замечать и ради него не желало поступаться своими правами».

Этот-то «принцип законности» Министерства финансов Трепов и атаковал в своей записке, выкроенной из зубатовского доклада: «Практика показывает, что принцип законности нередко трудно прививается не только к рабочим, но и к работодателю, который часто не может примириться с мыслью о равноправности договаривающихся сторон. То и дело бывает, что хозяин после происшедшего недоразумения с рабочими, в котором он же признан неправым, увольняет выборных ходоков по начальству... Опираясь на свою формальную юридическую правоту, он никак не может согласиться, что подобное его поведение является пагубным в политическом отношении, так как фактически лишает рабочего человека права жалобы».

Логически позиции Трепова были почти что неуязвимы: если забастовка есть беспорядок и полиция за него ответственна, то и предупреждать беспорядок должно не иное ведомство, но она же. Да и с точки зрения высших интересов государственной безопасности... «По духу времени, когда Западная Европа поглощена рабочим вопросом, весь интерес революции сосредоточен на фабрично-заводской среде, а где пристраивается революционер, там обязана быть и государственная полиция».

Но, пожалуй, особую убедительность принципам зубатовско-треповской «попечительной политики» могла бы придать их практика. По свидетельству Л. Меньшикова, «пользуясь тем, что охране «законы не писаны», Зубатов начал вмешиваться во все более или менее крупные конфликты, возникавшие между рабочими и хозяевами, стал поручать подведомственным ему чинам производить особые расследования о фабрично-заводских порядках, стараясь, не без задней мысли, конечно, продемонстрировать отеческую заботу начальства об экономических нуждах рабочего класса и строго карая в то же время всякую агитацию, в особенности политического характера... Слава о Трепове — покровителе рабочих — заметно росла в среде темной фабрично-заводской массы». Таким образом предотвращена была забастовка на фабрике Шульца-Шуберта (февраль 1898 г.) и ряд других.

Но думается, что, несмотря на эту удачливую практику и ловкую канцелярско-политическую казуистику (не мог же Витте возражать что-либо против «попечительной политики», коль скоро она была частью официальной идеологии русского самодержавия!), Витте все же нашел бы способ поставить на место зарвавшихся полицейских (поездка Коковцова показывает, что способ такой искали), да вот генерал-губернатор Москвы был царский дядюшка, имевший на племянника почти неограниченное влияние. Поддержка Сергея Александровича делала Зубатова с Треповым практически неуязвимыми и позволяла им продолжать свои эксперименты.

Но только эксперименты! Ибо внутренняя политика в империи в целом развивалась в эти годы совсем в ином направлении, надежное свидетельство чему — обширная записка «по рабочему вопросу», с которой выступил сам министр внутренних дел Д. С. Сипягин. Резюмируя ее, профессор Озеров писал: «Одним сло-

вом, Сипягин с удивительной виртуозностью хотел превратить фабрики в военные лагеря с широкой системой шпионства, соглядатайства и наушничества. Эта записка чрезвычайно характерна в развитии воззрений на рабочий вопрос в России: проповедь опеки (о, сколь разным смыслом можно, оказывается, наполнять одно и то же слово! — В. К.) доводится до апогея, но если, по мысли Сипягина, она не будет иметь своего воздействия, то — беспощадное применение физической силы». Поневоле вспомнишь генерала Драгомирова, который в частном письме писал о Сипягине: «Ну, какая у него внутренняя политика? Он просто егермейстер и дурак!»

Зубатов на фоне такого начальства — просто пророк! Он лучше других чувствует температуру «рабочего котла» и понимает, что ни указом 1899 года об усилении полиции на фабриках, ни каким-либо другим закручиванием гаек уже ничего не сделаешь: котел вот-вот закипит — и тогда... И потому он хотел бы крышку котла приподнять, дать выход пару, но так, чтобы в любой момент его можно было все же захлопнуть. А для этого «правительственным попечением» надо не превращать фабрики в казармы, а, наоборот, вести дело к «развязыванию общественных сил», предоставлению им определенных возможностей для свободной игры интересов.

Более того! Как человек образованный, серьезно интересующийся историей и социологией, он не может не понимать, что разовые мелкие поблажки, вырванные властью Трепова и тем страхом перед жандармским мундиром, от которого господа российские промышленники, слава Богу, еще не избавились... Что эти поблажки — еще не новая политика, это в лучшем случае индикатор, показывающий возможность такой новой политики. В отличие от большинства своих начальников он прекрасно видит, что запретить рабочее движение, как и всякую другую объективную потребность, нельзя. И потому он ставит вопрос совсем по-иному: кому удастся этим движением овладеть, такие оно и примет формы, характер и направление.

«Основная идея Зубатова была та, — вспоминает и А. Спиридович, — что при русском самодержавии, когда царь надпартиен и не заинтересован по преимуществу ни в одном сословии, рабочие могут получить все, что

им нужно, через царя и его правительство. Освобождение крестьян — лучшее тому доказательство.

Рабочее движение должно быть профессиональным, а не революционно-социал-демократическим, и его надо направить на этот первый путь. И хотя у самих социал-демократов увлечение экономизмом почти проходит, но все-таки это направление надо использовать. Правительство уже сделало ошибку, прозевав его,¹ но что же делать; лучше поздно, чем никогда. Путем собеседования Зубатов стал готовить пропагандистов своих идей из рабочих. В отделении была заведена библиотека с соответствующим подбором книг. Рузье, Вебб, Геркнер, Прокопович, Зомбарт, новый труд Бердяева «Поворот к идеализму» — все было пущено в ход, дабы переубедить сторонников революционного марксизма и направить их в сторону профессионального движения. Между тем, — считает Спиридович, — рабочее движение было в то время на перепутье и от правительства в значительной степени зависело дать ему то или иное направление... То был момент, когда правительству надлежало овладеть рабочим движением и направить его по руслу мирного профессионального движения».

Понятно, что воспоминания Спиридовича (в описываемое нами время — молодого жандармского офицера, робкого ученика Зубатова, дослужившегося позднее до генеральских чинов), написанные уже после революции, не могут быть доказательством жизнеспособности зубатовских идей. Потерпевшие поражение политики ищут упущенные возможности, как правило, в действиях своих соперников, в том, что совершалось вопреки их желаниям и планам, и ни в одних воспоминаниях не встретил я (да и никто, наверное!) признания, что вот-де мы потерпели поражение потому, что возобладаало мое мнение, оказавшееся ошибочным. Но все-таки...

Все-таки нельзя, я думаю, не задать себе здесь этот вопрос: а жизнеспособны ли были политические идеи Зубатова? Был ли у его организаций шанс стать серьезной конструктивной силой в политических рамках дореволюционной России?

¹ И опять отдадим должное Сергею Васильевичу как политику: он-то не прозевал! Он еще в 1893 году предлагал начальству не трогать кружок С. Н. Прокоповича (вспомните «тверское дело!»), но в ответ только вынужден был выслушать и «принять к руководству» несколько начальнических «аксиом».

Первые критики зубатовщины усиленно подыскивали ей зарубежные аналоги. «Роль Зубатова прусское правительство,— писал М. Григорьевский (Лунц) в брошюре 1906 года,— еще в 1862 году поручало «рабочему» Эйхлеру. В противовес рабочим союзам, возникавшим под влиянием ненавистной правительству прогрессивной партии, Эйхлер стал вести пропаганду в том смысле, что союзы эти, основанные на самопомощи, никакой пользы рабочему принести не могут, лишь правительство в состоянии оказать рабочим поддержку».

Неполнота и условность этой параллели бьет в глаза: зубатовские союзы не могли создаваться в противовес каким-то иным, ибо в России никаких еще не было, да и принцип самопомощи они не только не отвергали, но и всячески пропагандировали. Ну и т. д.

На фоне таких критиков Зубатов выглядит прямо-таки политическим мудрецом. Вместо поиска конкретных аналогов и образцов он попытался по-своему осмыслить судьбы рабочего движения в целом. Обширность и вместе с тем некоторая неполнота, однобокость материала, на который он опирался, видны уже из вышеприведенной характеристики его любимых авторов.

«Революция политическая и социальная,— писал он Трепову в 1902 году,— поставили себе задачей не то, как бы поудобнее приспособить вечные основы человеческой жизни к условиям современности, а то, чтобы совершенно смести эти основы, объявляя их негодными, отжившими, и заменить их новыми принципами, возведенными апостолами революции... Под влиянием соблазнительного миража в XVIII и XIX веках были произведены перевороты почти во всех странах мира, и при этом всюду междуусобия и перевороты совершались только при помощи рабочих масс, которые восстанавливались против правительства. Задача при этом постоянно ставилась не так, чтобы улучшить организацию рабочих в отношении трудовом, а в том, чтобы перестроить на новый лад все в государстве и управлении им». Этот путь, путь революционных переворотов, Зубатов называет французским. «Англичане,— считает он,— оказались гораздо практичнее. Хотя у них тоже было громадное движение чартистов, когда против 300 000 рабочих правительство пришлось двинуть целую армию под командой герцога Веллингтона, но это был один-единственный случай. Рабочий Англии по английской практике и по правилу

«помогай сам себе» с самого начала XIX века уже начал подумывать об улучшении и преобразовании своих профессиональных учреждений для взаимопомощи, защиты своих прав, увеличения заработка, приведения к норме рабочего времени, повышения образования среди рабочих и т. д. Это движение у них развивалось все более в виде тред-юнионов, а политические движения в смысле всеобщего переворота или в смысле захвата власти в государстве — все более падали. Оказалось, что англичане гораздо умнее; английские рабочие лучше остальных устроили свое положение, и их «отсталость» оказалась на деле передовою».

Любопытно сравнить с этим пассажем одну страничку из ранней работы Ф. Энгельса о положении английских рабочих. Описывая условия труда и быта куда более трагические, нежели даже условия русского рабочего на грани веков, Энгельс мимоходом замечает: «Он (закон, принятый в палате общин в 1824 году, всего через сорок лет после создания паровой машины Уатта. — В. К.) отменил все акты, ранее воспрещавшие объединение рабочих для защиты своих интересов. Рабочие получили право ассоциаций — право, принадлежавшее до тех пор только аристократии и буржуазии... Во всех отраслях труда образовались такие союзы (trade union), открыто стремившиеся оградить отдельных рабочих от тирании и бездушного отношения буржуазии».

Тут, мне кажется, есть смысл взять на заметку вот что: на момент принятия этого закона право создания ассоциаций в Англии принадлежало только аристократам и буржуазии. Не густо, но все-таки... А в России? В России начала XX века оно никому и никогда еще не принадлежало! Разница очень существенная, хотя Зубатов и упустил ее из виду.

Но обратим внимание еще на два места из той же его записки: «Равным образом социал-демократы Германии, может быть и не искренне, стали подражать тред-юнионам, а главная умственная сила партии Бернштейн по всем пунктам высказывает теперь справедливость практики английских рабочих». И еще: «Профессиональное рабочее движение возникло вопреки революционной идее, и лишь поскольку революционная идея не в силах была отвратить рабочих от профессионального движения».

От зоркого полицейского взгляда Зубатова не усколь-

знул, как видим, действительно очень важный момент в истории рабочего движения: момент зарождения раскола и дивергенции двух течений, позднее оформившихся как социал-демократическое и коммунистическое, поворот западных социал-демократий к реформизму и компромиссу с капиталом. Считая, что «на такую же стадию развития движения вступило и в России», он предлагал «урегулировать рабочее движение, дифференцировать различные его направления и определить, с чем следует бороться и что нужно только направлять».

Звучит очень логично и здраво. Но вступило ли рабочее движение России в такой этап к началу нового века? Большой вопрос...

Вообще нужно сказать, что в принципе идея Зубатова не несла в себе ничего утопического. Он ведь предлагал путь, по которому *уже* пошло рабочее движение многих стран и в длительной исторической перспективе добилось результатов весьма впечатляющих! Ведь даже самые яростные противники тред-юнионизма давно уже вынужденно забросили тему даже относительного обнищания английских рабочих, не говоря уж об абсолютном. Тем более смешно отрицать, что тред-юнионы прекрасно вписались в английскую политическую систему, во многом способствуя гуманизации капиталистических нравов, но ни в чем не отменяя сам капитализм. А зубатовщина, если уж непременно искать международные аналоги, была не чем иным, как попыткой пересадить на русскую почву английский тред-юнионизм. И Зубатов был совершенно прав, когда писал, что «наименование ее «полицейским социализмом» лишено всякого смысла. С социализмом она боролась, защищая принципы частной собственности... и экономической ее программой был прогрессирующий капитализм, в формах все более культурных и демократических». Как, впрочем, прав был он и тогда, когда утверждал, что «полное и наибольшее улучшение быта каждого класса, в том числе и рабочего, возможно лишь в той мере, в какой он занимает прочное место среди существующего строя, становясь одним из органов этого строя, а не его разрушителем».

Так что взятая сама по себе идея Зубатова была вполне жизнеспособна!

Но вся беда в том, что любые политические идеи, как бы сами по себе верны они ни были, как бы логично

ни выглядели, какими бы прекрасными намерениями ни диктовались, — не могут все-таки развиваться сами по себе, в безвоздушном пространстве. Они принуждены развиваться только в сугубо конкретных обстоятельствах, здесь и сейчас, сталкиваясь с конкретными условиями быта и экономики, традициями общества и государства, с преломлением этих традиций и тысячью иных вещей!.. И при каждом таком столкновении они, подчас едва заметно, а подчас и очень существенно, трансформируются, преобразуются.

Один пример. В Западной Европе конца прошлого века не только ведь рабочее движение признавало необходимость компромиссов и реформ, но и сами государства становились на путь компромиссов с рабочим движением, признавали за ним определенные права в экономике, в политике. В России же, как писал и сам Зубатов, «традиционная политика покоилась как раз на обратном и видела во всяком удовлетворении ходатайств рабочих, как бы они ни были справедливы по существу, поблажку, воспитание притязательности, разнузданности зверя»...

И идея легализации, то есть по сути идея создания реформистского рабочего движения, как противовеса движению стихийному и революционному, не могла с первых же шагов на российской почве не подвергнуться удивительным и поучительным трансформациям.

Глава четвертая

Приключения идеи: зубатовщина в Москве

Поскольку в дальнейшем нам придется иметь дело не только с Зубатовым, но и с зубатовцами, то самое время присмотреться к этой публике поближе, постараться понять, кого же прежде всего собирало под свои знамена новое движение. Начать следует, конечно, с отказа от таких привычных этикеток, как «платные прислужники царизма», «полицейские агенты» и т. п. Все это — не более чем ярлыки, рожденные ожесточенной политической борьбой и полемикой, в которой ни одна из сторон — как мы видим это и нынче вокруг себя — не гнушается слухами, подозрениями и передержками... Вооб-

ще к тому, что сообщают друг о друге политические противники, историк, по-моему, обязан относиться с величайшей осторожностью.

Ведь даже такой источник, как «Искра», и тот не свободен от вольного обращения с фактами в угоду политической задаче. Так, в № 18 (1902 г.), в связи со сборами среди рабочих средств на венок к памятнику Александру II, «Искра» писала: «Многие из рабочих подписывались: кто 20 копеек, а кто и рубль. А на следующий день все рабочие, подписавшиеся на венок, получили от своих хозяев каждый в пять раз больше того, сколько подписали. По слухам, на эту затею охранное отделение израсходовало 100 тысяч рублей».

На слухи здесь явно опирается не только сообщение о расходах охранки (100 тысяч — сумма совершенно для нее фантастическая!), но и все остальное, поскольку достоверно известно, что к планируемому на 19 февраля рабочему празднеству московские фабриканты отнеслись резко враждебно.

Но если отказаться от ярлыков, то кто ж они все-таки были, откуда брались — эти зубатовцы? «В большинстве, — писал первый исследователь зубатовщины С. Айнзафт, — это были люди, прошедшие партийную школу, но по тем или иным причинам не примкнувшие к партии. Период кружковщины пробудил к духовной жизни целый слой рабочих, которые, выйдя из темноты и невежества, успели порядочно поднять свой духовный уровень и расширить свой умственный кругозор... Когда рабочее движение стало переходить в свои следующие фазисы к массовой экономической и политической борьбе, не все из кружковых рабочих делают шаг вперед вместе с движением, часть из них отстает. Воспитанные на чистом культурничестве и самоусовершенствовании, они не приемлют массовое движение отсталых рабочих, часто выливавшееся совершенно не в тех «европейских», «культурных» формах, какие им рисовались по книжкам».

Собственно, мы уже касались подобных коллизий во второй главе, говоря о приобретениях и потерях социал-демократии при переходе от кружковой работы к прямой агитации. Можно бы и не возвращаться. Но важно подчеркнуть вот что: рабочие, жаждавшие более европейских и культурных форм классовой борьбы и потому отходившие от революционно настроенных социал-демо-

кратов, вовсе не сидели сложа руки. «Кружок рабочих такого направления, — пишет Ю. Мартов, — сформировался в конце 90-х годов в Иванове-Вознесенске вокруг техника Кондратьева и переплетчика Евдокимова. Считая себя социал-демократами, члены этого кружка держались в стороне от стачечного движения и искали себе более мирных и легальных путей рабочей самодеятельности». Еще ближе к будущим зубатовским союзам по своей идеологии и задачам оказалось общество взаимопомощи, созданное ремесленниками в Харькове: «Это общество имело значительный успех, образовало секции в других центрах юга и, с развитием рабочего движения в Харькове, приобретало влияние на менее увлеченные политикой и более умеренные слои заводских рабочих».

Все это, по-моему, вполне убедительно доказывает, что цели, ставившиеся зубатовскими союзами на первом этапе, не были чужды рабочим, причем в первую очередь — рабочим наиболее развитым и грамотным. И потому их «переход в новую веру» мог быть, а в абсолютном большинстве случаев и был, никаким не «предательством», не «заагентуриванием», а именно переходом в новую веру, идейным актом.

Но все-таки — что это были за люди? Как их представить себе, так сказать, вживе — этих зубатовцев?

Что ж... Постараемся выудить из документов конкретные характеры, живую речь, неповторимые поступки — все, что может рассказать именно о человеческой сути наших героев.

Вот Михаил Афанасьев, будущий председатель зубатовского «Совета рабочих», квалифицированный металлист, активный участник кружка Леопольда Румы. Арестованный по делу московского «Рабочего союза», он был распропагандирован лично Зубатовым (Л. Меньшиков пишет: «заагентурен», но нигде ни на какие агентурные данные Афанасьева не ссылается — за полным отсутствием таковых), освобожден под гласный надзор полиции, но из Москвы не выслан, ибо стал активным, как говорили тогда, «пропагатором» зубатовских идей. Осенью 1900 года он познакомился с токарем Федором Слеповым, с чего, собственно, и следовало бы начинать историю зубатовщины как конкретного дела, организации.

Слепову было тогда 29 лет. Ни в каких революционных кружках он отродясь не участвовал, его жизнь и

без того была полна всяческих бед, лишений и напряженного труда — не только физического, но и духовного, умственного. Отца он потерял в младенчестве. Восьмилетним его привезли в Москву и отдали в учеду к портному. Плоды сего учения оказались столь горьки, что отнюдь не избалованный, прилежный и грамотный (читать и писать он выучился еще в деревне, у дьячка) мальчик вскоре сбежал. Позже он служил в драпировочной мастерской, работал на фабрике С. Морозова в Зарайске, а переехав вновь в Москву, — токарем на фабрике Прохорова. В столице он сразу же записался на вечерние Пречистенские курсы технического общества, где прилежно занимался физикой, литературой и даже изучал французский язык. В годы зубатовщины и позже сотрудничал в различных газетах — «Московских ведомостях», «Русском деле», «Дружеских речах»... Он был даже редактором одной из них — погромного листка «Вече».

«Однажды, — вспоминал он в газете «Русское дело», — Афанасьев принес номер швейцарской газеты «Искра» и указал место, где очень жестоко ругают Зубатова как «великого» сыщика и провокатора. Прочитав эту брань и находясь под влиянием похвальных отзывов Афанасьева о Зубатове, я воспламенился гневом против революционеров и написал стихотворение, посвятив его Зубатову. Это стихотворение было передано по назначению, и вот, дня через два или три, Афанасьев сказал мне: «Сергей Васильевич благодарит тебя за стихотворение и просит прийти в воскресенье к нему...» Я был в буквальном смысле очарован начальником охранного отделения... Так он обо всем хорошо, красиво и умно говорил, что я никогда ни от кого до этого не слышал».

Стихотворение это, названное «Контрмина», чрезвычайно пространно, многословно и — увы! — не обнаруживает особых поэтических дарований автора. Но несколько строф из него привести, я думаю, стоит.

...Эти люди, что вас ненавидят,
Они так же не любят и нас
И отраду как будто бы видят
В тяжелой жизни трудящихся масс:
На словах они счастья желают
Чуть не для всех бедняков,
А на деле их в тюрьмы сажают
И доводят порой до оков.

Эти люди живут без отчизны,
Ничего нет святого у них,
И девиз их беспочвенной жизни:
«Цели все благородны» для них...
...Прикрываясь маской коварства,
Хитрой лести, обмана и лжи,
Топчут в грязь идеал Государства,
Разрушают основы семьи...
Они мыслят воздвигнуть насильем
Равенству, Братству, Свободе алтарь
И... объятые злобным бессильем,
Горячо проповедуют нам:
...«Все ломайте с спокойною совестью,
Города предавайте огню,
Никакой не гнушайтесь подлостью...
И про честь позабудьте свою...
И когда все, что есть, вы разрушите,
Мы вам новую жизнь создадим,
Вы тогда своей властью будете
Управлять государством своим.
Вам устроим парламент, как в Англии,
Сами будем мы в нем восседать,
Всем имуществом вашим и вами
Будем ловко тогда заправлять»...
...Но мы рады, что ясно вы поняли
Этих злых и нечестных людей,
Этих гнусных предателей родины,
Проповедников адских идей...

Как кого, а меня куда больше, чем полуграмотность этих виршей, поражает явная идейная перекличка их с сегодняшней публицистикой определенного толка. Право же, в нашей жизни ничто не исчезает — только меняется.

Но что же могло объединять бывшего марксиста Афанасьева с явным черносотенцем Слеповым? Что-то, однако, объединяло!.. Попробуем нанести на коллективный портрет зубатовцев еще несколько штрихов — они, возможно, это и прояснят.

Тот же Федор Слепов. Речь (или, как он сам называет, статья), которую он прочитал 1 февраля 1902 года в Грузинском народном доме, «вызвав полный энтузиазм среди рабочих, кричавших «браво, ура, да здравствует государь император», написана в ответ на листовку Московского комитета РСДРП.

«Могут ли быть нам друзьями те гнусные предатели родины, те паразиты Руси, которые хотят нам помешать отпраздновать тот великий, незабвенный день? (Речь о 19 февраля. — В. К.) Нет, те люди не друзья наши, а самые ярые враги, стремящиеся во что бы то ни стало

самых лучших из нас вырвать из рядов, а потом остальную массу настроить во враждебные отношения к государю и правительству, устроить в нашем государстве те ужасы, которые были во Франции во время «Великой революции», когда в одну Варфоломеевскую ночь погибло 40 000 человек».

Маленькая историческая путаница вполне извинительна: автор все-таки самоучка. А красноречие — налицо! Но самое любопытное, пожалуй, дальше: «Смело мы можем сказать, что в настоящее время у нас на Руси фабрикантов нет. Все бывшие в прежние времена фабриканты и капиталисты, как любят говорить господа революционеры, теперь исчезли, их правительство теперь превратило в директоров и служащих производству, и только. Правительство сделало это с той целью, чтобы успешнее сломить современных магнатов — королей, большей частью иностранцев, которые, набив карманы русскими капиталами, уезжали к себе на родину, смеясь над нашей наивностью. Революционеры, как видно из прочитанной статьи (т. е. указанной выше листовки РСДРП. — В. К.), очень хорошо знают нашу слабую струнку, недовольство теми ненормальными условиями, в которые мы поставлены, благодаря нашим иностранным учителям в заводско-фабричной промышленности, которых Петр Великий призвал как более опытных в этом деле».

То, что причиной всех бед, всех «ненормальных условий» оказываются лишь козни иностранцев, неудивительно. Таков уж извечный стереотип примитивно дихотомического сознания, для которого мир резко поделен на своих и чужих. Но что ж это за фабриканты, которых правительство, оказывается, превратило «в служащих по производству, и только»? Тут есть какая-то смутная перекличка с зубатовскими представлениями об идеальных взаимоотношениях народа, монарха и нобилитета. Но представления эти резко огрублены, и идеал объявлен уже осуществленным. Впрочем, и это не так уж удивительно, ибо указанный тип сознания по самой своей природе не способен по-настоящему ощутить, а следовательно, и признать, всю глубину противоречия между должным и сущим, реальным и идеальным.

Но Бог с ним, со Слеповым! Вот личность совсем иного склада — Василий Иванович Пикунов. Тоже бывший кружковец, тоже привлекался по делу

московского «Рабочего союза». Среди приятелей слыл крупным знатоком истории революционного движения, знающим все и обо всем. Одна беда: прямо ни на один вопрос не отвечает. Сначала он «достанет платок, очистит нос, покачается на стуле и, нагнувшись в вашу сторону и непременно устремив на вас свои голубые глаза, которые еще больше выступают из орбит, — начнет от Адама и Евы, затем вспомнит роман Беллами «Через сто лет» и «Розу» Швейцера. Побывает в Европе и в Америке и во всех частях света, собирая подтверждения... Но факты, побочные события и мысли начинают его одолевать. Он с ними отчаянно борется, старается не упустить основную мысль, но хаос одолевает, он чувствует себя побежденным и растерянно спрашивает: «Что вам угодно?!»

Но вы, хотя и не получили прямого ответа, его имеете...

В одолевавшем его хаосе сверкала молния, при свете которой вы прочли более того, что вас интересовало» (Н. Варнашов).

Мне Пикунов куда симпатичнее Слепова, но все же «одолевающий его хаос» сведений и понятий — не обратная ли это сторона все того же типа сознания? Ведь все примитивно дихотомические схемы порождены грубой волевой попыткой преодолеть неуютную сложность и противоречивость мира, подняться над «одолевающим хаосом» — не так ли?

Еще один зубатовец — Никифор Тимофеевич Красивский, «блондин с нервным лицом и таким же голосом. Говорит очень выразительно, все время держит слушателей в напряженном состоянии».

«Мне впервые пришлось услышать действительно красноречивого оратора, — вспоминает о нем Н. Варнашов. — Он с большим искусством рисовал все прелести профессиональной рабочей организации на Западе, подкрепляя свои слова ссылками на известных авторов (Вебб, Зомбарт, Вигуру, Кулеман), и в то же время зло высмеивал существующие у нас революционные партии — «продали мне в лавке гнилую селедку, и партии спешат использовать случай, предлагая кричать: „Долой самодержавие!“»

Отдав должное Западу, он перешел на рабочий вопрос в России, доказывая возможность развития профессиональной организации и с одинаковыми результата-

ми, под покровом самодержавия, которое, по существу своему, будет всегда на стороне труда, а не капитала. Но рабочим прежде всего необходимо проявить себя не «бессмысленным бунтарством», а благоразумною и стройною организацией. Вызвать сочувствие общества и внушить доверие правительству, причем приводились примеры из жизни Московской организации».

Через некоторое время Варнашова познакомили и с Зубатовым. Речь опять «зашла о профессиональном рабочем движении и по существу была тождественна с тою, которую я слышал от Красивского». То есть Вебба и пр., с таким апломбом упоминаемых, Красивский, может быть, и читал, но понимал их явно лишь с зубатовского голоса.

Ну, и еще один, уже последний, штрих. «Имею честь уведомить ваше высочордие, — пишет 3 апреля 1902 года Зубатов своему начальнику Ратаеву, — что сообщенные в департамент полиции сведения о членах Совета Рабочих — Никифоре Тимофееве Красивском и Федоре Ильине Жилкине и рисующие их легендарно, как царских посланцев для расследования фабрично-рабочих дел Московской губернии, являются, по моему мнению, высоко интересными и глубоко знаменательными. Мы знаем взгляд на легализацию рабочего сословия революционеров, фабрикантов, министерства финансов и вообще интеллигентных людей, но мы не были осведомлены до сих пор о том, как смотрят на этот предмет в широких народных слоях. Из сфер фабричной инспекции до меня доходили слухи, что Красивского считают в народе за незаконного сына в бозе почившего императора Александра II, чем объясняют особое внимание к нему 19 февраля великого князя Сергея Александровича, и, по мнению интеллигенции, лишь благодаря этой легенде можно объяснить себе тот громадный успех и доверие, которыми пользуется Красивский среди рабочих. До получения ваших последних писем я относил означенные слухи к злостным инсинуациям со стороны оппозиционной интеллигенции, теперь же для меня стало ясно, и чем более я думаю, тем делается яснее и яснее, что в сказках народной молвы рельефно выступает наше чисто национальное мировоззрение: очевидно, политика беспристрастия и справедливости в рабочем вопросе и борьба с темными сторонами нашей отечественной промышленности, сказавшиеся в целом ряде внешних проявлений,

глубоко задела сердце и ум народа, и последний, силясь понять, дает им поэтическое и идеально монархическое объяснение. С одной стороны, это доставляет мне высшее духовное наслаждение, так как дает наглядное доказательство тому, что я верно схватил и усвоил себе смысл нашего национального государственного идеала, а с другой стороны, очень образно рисует те концы, к коим несомненно приведет легализация рабочего движения, то есть к укреплению и пышному расцвету именно идеи монархической, а не либерально-демократической».

Пожалуй, хватит. Что касается последнего документа, то Зубатов, говоря попросту, выкручивается и пудрит начальству мозги. Почему это вдруг «злостные инсинуации со стороны оппозиционной интеллигенции», перекочевав в начальственный запрос, вызывают у него «высшее духовное наслаждение»? Да в том-то все и дело, что не «почему», а зачем. Затем, чтобы, напустив высокопарного идеологического туману из «монархической идеи», «национального государственного идеала» и пр., скрыть в нем факт довольно простой и неприятный. Дело в том, что некоторая фантастичность мышления лидеров московской зубатовщины, подогреваемая к тому же чувством своей тайной причастности к власти, частенько превращает их поведение в некий, далеко не безобидный с точки зрения власти, театр.

Так, член Совета Янченков не только в беседах с рабочими подмосковных фабрик, но и оказавшись в полицейском участке, упорно доказывал, что «рабочие об отводе им помещений (для отделений Союза. — В. К.) не будут спрашивать разрешения ни хозяина, ни конторы, ни станового пристава, ни исправника, но выберут сами себе подходящее место и будут там собираться, а в случае притеснений обратятся прямо к Булыгину (московскому губернатору. — В. К.)». Понятно, что это было нестерпимо не только для пристава и хозяина лично — а они, конечно же, не собирались мириться с тем, что у них «не будут спрашивать» — но и для власти, как таковой, ибо так же, как и слухи о тайном родстве Красивского с царем, явственно отдавало самозванством — преступлением, совершенно для монархии нетерпимым.

Но самозванство, вольное или невольное, — это, конечно, крайний случай. А вот сопоставляя все выше-

сказанное, можно, по-моему, выявить и обрисовать самую суть оригинальной психологии лидеров московской зубатовщины. Это — гремучая смесь полужнания, догматической фантазированнойности мышления, склонности переносить черты абстрагированно-идеального будущего непосредственно на реальное настоящее и того безграничного апломба, который всегда порождается стремительным возвышением «из грязи в князи», а особенно — сознанием безнаказанности и *тайной* причастности к власти.

Но если это ощущение причастности к власти мысленно убрать, то остается ведь нечто поразительное, до боли знакомое, почти сегодняшнее!.. Перечитайте, например, рассказы Василия Шукшина, и вы легко найдете уже знакомые черты зубатовцев в его архитекторе идеального государства Н. Н. Князеве, и особенно много — в его Глебе Панфилове, сельском полужнайке, до макушки набитом перевранными цитатами из разных газетных статей, при помощи которых он с величайшим апломбом и упоением «срезает» заезжих кандидатов наук, всей душой чуя некую для себя опасность и поэтому ненависть.

Думается, именно эта вот неистребимая неприязнь полужнаек к интеллигенции и позволяла Зубатову так легко убеждать их, что их-де обманывали, подсовывая «не те» книжки, тогда как настоящее знание заключено в других. Ибо чем меньше человек знает, тем тверже его убежденность, что где-то есть «настоящие» книги, из которых можно непосредственно, без всяких духовных усилий черпать высшую премудрость, и что именно эти-то книги кто-то от него скрывает.

Нет, серьезно! Перечитайте еще раз шукшинский шедевр «Срезал!» — и вам совсем не сложно будет вообразить себе то упоение и торжество, с которым Никифор Красивский выстреливал в публику именами Вебба, Зомбарта и пр.

И эту относительную легкость убеждения, внушаемость, свойственную данной среде, так же как и ее неколлемимо-догматическое упрямство в отстаивании того, что уже принято ею на веру, Зубатов, без сомнения, учел, утверждая, что, «разбив рабочую массу на клетки в форме различного рода общества и завладев волею стоящих во главе сих учреждений рабочих, правительственная власть... делает ее способной к последовательной

и планомерной деятельности, стоящей уже вне каких-либо опасений». Задача завоевания адептов и создания организации во главе с ними действительно оказалась вполне разрешимой.

Но учел ли Зубатов и неизбежный в этой среде «коэффициент преломления» его идей и представлений? Ох, вряд ли...

Впрочем, тут мы невольно забегаем вперед, так как сюда, к зубатовцам, зубатовские идеи поступали уже «преломленными» — и собственно его бюрократическую суть, и всей бюрократической средой.

Первым и главным «преломлением» было, по моему мнению, создание рабочих организаций в порядке эксперимента, или, как писали тогда, «вне закона».

Дореволюционные публицисты, а отчасти и наши историки видели в этом особую зубатовскую хитрость, его жандармское коварство и в подтверждение своих обвинений охотно ссылались на запись, сделанную во время его знаменитого обеда с московскими промышленниками 26 июля 1902 года, где он объяснял это «соображениями высокой государственной важности». Однако сама дата этой записи все, собственно, и объясняет: разговор шел не о замысле, а об уже сложившейся практике, оправдать которую в глазах собеседников и было зубатовскою задачей.

О замысле же, по-моему, можно судить только на основании того, что написано Зубатовым между апрелем 1898-го (в поданной тогда Трепову записке речи ни о какой легализации рабочего движения еще не было — только о «попечительной политике») и началом 1901 года, когда в Москве были сделаны первые практические шаги по созданию «Общества взаимного вспомоществования рабочих механического производства».

Конечно, как то и принято в добропорядочной чиновничьей среде, самое важное высказывалось им начальству в беседах по большей части частных, не-протокольных, и максимум, на что мы можем рассчитывать, это «следы» таких бесед в деловой переписке. Так, в зубатовских «агентурных сведениях из Москвы» от 6 сентября 1900 года мы читаем: «Если изволите помнить, мой последний доклад у его превосходительства Сергея Эрастовича (Зволянского, директора департамента полиции. — В. К.) окончился резолюцией: „Продолжайте ваши политические разговоры с арестованными,

как дающие видимые результаты, а осенью мы установим, по возвращении министра, двойной курс: наряду с полицейскими выработаем и политические меры“».

Какие же «политические меры» предлагались? В докладной самому Зволянскому, отправленной всего через четыре дня (настойчивость для чиновника, как говорится, из ряда вон!), Зубатов пишет:

«Ознакомившись с документами, препровожденными мною вам, по еврейскому рабочему движению, вы, вероятно, изволите усмотреть, насколько революционеры боятся инициативы правительства в деле улучшения бытовой жизни рабочего: **такая политика оставляет революционный штаб без армии**, и борьба с правительством становится физически невозможной.

Едва ли подлежит сомнению положение, что экономика и полиция для рабочего человека гораздо существеннее всяких «основ». Удовлетворите их потребности в этом отношении, и они не только не полезут в политику, а и **выдадут вам всех интеллигентов поголовно**».

Какие же «инициативы правительства» Зубатов считает необходимыми? «Издать циркуляр... по коему полиция может вмешиваться лишь в случае наличности: 1) уголовщины и 2) явной политики; во всех же остальных случаях ведается одна инспекция... Я скажу еще резче: смотреть сквозь пальцы на забастовки, раз нет в них ни уголовщины, ни явной политики».

Он предлагает также поощрять создание всякого рода культурных обществ и организаций на средства самих рабочих («Опасение потерять учреждение, созданное на их собственные деньги, парализовало бы всякие попытки неблагонадежных лиц, так как рабочее большинство их прямо бы выгоняло»), а также внедрять правовые понятия «путем школ лекций, особых брошюр и газет».

Как видим, это уже почти та программа, которая и будет осуществляться. Но меры-то предлагаются как раз законодательные, — «издать циркуляр» и т. п. Однако «Высшие правительственные органы прекрасно поняли, — писал в 1906 году Зубатов, — суть вопроса и неотложность его решения. Но, одолеваемые жалобами заинтересованных сторон и пугаясь грандиозности предприятия, они думали уклониться от решения его. Кончилось тем, что министерство внутренних дел согласилось видеть в деятельности московской администрации «некоторый опыт», в зависимости от результатов которого оно и ставило свое дальнейшее поведение».

Когда точно определилась эта позиция министерства, сказать трудно. Во всяком случае, касаясь в декабрьском донесении тех же проблем, что и в сентябрьском, Зубатов ставит их уже несколько по-иному:

«Переходя к окончательным выводам моего многомесячного терзания, могу сказать следующее:

Я до сих пор не уяснил себе (а кто это себе уяснил), что рабочее движение вещь не политическая и не социалистическая, а может быть, капиталистическая. Здорово только последнее (кредит, освобождение от нужды, бедности, а не борьба с правительством или хозяевами). Но кто это может громко сказать? Сами рабочие глупы. Интеллигенция и понять сего не может, да ей и не выгодно это понимать, ибо останется без рук в своей борьбе за мировые проблемы. Правительство? Но деятельность его исключительно рефлексивная, состоящая из простых ответов на выходки революционеров... Глубоко убежден, что с рабочим революционным движением может покончить лишь особая правительственная комиссия, имеющая выработать «особое положение об устройении быта рабочих», наименовав его положением императора Николая II (на манер крестьянского), в котором и урегулировать весь частный обиход рабочего... На Западе это сделали общества взаимопомощи. Наш рабочий к самостоятельности не способен. Его поведет интеллигенция, и конечно небескорыстно. За это рабочего будут лупить жандармы. Словом, «белка в колесе» и без правительственного вмешательства как интеллигентной силы, которой лишен, но в которой так нуждается рабочий, обойтись нельзя. Без этого будем толочь воду в ступе и сами себе рубить ноги».

Как видим, мечта об «особом положении», т. е. о законодательном регулировании рабочего вопроса, отодвинута здесь в неопределенное будущее. На смену ей вышла идея создания «обществ взаимопомощи», в которых правительство должно выступать в качестве «интеллигентной силы», т. е. идеолога и организатора. Но явиться в таком качестве открыто полицейская власть, понятно, не может. Следовательно, действовать предполагается закулисно, через третьих лиц, т. е. незаконно и, по сути, анархически.

Не парадокс ли: власть — власть! — предпочитает незаконные действия? Если и парадокс, то как раз такого рода, из каких и состоит почти сплошь российская жизнь. Взгляните еще раз на слова Н. Бердяева, вынесен-

ные в эпитаф к этой книге. Да, «Россия — самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире»! И это не вопреки, а именно потому, что в ней создана «огромная, превратившаяся в самодовлеющую силу... государственность», которая именно из-за своей всеохватности и боялась так всяческой самодеятельности, а потому «слагала с русского человека бремя ответственности за судьбу России и возлагала на него службу, требовала от него смирения»... Крайности смыкаются: безграничная власть оборачивается безграничием ее своеволия. Политик Зубатов смиряется под бременем «службы», но служба оказывается тайной политикой, то есть неизбежным атрибутом вырождения и разрушения власти.

Но это только одна сторона дела. Другая состоит в том, *почему любая* бюрократия, уклоняясь от законодательных решений, охотно идет на политические эксперименты, хотя, казалось бы, сам дух эксперимента ей органически чужд. Все дело в том, что эксперимент для нее *вовсе* не средство проверки чего-то нового, выявления его плюсов и минусов, а тест на родство с нею, на приспособляемость этого нового к ней же. И судьба всех (теперь уже именуемых экономическими) экспериментов в наши недавние «застойные» времена — лучшее тому подтверждение: если новое не выдерживает теста на родство со старым, его в любой момент нетрудно прихлопнуть.

Надо признать, что организационный план создания движения был Зубатовым тщательно продуман и строился на трезвом признании многих реальностей, в том числе и не слишком лестных для инспираторов будущего движения.

Прежде всего он правильно определил сам тип деятеля, имевшего практические шансы справиться с будущей организацией. Эти рабочие должны были «испытать на себе силу революционного пропагандиста, ответить перед законом... и лишь под покровительством правительственной власти достигнуть тихой пристани». Такие адепты у Зубатова были «под рукой» еще с 1896 года, число их даже росло (появился, например, Ф. Слепов), но чрезвычайно медленно. Главным тормозом было то, что никакой самостоятельной интеллектуальной силы эти адепты собой не являли. Конечно, они могли бы распространять «нужные» книги, но... «Когда обнаружилось,

что рабочие плохо читают толстые книги по легальному движению, стало необходимым устройство для них лекций и собеседований».

Потребовалась интеллигенция. А так как для нее всякое сотрудничество с охранкой было заведомо неприемлемо, то именно здесь каждый шаг инициативной группы должен был выглядеть со стороны максимально естественным, само собой разумеющимся, а потому — особо тщательно продумываться.

Первый визит рабочие нанесли академику И. И. Янжулу. Интерес и симпатия Зубатова к идеям Янжула родились давно, но важно было и то, что у самого академика таковой визит никаких недоуменных вопросов («Почему ко мне? Кто посоветовал?») вызвать не мог. Совсем недавно, зимой 1898 года, Янжул выступил с циклом публичных лекций: «О миллионах и что с ними делать», «Великаны промышленности», «Социальный мир». Лекции наделали в Москве шуму, хотя цели своей — «смягчить сердца предпринимателей, рассеять среди них предубеждение о невыгодности затрат, улучшающих положение рабочих», — конечно же, не достигли.

Более того: визит рабочих, несомненно, должен был Янжула обрадовать, ибо в ответ на его лекции была выпущена листовка московской социал-демократической группы: «Не верьте, гг. русские буржуа, вашему профессору... Он лжет, ваш великолепный фарисей, он обманывает вас и себя! Нет, если кого и надо бояться русским кровопийцам-фабрикантам, землевладельцам... и всяким либералам, то именно русского пролетариата». Естественно, получить столь наглядное подтверждение, что он лучше всяких там социал-демократов понимает рабочие нужды, ученому было лестно.

Как и предполагалось, Янжул направил рабочих к профессору Московского университета И. Х. Озерову. И это не составляло труда заранее «вычислить», ибо профессор совсем недавно ездил в Англию изучать деятельность тред-юнионов и привез твердое убеждение, что «лет через десять» подобные организации необходимо создавать и в России¹.

¹ Надо заметить, что горячее сочувствие российским рабочим и искреннее желание хоть как-то облегчить их положение не принесли интеллигенту И. Х. Озерову ничего, кроме разнообразнейших бед и огорчений. Об угрозе студенческого бойкота, которым радикалы пытались ответить на его занятия с рабочими, мы еще расскажем,

«Весной 1901 года,— вспоминал он,— ко мне пришло несколько рабочих, прося помочь им организовать кассу взаимопомощи... Я отнесся к проекту рабочих (касса для всех рабочих механического производства Москвы и губернии) скептически, указав им, что, по моим сведениям много подобных проектов было представлено в министерство финансов, но все остались без движения. Рабочие все же стояли на своем, и аргументы их сводились к тому, что, мол, попробуем, а нет — „тогда мы будем знать, что таким путем ничего нельзя достигнуть“».

Звучало это убедительно. К тому же Н. К. Дмитриева, преподавательница Пречистенских курсов для взрослых рабочих, человек в либеральных кругах достаточно известный, подтвердила, что рабочих, обратившихся к Озерову, она знает лично (на курсах, как мы помним, учился Ф. Слепов). Всякие сомнения отпали.

«Я и В. Э. Ден (доцент университета.— В. К.) пригласили к себе рабочих-инициаторов в количестве 5—7 человек и здесь путем опроса добывали нужные нам (для составления проекта устава) сведения...

Итак, проект был составлен и передан рабочим, но по предъявлении его местной администрации со стороны этой последней (г. обер-полицмейстера) встретил возражения, что и было сообщено рабочим и нам. Нам ничего не оставалось делать, как поехать к г. обер-полицмейстеру, что мы и сделали. В личной беседе мы усердно защищали проект устава кассы взаимопомощи, доказывая, что... нет основания бояться таких организаций: наоборот, неорганизованный, голодный и холодный рабочий представляет большую социальную

но это была только первая ласточка. Осенью 1905 года он, например, завершил на основе изучения секретного прежде архива Министерства финансов обширное исследование «Политика по рабочему вопросу в России в последние годы», накануне московского восстания рукопись оказалась в типографии Сытина, где и погибла, ее пришлось восстанавливать по памяти. Оставшись после 1917 года на Родине, Иван Христофорович пытался честно сотрудничать с новой властью, но... дело «Промпартии» и его зацепило, и в начале тридцатых пришлось ему «строить социализм» на Беломорканале.

Не мог удержаться от небольшой выписки из вышеназванного исследования И. Х. Озерова: «До сих пор мы жили в полной тьме, нам были доступны документы и материалы, касающиеся Англии, Соединенных Штатов, Германии и других европейских стран, где жизнь вследствие полной гласности обладает особой прозрачностью, у нас же все было покрыто тайной, и мы за ненадобностью вывозили наши ученые силы за границу в буквальном и переносном смысле...»

опасность, и я ссылался при этом на пример Англии...»

Конечно, если бы проект был с ходу одобрен полицией, это ученых просто бы оскорбило, а так... Все развивалось естественно, хотя Трепов, думается, не столько спорил, сколько прощупывал своих собеседников, стараясь поточней выяснить их подлинные взгляды и цели. Недели через две рабочие пришли благодарить.

«Они, будучи у меня, высказывали самые радужные надежды на новое общество, надеясь привлечь в него до 10 000 человек; я высказывал сомнения и говорил, что среди рабочих, вероятно, мало развито понимание идеи кассы взаимопомощи и что эту идею нужно популяризировать».

Опять, заметим, нужная Зубатову идея выдвигается другим, и притом так естественно... Инициаторы охотно подхватывают соображения профессора и уже через неделю проводят организационное собрание под председательством В. Э. Дена, на котором, по сведениям Озерова, присутствовало 150 человек. «Организационные собрания по просьбе рабочих решено было вести каждую субботу, а так как слух об этом по фабрикам распространился, то нужно было приискать более обширное помещение, между тем летом свободен Исторический музей, и эти собрания были перенесены туда» (И. Озеров).

Изъятые при обыске записки социал-демократа Вайнштейна и ряд других документов, сохранившихся в полицейском архиве, вполне подтверждают рассказ Озерова и позволяют несколько уточнить его хронологию. Так, события начались не весной, а гораздо раньше, проект устава был разработан Озеровым и Деном уже в феврале, а 18 марта трое инициаторов испрашивают в полиции разрешения собраться рабочим механических производств для обсуждения проекта устава, обер-полицмейстером уже одобренного. В мае через М. Афанасьева и Ф. Слепова подается прошение о разрешении постоянных собраний по воскресеньям в чайной общества на летнее время под руководством профессора Вормса.

Итак, в кратчайший (около четырех месяцев) срок инспирированное Зубатовым рабочее движение приобретает популярность и достаточно стройные организационные формы. При этом надо учесть, что какие-либо выгоды движение могло сулить рабочим лишь в будущем, расходов же требовало сейчас. Так, когда стали проводиться

порайонные собрания, то деньги на оплату помещений собирали с их участников — 20 коп. в месяц. Расход для рабочей семьи заметный: на эти деньги можно было купить почти полпуда печеного хлеба или, скажем, полтора фунта (600 граммов) сахара, считавшегося тогда продуктом дорогим, которым отнюдь не всегда баловали и детишек. А все-таки отбою от желающих попасть на эти собрания не было!

Подобная популярность заставляет задуматься: в чем же состоял жизненно важный интерес этих собраний для их участников? И следовательно, насколько реальный ход движения мог бы соответствовать целям его инспитатора?

В нашей литературе до сих пор наибольшей популярностью пользуется та формулировка зубатовской цели, которую еще в 1919 году, по горячим революционным следам, дал С. Мицкевич: «С целью отвлечь рабочих от политики и привить им свои взгляды на нее, Зубатов...» Но соответствовало ли такой цели реальное содержание рабочих собраний, проходивших в 1901 году под руководством либеральной профессуры?

Объективности ради возьмем свидетельства из противоположных станов.

«Московские ведомости» (1903, 21 января), орган самой оголтелой реакции:

«Эти господа (Озеров и Ден.— В. К.) постарались прежде всего расстроить доброе начинание московских рабочих, внушая им недоверие к правительственным лицам, к которым они обратились со своим проектом. Потерпев, однако, в этом неудачу, смутьяны переменили тактику: они решили не препятствовать начавшемуся в Москве строго законному движению рабочих, а, напротив того, содействовать ему, дабы затем использовать в своих преступных целях.

Они вообразили себе, что русского рабочего так же легко завлечь в социалистическую ловушку, как и его западноевропейского товарища, дабы затем ловким образом злоупотреблять его доверчивостью и сделать его слепым орудием социалистической революции в России».

Итак, оценка реакции однозначна: либералы пытались революционизировать рабочих. Но революционеры с этим не согласны. Вот, например, статья «Буржуазная наука» в восьмом номере «Искры». Речь о беседе Озерова 19 августа: «Трактует он о разумном проведении досуга

членами кассы взаимопомощи... поговорив о значении рабочих клубов в жизни европейских рабочих, г. Озеров заявил, что наши рабочие нуждаются в подобных клубах не менее, чем иностранные. Оказывается, что это уже осознало... министерство финансов, которое с «введением винной монополии усиленно рекомендует комитетам трезвости устройство особых народных клубов, в которых рабочий мог бы не только пить чай, но и разумно проводить время». Да здравствует министерство финансов, трижды ура, г. Витте! По лицемерию или по невежеству г. Профессор не упоминает лишь об одной малости, что разумное проведение времени в клубах и читальнях комитетов трезвости заключается, между прочим, в чтении «Света», «Московских ведомостей» и тому подобной грязной литературы! Г. Озеров не постеснялся выразить «большое спасибо казенной винной монополии» за то, что она «в основу борьбы с алкоголизмом поставила устройства чайных, имеющих характер клубов». Переводя эти «благонамеренные речи» на человеческий язык, мы констатируем тот факт, что г. Озеров приветствует и прославляет русское правительство за то, что оно в основу борьбы с алкоголизмом поставило не повышение народной культуры, не освобождение личности, не свободу образовательных учреждений, но жалкое подобие просветительской деятельности, насаждаемой мощной рукой помпадуров и попов, — этот фиговый листок, которым прикрывается гнусная нагота роли кабатчика. Так для выслушивания таких-то комплиментов шарлатанским предприятиям Витте вы приглашаете рабочих на свои беседы, г. Озеров?»

Политические эмоции — штука слепящая. Попробуем все же отделить факты от их интерпретации и информацию от ее эмоциональной окраски — что останется? Профессор рассказал о роли рабочих клубов в жизни европейских стран (роли, как мы знаем, не только развлекательной, но и политической), признал, что такие же клубы нужны и в России, что начатки их можно увидеть в чайных комитетах трезвости. При этом не обругал (но, впрочем, и не похвалил ведь?) газеты, посетителям этих клубов навязываемые, а наоборот — похвалил правительство за разумную стратегию в борьбе с алкоголизмом — действительно, между прочим, разумную, принесшую куда лучшие результаты, чем предпринятая через восемь с лишним десятилетий рубка вино-

градников и выталкивание производства алкоголя в подполье.

Таковы факты, подтверждаемые «Искрой». Совсем не трудно представить, какую была реакция на них большинства слушателей. Скорей всего вполне подобной тому, о чем по поводу другой беседы сообщает Н. Варнашов: «Большей части она открыла глаза, что где-то за морем живут такие же рабочие совершенно иначе, имеют свои клубы, кассы взаимопомощи, кооперативы, успешно борются за свои интересы, с ними считаются, к их голосу прислушиваются».

И подобный эффект следовало бы оценить как резкую политизацию аудитории, а не как «уведение» ее от политики. Но может быть, такой эффект вовсе не был предусмотрен организаторами? Может быть, действительно, как писал В. Святловский, эти «спириты» уже не могли владеть теми духами, которых они вызвали к жизни?

У нас принято писать о либералах, как об этаких балованных недорослях, вечно ничего в жизни не понимающих, но эта наша традиция не относится, я думаю, к числу лучших. Озеров и его коллеги прекрасно понимали, что и зачем они делают. Поэтому и спешили так заменить лекции беседами, всячески подталкивали рабочих к размышлениям самостоятельным, будили самосознание. Уже с августа накануне собраний стали распространяться ими специальные вопросники, по которым рабочие должны были *заранее* продумать тему беседы, собирать факты. «Для составления ответов или для обсуждения их рабочие начали собираться в трактирах, в пивных, и так как собрания эти становились все многочисленнее и многочисленнее и стали носить все более характер правильных собраний... то администрация, узнав об этом, потребовала предварительных извещений о месте таких собраний, и в разных местах Москвы образовались так называемые «Районные собрания» с особыми выборными представителями» (И. Озеров).

Что ж за вопросы вызвали такой интерес? Вот план собеседования «Об установлении условий труда путем взаимных соглашений рабочих и предпринимателей (коллективный договор)»:

«1. Существуют ли определенные дни и часы для выслушивания администрацией фабрики жалоб и заявлений со стороны рабочих?»

2. Как подаются жалобы рабочими — коллективно или поодиночке? Принимаются ли депутации администрацией или нет?

3. Бывают ли увольнения жалобщиков?»

Ну, и еще 11 вопросов. Все очень конкретные, без всякой «политики». Но чтобы оценить, насколько прицельно били они по болевым точкам фабричной жизни, приведем два свидетельства.

Первое. В июльском (1898 г.) донесении фабричного инспектора Литвинова-Фалинского сообщается, что администрация фабрики «в лицах, разговаривающих с инспектором или директором фабрики во время волнения и излагающих свои нужды, склонна была усматривать зачинщиков забастовки и иногда подвергала их аресту; так было на Невской бумагопрядильной мануфактуре».

Второе. Два года спустя, как раз когда обсуждались в Москве озеровские вопросы, рабочие василеостровской пеньковопрядильной фабрики подали петербургскому градоначальнику жалобу: «Г-н инспектор нам не защитник, потому, когда приедет на фабрику, идет прямо к директору в кабинет, а оттуда к нему на квартиру, а на фабрику он никогда не заходит. Мы его и не видим. А когда кто из нас обращался с жалобой к нему на квартиру, тогда он приезжает на фабрику и идет в кабинет директора и запирается вдвоем с директором сперва. А потом приходит, кто жаловался, директор кричит: «Врешь, негодяй, я так с тобой не поступал». Тогда инспектор говорит: «Видишь, директор говорит, что ты врешь, значит, ты врешь». И обвиняет нас и выгоняет вон».

Как видим, вопрос, как и когда подавать жалобы и претензии, кто должен их принимать и выслушивать, был для рабочих отнюдь не частным. И одно то, что здесь, на собраниях, они «могли с большей или меньшей откровенностью поведать о своем горе», что «сюда шли со своими нуждами», могло обеспечить их популярность. Но они давали рабочим и нечто неизмеримо большее.

В «Своде отчетов фабричной инспекции за 1902 г.» говорится, например, о движении «среди рабочих в течение отчетного года, наиболее ярко обнаружившемся в Московской губернии и, по-видимому, бывшем причиной возникновения целого ряда однородных, не существовавших ранее и не всегда основательных требований, предъявлявшихся рабочими».

Какими же были они — эти новые требования? Отнюдь не экономическими. На первое место стремительно вышли жалобы на побои и грубое обращение. В 1901 году их было всего 111, а в 1902-м — 2146! Причем в 1901 году признано обоснованными 56%, а в следующем — уже 95%. Из чего авторы отчета и делают совершенно верный вывод: «Рабочие, под влиянием упоминавшегося выше движения, стали строже относиться к поведению заведующих заведениями и начали приносить жалобы на такие их действия, которые в прежние времена оставались без внимания».

Рост общечеловеческого, личностного самосознания, самоуважения — вот результат озеровских собеседований! Осознание же своих личных прав, их униженности не может не вести и к росту политического сознания, политических претензий — тем более что, как мы уже говорили, многие темные стороны фабричного быта были связаны с пережитками крепостничества и патриархальщины, т. е. явлениями опять-таки политическими. Это прекрасно понимал либеральный профессор Озеров, считавший, что «фабричное законодательство, и фабричная инспекция, и комитеты или старосты, как у нас они были названы, мало могли помочь делу, пока не разрешены были союзы рабочих: только при наличии последнего условия рабочий мог бы чувствовать у себя под ногами почву и сам принимать меры к устранению хозяйского произвола». И далее: «Нашим желанием было, чтобы под сенью касс взаимопомощи выросли и другие европейские цветы, как-то: бюро юридической помощи, рабочие клубы, строительные общества, общества потребителей и т. д.». Думается, про себя Озеров держал и еще кое-что, из осторожности не договаривая вслух, но постоянно ссылаясь на опыт Англии, где, как мы знаем уже, к тому времени результатом *экономической борьбы* тред-юнионов были и совсем неплохие *политические гарантии* для рабочих.

Но были ли эти озеровские цели целями также и зубатовскими? Весной 1902 года Зубатов поспешил открититься от либералов — это так, но... Ведь даже Озеров безмерно удивился, когда его вопросники разрешили для распространения среди рабочих литографировать. А разрешил-то Зубатов!

В сентябре 1901 года он писал Зволянскому: «10 октября заканчивается срок бесплатного предоставления

аудитории Исторического музея в распоряжение рабочих. Там 560 мест. Уже теперь аудитория бывает переполнена. Поэтому Озеров и профессор Духовский возбудили вопрос о предоставлении рабочим большего по размерам помещения, а городской голова, кн. Голицын, отдает им аудиторию нового, только что выстроенного Работного дома. Аудитория — на 2 тысячи человек... *Словом, сдаем рабочих на попечение университетского начальства (выделено мною. — В. К.)».*

А еще через три недели он с гордостью сообщает тому же адресату: «Вчерашний день оказался чрезвычайным: в отделение заявился проф. Озеров. Шаг исключительный. В прежние времена профессора посещали нас не иначе, как под конвоем... Во всяком случае, совместная просветительская работа охраны и профессуры — зрелище любопытное и необычное».

Да уж!.. Было чему удивляться, было чем и гордиться! Ибо, обнаружив присутствие в деле охраны, профессура не хлопнула дверью, а смирилась. Единственная причина этого — надежда, что «развивающаяся жизнь заполнит такие организации новым содержанием». И это, в общем-то, как мы видели, соответствует практике. Но самое любопытное, что в сентябре ни один из столь неожиданных союзников, кажется, еще и не подозревал о близящемся разрыве.

Той осенью вообще казалось, что успехи Зубатова и зубатовщины идут крещендо. 8 ноября его непосредственный начальник, заведующий особым отделом департамента полиции Л. А. Ратаев, просит его составить для министра внутренних дел «рельефную и полную картину возникновения и развития... организации контрреволюционного движения среди рабочих в Москве и Минске». И это не грозный начальственный запрос, а лестный интерес к «передовому опыту» московской охраны, к возможности его распространения, о чем и свидетельствует приписка: «Отдельно приложите маленькую записочку об организации нечто подобного среди учащейся молодежи».

Зубатов тут же выписывает рецепт лечения «революционной горячки» студентов — вполне аналогичный тому, что применяется им для рабочих: необходима «легализация студенческих совещаний с привлечением к участию в них особо избираемых для сего профессоров». Но нам эта «записочка» от 28 ноября интересна не столько сим

рецептом, сколько тем, как совсем уж не к месту спешит Зубатов и тут воздать хвалу своим рабочим организациям, выставляя их в качестве безусловного образца и так педалируя успехи, что это явственно выдает гложащую его тревогу. И надо признать: в ноябре Зубатову уже было о чем тревожиться.

В отличие от своих союзников-либералов, он прекрасно понимал, что весь шумный успех собраний и беседований никак не гарантирует *длительности* интереса рабочих к создаваемому «Обществу взаимопомощи». По настоящему может их привязать только подлинная взаимопомощь, практическая — нужны дела, нужны успехи, хотя бы и мелкие. И эту вот сторону деятельности Общества Зубатов никому передоверить не мог. Я не говорю: не хотел. Сие вопрос спорный. Его общие высказывания относительно необходимости «развязывания общественных сил», его конкретные предложения «смотреть сквозь пальцы на забастовки» клонятся как будто бы к другому — к предоставлению сторонам именно самостоятельности в спорах, единственным ограничением которой должно служить «твердое усвоение того положения, что границы самодеятельности оканчиваются там, где начинаются права власти».

Но, во-первых, в России и вообще-то трудно определить, где начинаются права власти, ибо они нигде не кончаются. А во-вторых, организация, созданная лишь «в виде некоего опыта», никаких законных прав (а следовательно, и их ограничений) иметь не может. Где же выход?

В начале осени Зубатову показалось, что выход он нашел блестящий! Убил одним выстрелом двух зайцев, бегущих в разные стороны. В уже цитированном сентябрьском донесении Зволянскому он под занавес, как бы между прочим, сообщает: «Мы организовали «Рабочий совет» из 17 человек, проведя туда всю агентуру...»

Внимание! Перед нами едва ли не главное доказательство того, что при создании зубатовских союзов имелись в виду не только общеполитические, но и «оперативно-полицейские» цели. Большинство историков считают его более чем достаточным — ведь «сам Зубатов пишет»! Мне представляется все же, что дело не так-то просто.

На грани веков в России, в условиях рыночной экономики, слова «агент», «агентура» имели множество значений. См., например, у Даля: «АГЕНТ — лицо, которому поручено дело от лица же, общины, товарищества или от правительства... частное доверенное лицо по делам, уполномоченный, делец, ходатай, ходок, старатель, стряпчий, поверенный, прикащик».

Понятно, что когда Гужон (см. далее) говорит о Жилкине и Красивском, что «он не знает, кто они такие — рабочие или полицейские агенты», то имеет в виду не тайное осведомительство, а именно получение ими своих полномочий от полиции, и он совершенно прав: Совет рабочих юридически не существовал, полномочиями для переговоров с Гужоном их наделил генерал Трепов. Но что имеет в виду Зубатов, когда пишет о проведении в Совет «всей агентуры», — тайное осведомительство членов Совета или же проведение ими политики, одобренной Зубатовым? По-моему, все же второе.

Зубатов прекрасно понимал, что использовать рабочие организации в оперативно-полицейских целях невыгодно, неразумно. Что, разумеется, еще не доказывает, что так-таки никогда и не использовал. Бывают случаи, когда, как говорится, грех воровать, да нельзя миновать... И все же, когда начинаешь разбираться в многочисленнейших «свидетельствах» такой практики, то раз за разом убеждаешься, что восходят они в основном к слухам и подозрениям. Бесспорно оперативно-полицейское использование активистов зубатовских организаций в Западном крае или на раннем (догапоновском) этапе в Петербурге — и об этом будет подробно рассказано дальше. Но ни одного документально зафиксированного факта подобного же использования активистов московского Общества или петербургского Собрания я не обнаружил. О чем тоже считаю необходимым сказать.

Кроме того, мне представляется важным подчеркнуть принципиальную разницу двух ситуаций. 1) Когда агент полиции вводится в уже существующую революционную организацию. В этом случае и его мимикрия, и тайное участие в «антиправительственной деятельности» неизбежны. 2) Когда люди, согласные сотрудничать с правительством, создают для этого собственную организацию. Ничего специфически «провокаторского» во втором случае, по-моему, нет. Другое дело, что реальные пути

и такой организации могут уйти от первоначально прокламируемых целей достаточно далеко. Но это происходит уже вследствие иных причин. И социально-психологические механизмы действуют при этом иные.

Но вернемся к письму Зубатова.

«Дело идет блестяще. Темой (для обсуждения в районных собраниях.— В. К.) может быть лишь вопрос, трактовавшийся на общем совещании. В контроль назначается председателем Совета один из членов, преимущественно из наших друзей. Словом, обладая Советом, мы располагаем **фокусом** всей рабочей массы и благодаря этому рычагу можем вертеть всею громадою».

Восторг и бодрость здесь, конечно, несколько агитационны, но что в лице Совета администрация действительно получала уникальный инструмент воздействия на рабочую среду — это несомненно. Уникальность его заключается, во-первых, в том, что здесь сосредоточивалась вся информация (разумеется, неофициальная, но зато куда более достоверная, нежели у фабричной инспекции) о зреющих на предприятиях неудовольствиях и конфликтах. Во-вторых, Совет, особенно на первых порах, действительно обладал в глазах рабочих высоким авторитетом, а некоторые из его лидеров приобрели, как помним, даже харизматические черты «царских посланцев» и «незаконных сыновей покойного государя».

«Если до администрации,— вспоминал Зубатов,— доходили со стороны слухи о готовящихся где-либо недоразумениях, волнениях или забастовках, то она, не получая подтверждения о них от «Совета рабочих», предлагала последнему проверить их через отправку на место происшествия своих членов. Фабриканты обычно против этого не протестовали, и все выяснялось к общему благополучию».

Зубатов говорит правду, да не всю. Ибо «не возражали» фабриканты только потому, что члены Совета являлись «с открытыми листами, выданными московским обер-полицмейстером как представителям московского столичного по фабричным делам присутствия», т. е. фактически как представители власти, а не Совета.

Конечно, это делалось вынужденно. Созданное экспериментально и не имеющее даже утвержденного устава, «Общество взаимного вспомоществования рабочих механического производства» действовать от своего

имени попросту не могло. А пользуясь собственным авторитетом и полицейским прикрытием, Совет мог успешно играть роль «мудрого примирителя». На практике, правда, он решал только половину этой задачи — уговаривал рабочих снизить требования до минимума. Другую половину — заставить владельца принять этот минимум — приходилось брать на себя Трепову. Таким путем было предотвращено или быстро прекращено немало конфликтов, грозивших перерасти в забастовки.

Но разумеется, что от зубатовского правила, что «всякая самодеятельность кончается там, где начинается власть», — тут уже ничего не оставалось. Более того: власть лишалась при этом и функций арбитра, ибо становилась патроном одной из спорящих сторон! Патроном, *обязанным* обеспечить ей хотя бы частичный успех.

Все это не могло не порождать колоссального потока сплетен, слухов и жалоб. И фабричная инспекция, высоко вознеся свое знамя «законности», тут же начала поход против Совета рабочих, видя в нем прежде всего полицейское изобретение, сводящее на нет ее бюрократические прерогативы.

Уже 24 ноября, меньше чем через два месяца после создания Совета, Зубатову приходилось оправдываться и успокаивать начальство. «По существу Совет рабочих есть его же собственная агентура, — писал он в ответ на наивный, но посланный через министерство запрос фабричного инспектора Гросса, как, мол, ему относиться к вновь появившемуся «Совету», — через которую к нему стекаются сведения о разного рода заводских не порядках, и так как большинство недоразумений проистекает в силу малой осведомленности инспекции, то на изобретение и установление указанной связи было обращено особое внимание и потрачено много труда».

Одновременно пересылалась Ратаеву и «Инструкция Совету рабочих механического производства», утвержденная генералом Треповым, — единственный документ, на основании которого Совет существовал и действовал.

Однако и Трепову, поставившему на ней милостивую резолюцию: «Совет разрешаю и инструкцию утверждаю в надежде, что рабочие оправдают мое к ним доверие и благожелательство», — пришлось вскоре выкручиваться, отвечая на грозные вопросы Сипягина о том, какими «законоположениями» руководствуется московская администрация, «допуская организацию Союза

рабочих и состоящих при нем Советов»: «На самом деле никакого Союза в Москве не существует, а допущенный мною Совет рабочих представляет до оригинальности исключительное явление, так как Совет этот, в действительности, не имеет соответственного себе организованного общества рабочих».

Под перекрестным огнем с начала осени оказались и собеседования либеральных профессоров. Нападки, вспоминал И. Озеров, последовали «прежде всего со стороны материально заинтересованных сфер (предпринимательских), которые усмотрели в этих совещаниях посягательство на свою автаркию». Это понятно. Но любопытно, что самой распространенной формой противодействия «чувствующей себя гордо буржуазии» стало, увы, такое привычное на Руси средство, как донос. И фабриканты, прекрасно зная, что у истоков движения стоит охранка, все-таки обвиняли его в... В чем же, ну? Правильно! Разумеется! В подрыве устоев!

«Хотя выбор рабочими на отдельных фабриках представителей для сношения с заведующими фабриками не может представлять вреда, — говорится в одном из таких посланий на самый верх, — но, напротив, может служить к большему удобству при установлении взаимных соглашений между хозяевами и рабочими, тем не менее объединение принадлежащих к различным фабрикам рабочих, состоящих из разных слоев рабочего класса, является крайне опасным, особенно в том настроении, когда они зададутся разбором уже вопросов характера государственного (выделено мною. Т. е. мы-то что, да как бы и вам, господа, хуже не было! — В. К.).»

С другой стороны, — пишет Озеров, — наши крайние партии посыпали упреки, не скупилась на распространение ложных слухов по следующим мотивам: они говорили, что мы работаем под белым знаменем, что это примиряет рабочих с существующим строем, связывает их с ним, и, следовательно, вся предшествующая работа, по их мнению, по разрушению этого строя идет на-смарку».

Что ж... Доводы эти Озеров готов рассмотреть всерьез: «Положим, что наша деятельность создает уверенность в возможности улучшить свое положение в рамках существующего строя, поскольку это последний

допускает (допускает ли он, мы увидим, я говорил, на опыте), а если нет, то недовольство среди рабочих будет колоссальное, только опыт должен был определить нам степень эластичности самодержавного строя, его творческую способность».

То есть он как бы предлагает радикалам: давайте посмотрим. Если вы правы, если самодержавие окостенело и не способно более идти путем реформ и трансформаций, то и рабочие легальным путем, конечно же, ничего не добьются. Но тогда ими завладеет чувство обманутости и безысходности, которое их колоссально революционизирует. И таким образом, если вы правы, то легальное движение на вас же и сработает — вам незачем с ним бороться. Но если рабочим все же удастся улучшить свое положение в рамках существующего строя, то не значит ли это, что его незачем разрушать, ибо он способен еще идти навстречу возникающим жизненным проблемам и гармонизировать интересы различных социальных групп?

Доводы серьезные. Но людей, готовых к ним прислушаться, осенью 1901 года почти не оказалось. Атака леворадикальных сил нарастала и ожесточалась. На мой взгляд, в этом дружном и нервном выступлении левых против легального рабочего движения еще *до того*, как оно обрело какие-либо определенные формы и четкую политическую физиономию, ярко проявилась одна из ведущих черт революционаристского сознания — когда революция, теоретически признаваемая лишь средством достижения определенных социальных целей, на практике сама превращается в высшую цель, вытесняя из сознания любую возможность иных путей и методов.

Сильнейшим оружием в руках левых радикалов были, конечно, данные об участии в движении охранки. Когда это участие сделалось очевидным, студенты заявили, что они не станут слушать лекции Озерова и объявят ему бойкот, если он будет продолжать свои собеседования. Угроза, по тогдашним нравам, была нешуточная. Но либерал Озеров, вопреки всеобщему мнению о трусости либералов, не дрогнул: 7 декабря по его настоянию состоялся даже своего рода третейский суд под председательством известного историка профессора П. Г. Виноградова, который рассмотрел доводы сторон и решил, что: «1. В высшей степени желательно продолжать и развивать просветительную деятельность, которую с

таким успехом проявили лекторы и руководители так называемых собеседований... 2. Организационные начинания рабочих должны быть предоставлены самим рабочим».

Впрочем, это не могло уже иметь никакого значения, так как под шумовой завесой атаки слева и правые не теряли времени даром. По воспоминаниям Зубатова, хозяева «настолько терроризировали характером этих лекций покойного Д. С. Сипягина, что тот дал предложение прекратить их».

Интересно, что за чувства испытали бы студенты-радикалы, узнай они, что действуют, оказывается, в трогательном единстве с реакционнейшим министром внутренних дел? По счастью, они о сем не ведали и, числя победу за собой, весьма ею гордились. Не знал этого и Озеров. Получив поддержку третейского суда, он готовился к продолжению своих собеседований и сочинял записку по рабочему вопросу министру финансов С. Ю. Витте, с которой в самом начале 1902 года отправился в Петербург, где, впрочем, она так и была списана в министерский архив «без рассмотрения».

Но Зубатов-то знал! Ему пришлось лично заверить министра, что собеседования либералов «служили исключительно приготовлением к восприятию рабочими целей и значения ожидаемого устава кассы взаимопомощи, а также к ознакомлению их с разными другими легальными рабочими организациями, причем после утверждения устава подобные собеседования за отсутствием дальнейшей надобности» обещал прекратить. В начале марта, во время гужоновской забастовки, Сипягин с неудовольствием напомнил ему об этом.

Так что Зубатову опять был срочно необходим успех. Только теперь ему нужен был успех в глазах начальства, а не рабочих, и не абы какой — а крупный, звонкий, такой, чтоб сразу заткнуть рты беспрерывно умножающемуся отряду критиков. Надо было наглядно продемонстрировать то, что он давно обещал, — волшебное действие «рычага», при помощи которого можно вертеть «всей громадою» рабочих масс. Из этой-то потребности, похоже, и родилась идея празднования рабочими 19 февраля.

Что же касается собраний и собеседований, то прекратить их вообще — значило бы поставить на легальном рабочем движении крест, ибо потребность об-

шения, гласного обсуждения своих нужд и проблем была безусловно одной из главнейших, цементирующих все движение. Хорошо понимавший это Зубатов и тут придумал неожиданный и ловкий политический ход — обратился к Л. А. Тихомирову.

Правда, в 1908 году он писал Бурцеву, что прежде всего обратился к Тихомирову, а уж потом рабочие сами «пролезли» к Янжулу и Озерову, но это либо аберрация памяти, либо сознательная дезинформация.

Дневник Тихомирова достаточно точно фиксирует дату их знакомства. «Вот смотри, пожалуйста, — отмечает тот 10 января 1902 года, — журналисты абсолютно замолчали мою работу, а оказывается, что в Петербурге она явилась единственной опорой для развития монархического режима». Так как сообщить ему, что Министерство внутренних дел в своих попытках «организовать рабочий класс пользуется соображениями и доказательствами», изложенными в работе «Единоличная власть как принцип государственного строения» (М., 1897), мог только Зубатов, и то с явной целью польстить и привлечь к своему делу, то первая их беседа, выходит, и состоялась немногим ранее указанной даты: Зубатов воспользовался отъездом Озерова для его скорейшей замены.

Сам он вспоминал: «Принял меня Л. А. весьма нерадушно; мое служебное положение его крайне шокировало. Но видя, что я его заинтересовал и как будто указал ему нечто новое, назвав Бернштейна и только что вышедших авторов по профессиональному рабочему движению (Рузье, Вигуру, Геркнер, Метен, Зомбарт и др.), я претерпел в интересах дела неприятное чувство при сношении с ним и после нескольких свиданий сдал ему рабочих, а его самого — Трепову».

Почему выбор нового идеолога движения я считаю со стороны Зубатова тонким и хорошо рассчитанным политическим ходом? Причин несколько. Став яростным монархистом и богомольным христианином, раскаявшись, бывший член Исполнительного комитета «Народной воли» никого из своих друзей не предал и не выдал — имя его пользовалось известным уважением даже среди тех, кто на дух не принимал новые его воззрения, — это раз. Появление убежденного монархиста среди монархически настроенных рабочих удивить никого не могло — два. Он никогда не занимался рабочим вопро-

сом — три. Последнее было в глазах Зубатова несомненно плюсом, ибо позволяло открыть человеку нечто новое, увлечь, повести за собой...

Но главное: если с либералами Зубатова объединяло понимание проблем рабочего движения и стремление избежать революционного взрыва, то с Тихомировым — взгляды на сущность монархии и роль национально-религиозных традиций. Таким образом, замена интеллектуального лидера движения означала еще и переакцентировку его политических приоритетов, хотя не всем и не сразу заметную.

Характерно, что Зубатов крайне спешил с оповещением своего начальства о переменах. Тихомиров еще колеблется, записывая в дневник: «Какой страшный вопрос, поражающий воображение своей сложностью, противоречиями... Как бы мне не сломать на нем шею, особенно ввиду страшного падения авторитета правительства», — а уже в Петербурге товарищ министра внутренних дел Святополк-Мирский в ответ на сетования редактора «Московских ведомостей» Грингмута, что Озеров и К° могут, мол, «придать рабочему движению нежелательный характер», уверенно говорит: «Да ведь теперь рабочие сданы Тихомирову!»

Тихомиров еще только обдумывает планы усиления «религиозного воспитания рабочих», а Зубатов уже действует и спешит доложить начальству о результатах. 4 февраля 1902 года сообщает: «Сегодня узнал любопытную подробность о совещании ткачей: они постановили начинать и оканчивать их общей молитвой, под дирижерство своего председателя (Красивского. — В. К.)».

С середины января 1902 года зубатовцы берутся за интенсивную подготовку к празднованию 19 февраля. 24-го было подано Трепову прошение о дозволении возложить венок к памятнику Александру II, причем в прошении говорилось, что желание такого празднования уже широко распространилось в среде рабочих; чем и вызвана была несколько брюзгливая резолюция Трепова: «Надлежало бы прежде испросить разрешение, а потом уже пропагандировать идею». Обер-полицмейстер твердо стоял за порядок и не всегда понимал неожиданные, тонкие и сильные политические ходы Зубатова.

Объективности ради следует, впрочем, заметить, что инициативу Зубатова в проведении этого празднования

признавали не все историки. Так, Н. Бухбиндер писал: «В печати указывалось, что празднование 19 февраля 1902 года было организовано по поручению Зубатова. Это вряд ли так. Из сохранившихся архивных материалов видно, что оно произошло лишь по инициативе „Общества взаимопомощи рабочих механического производства“». Да, письменных доказательств причастности Зубатова к возникновению этого замысла мы не имеем. Но разве всякая политическая деятельность непременно оставляет письменные следы? Первотолчком мог стать, к примеру, простой разговор патрона с кем-нибудь из членов Совета рабочих, и для этого даже не надо было изобретать специальный повод, поскольку не первый уже год все основные события внутривнутриполитической жизни России, а следовательно, и разговоры о них вертелись вокруг этой даты — 19 февраля.

Этот день, зримо несший память «павшего рабства» и начала «эры реформ», давно уже стал как бы немимым укором правительству, никакими реформами не прославленному, и любая оппозиция, стремившаяся удержаться в рамках легальности, широко пользовалась им как символом (примерно так же, как в 70-е годы у нас пользовались ссылками на XX съезд).

Особенно «накалилась» эта дата с началом нового века. 19 февраля 1901 года произошли крупные студенческие демонстрации в Петербурге и Харькове, закончившиеся стычками с полицией. С опозданием на три дня состоялась демонстрация и в Москве. В новом году власти ожидали беспорядков еще больших, так как были прекрасно осведомлены, что «заправила студенческого движения, не без подталкивания революционных организаций, собрались в начале этого года на всероссийский студенческий съезд», который и призвал студентов переходить от «академической борьбы» к открытым политическим выступлениям.

«В конце января,— сообщает А. Спиридович,— началось у нас глухое брожение среди студентов университета, вылившееся наконец в большую сходку в актовом зале... Ввиду такого характера событий решено было действовать энергично не в пример прошлому году».

Понятно, что студенческие демонстрации, шумные и слегка безалаберные, происходящие в самом центре столицы, не могли не электризовать атмосферы, взвинчи-

вая нервы обывателя запахом близкой грозы. К тому ж их эффект многократно усиливался первыми громовыми раскатами индивидуального политического террора, также тяготевшими к этой дате.

14 февраля 1901 года бывший московский студент В. П. Карпович пришел в Петербурге на прием к министру просвещения Н. П. Боголепову, подписавшему за месяц до этого приказ об отдаче в солдаты 183 студентов Киевского университета, и, неожиданно выхватив пистолет, выстрелил, ранив министра в горло. Ровно через год событие повторилось в Москве, в несколько окарикатуренном, почти трагифарсовом варианте: «9 февраля пришедшая к обер-полицмейстеру на прием курсистка Алларт выстрелила в генерала в упор, но револьвер дал осечку... Маленькая, черненькая, нервная девица, она была очень взволнована и не могла разъяснить, почему и за что она стреляла» (А. Спиридович).

Так что Зубатов безусловно лукавил, когда в 1908 году пытался в письме Бурцеву объяснить весь шум вокруг этой акции «Общества» лишь тем, что «забыли о самолюбии фабрикантов (их не предупредили)... Пошли толки, жалобы, недовольства с этой стороны, получившие в Петербурге наибольшее у всех значение». Действительно, великий князь Сергей Александрович объявил 19 февраля нерабочим днем своей личной властью, ни с кем из промышленников не советуясь, что тем, разумеется, понравиться не могло. Но это в общем-то был мелкий и незначительный штрих того многосложного политического пейзажа, на котором развивались события.

Во всех городах, где происходили февральские студенческие беспорядки, в них так или иначе оказывались втянутыми и рабочие. И потому в департаменте полиции к зубатовской затее отнеслись поначалу с настороженным недоумением. 4 февраля С. Зволянский предлагал, например, разрешить рабочим отслужить панихиду по Александру II, и молебствие за Николая II, и даже возложение венка, но шествие по городу запретить. Да и Трепов в самый последний момент не удержался и припрятал поблизости полусотню казаков — мало ли! Береженого, как говорится, и Бог бережет!

А сколь обоснованны были их опасения, можно судить по тому, что через несколько часов после манифестации в Кремле Трепов получил панический теле-

графный запрос: правда ли, что Кремль осажден и взят толпою рабочих? Это была, так сказать, контаминация *действительного* события и его *ожидаемого* смысла.

Что ж... Тем большими героями и чудотворцами должны были предстать в глазах начальства Зубатов и Трепов, когда «оказалось, что 50-тысячная толпа вела себя как дисциплинированное полчище солдат, и треповская перчатка играла роль волшебной палочки, причем при всем воодушевлении толпы линия не была прорвана и не произошло ни малейшего беспорядка или замешательства, вернувшийся Трепов со слезами на глазах и дрожью в голосе говорил, как всем этим был поражен и обрадован великий князь да и он сам» (С. Зубатов).

«Смотрел с удивлением на происходящее и П. И. Рачковский, командированный нарочито из Петербурга. Впечатление от происходящего было большое... Зубатов-легализатор был наверху своей славы» (А. Спиридович).

Однако у события была не только эта политическая сторона, внушавшая московским властям столь радужные надежды. Была ведь и другая...

Январь — февраль 1902 года, т. е. период подготовки и празднования 19 февраля, были также периодом наиболее активных действий Совета рабочих (знаменитая гужоновская забастовка началась всего через несколько дней), что, собственно, и создавало ту атмосферу близких надежд, в которой, как сообщал Зубатов, «на всех совещаниях (у рабочих. — В. К.) единогласно проваливается какое-либо участие в студенческой демонстрации. Да и последняя едва ли состоится, ибо бьем и метко, и широко».

Однако сам праздник внес в эту атмосферу кое-что новое. Если мы проанализируем (хотя бы по упоминавшемуся уже «Своду отчетов фабричной инспекции») требования, которые предъявляли рабочие под руководством Совета, то увидим, что это были почти исключительно требования об *исполнении закона*. Сие, конечно, тоже вызывало недовольство: эксплуатировать рабочего строго по закону было российскому капиталисту внове и совсем не по «нраву». Но все же на основе этих требований заподозрить зубатовцев в неблагонадежности было немыслимо — приходилось пускать в ход разного рода слухи о тематике озеровских чтений. А вот демонстрация 19 февраля, прославляющая царя-реформатора, царя-освободителя, не могла рассматриваться

иначе, как заявление о необходимости и желательности новых реформ, т. е. о *неудовлетворенности* (пусть и при сохраняющейся лояльности) существующим порядком. И таков был не только *объективный* смысл — таково было *намерение* организаторов.

На одном из районных совещаний накануне демонстрации Ф. Слепов говорил: «Студенты бунтуют и просят нас присоединиться к ним. Они хотят конституции. Зачем нам она? Чтобы посадить себе на голову фабрикантов и всякую интеллигенцию? Ведь они станут тогда во главе правления и станут нас притеснять еще больше. Нет, братцы, не за них и не с ними нам нужно быть, мы будем стоять за царя. Царь обещает нам восьмичасовой рабочий день, повысить заработную плату; он даст нам всякие льготы, а потом и все фабрики от фабрикантов отнимет и отдаст нам... Больших фабрик не будет, будут все маленькие и все будут наши. Нет, не конституция нам нужна, а царь, который за нас!»

У радикалов вскипала от возмущения кровь: что значит, «не конституция нам нужна, а царь?» Нет, это не рабочий — это полицейский агент говорит! Но кровь, как ни странно, вскипала и у консерваторов, у монархистов, ибо они слышали тут нечто совершенно иное: «Нам нужен... царь, который за нас!» Не богоданный, не потому, что царь, а лишь тот, который... Нет, в ушах консерваторов это звучало не клятвою верности, а неприкрытой угрозой бунта!

И правительство, как главный консерватор, прекрасно расслышало эту угрозу, секретным указом от 26 февраля предупредив цензуру: «Не следует дозволять обобщения этого отдельного факта и сообщения ему характера всероссийского события».

Подводя итог всему сказанному о демонстрации 19 февраля, следует признать, что это была многоцелевая политическая акция, посредством которой Зубатов хотел не только продемонстрировать свои успехи в руководстве рабочими массами, но и оказать определенный политический нажим на правительство, подтолкнуть его на путь реформ и перемен, давая понять, что только на этом пути и может оно рассчитывать на относительную стабильность. Но именно попытка оказать нажим, как покажут ближайшие же события, имела обратный эффект.

Пора, однако, обратиться к эпизоду, который и наблюдатели-современники, и историки зубатовщины единогласно оценивают как переломную точку движения. «Рабочая масса пошла за Зубатовым лишь тогда,— пишет историк-большевик М. Лядов,— когда его агенты от слов стали переходить к делу, когда они с «открытым листом» московского генерал-губернатора **заставляли** фабрикантов вводить то или иное улучшение на заводе, когда, как во время стачки на заводе Гужона, из неведомых сумм рабочим выдавалось по 250 рублей в неделю. Но как только — после отпора, который французский гражданин Гужон сумел оказать охранке,— такого рода «деятельность» Зубатова должна была сократиться, масса отхлынула от него».

В жизни, однако, все было сложнее и противоречивей. Историю гужоновской забастовки надо, пожалуй, начинать с тех самых собраний ткачей (точнее — «Общества взаимопомощи рабочих текстильного производства», ходатайство о разрешении которого было подано Трепову в самом конце 1901 года), которые, по форделивому сообщению Зубатова, начинались и заканчивались молитвою. Ибо между молитвами ткачи все-таки успевали обсудить свои дела и даже принять решения. Например, такое: «После Пасхи¹ сразу на работу не определяться, чтобы дать возможность организации ткачей вести переговоры с каждой фабрикой для упорядочения условий труда; 2) не поступать на работу на те фабрики, которые не примут условий организации; 3) обязать всех ткачей не предоставлять работу таким, которые не примкнут к организации; 4) при принятии фабрикантом на работу ткачей, не принадлежащих к организации, все остальные рабочие, принадлежащие к организации, обязаны заявить расчет и отказаться от продолжения работ через 14 дней; 5) обязать в лице организованных ткачей поддержкой денежными взносами тех ткачей, которые будут без работы».

Нет, не без пользы для себя слушали московские рабочие собеседования Озерова и Дена о коллективном договоре! И вот 21 февраля 1902 года рабочие фабрики товарищества шелковой мануфактуры (Гужон — один из совладельцев и директоров) расторгли договор с

¹ По традиции русской текстильной промышленности изменение расценок и прочих условий найма происходило раз в году, на Пасху.

правлением и остановили работу, предъявив ряд требований. Как обычно, в инцидент вмешался Совет рабочих. Его представитель Федор Жилкин начал переговоры с фабричным инспектором Игнатовым и директором фабрики Яропольским. Последний заявил, что фабрика готова пойти на уступки, но если ей придется «платить за присучку, прогулы и некоторые другие связанные с ткачеством обстоятельства», то общие расценки придется понизить. Рабочие уже почти соглашались стать на работу, требуя только восстановления двух своих товарищей, а также чтоб соглашение было изложено письменно и засвидетельствовано фабричной инспекцией. (Ох, не зря все же слушали они собеседования по коллективному договору!)

Но именно это, в общем-то незначительное, требование Гужон принять отказался. Рабочим был объявлен расчет. Между тем фабричный инспектор доложил Трепову, что предлагаемые-де правлением фабрики расценки не ниже прежнего и вообще все основано на недоразумении. Трепов немедленно потребовал от Жилкина и Красивского «поставить ткачей на работу». Те отправились на фабрику, но их туда не пустили.

Дальше послушаем самого Зубатова. Он дважды описывал эту забастовку: в донесении Ратаеву 3 апреля 1902 года и в написанной спустя десять лет статье «Зубатовщина». Описания эти, в общем-то, не противоречат друг другу, хотя на первый план в них, естественно, выходят то одни, то другие подробности. Поэтому и мы будем цитировать то одно описание, то другое.

«По приказанию Гужона рабочих на завод не пускают. Добившись личного с ним свидания, члены Совета выслушивают от него праздные речи о том, что, по закону, в России нет английских тред-юнионов, а потому исполнять их незаконные желания он не видит основания; да, наконец, он не знает, кто они такие — рабочие или полицейские агенты. О своем затруднении члены Совета уведомили по телефону администрацию, и им были посланы бланкированные удостоверения, за подписью генерала Трепова в том, что они такие-то и что они состоят членами разрешенного в Москве администрацией «Совета рабочих механического производства» («Общество рабочих текстильной промышленности» разрешено еще не было, и следовательно, официально не существовало. — В. К.). Но и после предъяв-

ления таких удостоверений г. Гужон отказался пропустить их на завод, явно компрометируя тем самым в глазах рабочих авторитет московской административной власти».

«Тогда был командирован на фабрику, для допуска внутрь ее членов Совета, ротмистр Ратько, но сделать это оказался не в силах... Лишь по личному требованию, по телефону, генерала Трепова г. Гужон впустил членов Совета. Из разговоров последних с рабочими, в присутствии ротмистра Ратько, тотчас же выяснилось, что на ходовом товаре заработок, при новом расценке, упал до 5 р. в месяц (т. е. что рабочих вкуче с полицией пытались попросту надуть.— В. К.), и рабочие, составив своим убыткам особую ведомость... от заключения нового договора отказались».

Это — в докладе 1902 года, где «подставлять» начальство было никак, конечно, нельзя. Через десять лет этот эпизод принимает несколько иную окраску.

«Вторично осведомленный ген. Трепов пригрозил по телефону г. Гужону немедленным взятием его под стражу, если распоряжения начальника полиции не будут им исполнены тотчас же. Вслед за этим было сделано представление о высылке французского гражданина Гужона из пределов империи, как вредного иностранца; но оно не получило движения, благодаря заступничеству за Гужона министра финансов и некоторых высокопоставленных лиц. Заварушка тем временем разразилась забастовкой».

Но, пожалуй, и здесь Трепов, прибегающий к угрозам сгоряча, в запальчивости благородного гнева, несколько приукрашен. По другим сведениям, он прибег к ним позже, уже в ходе забастовки, пригласив к себе все правление фабрики и пообещав ему «облагать товарищество шелковой мануфактуры усиленными штрафами за нарушение обязательных постановлений (благо постановлений, как всегда на Руси, много, и было бы желание, а нарушения найдутся.— В. К.) и прибегнуть даже к высылке директоров как иностранных подданных из России». Это, увы, уже не благородный гнев, а вульгарный шантаж, ибо полиция попала с этой забастовкой в положение пиковое. Ликвидация ее без всяких уступок хозяев означала бы подрыв авторитета не только зубатовских организаций, но и самой полиции, власти — вот ведь чем оборачивались «экспериментальные» отступле-

ния от зубатовского же принципа решительного разделения прерогатив власти и общественной самодеятельности.

Трепов жал изо всех сил. Однако у француза Гужона российского трепета перед полицейским мундиром и генеральским рыком не обнаружилось, он отверг ультиматум и сам обратился в суд, требуя, чтобы уволенные рабочие немедленно освободили фабричные спальни. Тогда Совет рабочих снял на время пустующую фабрику, где и разместились ткачи, которым иначе просто некуда было деваться (отсюда и малость передернутые сведения о 250 рублях в неделю, что выдавались-де забастовщикам из «неведомых сумм»).

«Агрессивный тон ходатайств,— докладывал в Петербург Зубатов,— попытка фабрики нанять себе рабочих путем сманивания с соседних фабрик... поднятая по сему поводу Гужоном агитация среди фабрикантов в биржевом комитете — все это указывало, что администрацией фабрики преследовалось вовсе не миролюбивое соглашение и справедливость, а желание во что бы то ни стало сохранить повсеместно практикуемую в отношении рабочих потогонную систему и доказать последним, что, вне милости и воли хозяина, они беззащитны».

Никто не знает, чем бы закончилась борьба Гужона против первого российского тред-юниона (а характер решения ткачей о взаимной поддержке и солидарности, принятого накануне забастовки, свидетельствует, что они собирались выступить именно в качестве тред-юниона). Никто не знает — увы! Ибо отдельные предприниматели и тред-юнион противостояли друг другу только в идеализированном воображении зубатовцев.

В действительности же столкнулись два одинаково незаконных, опирающихся на полукрепостнические традиции, явления — гужоновщина и зубатовщина. И средства в ход шли с обеих сторон соответствующие — обман, подлог, шантаж, донос... Последнее средство и оказалось самым сильным и оперативным. Уже 6 марта министр финансов С. Ю. Витте направил министру внутренних дел Д. С. Сипягину обширное послание, начинающееся с изложения полученной им «жалобы промышленников». Жалоба эта, как и положено, содержала в себе прежде всего политический донос: «Между тем видно, что рабочие не ограничиваются при этом

обсуждением вопросов, касающихся их быта, а идут гораздо далее — для собрания, проходившего в одном из помещений 17 февраля, ими был назначен разбор **государственной росписи** нынешнего года».

Обсуждение «государственной росписи» (бюджета) было, разумеется, открытым покушением на прерогативы монарха. Но так как письмо можно проверить и при этом выяснилось бы, что такое обсуждение всего лишь плод воображения промышленников, то они вынуждены выразиться и более ясно: союзы-де рабочих создавались «в виду отвлечения их от участия в антиправительственной политической деятельности, но не менее опасным оказывается допущение их к деятельности антикапиталистической, которая несомненно имеет одинаковое политическое значение, тем более что справиться с массами, увлеченными каким-либо успехом в этом отношении, может впоследствии оказаться чрезвычайно трудным».

Вот так! Если допустить их успехи в борьбе с нами, то и до вас доберутся, учтите!

Особо любопытна концовка виттевского послания. «Я не сомневаюсь, что изложенное заявление товарищества шелковой мануфактуры остановит на себе особое внимание вашего высокопревосходительства, — пишет он Сипягину, — ввиду того, что вы изволите во всеподданнейшем отчете вашем по обозрению четырех губерний (Ярославской, Костромской, Нижегородской и Владимирской) высказаться против уступок рабочим во время волнений, вследствие чего, по вашему представлению, на рассмотрение особого совещания вынесен вопрос о желательности расширения объема полномочий фабричной инспекции в смысле предоставления ей права воспрепятствовать, по ее усмотрению, «фабрикантам повышать заработную плату», а равно изменять другие условия найма ранее совершенного окончания возникших по этому поводу среди рабочих волнений».

Ход чисто бюрократический, но точный и сильный: к делу прицепляется столь мощный локомотив, как личное самолюбие министра. Что ж это, мол, в самом-то деле: министр говорит одно, а московские мудрецы, укрывшись за широкой спиной великого князя, плюют на него и творят, что хотят?

Через десять дней (по тогдашней скорости межминистерского бумагооборота — почти мгновенно) Сипягин

отправляет сердитый выговор московскому генерал-губернатору: «попечительская политика» в отношении рабочих, ваше высочество, мол, дело в принципе и хорошее, но «в своем развитии в Москве зашло, по-видимому, далее целесообразных пределов и применение его на практике вызывает, очевидно, крупные недоразумения между администрацией и чинами фабричной инспекции»... Короче, обер-полицейстеру представить подробные объяснения по всем указанным министром финансов обстоятельствам.

А 26 марта, даже еще не получив ответа, Сипягин шлет послание и более решительное, прямо запрещающее деятельность московского Совета рабочих: «Из полученных мною затем (т. е. после отправки предыдущего письма.— В. К.) как из официальных, так и из частных сведений усматривается, что деятельность Совета рабочих принимает все большие и большие размеры и касается притом не только рабочих механического производства, но распространяется и на другие виды промышленных заведений, что подает повод к дальнейшим по сему нареканиям со стороны фабрикантов. Ожидая с большим интересом отзыв вашего императорского высочества по этому делу, вместе с тем позволю себе представить вашему императорскому высочеству, что, впредь до выяснения и окончательного разрешения возбужденного вопроса, было бы крайне желательно приостановить всякую деятельность «Совета», официально не утвержденного, направленную к выяснению и регулированию отношений рабочих к фабрикантам, и вмешательство его в вопросы, суждению «Совета» не подлежащие, так как это, несомненно, может вызвать значительные осложнения при дальнейшем рассмотрении дела».

Как ни проклинал Зубатов межведомственную борьбу, а любимейшая его затея только благодаря ей и существовала. Стоило двум враждующим министрам, на миг примирившись, вместе взмахнуть рукой, как... Впрочем, это «как» произойти попросту не успело, ибо 2 апреля все смещал потрясший страну выстрел С. Балмашева, но назревание этого «как» Зубатов чуял всею душой. И спасал свое детище. Не случайно именно в эти дни представил он Трепову свою краткую записку и при ней обширный доклад Л. А. Тихомирова «О задачах рабочих

союзов и началах их организации» — новую идеологию движения.

Конечно, разбираясь в этой «обновленной идеологии зубатовщины», трудно разграничить, что шло от теоретических изысканий ее автора, а что — от сознания того реального положения, в котором движение оказалось; что от идей, а что — от их мимикрии, приспособления и к существующей реальности, и даже к взглядам на нее начальства. Но все же этот документ весьма любопытен и, может быть, именно сегодня заслуживает внимательнейшего прочтения.

Треповскую «Инструкцию Совету рабочих механического производства» автор рассматривает как «важное, но только начало»¹ и пытается наметить «пути дальнейшего развития» рабочих организаций.

«Все, кто у нас знаком с рабочим вопросом, — пишет он, — изучали его решение исключительно по европейским образцам и приучили свою мысль стоять на точке зрения европейских авторов».

Это, разумеется, и явный камешек в огород прежних идеологов и руководителей движения — Озерова, Дена и др., и указание на теоретический источник их промахов, «ошибок подражательности». А вот и анализ ошибочной, по мнению Тихомирова, практики: «Опасным и ложным первым шагом была бы постановка рабочего вопроса на исключительно **экономическую** почву и в силу этого построение рабочей организации как исключительно орудия борьбы с капиталистами. Это сразу бы придало русскому рабочему движению узкий характер с наклоном к социализму».

Если раньше именно «чистый экономизм» считался спасением от увлечений «политики», то теперь, когда

¹ Уместно отметить, что в это время (конец марта — начало апреля) Трепов еще пытается защищать Совет рабочих. Например, 7 апреля он пишет московскому губернатору Булыгину, весьма обеспокоенному расширением деятельности «Совета» на подмосковные уезды: «Действия «Совета» направлены в интересах правительства, а не в интересах выгодного для революционеров брожения. Правда, деятельность «Совета» вызвала оживление в рабочей среде. Но оживление это само по себе совершенно безвредно для правительственной власти, ибо распространяется исключительно на сферу чисто бытовых, жизненных вопросов и при этом сопряжено с глубокой верой в правительственную благожелательность в отношении рабочих».

яростное сопротивление ему со стороны не только промышленников, но и власти, так фактически и не сумевшей отделить государственный интерес от интереса буржуазии, стало очевидным, экономизм объявляется также недостаточным для того, чтобы рабочие «заняли прочное место среди существующего строя».

Но какое же средство тогда достаточно? «Для получения поддержки, без которой они не могут ни возникнуть, ни развиваться, рабочие союзы должны ввести в свои задачи что-либо такое, что было бы полезно и им самим, а также и другим. Такою общепольною целью могла бы быть, наряду с экономическими интересами, помощь по поддержанию экономического порядка, в чем заинтересованы и общая администрация, и сами хозяева-фабриканты».

«Но этим не исчерпываются задачи, которые должны быть поставлены рабочим союзам». Естественно! Ибо если прежние цели движения окончательно выхолостить, а новые не поставить, то оно попросту умрет, распадется. Этого допустить нельзя, ибо ясно, что «элементы этого распада» скорее всего прямоком попадут «в организации революционные». Понимая это, Тихомиров предлагает и новые цели.

«Все люди, классы и нации должны для достижения, охраны и приумножения своего благосостояния постоянно озабочиваться приумножением своих знаний и способностей к овладению этими знаниями... Средства для достижения этой цели должны быть доставляемы рабочими союзами».

Итак, просветительство? Да, но довольно своеобразное: «В рабочем слое всегда найдутся люди высококультурные. Им-то и нужно дать ход к умственной самостоятельности. Они должны быть выработаны в народную интеллигенцию; они должны явиться советчиками и руководителями рабочих, указывая своим собратьям способы и пути действий... С точки зрения **правительственной** развитие такой народной интеллигенции было бы в высшей степени полезно, ввиду устойчивости, которую она придаст рабочим массам».

Момент в высшей степени любопытный! Мы видим, задача воспитания некой особой, «народной» интеллигенции, интеллигенции выходцев из рабочего класса, ставилась первоначально отнюдь не как революционная, но как сугубо реакционная задача! В союзники и учителя

этой будущей интеллигенции, естественно, предлагается «та часть русской интеллигенции, которая имеет национальное направление и думает не о захвате власти над Россией, а о выработке самостоятельной народной мысли».

Итак, в чем же суть намечаемого Тихомировым идеологического поворота в легальном рабочем движении? Вместо борьбы за свои права в рамках существующего общественного строя рабочим предлагается отстаивание некой «национальной идеи», которую трудно точно сформулировать, но которую так легко пропагандировать, когда русским рабочим противостоят Гужон, Мюсси, Перимут, Нобель, Лангензиппен и тутти кванти!

Подменить достижение реальных социальных интересов возбуждением «национальных чувств» — ход в политической борьбе вполне заурядный, воспроизводящийся почти неизменным в очень разные исторические периоды. Но именно в нем — суть. Все остальное у Тихомирова — либо маскировка, либо самообман «затеоретизировавшегося» сознания.

Так, в душе бывшего народовольца, естественно, всплывает и старая идея о некой особой роли крестьянской общины в отечественной истории. Раньше община рассматривалась как готовая ячейка социализма. Теперь ей предстоит самовоспроизвестись в городе в неожиданном качестве гаранта классового мира:

«Рабочие союзы должны были бы явиться у нас не узкопрофессионально-экономическим учреждением, но некоторою общиной, объединяющей фабрично-заводских рабочих во всех главных отраслях их нужд. Крестьянин, являясь в город из своей деревни, попадал бы как бы в ту же привычную ему общину, но только более развитую...

Эта цель не включает в себе ничего революционного, она не требует какого-либо переворота в России, только, наоборот, требует достройки... Будущее рабочее сословие, естественно, должно состоять из рабочих общин. Цель рабочих союзов состоит в том, чтобы послужить постепенным переходом в рабочие общины».

Кажется, единственным, что несколько смущало тут Тихомирова, была явная «терминологическая близость» к былым революционным идеям. И он спешит оговориться: «Совершенно очевидно, что общины, о коих идет речь, не имеют ничего сходного с ассоциациями, которые

рекомендовали европейским рабочим социалисты начала XIX века (как Р. Оуэн и французские социалисты-утописты)... Фабрично-заводское сословие должно сделаться... одним из национальных и государственных сословий... Оно не стремится ни уничтожить, ни захватить капиталистическое производство, которое для него необходимо и может быть наилучше поставлено только частным предпринимателем».

Получается несколько туманно, зато складно. Вскоре, впрочем, Тихомиров попытался конкретизировать эти идеи, выпустив брошюру «Значение местных условий для промысловых союзов», в которой он утверждал, что если рабочие организации «будут иметь в виду существующую тесную связь своих членов с деревней, то легко могут входить в соглашение с крестьянскими общинами для совместного устройства в деревне хороших приютов для нуждающихся в воздухе, отдыхе и поправке. Таково же может быть пристройство вдов и сирот городских рабочих. Наконец, они сами, достаточно на своем веку поработав, могли бы спокойно и недорого доживать свой век в деревне... Такая связь городских рабочих с деревенскими братьями усилит независимость городских рабочих...»

Все это было бы просто чудесно, если бы было осуществимо. В жизни, как мы уже видели на многих примерах (см. вторую главу), связь рабочих с деревней была совершенно иной: благодаря пережиткам крепостничества (община, паспортный режим и пр.) она укрепляла именно зависимость рабочего от работодателя и от государства, так как способствовала широким репрессиям (высылки «по месту жительства» и пр.) во время стачек и других конфликтов.

Впрочем, критика этой части тихомировской программы может иметь для нас лишь сугубо теоретический интерес, ибо никакие практические шаги к ее осуществлению предприняты не были. Случай, как сказано, властной рукой смешал правительственные карты и создал обстоятельства, во многом совершенно новые.

30 марта, в субботу, в Рогожской части под председательством Володина, а в воскресенье в Грузинах под председательством Слепова прошли очередные порайонные собрания Общества, участники которых выслушали

отчеты ревизионных комиссий, а затем отслужили молебны по случаю «чудесного спасения генерала Трепова» от пули «инородки» Алларт. Однако ни Зубатов, ни сам Трепов порадоваться этим первым плодам новой идеологии попросту не успели.

2 апреля в Петербург в Мариинский дворец прибыл красавец адъютант великого князя Сергея Александровича с пакетом на имя министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Его беспрепятственно пропустили в кабинет, где он мгновенно выхватил пистолет и застрелил министра. Тут же выяснилось, что это никакой не адъютант, а бывший студент С. В. Балмашев.

В ночь со 2 на 3 апреля чиновникам московской охраны пришлось пережить немало неприятных минут. И вовсе не в связи с маскарадом Балмашева. Тот был разоблачен сразу же, и некоторые предпринятые позже попытки (например, генералом Новицким) навести тень на плетень и посеять подозрения о причастности Зубатова к успеху этого покушения выглядят довольно жалко. Причина беспокойства была серьезней: «Пришла телеграмма от начальника саратовского жандармского управления, сообщавшая, что находившийся там под наблюдением московских филеров некто Мельников, несший при себе какой-то сверток и старавшийся скрыться от наблюдения, напал на одного из филеров, нанес ему несколько ножевых ран и скрылся. Убегая, Мельников обронил сверток, в котором оказался типографский шрифт и прокламация боевой организации об убийстве Сипягина, датированная вторым апреля. В отделении растерялись. Налицо была связь с убийством министра. Растерялся и департамент полиции... Медников (руководитель филерской службы.— В. К.) волновался и ходил в красных пятнах, просматривались сводки загородного филерского наблюдения...» (А. Спиридович). Так вышла на арену политической борьбы, чтобы сразу же занять там видное место, новая партия — эсеров, избравшая индивидуальный террор одним из главных методов действия.

Внутриполитическое положение в России вообще стремительно менялось. Это видело даже правительство, которое, однако, решительно не понимало природу этих изменений и привычно хваталось за старые рычаги и методы. 7 апреля, принимая нового министра внутренних дел В. К. Плеве, Николай заявил: «Вообще на печать

надо будет обратить самое строгое внимание. Она у нас за последние годы сильно распустилась, в особенности в провинции. При следующем вашем докладе мы поговорим по поводу упрочения нашей печати и более строгой ответственности вице-губернаторов в качестве цензоров».

Ответственность была тут же повышена, придирки к печати удвоены, но... Впрочем, сам Плеве понимал, что в принятом им наследстве «распушенность печати» отнюдь не самая тяжкая ноша. Промышленность переживала спад и сострясалась забастовками. В деревне шли какие-то глухие, неожиданно болезненно прорывавшиеся процессы. В Константиновоградском, а позднее также в Валковском и Полтавском уездах вспыхнули крестьянские волнения, стремительно прошедшие путь от требований помощи сеном и хлебом до грабежа и погрома помещичьих усадеб. Даже такой отнюдь не слабонервный человек, как командированный в Полтаву прокурор А. А. Лопухин испытал «отчаяние от той неожиданной простоты, с которой может вспыхнуть в России и разгореться народный мятеж». Кроме отчаяния Лопухин привез в столицу еще и несомненные доказательства того, что в деревне ведется пропаганда, «неизвестная с 80-х годов».

«Убийство Сипягина, официальное заявление о своем существовании со стороны боевой организации (эсеров.— В. К.), крестьянские беспорядки, участие в которых социалистов-революционеров было несомненно, стрельба Кочуры в кн. Оболенского за усмирение беспорядков,— все это ясно указывало новому министру на плохую постановку розыска на местах и в центре,— пишет А. Спиридович.— Плеве приступил к реорганизации розыска. Но только Плеве не понимал того объекта, против которого он стал перестраивать розыскной аппарат. На происходившее в России революционное движение того времени Плеве продолжал смотреть глазами 80-х годов. Он не понимал его широкого общественного характера и видел в нем, как некогда, в эпоху «Народной воли», лишь проявление злой воли кучки энергичных революционеров... С Зубатовым Плеве долго беседовал сейчас же после своего назначения министром, по дороге в Троицко-Сергиевскую лавру, которую он счел нужным посетить, приступая к тяжелой и ответственной работе».

Несомненно, что в ходе этой беседы, или, по уточнению самого Зубатова, «трех бесед», руководитель московской

охранки отстаивал тот взгляд на политическую ситуацию, который он впервые сформулировал еще в донесении от 27 июня 1901 года: «Решающая роль все-таки принадлежит серой неорганизованной массе, легко идущей на всякий скандал и почти неспособной к какому-либо осмысленному и систематическому ведению своего дела. Около нее стоит группа лиц, желающих узурпировать ее волю и настроение в своих партийных целях, и тут же рядом — представитель правительственной власти, благие начинания которого узурпаторы хотят парализовать соответственным вызовом массы на какую-нибудь скандальную выходку. С другой стороны, неорганизованная масса является даже неспособной формулировать свои нужды и желания на запрос правительственной администрации.... Словом, только самое внимательное, разностороннее и самоотверженное отношение жандармской власти к делу одно лишь в состоянии привести всю путаницу отношений в порядок и свести их к мирному благоприятному концу. Работа очень трудная, беспокойная и кропотливая, но единственно продуктивная при наличном уровне развития общественных элементов. Облегчением в ней может явиться лишь появление новой группы лиц, чуждой радикализма, которая, став помощником правительственной власти, явилась бы конкурирующей с революционерами в деле руководства неорганизованной массой. Организация такой силы и является насущной задачей современности».

Если отбросить словесно-полицейскую шелуху типа «группа лиц, желающих узурпировать ее волю» или «самоотверженное отношение жандармской власти» — шелуху, которая была совершенно обязательной для пишущего по начальству чиновника охранки, то что тут остается?

О, остаются вещи очень серьезные. Остается утверждение, что на арену истории выходят (уже вышли!) «серые массы», все более и более осознающие себя как силу; что всякая политика, следовательно, неизбежно становится борьбой за влияние на умы и эмоции масс и она невозможна без учета их интересов; что ввиду этого то или иное структурирование этих масс необходимо и неизбежно, ибо без него масса неспособна формулировать собственные интересы и потому подвержена случайным и деструктивным всплескам эмоций; что инстинкт самосохранения должен подвигнуть монархию на допуск

открытой деятельности и даже относительной самостоятельности нереволюционных общественных организаций, которые единственно и способны структурировать выходящие на политическую арену массы и тем облегчить их включение в существующие политические структуры...

А в ответ? В ответ новый министр внутренних дел пытался доказать, «что в России нет общественных сил, а есть только группы и кружки. Стоит хорошей полиции обнаружить их центр и заарестовать его, и всю эту видимую общественность как рукой снимет. Верность этого он испытал на своей служебной практике, покончив таким образом с «Народной волей». Со всем жаром убежденного практика я протестовал против этой ошибки, но...»

Но даже не обнаружив в новом патроне не только сочувствия, но и понимания своих политических идей, Зубатов и не подумал отказаться от предложенного ему повышения. Ведь чем выше должность, тем больше и возможностей — не так ли? Тем более, если перевод в Петербург планируется, так сказать, не в одиночестве, а вместе с целой группой единомышленников¹.

А между тем затеянное Зубатовым рабочее движение переживало в Москве момент в высшей степени противоречивый. Гужоновскую забастовку пришлось ликвидировать самым невыгодным для рабочих образом, идеологический поворот в сторону национализма и открытого охранительства был намечен и частично уже осуществлялся, но глыба надежд и стремлений тех самых «серых масс», которые Зубатов считал главной силой, как озеровскими беседами, так и деятельностью Совета

¹ Директором департамента полиции, т. е. непосредственным начальником Зубатова в Петербурге, должен был стать уже упоминавшийся нами прокурор А. А. Лопухин, долго работавший в Москве и зубатовским «рабочим увлечениям» явно сочувствующий, который к тому же и принял-то эту должность лишь «потому, что министр указывал на необходимость целого ряда реформ, вытекающих, по его мнению, из недостатков существующей системы розыска политического, и какие, по его мнению, сводились к упразднению охранного отделения, реформе полиции и к передаче политических дел на рассмотрение суда». Кроме того, «все служившие при Зубатове в Москве офицеры получали ответственные назначения: подполковник Сазонов был назначен начальником петербургского охранного отделения, ротмистр Ратько — московского, ротмистр Петерсон — варшавского, ротмистр Герарди взят в Петербург и позже назначен начальником дворцовой полиции. Несколько чиновников, в том числе Меньщиков, были переведены в департамент, в особый отдел» (А. Спиридович).

рабочих была стронута с места и продолжала двигаться как бы по инерции — внутри, в ядре, движение уже прошло высший пик развития и надломилось, но внешне процветало, захватывая все новые отрасли и все новые подмосковные уезды.

Осознав, что победа Гужона, в связи с внезапной гибелью Сипягина, уже не станет их общей победой над зубатовщиной, московские промышленники принимают новый демарш. 8 июля 1902 года они «довели до сведения охранного отделения и московского обер-полицмейстера» о «чрезвычайной опасности положения». Результатом стала беседа Зубатова «с семьей денежными тузами» 26 июля в отдельном кабинете ресторана.

Кто кого туда пригласил — дело темное. Промышленники утверждали, что Зубатов их. Зубатов же писал: «Обделал всю эту штучку один ловкий небольшой человек из торгового мира, г. К., личный знакомый одного моего тогдашнего сослуживца. Последний разжалобил меня описанием, сколько волнуются и мучаются торговопромышленники, не понимая наших мероприятий по рабочим делам (а некоторое разъяснение этого нам, конечно, ровно ничего не стоило), и я согласился конфиденциально кое с кем повидаться и интимно побеседовать в кабинете у Тестова. Г. К. использовал мое согласие чересчур бесцеремонно: он занял у Тестова самый большой кабинет и назвал туда семь тузов из финансового мира. Я попал... в положение лица, заманенного на официальное заседание с московской денежной знатью, но не имеющего на то ни права (предварительного разрешения своего начальства), ни желаний».

Так или иначе, но зубатовские разъяснения, данные у Тестова, были записаны в виде 16 пунктов и с очередным доносом отправлены в Министерство финансов. Продираясь сквозь дебри двойной интерпретации (Зубатов говорил так, чтобы максимально успокоить промышленников, а те сказанное перетолковывали, чтобы максимально встревожить «высшие сферы»), из них можно все же попытаться вычислить, так сказать, взгляд Зубатова на задачи и перспективы легального рабочего движения.

Зубатов пытался внушить своим собеседникам, что именно охранное отделение «принимает все зависящие от него меры к предупреждению и пресечению преступ-

лений, направленных против... представителей капитала со стороны рабочего класса и интеллигенции», что было, разумеется, вполне справедливо, и сокрушался, что фабриканты «не только не сочувствуют его начинаниям, как бы этого можно было ожидать от верноподданных, но даже, по-видимому, противодействуют этим начинаниям». Причины этого, как мы уже видели, он понимал достаточно трезво, но здесь, у Тестова, постарался объяснить их лишь кознями Гужона, который-де не пустил к себе на фабрику членов Совета рабочих, подозревал в них подстрекателей, тогда как на самом деле они имели приказание его превосходительства предупредить готовившуюся на этой фабрике стачку.

Далее он утверждал, что фабричная инспекция своих регулирующих функций не выполняет и «что **единственным** способом, могущим предупредить погром капиталов и частной собственности, подобных тем, что произошли минувшей весной в Полтавской и Харьковской губерниях, является **расширение прав фабричных рабочих, но отнюдь не в законодательном порядке**, как на том настаивает министр финансов, представивший недавно законопроект о свободе стачек и о представительстве рабочих, **но в порядке, так сказать, незаконном, вне-легальном**».

Министр финансов помянут здесь, разумеется, с подачи собеседников¹. Но и Зубатов к этому времени давно уже, увы, не сторонник «законного» расширения прав рабочих. Недавние перипетии убедили его, как трудно «удержать в руках» даже незаконное, экспериментальное движение, как сложно его «направлять». Так убедили, что он и десятилетие спустя утверждал, что «рабочие не в силах быть самостоятельными... Единственный для них путь — это организовать и идти об руку с администрацией, под руководством которой со временем они могут заполучить повсюду ходы для самостоятельного устройства своих дел».

¹ Предприниматели же имели в виду записку С. Ю. Витте «О пересмотре статей закона, карающих забастовки и досрочное расторжение договоров о найме и о желательности организации рабочих в целях взаимопомощи», поданную им 9 марта 1902 года. Документ этот имел, видимо, не столько практическое, сколько пропагандистское значение, почему и стал известен быстро и широко, «какими-то неведомыми путями» попав на редакционный стол штутгартского «Освобождения», где с четвертого номера начали его публикацию.

Вот вам, кстати, замечательный образчик чиновничьего мышления у такого, в общем-то, крупного политика: какое же, в самом деле, устройство дел без «ходов»? Хотя трудностям Зубатова можно и посочувствовать: чем дальше расходится требуемое политической конъюнктурой направление с естественными устремлениями массового движения, тем большие усилия по управлению им требуются.

Но все же Зубатов и в июле еще считал, что рабочие каждой фабрики должны иметь свой выборный комитет и что «эти комитеты имеют наметать желаемые для рабочих изменения в расценках, таксах, распределении рабочего времени и вообще в правилах внутреннего распорядка. Хозяин имеет ведаться впредь со своими рабочими не непосредственно, а через комитет. Комитеты отдельных фабрик данной округи состоят между собою в общении в видах достижения однообразия действий».

Понимая, что это вряд ли понравится его собеседникам, Зубатов выдвигает наиболее сильный довод в защиту своих методов — их практическую эффективность. Он с гордостью напоминает, что именно «благодаря таким порядкам Москва избавлена нынешнею 1902 года весною и летом от многих из приготовлявшихся беспорядков, кроме гужоновского, который, впрочем, вызвал по своему упорству сам Гужон... Тогда как в Петербурге беспорядки не прекращались в течение всего лета и там действовали нагайки и штыки, в Москве действует прозорливая предусмотрительность попечительного начальства».

Увы, не подействовало и это! Тузы явно предпочитали, чтоб порядок поддерживался пусть и нагайками, да не за счет их кармана. А зубатовские организации, как бы ни поносили их радикалы, все-таки вынуждали идти на некоторые уступки. Гужон-то победил, но многие другие не имели ни средств, ни сил выдержать такое сражение, а потому, как сообщали фабричные инспекторы, «под влиянием агитации пресловутого союза ткачей» вынуждены были принять решение: «1) не допускать работы более 11 с половиной часов; 2) непременно оплачивать прогулы по вине конторы по 60 коп. в день; 3) повысить расценки на заправку станов...» Решение мудрое: всегда лучше отдать часть кошелька, нежели весь, да еще и жизнь в придачу.

Но то, что выбор именно таков, видели пока очень немногие — только те, кто умел заглянуть в отдаленную политическую перспективу. А потому в беседе с Зубатовым московские промышленники наотрез отказались «замкнуть ту цепь, отдельными звеньями которой являются рабочий класс, интеллигенция и духовенство, и, таким образом, в значительной степени облегчить нелегкую задачу проведения в жизнь не только в Москве и Московской губернии, но и во всей России — хотя и незаконного, но спасительного упрочения взаимоотношений между хозяевами и рабочими».

При этом они, естественно, считали себя людьми прогрессивными и многие искренне ненавидели зубатовщину именно как «полицейский произвол», как «бюрократические препоны» на пути их устремлений.

Беседа у Тестова вызвала новую волну межведомственной перепалки, угрозы С. Ю. Витте (в частных разговорах) покончить «с этими полицейскими штучками», но каких-либо организационных следствий она не имела. Все и без того стремительно менялось на московском горизонте. Зубатова торжественно проводили в Петербург, зубатовцы говорили на перроне высокопарные речи, он предрекал легальным рабочим организациям великое будущее, но после треповского запрещения Совету рабочих писать жалобы на предпринимателей от имени рабочих деятельность его между тем стала поневоле стремительно сокращаться. Лекции либералов были заменены «нравственными поучениями» духовенства и «семейно-танцевальными» вечерами, и даже Тихомиров потихоньку отошел от движения, уступив свое положение его идеолога оголтелому реакционеру Грингмуту... Движение нечувствительно для самого себя входило в мирные, реакционно-просветительские и националистические берега, и «Московские ведомости» охотно украшали свои страницы «письмами рабочих», например таким вот: «Русские люди, братья по вере, опомнитесь и отвернитесь от темных людей. Ведь слушая их, поддаваясь их учению, мы помогаем им разорять и губить нашу родину-мать. Всмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что те люди, которые подбивают вас к бунтам, не друзья вам, а самые злейшие враги».

Если движение в Москве как-то и дотянуло до 1905 года, то только потому, что одну подлинную потребность — потребность рабочих в культурном общении и

досуге, а частично и в образовании — оно все же старалось удовлетворить. Ну и еще потому, что надежда на то, что подлинно легальное, законное профессиональное движение всё же когда-нибудь станет возможно, не умирала.

Глава пятая

Приключения идеи: зубатовщина в Западном крае

Поскольку события в Западном крае разворачивались параллельно московским, нам придется вернуться на несколько лет вспять и начать с еще одного полицейского подвига Зубатова.

«Я помню, — писал Л. Меньшиков, — что Семякин, будучи весной 1897 года в Москве, только что приехавший в охранку от Тестова (известный тогда ресторан), где предусмотрительные Зубатов и Медников кормили его «свежей икоркой и поросеночком в сметане», вдруг разоткровенничался и заявил: „При всей моей бедности дам 25 рублей тому, кто скажет, что за штука «Бунд». Мы от этих олухов ничего не знаем...“».

Олухи — это, разумеется, минские и виленские жандармы, прозевавшие становление новой революционной организации. Собственно, этот приезд Семякина в Москву и вызван был острым недовольством департамента постановкой политического сыска в провинциях. Успех нескольких операций, проведенных московской охранкой на выезде, решено было поэтому закрепить организационно, создав «летучий филерский отряд», который, числясь за департаментом, работал бы под ближайшим руководством и по указаниям Зубатова. Что, понятно, не только увеличило бы объем реальной власти, сосредоточенной в его руках, но и приумножало его энергию. Новая операция была разработана им с особой тщательностью. Уже в начале ноября 1897 года «особое внимание» московских «летучих» в Киеве «привлек к себе один интеллигентный еврей, отличавшийся конспиративностью поведения. Как нередко случалось в революционной практике, излишняя, вернее, недостаточно умелая осторожность внешнего поведения вела именно к обратным результатам» (Л. Меньшиков).

! Этот замелькавший в филерских рапортчиках «Лохматый» был не кто иной, как Б. Эйдельман, фактический руководитель социал-демократической группы, издававшей в Киеве нелегальную «Рабочую газету», и вдобавок — один из главных организаторов I съезда РСДРП.

Съезд, проходивший в Минске 1—2 марта, конспирировался с особой тщательностью. «Даже отцы русского марксизма о рождении столь желанного наследника узнали лишь *post factum*. Единственными свидетелями социал-демократического «рождества» были несколько «летучих», которые, впрочем, совершенно не знали, на какой важной «свадьбе»¹ они присутствуют» (Л. Меньшиков).

Но еще за неделю до отъезда Б. Эйдельман, согласно филерским «проследкам», побывал в доме 17 по Захарьевской улице в Минске, где встретился с человеком, тут же попавшим под слежку и получившим кличку «Черный». Это был А. Я. Мытникович, член бундовского ЦК. Уцепившись за нового «лидера», «летучие» вышли вскоре и на получившего у них кличку «Школьник» лидера Бунда А. Кремера.

Таким образом, 25 семянкинских рублей были заработаны удивительно быстро (получены или нет — полицейские анналы умалчивают). Кстати, о высоком профессионализме зубатовского розыска говорит не только быстрота получения результатов, но и относительная их дешевизна. За первые полгода на содержание отряда «летучих» было израсходовано всего 18 515 руб. 34 коп., причем на черту еврейской оседлости падает меньше половины всех командировок. Так что последовавший вскоре сокрушительный провал Бунда обошелся казне менее чем в 10 000 руб.

Зубатов, однако же, не спешил. «В течение 3—4 месяцев Бунд работал под бдительным наблюдением зубатовских агентов, — вспоминал Б. Фрумкин. — Их присутствие было точно установлено, и оно ни для кого из тогдашних деятелей Бунда не было тайной. С этим положением даже свыклись и лишь в последний момент решили предпринять энергичные меры. Так, типографию

¹ На филерском жаргоне — всякое собрание, вечеринка и т. д., на которых присутствует один или несколько «лидеров», за которыми установлена слежка.

решено было перевести в Гродну, а центральный комитет должен был попробовать как-нибудь оесвободиться от наблюдения сыщиков и оставить Минск».

Это, увы, не удалось. 27 июля 1898 года в Минск, Бобруйск и Белосток прибыли командированные из Москвы полицейские отряды (унизить таким образом местные жандармские власти входило в политические расчеты Зубатова) и по указанию «летучих» произвели два с лишним десятка обысков и свыше полусотни арестов. Результаты «следственных действий» превзошли самые смелые ожидания Зубатова: захвачена была масса нелегальных изданий, а главное — подпольные типографии в Бобруйске, Минске и Белостоке. Три «шлепалки» одновременно — три! — когда и одной обычно хватало для наград и законной гордости на всю оставшуюся жандармскую жизнь!

Увы, Зубатов был не только жандармом, но и политиком, человеком идеи, а потому этот сказочный успех его не очень-то порадовал.

Во-первых, его кошмар 1896 года (после ликвидации московского «Рабочего союза») повторялся вновь, и даже в ухудшенном варианте: революционеры сидели в тюрьме, а революция продолжалась как бы сама собою. И ладно бы еще забастовки. Но в сентябре (всего-то через два месяца после ликвидации) прошел второй съезд Бунда, а накануне съезда на зубатовский стол легло новое подпольное издание — «Классовая борьба».

Во-вторых, арестованные проявляли неслыханное упорство. Как вспоминал Б. Фрумкин в 1911 году: «Следствие по первому крупному бундовскому делу продолжалось 1½ года, но ничего для жандармов не выяснило: почти все арестованные вообще никаких показаний не давали. Зубатов прибегнул к чрезвычайной мере: он свел нескольких арестованных, которых считал более видными деятелями в Бунде, и предложил им потолковать наедине и решить, могут ли они дать какие-либо показания. Любопытно, что раньше, чем оставить арестованных наедине, он им, между прочим, сказал, что на этот процесс обратили внимание в высших государственных сферах и что излишнее упорство может вызвать новые репрессивные меры против евреев».

Выражение «ничего не выяснило» не следует, однако, принимать буквально. Без предательства, как водится,

не обошлось, о чем и свидетельствует следующее творение:

Г. Ротмистру Ратько.

Имею честь Вам заявить, что после освобождения моей с под стражею, намерен и так решил, что я буду энергично действовать для того, чтобы найти тот лицо, который меня втянул в деле, за которого я привлечен, и как только я узнаю кое-что об этом лице, а так же с кем он имеет сношения, я немедленно дам знать Вашему Высокородию.

С почтением С. Каплинский¹.

Нашлись и такие, кто под воздействием зубатовской пропаганды искренне пересматривал свои убеждения и в дальнейшем самоотверженно боролся за новые идеи: Ш. Ихель, Ю. Волин. — будущие видные деятели минской зубатовщины.

Но всего этого для «сознательного должностного лица», желающего непременно «достичь конечных целей своей служебной деятельности», было мало. «Ликвидация в Северо-Западном крае, — вспоминал Зубатов, — давшая в итоге четыре еврейские типографии и почти всех главарей сильного, хорошо законспирированного еврейского «Бунда» (центральная организация), невольно заставила заинтересоваться внутренней стороной еврейского движения и его особенностями, тем более что при следствии обнаружилась беспримерная озлобленность, недоверчивость и упрямство привлеченных... Еврейское движение производило впечатление чего-то грандиозного, почти недоступного воздействию».

«Дело о Бунде» было по высочайшему повелению «разрешено в административном порядке» 11 апреля 1901 года. В Восточную Сибирь выслано пятеро: трое — на три года и двое — на четыре. Остальные направлялись по месту жительства под гласный надзор полиции. К жестокости наказания, устрашению им Зубатов, как видим, не стремился, считая этот метод совершенно бесплодным. Зато задолго до этого «высочайшего повеле-

¹ В дальнейшем С. Каплинский оказал охранному отделению немало ценных услуг, и в частности благодаря его указаниям была выслежена кишиневская типография «Искры», — и все это за какие-то 100 руб. в месяц!

ния»¹ он задумал и осуществил новый поход против Бунда, по совершенно новой методе.

Тут, впрочем, надо бы пояснить, что Минск вовсе не был безраздельным царством Бунда. На грани веков здесь зарождался и вызревал целый букет революционных организаций, имевших влияние на достаточно широкие общественные слои. Как вспоминал Б. Фрумкин, в городе «образовалась многочисленная колония «бывших» студенток и курсисток, имевшая широкий круг влияния... Во главе этого стояла одна из видных революционных деятельниц. Вокруг нее сконцентрировался тесный кружок известных революционных деятелей 70-х годов и некоторых вновь набранных последователей, между которыми был также Г. А. Гершуни. Это кружок выпустил свое *specto* под знаменем созданной им „Рабочей партии политического освобождения России“. Большинство приверженцев этой партии затем оказались в рядах эсеров.

В быстро возрождавшемся Бунде также было далеко до единства. Попытки присланного бундовским ЦК А. Залкинда покончить с кружковщиной наталкивались на яростное сопротивление. «На Пасхе прошлого года (1899-го. — В. К.) рабочие устроили громадную сходку, — сообщали Зубатову, — и после горячих ожесточенных прений решили низложить комитет, если он не возвратится к прежней тактике. Комитету пришлось покориться. Но Залкинд не из таких людей, чтобы остановиться на полпути. Он постепенно и медленно добился своего. Его фраза: «Разве рабочий тоже должен знать, что Земля вертится?» сделалась притчей во языцех».

Оппозицию Залкинду в обновленном минском комитете возглавлял Г. Шахнович, не считаться с которым было нельзя, «так как благодаря Вильбушевич, Шахнович доставлял в комитет деньги, в которых тот очень нуждался». Но все эти разногласия — и принципиальные, и не очень — не мешали Бунду вести ожесточенную экономическую борьбу: в течение 1899 года Минск то и дело сотрясали различные стачки.

¹ См., например, письмо Л. Ратаева от 2 апреля 1899 года: «Дорогой Сергей Васильевич! Будьте ласковы, займитесь не отлагая проектом похода на жидов и не затягивая сообщите мне его. Мне бы очень хотелось, если обстоятельства не сложатся против, чтобы кампания была окончена к Новому году».

Такова была обстановка, в которую кардинально, но отнюдь не чисто полицейским образом, решил вмешаться Зубатов.

Начало задуманной им операции было, впрочем, стандартно-полицейским, рассчитанным лишь на устрашение. Как вспоминал Б. Фрумкин, «в конце 1899 или в начале 1900 года в Минске поселился ротмистр Г. (Герарди. — В. К.). Г. завел в Минске свою особую канцелярию и специальный штат сыщиков и, если не ошибаемся, свой штат жандармов... В первую половину 1900 года, в особенности в марте, апреле и мае, аресты производились чуть ли не ежедневно десятками. Г. арестовывал без всякой системы и выбора, как будто был уверен, что кто бы ни попался ему в руки, окажется причастным к революции».

Эта хаотичность арестов была, однако же, кажущейся. Сеть забрасывалась столь широко вовсе не по небрежности, но в соответствии с зубатовскою программой. Он хотел, как мы бы сказали сейчас, получить «социальный срез» *всего* движения, изучить все составляющие его течения и оттенки.

28 февраля 1900 года была захвачена типография минского комитета. 6 марта арестован Г. Шахнович. Тогда же обысканы, а на следующий день взяты М. Вильбушевич и Г. Гершуни. 16 апреля взят С. Чемериский... Они-то (кроме Гершуни) и станут главными героями этой главы.

«В числе арестованных, — писал Зубатов, — оказались лица, тождественные по своему складу и характеру со взятыми в 1898 году, но и очень много таких, которые ничем не отличались от обычно привлекаемых по политическим делам. Обстоятельство это явилось уже неким успокоением в отношении движения, впечатление несокрушимости которого осталось после первого процесса. Ближайшее затем знакомство с привлеченными все более и более заставляло убеждаться, что в еврейском движении принимает главным образом участие зеленая молодежь, часто весьма симпатичная, мягкая и отзывчивая, формирующая свои взгляды на литературе шестидесятых годов и повторяющая революционные зады, причем, будучи до крайности мало осведомлена в политических теориях, будирует и шумит, ссылаясь на беспросветность положения обширных кругов бед-

нейших слоев населения и бесправность более состоятельного и образованного слоя...»

Собственно, для того и нужен был Зубатову «социальный срез» всего движения, чтобы определить: возможно ли путем идеологического и политического воздействия не просто внести в его ряды раскол, но и направить отколовшуюся часть на «мирные рельсы» сотрудничества с правительством. Так что основания для радостей у него действительно были.

«На допросах я разделяю противоправительственный элемент с массою с блестящим успехом — могу сказать по совести, — откровенно похвывается он в письме к Л. Ратаеву. — В русском движении, да, пожалуй, и в еврейском, я с успехом убеждаю публику, что рабочее движение — одно, а социал-демократическое — другое. Там — целью является копейка, здесь — идеологическая борьба. Рабочий должен стремиться к гражданскому уравниванию с так называемыми «привилегированными классами» (что вообще не требует ни социализма, ни политической свободы...), социал же демократы, игнорируя непосредственные его интересы, зовут его помочь «привилегированным» классам в их интересах (совершить революцию), обещая ему после этого всяких благ. Очевидно, только глупость и серость рабочих делают их неспособными видеть эту передвижку и вопреки здравому смыслу упускать синицу из рук и гнаться за журавлем в небе».

Все вроде бы логично и замечательно, и многие готовы с Зубатовым согласиться, но... Но первый же вопрос, который приходит в голову его арестантам, и есть, по сути, главный камень преткновения на этом пути: а готово ли правительство к такому сотрудничеству? Пойдет ли оно? Разрешит ли хотя бы потребительские общества, кассы взаимопомощи, конторы юридической помощи для рабочих? Увы, Зубатов и сам не знает ответа! Он ведет за это агитацию у своего начальства, но результат ее пока что туманен. Приходится выкручиваться: «Отвечаю на это, что сей вопрос может быть решен только практически: можно начать разрешать лишь тем, кого знаешь, а в широком смысле пользоваться этим еще нельзя, ибо рабочие мало осознали еще свои действительные интересы, а слушают переряженных рабочими интеллигентов, к тому же злоупотребляющих нелегальными учреждениями в своих целях...»

Вот положение! Зубатов считает себя политиком, а не сыщиком, он хочет бороться политическими методами... Но при этом как сыщик он имеет все: высокопрофессиональных и преданных помощников, «летучих» филеров, солидные средства; как политик же — ничего, кроме собственных идей и дара убеждать собеседника. Ему нечем подтвердить искренность тех намерений, которые он провозглашает от лица правительства, — нечем! И в конце концов он предлагает своим арестантам лишь явно незаконную сделку: «За кем нет формальных доказательств их виновности — те будут просто мною отпущены, независимо от того, какие бы ужасы они за собою не признали».

И между прочим, как бы в расплату за это, его политический успех тут же оборачивается тяжелым полицейским провалом.

Провал — хоть это и выяснилось не сразу — был связан с *Григорием Андреевичем Гершуни*, о котором и следует сказать несколько слов.

Минский провизор, революционер. В 1899 году он был одним из основателей «Рабочей партии политического освобождения в России», которая кроме Минска имела группы также в Петербурге, Екатеринославе, Белостоке, Житомире, Двинске и Бердичеве. В выпущенной ею подпольной брошюре «Свобода» говорилось, что партия путем террора «принудит правительство дать сперва либерально-буржуазную, а затем и рабочую конституцию». Члены партии, уцелевшие после арестов 1900 года, влились затем в ряды эсеров. Сам Гершуни, вскоре после того как был отпущен Зубатовым, создал и возглавил ее «боевую организацию».

Отпустить же Гершуни Зубатову пришлось, следуя данному арестованным обещанию. «Первым, 6 июля, — с гордостью и некоторым смущением докладывал он Зволянскому, — признался Григорий Гершуни, человек крайне двусмысленный в обыденной жизни; формальных улик против него не было, и он отпущен на волю без всяких последствий...»

«Последствий» Зубатову пришлось ждать недолго. Впрочем, в связи с тем, что в 70—80-х годах в ряде книг наших так называемых «критиков сионизма» (Романенко, Бегун и пр.) делались попытки объявлять Гершуни полицейским агентом и провокатором, считаю своим долгом указать, что они ни на чем, кроме неве-

жества или злого умысла, не основаны. «Откровенное признание» Гершуни, о котором говорит Зубатов, давно опубликовано (Былое, 1918, № 3 (31)). Гершуни не только не дал в руки Зубатова каких-либо новых фактов о своих товарищах, но и, будучи уже главой целой террористической организации, сумел «подать себя» ему как такового идеалиста-культурника, вынужденного общаться с радикалами и слегка запутавшегося по доброте сердца: «Как еврей, работающий для благ своего народа, я не мог не понять, что вся тяжелая ответственность революционной деятельности обрушится на неповинную народную массу, и я всегда твердил... что мы должны искать других, менее опасных путей. Но связанный многочисленными узами дружбы, личных склонностей, симпатий и пр., я поневоле стал ближе к миру их (радикалов.—В. К.) интересов и волнений».

Самое любопытное, быть может, то, что за основу создаваемой легенды берется здесь как бы судьба самого Зубатова, вплоть до частных: «Я смотрел сквозь пальцы на то, что моей квартирой знакомые пользуются для нелегальных целей... об истинном характере которых я не знал, вернее, не давал себе труда задумываться над этим»,—вспомните-ка библиотеку Михиной! Его «признания» при этом сводятся им даже не к минимуму, а просто к карикатуре: пожертвовал как-то десять рублей, хранил какую-то литературу, возможно, что у него ночевали нелегалы, но он этого не знает... Видимо, по ходу следствия Гершуни достаточно быстро понял, что члены его «партии политического освобождения» попали в зубатовский бредень случайно, просто потому, что уж очень широко он был заброшен, и что сам он известен Зубатову только по нескольким достаточно поверхностным контактам, которые он и перетолковывает в духе творимой легенды: с Л. М. Клячко, хозяйкой подпольной бундовской типографии, был знаком, но «не на почве дела», ибо «в конспиративную часть меня никогда не посвящали и о принадлежности ее к типографии как я, так и многие из общих знакомых ничего не знали, хотя о существовании в Минске типографии я знал, т. к. об этом говорили во всех кружках». Каплану помогал готовиться к экзамену на аптекарского ученика, а о том, что «он связан с типографией», и понятия не имел. Короче говоря: подслед-

ственный раскусил и загнал в угол следователя, а не наоборот!

Освобождение Гершуни — крупнейший прокол в полицейской карьере Зубатова, который ему, кстати, так и не простили. Как вспоминает А. Спиридович, Плеве однажды вызвал «к себе Зубатова и, указав ему на стоявшую на письменном столе фотографию Гершуни, сказал, что карточка эта будет украшать его стол до тех пор, пока тот не будет арестован. И департамент полиции делал все, зависящее от него, чтобы арестовать Гершуни».

Но вернемся в лето 1900 года.

За признанием Гершуни последовали и иные. «7 июля,— докладывал Зубатов,— признался Григорий Шахнович. Как взятый при обыске с экземпляром Эрфуртской программы Каутского — передан в формальное дознание. Освободившись, вел со мной переписку, за что был партией судим...» Короче: кто искренне, а кто не очень, но признались многие. «Увлеченный успехом,— рассказывает Зубатов,— я хотел совратить в свою веру Кремера, а через него и всю группу 1898 года. Послал ему телеграмму, он мне ответил; я опять телеграмму, но ответа уже не получил, а совершился побег их за границу».

Тут, пожалуй, Зубатова занесло лихо! Считал-считал бундовцев самыми непримиримыми революционерами, и вдруг... Б. Фрумкин предполагал, что Зубатова, так сказать, «соблазнил» сам «организационный тип Бунда, в основе которого еще лежали профессиональные, экономические ячейки» и который, следовательно, «казался ему более близким к тому типу организации, который он считал возможным легализовать».

Возможно. Во всяком случае, «независимцы» этот организационный тип потом сохранили, но он, пожалуй, и вообще наиболее логичен для организации рабочих, в основном занятых в мелких ремесленных мастерских. Но скорее всего, промах Зубатова подтверждает, что внутренняя жизнь Бунда была для него «темна», что никто не «освещал» ее охране достаточно подробно и компетентно. Ибо уже с середины 90-х годов, как мы знаем по воспоминаниям Ю. Мартова, еще даже не оформившись организационно, Бунд стал отходить от чисто «экономических» задач, хотя «идейные разногласия осложнялись оппозицией руководителям со стороны верх-

них слоев рабочей массы. Часть бундовских рабочих нехотя расставалась с привычными формами организации» (Д. Заславский). Да и для самой организации последствия ее «революционизирования» были неоднозначны, ибо «партийные учреждения все более законспирировались. Выборное начало было совершенно утрачено, и весь партийный строй принял совершенно законспирированный характер» (Б. Фрумкин). Но все-таки процесс «революционизирования» Бунда шел успешно; апеллируя к наиболее сильным, ярким эмоциям социально ущемленного человека — его чувству униженности и его подавленной агрессивности, радикалы добились многого.

Таким образом, максимум, на что мог реально рассчитывать Зубатов, — это раскол бундовских организаций. Но в этом случае новое затеваемое им движение неизбежно должно было самоопределиться, т. е. идейно и организационно эмансипироваться и противопоставить себя старому. Как именно — это зависело во многом от тех, кто становился во главе нового движения.

В отличие от Москвы, в Минске лидерами зубатовщины оказались отнюдь не рабочие, но молодые партийные полуинтеллигенты. Среди них также было немало самоучек, но уже поднявшихся на несколько ступенек выше Слеповых и Афанасьевых. К тому же и получив образование, приобретая интеллигентную профессию (Х. Шаевич, например, был по образованию философом, Ю. Волин выступал как писатель и публицист), они не отрывались окончательно от масс, — как то чаще всего происходило в Центральной России, — национальное угнетение, национальное неравноправие, сознание вытекающих отсюда проблем оставалось общим — вот почему им не понадобилась «сторонняя интеллектуальная сила». Ни Озерова и Дена в начале, ни Тихомирова и Грингмута в конце у них не было, хотя поворот произошел, в общем-то, такой же — к национализму.

Конечно, некоторые идейные особенности минской зубатовщины непосредственно вытекают из того положения вещей, на фоне которого они действовали. Понятно, например, что «монархическая идея» заведомо не годилась для пропаганды среди местечковой ремесленной бедноты, знавшей на собственной шкуре все прелести российского неравноправия. Приходилось

держаться позиции как бы нейтральной, заявляя, что раз самодержавие существует, то, «вероятно, имеет свои корни в жизни», ибо «при нем русский народ развивался от полудикого состояния до Менделеева и Толстого». Естественно, что минское движение не могло приобрести и религиозной окраски, ибо синагога, как мы увидим далее, больше всего боялась раздражить правительство хоть в чем-то. Но все же основные, главные различия определялись не столько обстоятельствами, сколько — лидерами.

Именно поэтому нам есть смысл присмотреться попристальнее к этим людям. Лучше, подробнее других известна биография лидера минских зубатовцев — Марии Владимировны Вильбушевич. Ею и займемся.

Манечка Вильбушевич родилась в 1879 году в городе Гродно. Отец ее владел мельницей и имением Лососно. Образование, ввиду слабости здоровья, получила домашнее. В детстве и в подростковом возрасте с нею случались нервные припадки; ее возили даже к петербургским врачам. Натура чрезвычайно эмоциональная, экзальтированная, добрая, слегка истеричная, при том — пламенный оратор и неплохой организатор, к тому же — охотно жертвующая на различные мероприятия (семья, как то и положено в отношении болезненного и любимого ребенка, не очень-то стесняла ее в средствах), Манечка в любом кружке, в любой организации (а в кружках она вращалась с самой ранней юности) сразу же занимала видное место.

В заключении этот эгоцентризм балованного ребенка сказался достаточно быстро. Уже в «агентурных сведениях» от 30 марта Зубатов сообщает: «Вчера Манечка Вильбушевич (это совершенно секретно) объяснила на словах (сие войдет в агентурные сведения) все и всех по минской ликвидации. Задача Герарди перевести все услышанное в чужие протоколы, отнюдь не обнаруживая источника (распространенный прием для засекречивания агента охраны.—В. К.). Наговорила она пропасть. Дело она ставит преоригинально. По ее мнению, виновные должны были явиться, увидев, что берут невиновных. Они не явились, и она спокойно их указывает, намереваясь громогласно в Минске объявить о своем поступке по окончанию дела...»

Кстати сказать, и объявила! Так что, несмотря на самые черные последствия для многих, назвать

ее выдачу вульгарной изменой или тем паче доносом — язык не поворачивается. Видимо, ее переход в «зубатовки» был облегчен и почти предопределен тем, что связана она была с Бундом не столько идейно, сколько эмоционально — горячим сочувствием к бедным и искренним желанием им служить, за них «страдать»...

Давайте, Впрочем, не будем голословны, а полистаем ее письма, ища в них не информацию о событиях, но — движения души, заметки ума... Зубатовскую теорию она приняла быстро, безоговорочно и восторженно, я бы сказал даже больше: она доверилась ему с какой-то чисто женской безоглядной привязчивостью. Но вот первое же ее письмо Зубатову со свободы, из родного Гродно (от 2 августа 1900 г.) и сразу же — неожиданный поворот:

«Почему я молчала так долго, спросите вы. Сейчас поймете. Я пишу это письмо с таким же радостным чувством, как **будто я хоронила своего лучшего друга**. Пишу только потому, что исполняю данный мне заказ. Получите-ка!

Вышло в Минске далеко не то, что вы ожидали. Ваше имя у всех на устах. Нет такого человека, который с какой-то особой оживленностью не говорил бы о Зубатове. Но почти все произносят его со скрежетом зубовым. Каждый приезжающий из Москвы ходит какой-то очарованный, очумелый. Но стоит ему побыть два дня, как сразу все как рукой сняло. И люди, которые раньше, будучи у вас, под обаянием вашей личности, чистосердечно каялись во всем, теперь с проклятием вспоминают эту минуту своей слабости, как они ее называют».

Разглядеть за этим «люди» и «все» собственные эмоции автора, ее смятенность, растерянность, испуг и почти что отчаяние — совсем не трудно. «Вышло... далеко не то», — планы на начало новой деятельности были, видимо, самые радужные, и потому разочарование переживается болезненно ярко.

«Когда я искренне сказала, что я думаю начать по отношению к рабочим, я вызвала такую бурю негодования, что мне пришлось только изумляться. Страшно **больно было мне за Женю (Гурвич.— В. К.)**, сколько истинного страдания доставила я ей своим разговором; сколько накопилось злобы против всего легального

в этом прекрасном человеке. Столько ненависти ко всему, что носит жандармский мундир, столько недоверия, презрения...»

Итак, обобщающее мышление политика вовсе, как видим, не относится к числу Манечкиных достоинств. Политические идеи оцениваются ею лишь в прямой связи с их носителями, и всякая дисгармония (например, в случае с Е. Гурвич) воспринимается болезненно. Естественно, мысль ее в сложных ситуациях обращается не к зубатовским идеям, а к самому Зубатову:

«Теперь несколько слов о моем к вам отношении. Когда в Минске они правдой и неправдой ухитрились запятнать ваше имя, я, в силу противоречия, говорила как раз обратное. Но когда я приехала сюда (в Гродно.—В. К.) и стала вдумываться глубоко в то, что хочу сделать, и в то, что вы сделали со мной, я начинаю вас ненавидеть... Я не могу сказать, что вы меня обманывали, наоборот, вы были даже непостижимо откровенны. Но если ваши разговоры о царе, Боге, душе — ловкое средство получить экзальтированную девушку в помощницы для того, чтобы вам подняться на высшую ступень власти, то это уже слишком тяжело. Вы хорошо знаете, почему я пошла по этому пути. Связать вы меня не можете ничем. Мне нужно только убедиться, что вы не то, чем я вас считала, и тогда я при всем народе сознаюсь в своем провокаторстве... Вы правду скажите. Может быть, тон моего письма вас оскорбит, но уж если на то пошло, то вы меня заставили пережить такие минуты, когда я была близка от того, чтобы приехать к вам и убить вас. Вы улыбнетесь, но я как-то так создана, что со мною играть нельзя, за это приходится тяжело расплачиваться. Я верю вам и жду письма».

Несмотря на оптимистическую концовку, — «верю и жду» — эта часть письма дышит подлинным отчаянием, и у меня нет никаких сомнений в искренности Марии Владимировны, писавшей в следующий раз тому же адресату, что она пережила нравственные муки, «которые граничат с умопомешательством».

Видимо, во время тюремных бесед с Зубатовым М. Вильбушевич, как это часто бывает с эмоциональными и эгоцентричными натурами, казалось, что поворот, происходящий с нею, одновременно происходит со всеми, и то, что она фактически идет на разрыв с собственным прошлым, ею совершенно не осознава-

лось, ее новые идеи должны были встретить с распростертыми объятиями, полюбить ее еще больше — ведь она же совершенно искренне хотела всем только хорошего! — и вдруг... Финальное ее «верю и жду» — не более чем мольба о помощи, осознание того, что пути назад нет и единственным спасением может быть только подтверждение зубатовской правоты.

Ответное письмо Зубатова нам неизвестно. Мы не знаем, чем он снял сомнения Марии Владимировны, чем подтвердил правоту своих идей, да это и неважно, ибо если уж человек решил, что *единственное* его спасение в справедливости некой идеи, то, он рано или поздно именно эту идею и найдет справедливую.

Но если человек таким образом лишает себя выбора идей и целей, если его *единственная* цель становится для него ценностью безусловной, то условною, естественно, становится оценка средств ее достижения, их нравственный смысл. Через две недели, 18 августа, Мария Владимировна напишет Зубатову буквально следующее: «Быть предателем честный человек может только тогда, если он предает в руки честного человека. А потому мне ваша душа дороже всего в мире».

Эта подвижка понятий — важнейшая, определяющая: безусловный императив «предателем быть нельзя» заменяется зыбким условием — можно, если... Определяющая, ибо однажды оправданное в душе предательство воспроизводится в поступках все с большей легкостью, благо *практически* оно всегда выглядит целесообразным: «Прошу вас во имя всего, что вам дорого, арестуйте Якова Минделя и Исаака Ботвинника, солдата Вятского полка, подержите их у себя немного, дайте им книжки почитать, пусть образумятся. Яков прекрасный человек с редко хорошей, честной душой, умный, развитой...» И еще: «То, что взяли Румермана и Рабиновича, пожалуй, недурно. Вы с ними, конечно, покончите, как со всеми нами, потому что это самый лучший путь, выражаясь их слогом, деморализовать революционеров».

Тут, быть может, впервые — я, во всяком случае, не знаю более ранних документированных примеров — полицейская репрессия трактуется как благотворительная мера идейно-политической перековки. Я думаю, что для нас, чей исторический путь пролег через целые десятилетия, когда подобные воззрения широко быто-

али не только в партийном, но даже и в народном сознании, когда именно они определяли репрессивную политику государства, превращая его в орудие уничтожения собственного народа,— для нас сама логика их возникновения не может не быть важна и интересна.

Впрочем, я чувствую, что читатель уже вознес над головой камень, чтобы побить бедную Манечку Вильбушевич, доносчицу и предательницу, но я прошу его повременить и камень пока отложить. Повременить, чтобы разобраться. Ибо не все так просто, как ему кажется.

Вот, например. Можно ли сказать о человеке, который, не дрогнув и не усомнившись на секунду, ради неких идейных абстракций отправляет людей в тюрьму, что он добр, жалостлив? «Ну уж, договорился! — явственно слышится мне сердитый читательский голос. — Да это же моральный урод, монстр! О какой доброте может идти тут речь?»

Так вот: ничего подобного! И та же Манечка Вильбушевич защищает одних с тою же безоглядною страстью, с которой предаёт других. В сентябре 1900 года она пишет Зубатову: «Теперь положение в Гродне такое. Типографщики в типографии Лапина задумали устроить стачку... Если бы вы как-нибудь могли повлиять, чтобы их не тронули, вы бы фактически показали, что не звери все, не лютые им враги... Ради всего, что вам дорого, повлиять, чтобы за стачку не арестовывали».

Кстати, Зубатов и такие просьбы тоже старался выполнить! В его «агентурных сведениях» за 10 октября читаем: «До слез тронут телеграммой С. Э. (Сергея Эрастовича Зволянского.— В. К.) в Гродно. Сердечно благодарю вас и прошу доложить С. Э. мою почтительнейшую горячую признательность за такое внимание и веру».

Но как же так? Как можно сохранять доброту, занимаясь такими делами? И главное, как же можно заниматься ими, сохранив доброту?!

Можно, оказывается... Отправной точкой служит здесь убеждение, что некий путь, некая политическая идея и есть *единственный* благой путь для всех. Ведь тогда все, кто движется по-иному, выходит, действуют себе во вред? И помешать им — любым путем! — значит для них же сотворить благо, вразумить... Зло

и добро начинают нечувствительно меняться местами, и человеку при этом остается как бы незаметна собственная деградация, собственное ожесточение: оно ведь происходит направленно, не только не мешая, но даже как бы и обязывая к сохранению любви и добрых побуждений в том узком секторе общества, который устремлен к «твоей цели» («он к товарищам милел людской ласкою, он к врагу вставал железа тверже» — так, кажется?). Того более: субъективно это ожесточение и расчеловечивание может восприниматься как нравственное оздоровление и возрождение.

Вот что писал некто Шмуэль (явно принадлежащий к кругу минских независимцев) в июле 1902 года из Вильно: «Я чувствую, что с каждым днем мой характер меняется, он делается с каждым днем мужественнее, более железным... Я умею, ради партии нашей, задушить в себе всякий порыв, мешающий работе, тормозящий ее; я чувствую, что партия начинает заполнять весь мой ум, мою душу, помыслы, порывы, желания¹. Ранее меня мучили все какие-то сомнения, в голову лезло постороннее, а теперь все это кончено, все у меня ясно и твердо... И я счастлив теперь, что могу отдаться работе всей душой, всей жизнью».

Самое худшее, быть может, что обуженный таким образом человек почти неизбежно будет и дальше сжимать сектор «своих», тех, на кого должны распространяться остатки его доброты и сочувствия. В политике толчком к такому сужению служит обычно момент, когда замечают, что за идеей идут не все, на кого рассчитывали, что часть намеченного социального слоя остается равнодушной, пропаганда не срабатывает... Словесно, терминологически это сужение может быть оформлено очень по-разному: объектом будущего блага объявляется, к примеру, не весь уже пролетариат, а «передовой отряд пролетариата», или не все уже русские люди, а только «истинно русские» и т. п. Варианты бесчисленны.

Логика такого сужения сектора «своих» и привела Марию Вильбушевич и ее единомышленников к сионизму.

«Да, социал-демократия переживает теперь кризис, тяжелый, мучительный кризис с судорогами и, пожалуй,

¹ Тут бы не худо вспомнить буквальный перевод слова «партия» — часть. Часть, которая заполняет все!

бредом,— писала она Зубатову 14 декабря 1900 года.— Но именно вследствие этого русская социал-демократия, разочарованная в экономике, станет революционной... Русская интеллигенция, повторяю... не примирится и не успокоится, пока не совершит переворота. Она, может быть, исковеркает Россию, дав ей карикатурную конституцию, она, может быть, причинит своей Родине великое зло, но она все-таки не уgomонится до тех пор, пока не «введет Россию в семью европейских народов», как было сказано в одной прокламации.

Вы в этом скоро убедитесь сами. Что касается еврейского движения, то оно очень скоро примет чисто экономическое направление, явно отвергая какую бы то ни было революцию. Причина этому — новое сильное движение, именуемое сионизмом».

Или — в другом письме: «Я писала уже вам, что ездила к Грише Шахновичу в Вильну. Нашла его в таком мрачном, озлобленном против всего мира настроении и с решимостью в тот же день уехать за границу. Но вместо этого я его убедила поехать ко мне в гости, конечно под чужой фамилией. Здесь мы долго говорили, и сделали мы из него заправского сиониста. И только тогда он весь воскрес, потому, изволите видеть, что раньше никак смысла не понимал в чисто рабочем движении, а в революционное он не верил уже больше».

Логика этого перехода очень проста. Встав на путь легализации, независимцы должны ограничить себя и своих рабочих самообразованием и «борьбой за копейку» — ведь только эти интересы теперь признаны ими «истинно рабочими». Но масса, на которую они рассчитывали, по словам той же М. Вильбушевич, «на каждом шагу все-таки встречает гнет и произвол», а потому не может отказаться от своего политического интереса и не идет за новыми идеологами. Как быть?

Тут-то и обнаруживается выход из этого добровольного тупика — сионизм. Это политическое течение ставит целью эмиграцию евреев в Палестину и создание там своего государства. Политический, гражданский интерес сиониста сосредоточивается, естественно, на этом будущем государстве. Здесь же, в России, еврейский рабочий становится человеком временным, и здешний его интерес ограничивается культурно-экономической сферой. Таким

образом, проповедуя сионизм, независимцы и себя оправдывают, и сторонников себе вербуют.

Эту их логику прекрасно понял и подхватил Зубатов. «Расставшись с моих слов с интеллигентским предрассудком о непримиримой ненависти самодержавия к рабочим,— пишет он в департамент,— вступив в рабочее дело на легальную почву и видя, что демократизм, видящий венец свой в политической свободе, «жиду» ничего не дает, мои деятели бросили политику и увенчали свою легальную работу национальным идеалом. Это ли не выигрыш для нас... Надо сионизм поддерживать и вообще сыграть на националистических стремлениях».

На первый взгляд и в самом деле выигрыш: часть рабочих, причем часть наиболее недовольная и беспокойная, надолго исключается из внутрироссийской политической борьбы. Но вот чего не учитывает Зубатов: недовольство-то их никуда при этом не девается — оно лишь приобретает иную окраску, даже более опасную в конечном счете, ибо разделение общества такими эмоционально напряженными перегородками, как национальные чувства, всегда деструктивно. А ведь главная политическая цель Зубатова — именно стабильность, самосохранение самодержавия! Опять парадокс...

Впрочем, чем глубже вникаешь в механику переломных, революционных эпох — в их неожиданные трансформации политических идей и союзов, в социально-психологические повороты и кризисы, — тем с большим числом подобных парадоксов сталкиваешься. И рассказ о Марии Вильбушевич по праву следует завершить целым букетом таких парадоксов — ее письмом от января 1904 года из бернской эмиграции Генриху Шаевичу, отбывающему красноярскую ссылку: «Насколько осуществима всякая свобода при идеальном самодержавии, эта тема, говорить о которой неинтересно нам с вами теперь. Насколько практически можно теперь в России при изуродованном, искалеченном до неузнаваемости самодержавии провести освободительные реформы, на этот вопрос чрезвычайно трудно ответить. Если бы правительство русское было хоть немного действительно русским, а не состояло бы из немцев и именно русских немцев, для которых Россия есть исключительно объект наживы, если бы оно любило хоть немного Россию и самодержавие, если бы род Романовых не

был на 70% немецкой крови, можно бы серьезно и упорно продолжать так, как мы начали... Может быть, в России нужно сделать революции, чтобы очистить от плевел самодержавие и создать новое, идеальное, с принципом: Царь и народ...»

Что ни фраза — то только руками разводишь: монархизм, оказывается, прекрасно совместим с сионизмом, даже с революцией... И меньше всего — с реально существующим русским самодержавием! Глянешь этак со стороны: что за идейная каша! Но уверен: самой Марии Владимировне казалось, что уж где-где, а тут она беспощадно логична. И в самом деле: если монархия есть идеальная власть, свободная от партийных и классовых привязанностей и поэтому способная опираться на любые общественные силы, то разве реальная власть Романовых похожа на такую монархию? Но если не похожа, если не отвечает она глубинным интересам России как государственного целого, то, может, потому, что сами владыки не очень-то русские? И если власть «неправильная», то почему бы и не исправить ее революционным путем? Ну и так далее.

Все дело в том, что в мире *политических идеалов* любая логика кажется верной, и чем дальше от *политических реальностей*, тем вернее.

Что же касается самой Манечки Вильбушевич, то из Берна, где пришлось подлечить нервы, расстроенные крахом созданной ею партии, она подалась дальше, в Америку, продолжала там яростную полемику против Бунда, потом переехала в Палестину, работала в первых сионистских колониях... Конец ее судьбы нам неведом. Да и не все ли равно? Каков бы он ни был — отношение к нашей истории он уже не имеет.

Ну, а теперь, если не пропала охота, можно поднять наш отложенный камень. Хотя, признаться, я лично, раздумывая о странной, путаной судьбе Марии Владимировны Вильбушевич, испытываю в общем-то жалость. Природа не задумывала ее для политики, не наделила философским складом ума, способностью формировать целостное мировоззрение. Не наделила. Ну и что? Зато Манечка была добра, щедра, безоглядно привязчива, умела искренне сочувствовать бедным, жалеть, утешать... Придись ее юность на спокойные времена, она, возможно, стала бы замечательной женой, матерью, а ее общественный темперамент вполне бы удовлетворялся какой-нибудь

благотворительной и культурнической деятельностью уездного масштаба. И все бы Манечку любили. И была бы она счастлива!

Но юность ее пришлось на полосу резко обострившихся социальных противоречий, идейного разброда, нравственных шатаний, на полосу, когда властные политические течения и вихри срывали с корней, тащили по своим путям натуры и куда более сильные, мужественные... Виновата ли она в этом?

Виновата ли она даже в своем предательстве, документально зафиксированном и доказанном? Разве даже и здесь ею руководил злой расчет, а не добрые по основе своей чувства, до неузнаваемости искаженные мощным силовым полем политики?

Впрочем, нет. Конечно же виновата. По ее милости ломались судьбы, в результате ее деятельности нарастало в обществе взаимное раздражение и озлобление, неверие в возможность какого-то разумного выхода. Виновата! Но это историческая, трагическая вина, вина без вины, когда даже искреннее и самоотверженное стремление к добру вдруг оборачивается приумножением зла.

Но... Не пора ли нам перестать видеть в прошлом героев, которыми можно гордиться, и злодеев, которых следует проклинать? Не пора увидеть там просто людей со всеми их слабостями, заблуждениями и страданиями — людей, не понимавших до конца окружающей их жизни (а мы-то с вами много ли в своей понимаем?) и вслепую нащупывавших исторические пути своих народов?

Пожалеем же Манечку Вильбушевич, заблудшую добрую душу, ставшую пусть и бескорыстным, но — никуда не денешься! — полицейским агентом, монархистку и сионистку, революционерку и реакционерку, страстно желавшую, но не принесшую добра ни России, ни еврейскому народу!

Пожалеем и вернемся в Минск осени 1900 года, когда, после выхода бундовской листовки о Зубатове, адепты его были вынуждены окончательно отойти от прежних товарищей и начать собственную агитацию и собственные организационные попытки.

Средством вербовки и сплочения сторонников стали здесь не собрания и собеседования, как в Москве, а небольшие «чисто экономические» забастовки, вначале тайно, а затем и открыто покровительствуемые властями. Следует, впрочем, признать, что организовать это покро-

вительство властей или хотя бы добиться их нейтралитета Зубатову удавалось далеко не всегда.

Так, осенью 1900 года развернулась упорнейшая стачка на щетинной фабрике Хайма Хурина в местечке Креславль, начавшаяся с того, что «26.08.900 г. четверо неизвестных избили палками и облили серной кислотой Г. М. Строговича, служившего управляющим в щетинном заведении своего родственника Х. Хурина и, по собственному признанию, относившегося к рабочим, которые забастовали, „строго“». Хурин вообще славился в округе особенно изощренными, прямо-таки садистскими приемами эксплуатации. Даже фабричный инспектор заявил, что из всех 300 фабрикантов его участка «этот самый коварный». Об этом же писал Зубатову и Г. Шахнович: «Я нахожу этот факт очень важным: если бы вы, г. начальник, вмешались в это дело и заставили бы фабриканта прекратить свои незаконные действия по отношению рабочих, то это подготовило бы почву для проведения среди щетинщиков ваших взглядов о возможности и необходимости работать легально».

Зубатов пытался вмешаться, хотел послать в Креславль уже знакомого нам жандармского поручика Спиридовича. «Данный случай,— писал он в департамент,— может иметь глубокое политическое значение в смысле подъема веры среди рабочих в беспристрастие центрального правительства». В департаменте, однако, сочли, что «командировка поручика Спиридовича в м.Креславль для проверки заявления Шахновича и направления дела в стачке представляется неудобной». Но и без вмешательства властей забастовка продолжалась 16 недель, и закончилось тем, что Хурин, «не найдя более в Креславле для себя рабочих», перенес свое заведение в местечко Друя, но и там его просто-напросто подожгли.

В самом Минске дела зубатовцев шли веселей — тут их взял под свое крыло жандармский полковник Васильев. Зубатов познакомился с ним в апреле 1900 года в Москве, когда будущие минские зубатовцы только-только начали склоняться в новую веру. Но уверенность в успехе у Зубатова, видимо, уже была, и он посвятил коллегу в свои замыслы, найдя в нем не только единомышленника, но и активного сотрудника.

Деловой контакт Васильева со сторонниками Вильбушевич налачился быстро. 27 июня 1901 года Зубатов писал в департамент: «Полковник Васильев, отличаясь

чисто русской сметкой, сильной энергией и полным сознанием серьезности своего служебного положения и авторитетности своего мундира, по прибытии своем в г. Минск, установил прекрасные отношения с местным губернатором кн.Трубецким (увы, это явное преувеличение, или, точнее, служебная дипломатия.— В.К.). Последнее обстоятельство имеет для него особую важность, так как революционное брожение охватывает в Минске ремесленников, отношения коих к хозяевам регулируются ремесленным уставом, надзор же за соблюдением последнего осуществляется не фабричной инспекцией, а чинами полиции, целиком подведомственными губернатору».

Все козыри в одних руках — отчего не сыграть? И когда весной началась стачка слесарей (за нее, между прочим, агитировали и бундовцы, и зубатовцы), потребовавших, чтобы их рабочий день, как и положено по «Ремесленному уставу», не превышал 12 часов, «Васильев выразил желание видеть у себя депутатов от слесарей с тем, чтобы одновременно с ними пригласить к себе и представителей от хозяев. Группа лиц, мне единомышленных, с Марией Вильбушевич во главе, повела агитацию и целыми днями до хрипоты стала доказывать всю полезность вмешательства полк. Васильева в стачку; с другой стороны, революционные агитаторы проявили такое ясное понимание положения вещей, что становились на дыбы и старались всячески запугать массу, опасаясь, как бы она не отозвалась на призыв жандармского полковника, который между тем продолжал каждый день посылать за рабочими, приглашая их явиться. Кончилось это все-таки тем, что рабочие устроили собрание, выбрали депутатов и отправили их по назначению. На примирительном заседании в жандармском управлении рабочим была выяснена вся неправильность самовольного оставления ими работ, а хозяевам незаконность их требования, и тут же было предложено: первым — стать на работу, а вторым — ввести законный рабочий день, о чем стороны и имеют быть официально оповещены особым объявлением минского губернатора... Вследствие такого быстрого и благоприятного исхода дел непримиримые агитаторы рвали на себе волосы, не будучи в состоянии вынести этой, как они сами выразились, «политической пощечины». С другой стороны, квартира представителей мирной тактики стала одолеваться рабочими, яв-

ляющимися поговорить и познакомиться с новыми способами действий».

Если, вспоминает Б. Фрумкин, слухи о связях Вильбушевич и К° с жандармами сразу же многих оттолкнули, то, «с другой стороны, именно эти связи создали для них незаменимую рекламу. Когда в середине 1901 года в городе впервые распространилась весть, что жандармский полковник Васильев призывает к себе хозяев мастерских и лавок, у которых происходят стачки, и угрозами заставляет их уступить рабочим, то это, естественно, поразило как хозяев, так и рабочих».

Немедленно стала готовиться стачка столяров, в которой должно было принять участие свыше 1000 человек. В окрестных лесах по субботам происходили собрания, на которых бундовцы призывали столяров «принять вызов» и потребовать у Васильева «свободы схода, печати, слова и тому подобной ерунды», как пишет Зубатов. Зубатовцы отвечали им хохотом. Столяры пошли за зубатовцами. Потянулись к ним и рабочие других профессий с просьбами создать у них «ферейн» (так именовались организации по видам ремесел), поставить и у них стачку. «Ставились» эти стачки довольно оригинально: «ферейн» посылал хозяину предупредительное письмо:

Милостивый государь, г. Геллер, сим «Союз приказчиков» имеет честь заявить Вам следующее:

Вследствие того, что на все заявления Союза и просьбу его изменить Ваше поведение по отношению к Вашим приказчикам не последовало никакого ответа, Союз принужден поставить у Вас стачку, которая начнется 20 сего августа. Требования следующие: 1) Отпускать Ваших приказчиков в 11 вечера при закрытии магазина, а не заставлять их работать до двух часов ночи, как это у Вас заведено. 2) Платить Вашим приказчикам жалование аккуратно, два раза в месяц, а не выплачивать рублями и затягивать счет на целый год. 3) Не заставлять Ваших приказчиц исполнять домашнюю работу, как-то: мыть полы, топить печку в Вашей квартире и т. д.

С почтением

«Союз приказчиков»

15 августа 1902 г., Минск.

Если и после этого ничего не менялось, в назначенный день начиналась стачка. Заканчивалась она или после переговоров, или по решению третейского суда, или же продолжалась, «пока одна из сторон не устанет».

По стилю письма «ферейнов» несколько напоминают записки молдаванских бандитов, замечательно описанных И. Бабелем: так же изысканно вежливы и неумолимы. Хотя стиль, понятно, особого значения не имел: хозяева прекрасно знали, кто стоит за независимцами, и потому «устанавливали», как правило, первыми. «Лишь по прошествии некоторого времени,— вспоминает Б. Фрумкин,— нашлись смельчаки, которые решались осадить рвение Васильева, и в городе с восторгом передавали, что, когда Васильев явился к одному еврейскому лавочнику и настаивал, чтобы тот удовлетворил требование своих приказчиков, хозяин лавки попросту предложил ему удалиться и не мешать торговать».

Не стоит, я думаю, удивляться, что сочувствие бундовца Фрумкина, представителя *рабочей* организации, здесь явно на стороне *хозяина*. Уж такова логика политической борьбы!

В течение весны минские зубатовцы взяли под свой контроль 6 цеховых организаций: переплетчиков, слесарей, столяров, каменщиков, щетинщиков, жестянщиков. Этот нешуточный успех следовало закрепить организационно, и 27 июня 1901 года состоялось «собрание рабочих под руководством четырех интеллигентов», которое постановило немедленно организовать Еврейскую Независимую Рабочую Партию (ЕНРП). В тот же день была опубликована и программа этой партии, «выраженная в четырех очень коротких пунктах»:

«1) Еврейская Независимая Рабочая Партия имеет целью поднятие материального и культурного уровня еврейского пролетариата посредством культурно-экономических организаций, как нелегальных, так и легальных по мере возможности...

2) Партия в целом не выставляет себе никаких политических целей и касается политических вопросов лишь в той мере, поскольку они затрагивают повседневные интересы рабочих.

3) Партия объединяет для экономической и культурной деятельности рабочих всяких политических взглядов и совсем без таковых.

4) Организация партии демократическая, т. е. управляется снизу, а не сверху».

Независимцы выпустили также листовку, озаглавленную «Взгляды партии», в которой, явно в пику Бунду, утверждали, что **«преступно** приносить в жертву материальные интересы рабочего класса таким политическим целям, которые в настоящее время ему чужды», и что «рабочий, как и всякий человек, имеет право быть сторонником какой ему угодно политической партии и все-таки имеет право защищать свои культурные и экономические интересы и быть членом вполне равноправным в экономических и культурных организациях». Попутно на Бунд сваливались, естественно, и все возможные грехи вплоть до «подрыва семейных устоев».

Почему же в Минске не ограничились только созданием профессиональных союзов, «ферейнов» или их объединения, а пошли на создание партии, хотя само это слово заставляло власти вздрагивать и напрягаться?

В отобранной при аресте Г. Шаевича «Записке» говорится: «Легализация профессионального рабочего движения по взглядам ЕНRP будет не событием, а процессом, может быть, весьма длительным, медленным. И для ускорения и облегчения этого процесса, помимо создания профессиональных союзов легальных и полулегальных (но ничего общего с революцией не имеющих), необходима **партия**, которая будет отстаивать перед правительством интересы рабочих».

Увы, это только звучит логично. На самом деле, чтобы отстаивать нечто перед правительством, партия сама должна быть легальной, а опередить в «длительном процессе» легализации профессиональные союзы у нее заведомо не было шансов.

Зато с точки зрения агитационных возможностей создание партии было ходом сильным — слово это обещало тогдашнему российскому уху нечто смелое, запретное и прогрессивное. Еще более сильным, хотя и вынужденным ходом было, как мы уже говорили, провозглашение терпимо-нейтрального отношения ко всем политическим партиям. Это выбивало почву из-под ног того же Бунда. Ведь за партиями, если бы независимцам действительно удалось вырвать у них возможность утилизации сиюминутного недовольства и экономических нужд, осталось бы только идейное воздей-

ствие, по необходимости достаточно медленное. Но чтобы использовать все преимущества этой объявленной ЕНРП позиции, ей самой, безусловно, была нужна легализация-событие, которая одна только и могла позволить ей избавиться от мелочной полицейской опеки и зажить своей жизнью. Увы, это понимал кто угодно, но не правительство, которое допускало рабочие организации лишь «в виде некоторого опыта», чем роковым образом искажало их природу.

Своеобразным пиком минской зубатовщины, хотя и не таким ярким и стремительным, как гужоновская забастовка в Москве, стало движение приказчиков. «На днях в Минске,— пишет летом 1901 года корреспондент «Искры» (№ 3),— среди приказчиков было распространено воззвание против господствующего среди них обычая воровать товар из магазинов и указывающее, что это несовместимо с сознательной борьбой против хозяйской эксплуатации. Тогда через два дня в городе было расклеено подписанное местным жандармским полковником Васильевым воззвание к приказчикам, в котором он выражает сочувствие к такого рода деятельности более развитых из их среды, но выражает свое удивление по поводу того, что они делают это нелегально, рискуя подвергнуться преследованиям и пр., тогда как стоит им обратиться к нему, и он с удовольствием предоставит им губернскую типографию. В заключение Васильев пригласил всех приказчиков на собрание, имеющее состояться в субботу под его председательством...»

Листовка как повод для легализации — это, конечно, блестяще было придумано! И ничего ведь не возразишь: даже Бунд не мог себе позволить сказать, что нет, мол, приказчицкое воровство есть форма классовой борьбы!.. Впрочем, в изложении Зубатова затеваемое Васильевым собрание ни с какими листовками не связано и вызвано лишь необходимостью предупредить забастовку, для чего, мол, Васильев и «послал каждому приказчику пригласительный билет следующего содержания: «М. Г. Просят Вас пожаловать в субботу в 1½ часа дня в зал «Париж» для обсуждения некоторых вопросов, касающихся приказчиков г. Минска. При входе обязательно предъявлять настоящий билет». Группа мирной пропаганды, усматривая в вышеприведенном обстоятельстве возможность поставить приказчиков на легальную

почву и принимая во внимание, что существующая организация приказчиков (бундовская.— В. К.) очень слаба, дышит одной нелегальщиной, неспособной дать чего-либо полезного в практическом смысле, подняла агитацию за поддержание предложения полковника Васильева, хотя, за поздним получением сведений об этом предложении, на особый успех и не рассчитывала. Революционеры же решили не пускать приказчиков на собрание, выразив тем самым Васильеву небрежение, и публично, так сказать, его осрамить: сколько у него было помпы и торжества при приготовлениях, и вдруг он остается в зале в единственном числе!»

Но все же прийти в зал «Париж» по личному приглашению самого полковника... Собралось человек 400, полковник держал речь, сорвал овации. «21 июня,— докладывает Зубатов,— полковник Васильев позвал к себе хозяев. Те не хотели явиться. Он их обязал подпиской, тогда пришли в количестве 30 человек. Он обратился к ним с внушительной речью. Они слушали и отмалчивались. Получалось нечто противоположное последнему инциденту — там рабочие аплодировали жандармскому полковнику, а здесь хозяева покорно злились».

Зволянский, впрочем, наложил резолюцию: «Я немного боюсь, как бы полковник Васильев не зашел слишком далеко». Отдадим должное его чутью: конечно, он не подозревал Васильева в излишнем сочувствии к приказчикам, но сама логика событий и упрямство хозяев могли подтолкнуть того на меры достаточно крутые, как это было через год с Треповым. В Минске, однако же, все пока обошлось.

Разворачивали независимцы и собственную культурную программу. В конце октября в том же зале «Париж» состоялся праздник, о котором анонимный автор писал Зубатову, что он «имел громадное агитационное значение, которое даже трудно было ожидать. В будущую субботу, 27 октября, открываются собрания и собеседования для всех ремесел... Если только правительство теперь не испугается да не возьмет данного назад, то оно сделает громаднейший переворот во всей России».

Минск стал потихоньку утрачивать славу самого беспокойного города в Западном крае. Во всяком случае, первого мая 1902 года здесь было тихо, а в Вильне состоялась довольно большая демонстрация, которую, естественно, разогнали, да к тому же тамошний губернатор

В. В. фон Валь в приступе административного восторга приказал арестованных демонстрантов высечь, что и было исполнено. Сапожник Леккерт поклялся отомстить ему за унижение товарищей, но стрелял не слишком удачно, был схвачен и через месяц казнен.

Именно между этими двумя событиями (т. е. покушением Леккерта и его казнью) и состоялась первая поездка М. Вильбушевич в Петербург. Вызвал ее начальник особого отдела департамента полиции Л. А. Ратаев для ознакомления нового министра внутренних дел В. К. Плеве с деятельностью ЕНРП. Министр эту деятельность весьма одобрил и даже рекомендовал Манечке послать в беспокойную Вильну кого-нибудь «для постановки соответственно рабочего движения».

Выполнить это почетное, но трудное поручение командированы были С. Чемериский и двое рабочих из «ферейна» каменщиков. Как сообщил в Минск один из них, уже упоминавшийся у нас Шмуэль, Вильна встретила зубатовцев без особой приветливости: «Я открыл собрание и стал делать отчет... Еще не разошлись, как один бундовец, находившийся ранее в минской разборке, окружив себя своими единомышленниками, стал горячо доказывать, что все эти разговоры и рассказы — одно провокаторство».

Вскоре на подмогу в Вильну был отправлен и Ю. Волин, а департамент полиции дал виленскому жандармскому управлению следующее разъяснение: «Давать этим лицам официальное разрешение на устройство сходок и собраний и распространение воззваний, равно и оказывать им какое бы то ни было содействие представляется неудобным, но тем не менее казалось бы возможным, не преследуя означенных действий, отнестись к ним с терпимостью». Так что работа шла, но успеха в Вильне независимцы почти не имели, что, вероятно, можно считать «заслугой» фон Валя, слишком уж озлобившего местное население.

Между тем и в Минске обстановка начала для них осложняться. Еще в марте Бунд от имени всех революционных организаций объявил им бойкот, к которому присоединились даже сионисты («Поалей Цион»), что было с их стороны, конечно, черной неблагодарностью.

Бунд вообще действовал все активнее. 6 мая, «в день тезоименитства Николая II, во время исполнения гимна «Боже, царя храни!» с балкона и галереи (театра.—

В. К.) раздались свистки и посыпалась нелегальная литература. Полиция, не ожидавшая демонстрации, в первое время растерялась, но скоро оправилась и многих арестовала».

Минский раввин попытался внести успокоение в заволновавшиеся умы и приказал расклеить на всех синагогах объявление: «Дрожь пробегает по телу при одном воспоминании об ужасной истории, разыгравшейся в театре 6 мая. Как можем мы, евреи, которых приравнивают к червям ползучим, путаться в такие дела!.. Одумайтесь, сыны Израиля, поразмыслите хорошенько над тем, что вы делаете».

Увы, бывают времена, когда напоминание о принижении и смирении никого более не смиряет, а, наоборот, — подхлестывает решимость!

В этой обстановке и независимцы решили продемонстрировать свое влияние, отметив «большим рабочим праздником» официальную годовщину своей деятельности — 30 мая. Они сняли зал на 1000 мест, но и он не смог вместить в себя всех желающих. Бундовцы постарались использовать собрание в своих целях. Как докладывал Е. Медникову его «летучий» Баранов, «Исер Каплан и другие с ним в 10 часов вечера, во время празднования экономистами годовщины своего существования в зале на Раковской улице кричали: «Долой самодержавие!» и сыпали прокламациями, привезенными из Вильны, но экономисты в ответ на их шум еще более дружно закричали: «Да здравствует государь!» и прогнали противников вон».

Так же, как и в Москве несколькими месяцами раньше, под прикрытием шумных акций слева резко усиливается и нажим справа. Хозяева быстро пришли в себя и поняли, где им искать защиты, — они засыпали Министерство финансов жалобами. Вот тут-то и выяснилось, что отношения Васильева с губернатором Трубецким не столь безоблачны, как изображал Зубатов. И хотя козыри по-прежнему в одних руках, но Трубецкой ходить с них более не пожелает.

«Ферейн» приказчиков по совету Васильева давно уже подал ему просьбу издать постановление об обязательном закрытии магазинов в 9 часов вечера. Вдоволь ее помариновав, поколебавшись, губернатор в конце концов требование отклонил. Более того, по сведениям весьма информированного публициста начала века А. Морс-

кого¹, в июне 1902 года губернатор лично жаловался в Петербург, что Васильев якобы поощряет приказчиков укорачивать рабочий день явочным порядком. В итоге не только Васильеву, но и Зубатову пришлось уже не поощрять и не прикрывать, а усиленно сдерживать забастовочные порывы независимцев. Одному из них, Гольденбергу, Зубатов писал в это время, что стачка — «явное зло и несправедливость в отношении других классов», причем в России-де мирные стачки невозможны «из-за слабости рабочих организаций». Естественно, как создать сильные организации, не проводя стачек и вообще ничего не добиваясь, он не говорил.

Единственным, что в эти месяцы как-то поддерживало еще авторитет минских зубатовцев, были участившиеся поездки М. Вильбушевич в Петербург. Как мы знаем, Зубатов проводил там ряд совещаний, в которых участвовали также Скандраков, Медников, Гапон, Шаевич и пр., для обсуждения перспектив легального рабочего движения. Но в Минске этого не знали, и слухи о Манечкиных связях и влиянии ходили здесь самые невероятные.

И все же приходилось отступать. В феврале 1903 года независимцы прекращают свою работу в Вильне, так ничего и не добившись и объявив, что, «несмотря на многолетнюю социал-демократическую пропаганду» (?!), тамошний рабочий класс «еще слишком темен, чтобы осознать свои подлинные интересы».

Но в самом Минске, да и в окрестных местечках тысячи рабочих и ремесленников еще поддерживали независимцев, верили в них, и сами независимцы еще строили планы, разъясняя в воззвании, выпущенном 3 апреля 1903 года: «Стоя на той точке зрения, что законом признается, легализируется факт — нечто уже выдвинутое жизнью, а не жизнь пригоняется к нарочито придуманным законам, партия принялась за создание рабочих союзов для развития классового сознания в массах и для содействия духовному развитию их». Но буквально через два месяца после этого, 6 июня, съезд ЕНРП вдруг объявил партию распушенной... В чем дело? Почему?

Как авторитетно засвидетельствовал сам Зубатов, это решение независимцев не было добровольным: «Наконец он (Плеве.— В. К.) перешел к грубому требованию «все

¹ Псевдоним В. И. фон Штейна, литературного агента самого С. Ю. Витте, которому Трубецкой, вероятно, и жаловался.

это» прекратить, в особенности деятельность «Н.Е.Р.П.», нимало не соображаясь ни с моими нравственными запросами, ни с душевным состоянием всех «прикрываемых», которые воочью успели стать на ноги и с «правыми», и с «левыми». Но «Н.Е.Р.П.» поспешила, узнав об этом, сама ликвидировать свои дела...» Пospешила... Действительно, внимательное чтение последней листовки независимцев, озаглавленной «Ко всем еврейским рабочим», показывает, что этот приказ, скорее всего, совпал и с их собственными желаниями и выводами.

«Правительство,— пишут они,— согласно ясно выразившейся после долгих колебаний тенденции, готово допустить легальное рабочее движение [лишь] на манер московского...

По отношению ко всякому движению, носящему классовый характер и отнюдь не отождествляющему интересы рабочих с предпринимательскими,— никаких мероприятий, кроме враждебных, со стороны правительства в ближайшие годы ожидать нельзя...

Секретным циркуляром Министерства внутренних дел, уже разосланным на днях губернаторам, градоначальникам и т. д., сионизм в пределах России фактически запрещается. Этот циркуляр знаменует поворот в правительственной политике в смысле преследования еврейских общественных движений...

И на этом фоне всеобщего подавления всякого живого дыхания в еврействе легальные формы (собрания, квартиры и т. д.) какого-то рабочего движения могли бы быть только резким, бессмысленным и наглым диссонансом».

Независимцы действительно попали в жесточайшие «клещи». Во-первых, сионизм, как учение, отвлекающее политический интерес еврейских рабочих от внутриросийских дел, был чуть ли не главным логическим винтом, на котором держалась вся их концепция. А во-вторых, их работа не могла продолжаться не только потому, что ей препятствовали «верхи», но и потому, что после кишиневского погрома (6—7 апреля 1903 года) настроение еврейских «низов» резко сдвинулось — и вовсе не в ту сторону, куда рассчитывали сдвинуть его инициаторы погрома. Подпольная газета «Последние новости» (№ 128) сообщала, что в Минске всё «теперь в напряженном ожидании погрома. Кто мог вооружился. В магазинах раскуплена масса револьверов и холодного ору-

жия... Весь Нижний базар и разные кружки и организации вооружились и готовы дать отпор погромщикам». Естественно, при таком настроении рассчитывать на традиционное местечковое «благоразумие» и какое-либо сотрудиничество еврейской бедноты с властями было совершенно нереалистично.

Вообще, нет, наверное, политики более опасной, чем, вызвав какое-либо движение, в особенности национальное, т. е. резко окрашенное эмоционально, и попытавшись на нем «сыграть», потом вдруг решиться его «прихлопнуть». Но Плеве, как помним, упорно считал, что в России «никакой общественности нет» и потому, мол, в ней можно прихлопнуть все.

Кстати: как раз в дни минского съезда, распустившего партию независимцев, в Одессе началась и стремительно разрослась крупнейшая забастовка с их участием. Но Одесса — это уже сюжет иного рода, и о нем — в следующей главе.

Глава шестая

Приключения идеи: зубатовщина в Одессе

Независимцы появились в Одессе летом 1902 года, примерно тогда же, что и в Вильне, и, весьма возможно, по тем же причинам. Правда, этой весной в Одессе ничего экстраординарного не происходило, но вообще-то Зубатов не зря именовал ее «запущенным в революционном отношении городом».

Уже в 90-х годах здесь организовалась сильная группа социал-демократов «экономистов», было создано несколько кружков, объединявших до 400 рабочих¹. Но агитацию этой группы вряд ли можно считать особо успешной. По сведениям фабричного инспектора Петрова, за первые шесть месяцев 1901 года «попытки к стачкам» наблюдались лишь на 18 мелких предприятиях, с общим числом рабочих всего 684 человека, что составляло менее одного процента одесских рабочих. А ведь

¹ Эту цифру называют Д. Шлосберг и Б. Шульман (Летопись революции, 1929, № 1.), не раскрывая своих источников. Признаться, мне она кажется преувеличенной.

почва для «экономической» пропаганды была здесь особенно благоприятна!

Заработная плата на юге и вообще-то была ниже, чем в столице или средней полосе России, но в Одессе она была низка даже по южным меркам. По данным того же инспектора Петрова, среднегодовой заработок одесского рабочего составлял в начале века 263 руб. (около 22 в месяц), высококвалифицированный металлист едва вытягивал за месяц до 40, т. е. в два с лишним раза меньше, чем в Петербурге. Конечно, и жизнь в Одессе была дешевле, но не настолько же!

К тому же стоимость жизни росла, а заработки оставались практически на уровне 80-х годов. В порту, на большом вокзале и вообще везде, где люди нанимались на работу артелями, процветал своеобразный рэкет, в результате которого, по сведениям охраны, до рабочих доходило «не 6 рублей 90 копеек за 1000 пудов груза, а всего 4 рубля», остальные оседали в карманах разного рода агентов и посредников, без которых, однако, работы было не получить. Да и вообще процветало немало, так сказать, незаконных приемов эксплуатации рабочего люда.

Естественно, что среди рабочих росло недовольство, даже отчаяние, росла решимость, а параллельно этим настроениям возрастала и активность революционных групп. В начале 1901 года здесь выделилась «Южная революционная группа социал-демократов», а к 1902 году произошел резкий перелом и в социал-демократическом движении в целом. МВД было, конечно, в курсе происходящего и, испытывая серьезную обеспокоенность, несомненно поощряло и торопило расширение деятельности независимцев на Одессу.

Первым, в самом начале лета, прибыл сюда из Минска Меер Коган, бывший активный «экономист» и участник ряда одесских кружков, сохранивший немало прежних знакомств среди рабочих. Но местною интеллигенцией он был теперь встречен в штыки, ему даже объявили бойкот, что, впрочем, отнюдь не свидетельствует о безуспешности его агитации, скорее даже наоборот. В политике слабый противник раздражения не вызывает, бывает даже и выгоден. Раздражает сильный.

«Озеровские брошюры «Коллективный договор», — докладывает вскоре М. Коган, — читаются с большим интересом на табачных фабриках Попова и Ваховского,

где их прямо рвут друг у друга. Почва для работы на этих двух фабриках самая богатая, и рабочие, с которыми я говорил, уверяют меня, что если бы можно было здесь работать (в смысле полицейского разрешения), то эти две фабрики целиком перешли бы к нам. Мне необходима русская литература, а также теоретическое партийное «письмо», которое необходимо напечатать по-русски. Не может ли кто-нибудь из вас приехать сюда, например Волин? С гр. Шуваловым (одесский градоначальник.— В. К.) нужно говорить, а я этого не умею».

Действительно, что Когану совершенно не давалось, так это отношения с городскими властями. Его даже умудрились арестовать, и только получив «разъяснения» из Петербурга — выпустили.

Прибывший на помощь ему Ю. Волин также оценил обстановку как весьма обнадеживающую, ибо «в Одессе особенного рабочего движения социал-демократического нет, здесь не имеют понятия о классах и организациях. Стачек бывает много, но чисто стихийных. Правда, есть комитет социал-демократической рабочей партии, но участие его в стачках ограничивается мизерной денежной помощью. Революционных, но не связанных в одну организацию рабочих... приблизительно до 1500 человек — процент в отношении рабочей массы весьма незначительный».

«Безалаберную и бессистемную агитацию» своего предшественника с помощью озеровских брошюр он не то чтобы не одобрил, но счел недостаточною и, резко изменив тактику, взялся, во-первых, за практическую организацию: «человек до 20 вполне партийных хлопцев из революционеров» (бывших, конечно) составили под его руководством «Независимую рабочую группу», и не еврейскую, а интернациональную, «так как здесь чисто еврейского движения вести нельзя». Во-вторых, он постарался привлечь на сторону нового движения крупную еврейскую интеллигенцию (Дубнова, Ахад-Гаама и пр.). В беседах с ними на первый план выдвигались именно националистические черты программы ЕНРП и внушалось, «какое большое национальное значение может иметь для народа оздоровление его рабочего класса». И наконец, в-третьих, он принялся налаживать контакты с администрацией: «У генерала Бессонова (одесского полицмейстера.— В. К.) я вчера был, оказывает-

ся, он не получил относительно нас никаких инструкций, но тем не менее принял меня весьма любезно, мы беседовали полтора часа; к концу разговора он мне сказал: „Всего, всего вам лучшего, дай Бог вам успеха. Что касается меня, то то давление, которое я могу оказать на градоначальника, я окажу...“».

Впрочем, и с инструкциями департамент не опоздал: «Давать этим лицам официальное разрешение на устройство сходов и собраний и распространение воззваний, а равно и оказывать им...» И так далее.

Во всяком случае, когда «Независимая рабочая группа» (наиболее активную роль в которой играли котельщики Залман Финкель, Лейба Рыжий, Абрам Пойлишер, слесарь флотских мастерских Иванов, токарь Костюченко-Ковальчук и др.) распространила 10 августа первую свою листовку «Ко всем одесским работникам и работницам», власти отнеслись к этому вполне «терпимо».

«В Союзах,— провозглашала листовка,— сила рабочих, их надежда, их будущность!..

Вопрос только в том, как эти союзы строить и кому ими руководить. Разные партии издавна стараются нас организовать, но нет у нас до сих пор ни одной чисто рабочей организации. Те партии, которые работают среди нас, задаются очень большими, но и очень далекими целями. Они стремятся к мировому перевороту, то есть хотят изменить всю человеческую жизнь по-новому...

Всецело предаться нашим интересам, объединить широко и мощно рабочую массу могут только профессиональные рабочие союзы...»

Листовка имела успех. И уже в ноябре «Независимая рабочая группа» обратилась к градоначальнику за разрешением на устройство собраний «для обсуждения нужд». Лопухин опять объяснял, что «подобного рода собрания получили уже признание со стороны Министерства внутренних дел и в настоящее время происходят в Санкт-Петербурге и Минске с надлежащего разрешения, даваемого на общем основании в порядке разрешения вечеринок, танцевальных вечеров и т. п.». И что «со стороны министерства внутренних дел не встречалось бы препятствий к удовлетворению ходатайства группы «независимых» в Одессе»...

По сведениям товарища одесского прокурора, собрания независимцев «посещались рабочими как крупнейших заводов и фабрик, например, механического и чу-

гунолитейного завода Беллино-Фендрих, Гена, Элинга, Русского общества пароходства и торговли, железнодорожных мастерских, большого вокзала, так и рабочими различных мелких заводов, например кирпичных, маслобойных, кожевенных...» В конце 1902 года независимцы создали ряд цеховых союзов — о трех из них сохранились документальные упоминания: «Союз машиностроительных и механических рабочих», «Союз маляров» и «Союз моряков».

Однако особый размах и напористость работа одесских независимцев приобрела лишь после того, как сюда в январе 1903 года вернулся из Минска Генрих Исаевич (Хуна Шаевич) Шаевич. Это была фигура крупная, нестандартная и в то же время для начала века весьма характерная.

Попробуем, по принципу предыдущих глав, набросать портрет и этого лидера, тем более что его путь в зубатовское движение и роль в нем достаточно нестандартны. Начнем, пожалуй, с зарисовок, сделанных людьми, знавшими его вполне мимолетно. Ведь фиксация первого впечатления порой открывает в человеке черты очень важные.

Итак, московская тюрьма, группа заключенных перед отправкой в Сибирь. Идет опрос, заполняются какие-то бумажки. При ответе требуется снять шапку. Революционеры, естественно, решают их не снимать — бунтовать, так до конца! Шум, препирательства...

«И лишь один арестованный повел себя против воли товарищей. Это был полный мужчина с маленькой бородкой, безукоризненно одетый и производивший впечатление европейца. Этот джентльмен, когда настала его очередь, подошел к офицеру и подчеркнуто любезно снял шляпу. Из его ответов на вопросы офицера я узнал, что это был доктор философии Шаевич» (Г. Лелевич).

В дороге. Большинство арестантов едет впроголодь. «Между тем в нашем же вагоне некоторые арестанты-студенты, располагая деньгами, кутили вовсю... Шаевич вздумал играть на этих струнках. Начав с указания на различие интересов интеллигенции и рабочих, он затем стал усиленно обрабатывать нас в зубатовском духе. Его речи произвели сильное впечатление на одну истеричную фельдшерицу...» (Г. Лелевич).

В Красноярской тюрьме: «Это был молодой мужчина, с черной бородой, лет 35, в костюме с иголки, со спрятанными под черные стекла глазами. С мягким вкрадчивым голосом, с манерами постоянного самоохорашивания, то стряхивающий рукав, то снимающий пылинку с брюк и постоянно отводящий в сторону глаза, чтобы поднять их не на собеседника, а только на какую-нибудь подробность в лице или костюме собеседника, он производил достаточно ясное впечатление. И похоже было, что на нем лежит сознание не только провокаторского «руководства» стачкой, а и другие доблести наемной карьеры» (А. Васильченко).

Если отбросить то, что явно продиктовано предвзятостью, вроде «других доблестей наемной карьеры», о которых мемуарист знать не может, потому что их и не было, однако же почему-то в них так уверен... Если это отбросить, остается человек с вкрадчивыми манерами провинциального интеллигента «из ловких», но с характером достаточно твердым, чтобы не идти на поводу у большинства. А также с системой взглядов, которая может нравиться или нет, но которую, однако же, ни арест, ни ссылка не изменяют... Для «платного агента» это несколько неожиданно, правда?

Шаевич не был ни бундовцем, ни социал-демократом «экономистом», ни берштейнианцем; до 1902 года он вообще никогда не принимал участия в рабочих кружках и движениях. Одесский мещанин, он закончил Берлинский университет, получил степень «доктора философии и государственных наук» и, вернувшись на родину, стал видною фигурой среди одесских сионистов. Был председателем кружка «Oig Zion», организовал издательство сионистской литературы «Гатхио» и принимал ближайшее участие в работе библиотечной комиссии одесских сионистов. В 1901 году во время Всероссийского сионистского съезда в Минске он познакомился с М. Вильбушевич и другими независимцами и искренне загорелся провозглашаемыми ими идеями и — главное! — их практической работой, которую он понимал как целиком направленную против Бунда.

К Бунду же у Шаевича был свой счет. Он считал, что, распространяя «свободомыслие», идеи гражданского брака и атеизма, Бунд разрушает чистоту семейной жизни евреев, а популяризируя экономическую борьбу, «развил в рабочей массе вместо здорового

классового сознания — озлобление против всех неспециально пролетарских классов общества», тогда как «такое озлобление менее всего уместно в еврействе, где, собственно, и классовой дифференциации заметной все еще нет».

Набор обвинений, увы, довольно стандартный, ибо какой же представитель «национальной идеи» не обвинял сторонников идей интернациональных и общедемократических, а тем более революционных, в проповеди безнравственности, подрыве семьи и прочих «здоровых основ нации»? Какой националист не пытался отрицать в среде *своей* нации социальные расслоения и дифференциацию интересов? Так было в начале века — точно так же, увы, и сейчас!

Но, отвергая в еврействе (и только в нем!) классовое расслоение, Шаяевич тут же возлагал на еврейских рабочих особые нравственные надежды: «Еврейский фабричный и ремесленный пролетариат, этот громадный численно и представляющий еще большее значение в народной жизни класс, эта народная молодежь, отличающаяся цельной и здоровой натурой, не исковерканной торгашеством душой, отзывчивая на все высокое и благородное — этот класс должен был стать в авангарде современного национального движения. Между тем ни в какой части народа сионизм не встречал такого противодействия, как среди рабочих... Все молодое и свежее из рабочего класса оставалось в Бунде и даже не хотело прислушаться к сионистской агитации».

Надо, впрочем, признать, что как политический противовес Бунду независимцев оценил не один только Шаяевич. Еще в ноябре 1901 года съезд «сионистских рабочих кружков Литвы» принял следующую резолюцию: «Признать громадное значение ЕНРП для сионизирования рабочей массы и необходимость независимых рабочих союзов для еврейских рабочих. Съезд постановил: содействовать всякому начинанию ЕНРП».

Смысл подобных политических притяжений и отталкиваний нетрудно понять, если, конечно, не отрывать политические идеалы от политических же расчетов, так как в реальной жизни они, увы, неразрывны. Если бундовцы упорно отстаивали свою национально-культурную автономию среди других социал-демократических течений, надеясь утилизировать таким образом в своих *политических и социальных* целях также и *национальную* ущем-

ленность еврейских рабочих, то националисты (любые!) стремились использовать также и *социальную* напряженность для сплочения своих приверженцев и решения собственных *национальных* задач. Собственно, так же поступают и нынешние сторонники различных «национальных идей», упорно доказывая, что все беды *своей* нации проистекают либо из-за давления метрополии, либо из-за козней некоего «малого народа» и тем направляют социальное недовольство вовне *своей* нации.

ЕНРП, проповедовавшая мирные, легальные формы экономической борьбы и стремившаяся в конечном счете к социальному миру, должна была казаться сионистам не просто союзником, но и, так сказать, ключом к успеху. Русский же национализм закономерно видел нечто подобное в московской и петербургской зубатовщине.

Тут весьма кстати вспомнить о подробно описываемых Гапоном частных совещаниях у Зубатова зимой 1902/03 года. На одном из них (примерно в середине января), кроме постоянных участников Медникова, Скандракова, Вильбушевич, Шаевича, Соколова и пр., были также «некоторые учителя и профессора, которые должны были читать лекции в будущем Союзе рабочих в Санкт-Петербурге... Был там и доктор Шапиро¹ — лидер сионистского движения».

Если тут вспомнить, что всего месяцем раньше зубатовцы И. Соколов и Ф. Слепов выступали «с докладом» в Русском собрании², а за несколько дней до того депутация зубатовцев при содействии протоиерея Ф. Орнатского побывала у митрополита Антония, то можно ставить десять против одного, что все упоминаемые Гапоном «учителя и профессора, которые должны были читать лекции в будущем Союзе», были по своим взглядам различного оттенка русскими националистами.

Но если это так — а это несомненно так! — то все же прелюбопытные компании собирал у себя Сергей Васильевич! Ну где еще можно было встретить за одним

¹ Явная описка Гапона. Речь, конечно, идет об Исифе Борисовиче Сапиро, авторе книги «Сионизм» (Вильно, 1903).

² Отчет об этом «докладе» помещен в «Московских ведомостях» за 15 декабря 1902 года. Русское собрание было создано в Петербурге осенью 1900 года как литературно-художественный клуб и место встреч «национально настроенной» интеллигенции. Но постепенно оно стало ультра-монархической и черносотенной организацией, а с осени 1904 года перешло к активной политической деятельности.

столом руководителей рабочих забастовок, лидеров сионизма и интеллектуалов из числа «истинно русских» людей?

А впрочем... На ранних стадиях своего развития различные национальные движения всегда имеют немало общих врагов, а следовательно, и общих интересов и иногда, так сказать, искренне не подозревают, как далеко могут разойтись их пути, к какой кровавой конфронтации вывести.

Но вернемся к доктору Шаевичу. По свидетельству все того же Гапона, позиция его на зубатовских совещаниях столь же мало зависела от мнения окружающих, как и в московской тюрьме: «Шаевич доказывал необходимость местных стачек как средства держать рабочих в руках. Зубатов не разделял этого мнения, но я понял, что он давал свободу действий своим агентам в некоторых местностях».

Очень вероятно, что Зубатов давал «свободу действий» Шаевичу просто потому, что тот все равно уже действовал. Во всяком случае, согласно анонимному докладу одного из бундовских активистов своему ЦК, едва возвратившийся из Минска «Шаевич, доселе борец за освобождение еврейской нации, сделался пылким космополитом: он на Пересыпе (рабочий район в Одессе, где была квартира независимцев. — В. К.) между христианскими рабочими горячо проповедует стачки, которые он может выиграть при помощи того или иного жандарма (он этим хвастается открыто)».

Итак, мы снова стоим перед одной из парадоксальнейших ситуаций кануна первой русской революции: сионист, ставший во главе интернационального (по составу и по целям) рабочего движения, с тем чтобы способствовать достижению классового мира хотя бы только внутри своей нации, и в результате энергичной работы подготовивший... нечто совершенно противоположное — одну из крупнейших и яростнейших классовых стычек!

Как же такое вышло? Как так получилось? Что ж... Попытаемся разгадать, разобраться.

Шаевич, как помним, смотрел на забастовки прежде всего как на способ сплочения рабочей массы, повышения авторитета организации — вообще как на «средство держать рабочих в руках». Поэтому предприятия выбирались для них самых небольшие — так было легче и опробовать новые методы, и добиться результата. До

начала июльских событий независимцы провели несколько таких, как бы пробных, «лабораторных», забастовок.

Ход трех из них подробно описан в справке особого отдела департамента полиции, к которой и обратимся: «В марте (1903 г.— В. К.) в небольшой механической мастерской Прива все рабочие, в числе 12 человек, не вышли на работу, требуя оставления в мастерской уволенного за дерзость товарища, а хозяин мастерской получил от имени Шаевича приглашение явиться к нему для объяснений; один же из рабочих, нанятых Привом вместо забастовщиков, был последними избит. В апреле на мелкой консервной фабрике Соколовского с 10 рабочими один искавший работы паяльщик, не принятый владельцем за ненадобностью, заявил, что с этих пор никто из паяльщиков больше к нему не пойдет, а когда Соколовскому потребовался усиленный состав паяльщиков, то действительно рабочие этой профессии, несмотря на высокий заработок (3—4 рубля в день), отказались идти к нему, и некоторые из них объясняли свой отказ запрещением вышеупомянутого «Союза» и страхом быть облитыми серной кислотой. 19 апреля на чугунолитейном и механическом заводе Рестеля с 175 рабочими, после увольнения за леность и дерзость кузнеца Драгомирецкого, владелец получил от «Союза машиностроительных и механических рабочих» письмо, в котором, под угрозой забастовки, излагались к немедленному исполнению следующие требования: 1) оставление на заводе Драгомирецкого; 2) вывешивание расценки аккордных (сдельных) работ; 3) вежливое обращение со стороны хозяина и мастеров с рабочими и 4) подача гудка в установленное время. 21 апреля рабочие забастовали, заявив, что могут возобновить работу лишь по распоряжению «Союза» и что Рестель должен приехать к их «президенту» Шаевичу для объяснений. Владелец завода и фабричная инспекция находили, что уступки рабочим невозможны, так как они могут повести к возникновению осложнений на других заводах, и такого же мнения придерживался исполняющий должность одесского градоначальника тайный советник Старков, но после свидания с Шаевичем Старков высказал старшему фабричному инспектору, что Рестель должен оставить на заводе уволенного кузнеца Драгомирецкого. Эта забастовка оказалась продолжительной, упорной и сопровождалась насильственными действиями. Были

случаи избияния рабочих, соглашавшихся работать у Рестеля, несмотря на запрещение «Союза»; а 16 мая на возвращавшихся с завода рабочих в числе 40 человек напала толпа свыше 300 человек, и некоторым из рабочих были нанесены столь тяжкие побои, что пострадавшие были отправлены для лечения в городскую больницу. Вместе с тем были такие случаи, что новых рабочих, шедших наниматься к Рестелю, члены «Союза» перехватывали на дороге, уводили в помещение «Союза», там кормили и давали по 20 коп., уговаривая не поступать на этот завод. По отзыву одесского градоначальника генерал-лейтенанта Арсеньева, выраженному в представлении на имя министра внутренних дел от 30 июня 1903 года, „приведенные выше требования, предъявленные рабочими Рестелю, были ничем не обоснованы, сама забастовка была устроена «независимыми» лишь для пробы, насколько окажется успешной предложенная ими организация союзов“.

Растерянность одесских властей, впервые наблюдавших стачку такого исключительного упорства, понятна. Разумеется, организовывать нечто подобное без сильной материальной поддержки Союза невозможно. Вот, кстати, еще одна причина, почему выбирались небольшие предприятия. Но дело не только в этом. Каждый раз число фактически участвующих в стачке и поддерживающих требования оказывалось многократно превышающим число непосредственно забастовавших рабочих. Такая забастовочная тактика несомненно воспитывала в рабочих солидарность и выдержку, а главное — давала им почувствовать свою силу, возникшую в результате объединения.

Между тем обаяние силы нигде не бывает так велико, как именно в социально приниженных слоях, ежедневно испытывающих на себе действие сторонних сил и вынужденных им покоряться. Это ощущение силы, исходившее от Союза, составляло главную его прелесть и для тех, кто в нем уже состоял, и для тех, кто стремился в него попасть. Неудивительно, что к концу апреля у независимцев было уже около двух тысяч активных сторонников. Кроме уже называвшихся, в различных документах и письмах этого времени упоминаются также союзы «пекарей», «матросов, кочегаров и других низших служащих судов» и пр.

Успехи одесских независимцев, похоже, могли бы расти и дальше, но в дело вмешались события, рамки

одного города далеко превосходящие: не только общий стихийный всплеск рабочего движения на юге России, но и кишиневский погром, если не организованный, то наверняка одобренный Плеве (это зафиксировано дневником Куропаткина), общий поворот его политики в отношении окраинных национальных движений.

Причины этого поворота требуют, на мой взгляд, дальнейшего изучения, но касаться их здесь мы не станем, сразу же обратившись ко всеобщей одесской стачке, к событиям, развернувшимся в этом городе с 1 по 21 июля.

В дореволюционной публицистике вина (или заслуга — в зависимости от позиции автора) независимцев в возникновении и развитии одесской стачки, в ее грандиознейшем размахе сомнению не подвергалась. Оспаривал ее едва ли не один Зубатов, имевший, впрочем, на это мотивы личные. В подпольной же социал-демократической печати господствовала точка зрения совершенно иная: заслуга стачки здесь числилась за РСДРП. Естественно, что после революции именно эта точка зрения, с теми или иными оговорками, и стала господствующей.

В результате одесской забастовки отложилось громадное количество документов, большинство из которых тщательно изучено и даже опубликовано. Так что для того, чтобы представить себе реальную картину этих событий, тайные или явные пружины, их подталкивавшие или тормозившие, нужны, по-моему, не новые документы, а новый взгляд, свободный от всех априорных оценок.

Начать, пожалуй, следует с простого соображения: объективные причины и предпосылки события по-разному истолковываются не только его историками, но и его участниками, а их истолкование всегда, естественно, влияет и на ход, и на смысл события.

В донесении одесского охранного отделения (№ 996 от 8 июля 1903 года) перечислены четыре причины забастовки портовых грузчиков.

Первая. Посредники — артельщики и агенты пароходных обществ — присваивают себе более трети заработка грузчиков.

Вторая. Те же артельщики и агенты «относятся к рабочим не по-человечески и постоянно награждают их самой грубой бранью; не дают отдыхать после обеда...»

Третья. С каждой тысячи пудов грузчики платят 25 копеек в страховой капитал на случай увечья. «По их мнению, там уже скопилось более миллиона рублей. Но в случае увечья грузчику выдают только 50 к.— 1 р., да и те — после двух-трех недель волокиты».

Четвертая. «Заработанные деньги иногда пропадают, и они ничего не могут с этим поделать. Например, в прошлом году какими-то лицами в Николаеве был убит, по причинам личного свойства, артельщик Самсон, за которым числилось 15 000 рублей рабочих денег, которые безвозвратно пропали, так же как недавно 3800 рублей за каким-то другим артельщиком».

Нетрудно сообразить, что все эти причины можно одинаково убедительно истолковать: **во-первых**, как чисто экономические, т. е. по-независимски (кстати, требование грузчиков разрешить самим выбирать артельщиков, внося в складчину требуемый конторой залог, свидетельствует, что такое толкование было среди них преобладающим); **во-вторых**, чисто политически, в духе Бунда и РСДРП, так как, будь у рабочих свобода слова, стачек и собраний, подобное положение просто не могло бы сложиться; **в-третьих**, как межнациональные отношения — ведь подбирались артели по национальному и земляческому признаку (вятские, имеретинцы, молдаване, евреи и т. д.), артельщики же были обычно людьми совсем не той национальности, что артель; и, наконец, **в-четвертых**, вполне верноподданнически: все, братцы, было бы замечательно, умей местная полиция бороться с портовыми жуликами — надо укрепить порядок!

Так что характер трактовки зависит лишь от общих политических целей той или иной группы. А политическая жизнь Одессы была в начале века более чем пестрой. Кроме уже упоминавшихся независимцев, РСДРП и Бунда здесь действовали группы эсеровского, анархистского и махаевского толка («Рабочий заговор»), а также различные (русские, еврейские и украинские) националисты. И все они усиленно искали союзников среди рабочих, пытаясь утилизировать одни и те же житейские обстоятельства и общественные страсти. Поэтому ситуация все время была непредсказуемо подвижна.

Так, в июне, когда независимцы еще вели забастовку у Рестеля, Одесскому комитету РСДРП удалось возглавить стачку на бумаго-джутовой фабрике Родоконаки (в ряде документов фамилия его пишется иначе: Родонаки).

23 июня она закончилась победой: рабочие добились увеличения заработка и сокращения продолжительности работ. Почти тут же началась забастовка у Каца...

А первого июля внезапно, без какой-либо предварительной агитации, забастовал контрольный цех казенной железной дороги. Повод был следующий: старший мастер Каменный ударил по лицу рабочего Хоцяновского. Тот по совету товарищей подал в городской суд и выиграл дело: Каменного присудили к трехдневному аресту. Сразу же после этого Хоцяновского уволили. Забастовавшие требовали его возвращения, увеличения заработка на 25% и удаления трех мастеров.

Сам характер вспыхнувшего конфликта и предъявленные требования выдают несомненное влияние независимцев, да и без будоражающих слухов о силе рабочей солидарности, которыми благодаря независимцам полнилась одесская земля, эта забастовка просто не могла бы возникнуть. Но во главе ее оказались все же социал-демократы, и независимцы тут же поспешили конфликт погасить. «Независимцы-зубатовцы употребили все усилия, — комментировала событие листовка РСДРП, — чтобы срывать речи на политические темы. В этом им удалось увлечь за собой и большинство серой массы, из среды которой кричали: «Не надо нам политики, говорите о теперешнем деле!...» Темная сила бессознательной массы под давлением клики «независимых зубатовцев» одержала на этот раз позорную победу». Под нажимом независимцев управляющий дорогой Немчинов явился к бастующим, был встречен криками «ура», объявил о возвращении Хоцяновского, увольнении Каменного и помощника мастера Кузьмина, и забастовка кончилась.

Радикалы были побеждены, независимцы торжествовали... Все? Увы, нет! Месяц спустя директор департамента полиции Лопухин пришел к выводу, что именно эта стачка «в отношении к последующим событиям имела сугубое значение, ибо, во-первых, давала повод к толкам об отсутствии со стороны правительства забот о нуждах рабочих (чем занялась, естественно, социал-демократическая пропаганда. — В. К.) и, во-вторых, справедливым своим успехом (который как-никак, а вырван был именно независимцами. — В. К.) создала пример для подражания». Парадокс: победа и поражение неожиданно срабатывают вместе, одинаково — на возрастание стачечных настроений.

Железнодорожники встали на работу 3-го, а уже 4-го забастовали портовые грузчики. 6-го ротмистр Васильев телеграфировал в Петербург: «Забастовка черно-рабочих распространилась на весь почти порт. Оставили работу более четырех тысяч; грузка пароходов прекратилась; держатся пока спокойно, представители торговых фирм просят выслать зачинщиков стачки, заменить рабочих солдатами. От обоих мер, как могущих вызвать озлобление, по моему докладу, градоначальник пока воздерживается; надежда на соглашение сторон не потеряна; есть сведения, будто бы матросы, судовые машинисты и кочегары намерены присоединиться к забастовке».

Это — днем. В два часа ночи, очевидно предупреждая какие-то иные, нежелательные для него сообщения, Васильев шлет новую депешу: «В забастовке в порту неосновательно обвиняют «независимцев», составили протокол о сходке на их квартире участвующих в забастовке, но это были просившие пропустить в Союз. Генрих с его помощником в Минске, послал ему депешу возвратиться. Поездку свою в Петербург отлагаю».

Шаевич в эти дни действительно в Минске, на съезде, голосует там за резолюцию о самороспуске ЕНРП. Но одесские его помощники этого, во-первых, не знают, а во-вторых, «Независимый рабочий комитет» официально в ЕНРП не входит. И он — действует. С 4 июля в порту постоянно замечают пароходного лакея Ивана Ефимовича Жимоедова, председателя Союза моряков. «Находясь во главе забастовавших матросов и кочегаров, — говорится о нем в полицейском протоколе, — являлся на пароходы, на которых не принимали участия в забастовке матросы и кочегары, с требованием остановить пароходы, ибо в противном случае... их ожидает месть товарищей». (Убийственность подобной «агитации», как помним, опробована еще у Прива и Рестеля.) Там же, в порту, агитировал другой независимец — старшина баржи Гавриил Маслов. «Он прямо заявил, что полиция не имеет права оказывать давление на забастовавших рабочих и что у них есть свой руководитель — Шаевич».

Итак, некоторое время независимцы и социал-демократы одинаково активно пропагандировали стачку, двигая, однако, различные требования. Хотя успех, пожалуй, больше сопутствовал независимцам, в активе ко-

торых были известные всему городу «примеры для подражания». Полиция, увы, тоже «пробовала» различные методы борьбы против стачки и тем подливала масла в огонь. «6-го числа, — докладывает ротмистр Васильев, — полицмейстер гор. Одессы ротмистр Головин делал попытку убедить рабочих прекратить забастовку, для чего человек 50—60 было собрано утром в его канцелярию, но переговоры не дали никаких результатов, вследствие чего ротмистр Головин предложил рабочим отправиться в порт переговорить об условиях, на каких может быть прекращена забастовка, а потом опять прислать к нему выборных к 12 часам дня. Присылка означенных выборных почему-то, однако, не состоялась».

Почему-то... Почему — становится вполне понятно, если положить рядом еще один полицейский документ:

«7 сего июля в 7 часов утра (а делегация должна была явиться к Головину к 12-ти. — В. К.) в порт явился усиленный наряд полиции во главе с приставом Бульварного участка Панасиком, который при помощи местного полицейского надзирателя, артельщиков и парходных агентов стали собирать рабочих по пристаням и группам.

По образовании групп пристав Панасик и надзиратель Тюрин с городовыми стали в каждой группе спрашивать поодиночке рабочих: «Будешь работать или нет?» — и, в случае отрицательного ответа, рабочего тут же били в лицо или по чему попало и отгоняли» («Дело о забастовке» № 333 в Одесском градоначальстве).

Что подделаешь! Неистребимы они на Руси — и до наших дней сохранились прекрасно! — «деятели», непоколебимо уверенные, что стоит им только гаркнуть да кулаком стукнуть — и любое общественное движение замрет по стойке «смирно». И во все времена подвиги их оборачивались не только против власти, но и против любого центристского, «примирительного» движения. «Верите ли теперь, товарищи, что правительство позволяет вам мирные стачки?» — вопрошала листовка РСДРП о событиях в порту, и независимцам, увы, крыть было нечем! Крайние партии все больше и больше овладевали настроениями бастующих.

Тут, впрочем, встает вопрос и иного рода: если зубатовское движение действительно было центристским (а за это определение «голосует» и вся исходная его идеология, и поставленная им конечная цель гармонизации

социальных интересов), то почему же так резко, почти безоглядно действовали одесские зубатовцы в начале стачки? Не порвали ли они с собственной идеологией под воздействием революционной пропаганды?

Нет, они действовали в полном соответствии со своим уставом, в котором говорилось: «Союз рабочих преследует цели улучшения жизни и труда рабочих и поднятия духовного уровня своих членов путем сокращения рабочего дня, увеличения заработной платы, взаимопомощи в случае болезни и нужды, устройства лекций по общему предмету и рабочему вопросу, библиотеки и пр.». И далее: «Касса расходуется: 1) на стачки...»

Конечно, устав этот сочинялся Шаевичем и другими идеологами движения в расчете на длительное, постепенное достижение прокламируемых в нем целей. Но, тренируя свои союзы на маленьких стачках, создавая вокруг них притягательный ореол некой таинственной силы и в то же время рассчитывая «держать в руках» все движение, Шаевич, без сомнения, допускал весьма распространенную политическую ошибку: ему и в голову, верно, не приходило, что создаваемой, организуемой им нешуточной силе вскоре потребуется выход, объект и цель приложения и что она сможет обрести все это вполне внезапно и стихийно, без идеологизирующего влияния тех, кто собирался ее «держать в руках».

Впрочем, «без идеологизирующего влияния» — это, пожалуй, не совсем точно. Цели-то, идеи оставались прежними, тем же Шаевичем сформулированными, но массовое сознание «устроено» таким образом, что в моменты высокого эмоционального напряжения любые дальние и высшие цели становятся для него целями сего дня, следующего шага. Революционное «Даешь!» — оно ведь никем не придумано.

И эти же ошибки, только в несравненно большем масштабе, свойственны, надо признать, и Зубатову: создаваемое им легальное рабочее движение призвано было организовать и направить мощные силы протеста против социальной приниженности. Но направить — куда? Полулегальные, создаваемые лишь на пока, для пробы и эксперимента, союзы не могли поставить себе цель, требующую длительного и упорядоченного, конструктивного приложения своих сил. Такую цель и соответствующие ей методы могут выработать организации, имеющие прочные гарантии длительного существования.

Если же организация чувствует свою временность, то аккумулированная ею социальная сила либо уходит в песок в результате относительного бездействия, как в Москве и Минске, либо приводит к внезапным стихийным взрывам, как в Одессе и Петербурге. Можно сделать отсюда и более общий вывод: недооформленность всякой социальной силы, незавершенность ее организации есть наиболее опасное и деструктивное ее состояние.

Впрочем, вернемся в Одессу. Шаевич, прибывший сюда никак не раньше 7 июля, застал забастовочное движение уже на таком подъеме, что не мог и думать как-то его остановить. Единственно разумной тактикой могла быть лишь попытка возглавить это движение, а возглавив, повернуть в относительно мирное русло. Ее-то он, судя по всему, и предпринял. Но власть, с одной стороны, только на него и надевавшаяся, с другой — ему же не доверяла. А в результате оказалась окончательно сбитою с панталыку.

Вот, к примеру, депеши ротмистра Васильева.

Первая — Лопухину: «Обсудив всесторонне положение дела, утреннее совещание, между прочим, признало деятельность независимых полезною в данный момент, как элемента умеренного, сдерживающего наклонность толпы к буйству, а потому, по предложению прокурора палаты, совещание просило меня, если возможно, пригласить г. Шаевича (последний здесь всем известен) и посоветовать ему всеми мерами сдерживать толпу... Шаевич был приглашен мною в отделение, и я просил его содействовать общему умиротворению, что он и обещал исполнить, и действительно исполнил».

Вторая, всего через пару дней, Зубатову: «По объяснению Шаевича, «независимцы» только участвуют в стачке, сдерживая других... Это не согласно с положением дела, ибо ежедневно около квартиры «независимцев» сотни забастовщиков. Несомненно, Шаевич ведет стачку, но мне ничего не говорит».

И наконец, третья — еще через день, в пять часов утра 15 июля: «Хотя «независимцы» участвуют в стачке, но только они сдерживают забастовщиков; теперь арестовать их нельзя. «Независимых» взял в свои руки и направляю».

Не понимает разворачивающихся событий и генерал Арсеньев. Он то запрашивает разрешение на арест Ша-

евича, то, немедленно его получив, медлит, принимается за переговоры.

Указания из столицы были также крайне противоречивы, но в этих противоречиях есть хотя бы своя система: Плеве настойчиво требует самых крутых мер, в том числе арестов независимцев; Лопухин и Зубатов тут же дублируют его приказы, но с постоянной оговоркой «если имеются фактические данные, что забастовка является следствием агитации независимцев», прекрасно, по докладам того же Васильева, зная, что данных таких нет. 17 июля Лопухин телеграфирует Арсеньеву: «Желательно было бы сейчас отпечатать, распространить в громадном количестве среди забастовщиков объявление Вашего превосходительства с призывом к порядку, разрешением забастовщикам обсудить свои нужды по профессиональным группам, указанием мест собраний и места подачи заявлений... Это даст поддающийся регулированию властей исход ожесточению массы и разобьет ее на мелкие группы». По сути, он поддерживает схему разрешения конфликта, уже предложенную и практически пропагандируемую Шаевичем, — схему, единственно, пожалуй, разумную и, как мы увидим, оправдавшуюся на практике.

А события меж тем разворачиваются грозно:

«Вечером 16 июля к градоначальнику поступили сведения, что забастовавшие рабочие на утро 17 июля предполагают рано собраться в предместье Бугаевка и оттуда направиться в город для уличных демонстраций. Градоначальник отдал распоряжение полицмейстеру Головину предупредить сходку, а если она состоится, то окружить толпу казаками и пехотой и задержать демонстрантов, направив их в участки и на приготовленные на сей предмет в порту баржи. Ко времени прибытия утром 17 июля наряда, по объяснению полицмейстера, на сходку уже собралась многотысячная толпа, превышающая всякие ожидания и полицейские расчеты. Поэтому приказание, отданное градоначальником, не могло быть исполнено в точности, хотя и принимались усиленные меры к рассеянию собравшихся. На сходке делались попытки к произнесению противуправительственных речей и разбрасывались прокламации, но, по свидетельству очевидцев, толпа, выражая сочувствие свободе сходов и печати и провозглашению конституции, в то же время решительно протестовала против

ограничения самодержавия и даже избивала ораторов, ей неугодных.

С утра же 17 июля, как по сигналу, разгорелась по всему городу всеобщая забастовка. Рабочие толпами по 200—500 человек в сопровождении многочисленных зевак расхаживали по улицам, врываясь по пути в торгово-промышленные заведения, и здесь, путем угроз и насилия, заставляли прекращать работу и торговлю».

Итак, революционная агитация возобладала, полностью завладев эмоциями толпы (хотя само это стремление к максимальной массовости, всеобщности взвинчивалось не только этой агитацией, но и независимской практикой). Завладев... Но надолго ли? Власть, видимо, решила, что навсегда. Революционеры, наверное, тоже... Но ведь, достигнув пика всеобщности, любое движение начинает искать выхода, остановки... И здесь-то революционные партии фактически ничего нового ему не предлагают. А независимцы не прекращают своей агитации...

18 июля в Рубовый сад, несмотря на расклеенные повсюду объявления, что «всякие сборища будут немедленно разгоняться силою оружия», стали стекаться большие толпы рабочих. Всего собралось до 15 000 человек. Конфронтация независимцев и революционеров была здесь особенно острой. Полемика то и дело переходила в рукопашную. Но все же именно независимцы добились своего: толпа разбилась на группы, рабочие отдельных фабрик и заводов стали обсуждать свои «частные требования». Возможно, что предложенный Шаевичем план относительно мирного разрешения конфликта сработал бы, но, как известно, крови не боятся не только революционеры. Реакционеры боятся ее еще меньше.

«Предлагаю принять самые энергичные меры против подстрекающих к забастовкам, в том числе и к «независимцам», и водворить порядок на улицах, хотя бы и с употреблением оружия». Подписано: «Плеве». И получено еще накануне.

«Войска сконцентрировались вокруг сада и атаковали толпу со всех сторон». Будь толпа все еще монолитна, дело могло кончиться большой кровью. Но отдельные группы поддавались рассеянию без особого сопротивления. «К ним даже не было применено огнестрельное оружие», как со странным сожалением сообщают советские историки 30-х годов Шлосберг и Шульман.

Впрочем, оно не так уж и странно. Это просто остатки революционаристского сознания. Кто не боится будущей крови, тому незачем сожалеть и об уже пролитой.

Поздно вечером на Лесной улице у квартиры независимцев стали вновь собираться толпы, но Шаевич объявил с балкона о необходимости прекратить беспорядки и временном прекращении деятельности Союза. На двери появилось объявление: «Собрания не будут происходить впредь до распоряжения местной администрации».

«Настроение рабочих спало, — телеграфировал на следующий день Арсеньев, — они, наставленные, по слухам, организатором происходивших стачек — Шаевичем, усиленно подают мне прошения с заявлением требований... Признал бы полезным в целях дальнейшего успокоения выслать из Одессы, хотя бы и на время, названного Шаевича и его главных сотрудников».

Первая часть телеграммы находится в явном противоречии со второю, ибо — зачем же «в целях успокоения» высылать главного успокоителя? Но, когда гроза миновала и самое страшное позади, остается только отыскать виновников пережитого страха. Поэтому 21 июля Шаевич обыскан, арестован и выслан.

Карта его отыграна. Даже Лопухин, командированный 29 июля на юг для расследования причин прокатившейся здесь волны стачек, не возьмет его под защиту. Наоборот, он особо подчеркнет в своем докладе, что Шаевичу еще 13 июля «было дано знать, чтобы он, согласно своему заявлению, поспешил покончить с организацией». Но, дескать, «дошедшие до Шаевича, сиониста по убеждениям, сведения о циркулярном обращении министерства внутренних дел к губернаторам относительно необходимости борьбы с проявлениями сионистского движения подействовали на Шаевича раздражающе, и он, в отместку правительству, обратился к стачке, не внося в нее, Впрочем, политической тенденции».

К истине отношения это, увы, не имеет. Во-первых, о циркулярном письме Шаевич узнал никак не позже 3 июля, когда начался съезд ЕНРП. Тем не менее он остался верен прежним идеям и обещаниям, до конца отстаивая мирные средства борьбы и изыскивая способы бескровного (хотя бы!) урегулирования событий. А во-вторых, о «необходимости покончить с организацией» 13 июля ему «дано было знать» как-то так странно, что

он еще и 13 августа (кстати, сразу же после беседы с тем же Лопухиным!) писал одесскому независимцу Сафонову: «Не оставляйте начатого мною в Одессе и не давайте распасться нашему союзу... Я вам вышлю подробную инструкцию. Большинство наших врагов из одесской администрации будет убрано. Я думаю, что моя ссылка заставит наконец всех революционеров понять, что я никогда не был слугою правительства, а только другом рабочих».

Но в сентябре Особое совещание приговорило Шаевича к высылке в Сибирь на пять лет. В декабре, находясь в Красноярской тюрьме, он заказал молебен «за здоровье Николая II» и просил начальника тюрьмы «повергнуть к стопам Его Императорского Величества выражение верноподданнических чувств». Начальник краснойрской охраны ходатайствовал вскоре о переводе Шаевича под надзор полиции. Однако злопамятный Плеве был еще жив, и Лопухин хода этой просьбе не дал.

Освобожден Шаевич был только 11 августа 1904 года по Манифесту об амнистии в связи с рождением августейшего наследника. Перед возвращением в Европу ему пришлось подписать отказ от политической деятельности, но и после этого жить в Одессе ему не разрешили.

Дальнейшая судьба Шаевича теряется для нас в тумане, хотя и маловероятно, чтобы этот человек действительно отказался от всякой политической деятельности до конца дней своих.

Ну, а завершить главу можно, пожалуй, сообщением одесского фабричного инспектора об итогах этой грандиозной стачки: «На 16 фабриках (из 38 забастовавших), с 3195 рабочими, работа возобновилась на прежних началах; на 16 фабриках, с числом рабочих 1097, сокращен рабочий день на полчаса-час, некоторым рабочим увеличена плата на 10—20 копеек в день».

И это — все! Победа, которой радовались, не замечая в ней семян жесточайшего поражения.

Глава седьмая

Зубатовщина в Петербурге: конец карьеры

«Проводы Зубатова в Петербург были обставлены с большою торжественностью, — писал А. Морской. — Представители от рабочих — Слепов, Красивский, Афа-

насев и другие — преподнесли своему пестуну на вокзале икону и умильный адрес, а в ответе г. Зубатов изрек, что дело, начатое подносителями, не только не заглохнет, но будет развиваться и крепнуть, за что он ручается.

Купечество переполошилось, ожидая новых скорпионов, но с выбытием Зубатова из Москвы деятельность по насаждению полицейского социализма заметно ослабела — гг. Тихомиров, Воронов и Озеров сразу померкли, а таинственные «Михаилы Афанасьевичи» стали перемещаться в Питер³.

Ну, что касается Михаила Афанасьевича Афанасьева, то он как раз остался в Москве, и Гапон, побывавший у него в самом конце 1902 года, нашел его отнюдь не «померкшим»: «Афанасьев, сам из рабочих, жил в роскошных апартаментах¹, и слуга его заставил меня долго ждать, вероятно для того, чтобы я проникся важностью этого момента. Когда, наконец, меня приняли, я увидал молодого человека с пронизывающими глазами, который сейчас же с большим энтузиазмом стал говорить о своей работе. „Дела идут великолепно, мы имеем теперь не только механиков, но и красильщики и текстильщики поступают в большом количестве...“».

Да, в Москве зубатовская организация численно еще росла и могла этим хвастаться, но внутренне уже заметно хирела, о чем, впрочем, речь у нас уже шла. Что же касается организации петербургской, то хроника ее создания известна в подробностях. Вначале, по накатанной уже стезе, дело пошло бойко и даже с некоторою помпой. 10 ноября в трактире «Выборг» состоялось «частное собрание» рабочих, а 13-го участники его подали на имя исполняющего должность петербургского градоначальника В. Э. Фриче просьбу о разрешении им провести «товарищеское собрание», тотчас же встретившую «внимательное и сочувственное отношение». И 17-го в том же трактире «Выборг» состоялось организационное собрание, с которого и пошли по городу разнообразные вести и слухи.

Как свидетельствует журналист Симбирский, история зубатовского движения в Москве была еще «совершенно

¹ Это сообщение требует оговорки: сам Гапон в это время (конец 1902 г.) жил крайне скромно, почти нище, и по контрасту с его «шестирублевой комнаткой» любая квартира выглядела, конечно, «апартаментами».

неизвестна в мирных кругах». И вдруг: «Глазам своим не верю: передо мной повестка, приглашающая на свободное рабочее собрание... В те времена это было так поразительно, что собран был редакционный синклит, чтобы обсудить это дело. Да я и сам стремился увидеть это чудо...»

На собрании в трактире «Выборг», где побывал Симбирский, «царил какой-то недоуменный порядок... Но карты раскрылись все же довольно скоро. Через некоторое время опять пришлось заглянуть на одно рабочее собрание на той же Выборгской стороне. И здесь я мог наблюдать прелюбопытные бытовые сцены.

Опять рабочие; опять ораторы. Выходит один оратор на кафедру и начинает говорить об объединении. Вдруг из толпы выходит рабочий и **спокойно** говорит оратору:

— Покажи нам те золотые часы, которые ты получил от охранного отделения, чтобы предать нас. Не прячь их, Иуда!».

Токарь Николай Варнашов, еще даже не подозревающий о существовании на этом свете каких-то там партий, воспринимает все это, разумеется, не так, как прогрессивный журналист Симбирский. О создании рабочей кассы взаимопомощи Варнашов узнал случайно, в гостях у приятеля, и с ходу прямо-таки «впился» в эту новость: наконец-то! Ни малейших сомнений у него не возникло. И уже через несколько дней «пришли на собрание, там говорил Василий Иванович Пикунов, долго и не совсем складно, но с видимым удовольствием. Перспектива: легальная борьба за материальные улучшения условий труда...

При выходе я обратил внимание на одну группу из расхोдившихся. Они стояли и вполголоса беседовали. Пока я усаживался на велосипед, до моих ушей долетели слова:

— Не ловушка ли, как бы не влопаться?

Меня поразила эта фраза. „Что за чудачки? Чего они боятся? Неужели у них имеются какие-нибудь сомнения? Тогда чего они молчали, когда Соколов спрашивал и предлагал высказаться?“».

Как видим, журналист ничего не придумал: сопротивление слева, попытки революционеров «разоблачить зубатовщину» были привезены зубатовцами, так сказать, на хвосте. Но пока что помешать чему-либо всерьез радикалы никак не могли. 21 ноября инициаторов но-

врого дела принял сам министр, высказавший им свое намерение «поощрять их деятельность в усвоенном ими направлении». Начались регулярные собрания в клубе общества трезвости (Нейшлотский пер., 5); налаживаются и контакты с интеллигенцией, причем ориентир сразу взят на интеллигенцию «национально мыслящую» («Русское собрание») и церковную (о. Ф. Орнатский, митрополит Антоний и пр.).

В декабре мы уже встречаемся тут и с Гапоном, который появляется на собраниях как «знакомый Соколова».

«Брюнет, со смуглым лицом. Длинные черные волосы, такие же усы и небольшая окладистая борода. Красивое, энергичное лицо. Черные глаза сверкают сочувствием и вниманием ко всем окружающим. Всем своим существом он старался ободрить, подтолкнуть каждого, желающего что-нибудь сказать. Темой разговора — все та же взаимопомощь и объединение» (Н. Варнашов).

«Когда, — вспоминал в 1912 году Зубатов, — по прибытии в 1902 году в Петербург, мною было приступлено там к организации легального рабочего движения через подручных мне московских деятелей, местная администрация очень ревниво отнеслась к этому начинанию и, зная, что в Москве рабочие были оставлены мною на руки духовной интеллигенции, постоянно стала убеждать меня познакомиться с протежируемым ею отцом Георгием Гапоном, подававшим в градоначальство записку о желательности организации босяков. Странность темы не располагала меня ни к ознакомлению с запиской (так и оставшейся мною не прочитанной), ни к знакомству с автором. Тем не менее меня с Гапоном все-таки познакомили. Побеседовав со мною, он обычно кончал просьбою «дать ему почитать свеженькой нелегальщины», в чем никогда отказа не имел. Из бесед я убеждался, что в политике он достаточно желторот, в рабочих делах совсем сырой человек, а о существовании литературы по профессиональному движению даже не слышал. Я сдал его на попечение своему московскому помощнику (рабочему), с которым (речь об Илье Сергеевиче Соколове. — В. К.) он затем не разлучался ни днем, ни ночью, ночуя у него в комнате и ведя образ жизни совсем аскетический».

К истории этого знакомства мы еще вернемся и тогда увидим, что Сергей Васильевич здесь не совсем правдив, но зато памяти Варнашова доверять стоит: Гапон по-

явился на собраниях именно как «знакомый Соколова».

Пока же отметим, что в Петербурге Зубатов действует даже с большим, чем обычно, напором и энергией. Но здесь, в столице, с неменьшим напором действуют и его противники. О сопротивлении слева уже было сказано. Но не дремлют и правые, не дают зубатовщине сорганизоваться и развернуться...

Первый звонок для правых прозвучал (точнее — пока лишь робко тенькнул) 8 января 1903 года, когда к фабричному инспектору 12-го участка А. П. Якимову явилась делегация «подручных, работающих на люлях», и заявила, что они будут добиваться оплаты в три четверти заработка продольщиков (а ныне получают только половину). Дело вроде бы обычное. Но на следующий день, 9-го, градоначальник переслал старшему фабричному инспектору рапорт пристава 3-го участка Рождественской части о грядущей на Невской бумагопрядильне забастовке с теми же требованиями, и машина бюрократической тревоги с места в карьер пошла на повышенных оборотах.

На следующий же день старший фабричный инспектор побывал у градоначальника генерала Клейгельса, который искренне возмутился: почему это он ничего о рабочих союзах не знает? — и велел «высказать откровенно все слухи и сведения о последних». Инспектор ничего не скрыл: «С начала осени 1902 года стали ходить слухи между фабрикантами, что кем-то готовятся какие-то рабочие союзы; в декабре месяце, после появления в газетах извещения о приеме представителей от рабочих г. министром внутренних дел, на фабрике Паля рабочие с редким до тех пор единодушием отвергли предложение производить сверхурочные необязательные работы, на заводе у Лангензиппена появился призыв, приглашающий рабочих к тому же; к фабричному инспектору 4-го участка В. П. Литвинову-Фалинскому дважды приходили рабочие, просившие объяснить им, чего можно ожидать от союзов...»

Клейгельс тут же вызвал нового начальника охранного отделения подполковника Сазонова и выслушал от него краткую историю зубатовщины вкупе с горячими заверениями, что «путь взят в данном случае верный» и что «это видно из многочисленных прокламаций», которыми рабочие предостерегаются от «зубатовщины» (один из листов был тут же показан).

Хотя Клейгельс и сказал под занавес, что нельзя-де «департаменту полиции быть одновременно и устройте-лем чего-то, и наблюдателем за проведением сего в жизнь» и что это особенно неудобно, когда в ходе дела заинтересован фабричный инспектор, «пока еще представитель другого ведомства», т. е. вроде бы действия своей охраны и не одобрил, но береженого Бог бережёт и начальство любит — 11 января инспектор уже изложил весь этот сюжет в докладе «Его превосходительству господину управляющему отделом промышленности», который немедленно передал его С. Ю. Витте, и тот 14 января (трехкратное ускорение оборота бумаг по сравнению с весной 1902 года!) переслал его В. К. Плеве, сопроводив следующим письмом:

Министр Финансов

Совершенно секретно

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ

Вячеслав Константинович!

Старший фабричный инспектор Санкт-Петербургской губернии представил в Министерство Финансов донесение от 11 января сего года, в котором сообщает, что в Петербурге происходят собрания рабочих с ведома органов полиции для обсуждения разных нужд.

Не имея точных сведений о направлении, которое дается организации рабочих, Старший фабричный инспектор просит дать указания, как поступать чинам фабричной инспекции, если со стороны рабочих или представителей местной администрации будут предъявляться какие-либо просьбы о содействии к развитию тех или иных организаций рабочих.

Не имея каких-либо сведений по данному вопросу, имею честь уведомить об изложенном Ваше Высокопревосходительство с препровождением подлинного донесения Старшего фабричного инспектора Санкт-Петербургской губернии за № 2, покорнейше прося не отказать в сообщении, дабы Министерство Финансов имело возможность дать чинам фабричной инспекции надлежащее разъяснение и указание.

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном уважении и искренней преданности.

Его Высокопревосходительству

С. Витте

В. К. фон Плеве

14 января 1903 года

№31/20.

Смиреннейшая эта просьба о «надлежащих разъяснениях и указаниях» на языке межведомственной переписки тех лет была не чем иным, как грозным «иду на вы!». И Плеве, несмотря на только что данное обещание «поощрять» деятельность зубатовцев, отступил.

Но не Зубатов. Этот тотчас же принялся искать обходные пути и попытался, проникнув в лагерь противника, если не перетянуть его на свою сторону, то хотя бы нейтрализовать. Через влиятельного в придворных кругах издателя «Гражданина» В. П. Мещерского он организовал визит делегации рабочих к самому Витте. Визит состоялся 2 февраля, причем в «Гражданине» (№ 11) отмечалось, что, «выслушав рабочих, Министр Финансов сообщил им, что они должны в полном спокойствии и с доверием... работать и иметь в виду, что правительство всегда относится с должным вниманием к назревшим нуждам как их, так и других классов населения».

То есть затея, увы, провалилась! Ибо Сергей Юльевич не только устоял перед просьбами рабочих «об учреждении больничных и сберегательных касс и проч.», но и в тот же день, 2 февраля, сообщил коллеге своему Вячеславу Константиновичу:

«До сведения моего дошло, что по Министерству Внутренних Дел должно последовать в непродолжительном времени утверждение устава общества взаимопомощи, имеющего целью объединить всех рабочих Санкт-Петербургских механических заводов.

Принимая во внимание, что общий вопрос об обществах и кассах для рабочих, как известно Вашему Высочайшему Превосходительству, находится на рассмотрении Комиссии, образованной под председательством товарища моего, князя А. Д. Оболенского, для рассмотрения вопросов, возбужденных во всеподданнейшем отчете покойного Министра Внутренних Дел Егермейстера Д. С. Сипягина, я, с своей стороны, полагал бы, что впредь до окончательного рассмотрения означенною Комиссией общего вопроса об обществах и кассах взаимопомощи рабочих едва ли представляется удобным разрешение частного вопроса об обществе, объединяющем всех рабочих механического производства столицы».

И опять же за этой бюрократической отсылкой стоят, видимо, какие-то более грозные предупреждения и намеки, поскольку письмо Витте не только затормозило

утверждение устава, но и привело к некоторому изменению позиции Министерства внутренних дел на заседаниях самой комиссии князя Оболенского. Это нетрудно проследить.

В самом начале 1903 года представители министерства утверждали, что «под влиянием усиленной тайной пропаганды в рабочей среде в настоящее время — особенно в промышленных центрах — быстро и широко развиваются революционные организации. В Москве, в Петербурге и во Владимирском районе подпольная организация прочно укоренилась, и, вероятно, в нее входит 8/10 всех рабочих (это явное преувеличение, желание запугать комиссию. — *В. К.*)... Существующие, наконец, при организациях кассы хотя и невелики, но все же могут поддерживать деятельность стачек (и это большое преувеличение, увы! — *В. К.*). Усиление рабочего движения сказалось, собственно, с 95—96-го года и вначале носило ярко выраженную политическую окраску, но за последние годы направление движения изменилось благодаря тому, что движения политического характера влекли за собой тяжелые последствия не столько для агитаторов, сколько для самого объекта политической агитации (мы-то, дескать, не дремали. — *В. К.*), т. е. для рабочих, — последние поэтому отбросили всякие политические поползновения, и движение приняло направление экономического и бытового характера. Это движение и подхвачено московской администрацией». И следовательно, добавим, должно быть подхвачено всеми, ибо, по логике вышеизложенного, иного выхода нет.

Но уже 6 февраля 1903 года (всего через 4 дня после письма Витте) С. Э. Зволянский заявил в той же комиссии, что «Плеве нашел эти организации (зубатовские, недавно столь рекламируемые. — *В. К.*) несоответствующими закону, но полная отмена их была признана невозможной».

Временный маневр или?.. Скорее, все же маневр, ибо на следующий день тот же Плеве, будучи в Москве, весьма милостиво «принимал рабочих депутатов от производств» и даже хвалил одного из них (вероятно, Ф. Слепова?) за его статьи в «Московских ведомостях».

Но в отличие от своего министра Зубатов понимал, что подобные маневры невозможны принципиально: рабочее движение (любое!) есть часть общественной жизни, осуществляющей себя лишь в динамических

процессах, — оно может развиваться, может разваливаться, но стоять и ждать не может никак. Поэтому он энергично вербовал сторонников и искал все новые и новые «ходы».

«В частности, он хотел, — пишет Гапон, — чтобы я написал доклад министру финансов Витте... «Доклад, — сказал Зубатов, — должен быть написан так, как будто сами рабочие его составили. Витте может быть нам очень полезен, и вы должны доказать ему, что профессиональная организация рабочих будет соответствовать его общей политике в государстве...»

Несколько представителей рабочего союза, согласно желанию Зубатова, доставили мой доклад Витте. Министр, прочитав его, равнодушно спросил:

— Это вы писали, братцы?

— Да, — отвечали они.

— В таком случае вам бы сделаться журналистами, — сказал Витте и откланялся депутации».

Действительно, в начале апреля 1903 года Витте было подано «Почтительнейшее прошение деятелей из рабочих по организации полезных учреждений для петербургского фабрично-заводского люда». К нему было приложено и «Краткое изложение мыслей фабрично-заводских рабочих на порайонных собраниях, разрешенных санкт-петербургским градоначальником». Это «изложение» и есть, вероятно, тот доклад, о котором рассказывает Гапон.

Надо, однако, признать, что если цель Витте действительно состояла в ускоренном развитии русской промышленности, то создание законных профессиональных союзов ей вполне соответствовало, и, не разглядев за двумя визитами к нему рабочих ничего, кроме очередных «полицейских штучек», он совершил крупную политическую ошибку. Ибо в серьезной исторической перспективе правы-то оказались Янжул и Озеров, постоянно твердившие русским капиталистам, что деньги, вкладываемые в создание нормальных условий для рабочих, окупаются надежней всяких других, ибо ведут к качественному росту рабочей силы; прав был даже Ф. Слепов (будь он трижды черносотенец!), заявлявший в Русском собрании: «Несомненно, что поддержка в материальных нуждах рабочих составила бы лучшее опровержение злонамеренной пропаганды в их среде». Но именно тут-то и «национально мыслящая интеллигенция», и либераль-

ная буржуазия, и прогрессивный министр Витте — все оказались одинаково глухи и слепы. Увы!

Время шло, а зубатовская организация в столице никак не могла стать на ноги, несмотря даже на бешеную энергию и изворотливость своего патрона. Сотрудники, уже вроде бы втянутые в орбиту действия, вдруг начинали сторониться и словно бы выжидать чего-то. «Гапон заглядывал изредка, не принимая никакого активного участия. Когда бывал, вокруг него всегда теснились группы рабочих, с которыми он беседовал до начала собраний и по окончании их. Он часто помогал рабочим деньгами, 5—10 рублей, ибо касса еще не действовала, а нуждающиеся всегда имелись, давал советы и ходатайствовал по их просьбам. В продолжение всего собрания сидел молча...»

«Время шло, и, если не ошибаюсь, приближался август 1903 года. Мой интерес к организации падал, и, по-видимому, не только мой; ибо когда я заглядывал в Ломанский, то видел далеко не полное зало и полное отсутствие того оживления и интереса, которое замечалось недавно» (Н. Варнашов).

И однако, организация, так и не сумевшая стать на ноги под руководством энергичного и влиятельного начальника тайной полиции, тихо уже распадавшаяся, вдруг — и почти тотчас после его увольнения! — сумела под руководством священника, чьи возможности в «коридорах власти» были, конечно же, несравнимо меньшими, не только преодолеть кризис и двинуться в рост, но и, одолев все бюрократические рогатки, обрести чуть ли не официальный статус. Нет ли в этом какой особой загадки?

Пожалуй, нет. Но причины не так-то просты, и, чтобы понять их, нам придется, во-первых, вернуться немного назад и рассмотреть некоторые обстоятельства не только увольнения, но и выдвижения Зубатова; а во-вторых, расширить свой обзор, включив в него ряд обстоятельств, на первый взгляд почти не имевших связи с легальным рабочим движением.

Итак, обстоятельства выдвижения... Сразу же после своего назначения и срочной поездки на Украину, в район, как теперь написали бы, «массовых беспорядков», новый министр отправился в Троицко-Сергиевский мо-

настырь помолиться и по дороге провел «три беседы» с Зубатовым. Они спорили: Плеве «уверял, что в России нет общественных сил, а есть только группы и кружки», Зубатов же был уверен в обратном, но решил, что министр еще «„перемелется“ и... поехал в Петербург».

Так излагал историю своего назначения сам Сергей Васильевич. У А. Спиридовича, человека, несомненно, хорошо информированного (хотя источники его — это в основном тот же Зубатов и позднейшие «департаментские рассказы»), история эта выглядит еще естественней и логичней: «Побеседовав с Зубатовым, Плеве очень заинтересовался его проектами по рабочему вопросу, признал его начинания полезными для государства и дал согласие на их продолжение и развитие. Зубатов не упустил, конечно, из виду развить перед новым министром идею, насколько не прав Витте, игнорирующий рабочий вопрос, и сколь было бы полезно для постановки нового дела через министра внутренних дел иметь институт фабричной инспекции в подчинении у этого последнего. Перед Плеве рисовался целый план широчайшей реформы».

Новый министр, естественно желающий обновить и улучшить дело, встречается с молодым и талантливым сотрудником, тот увлекает его планом «широчайшей реформы», получает повышение... Очень логично! Ну, а то, что «увлекает» в апреле, а «получает» лишь в октябре, дела вроде бы не меняет. Крупный чиновник не иголка, так просто его из одного места не вытащишь и в другое не воткнешь. Пока зубатовскому предшественнику нашли неплохое местечко в Париже, пока он туда собрался... Правда, Плеве-то как раз умел решать «кадровые вопросы» стремительно: А. А. Лопухин был назначен директором департамента полиции уже 9 мая 1902 года. А ведь это назначение как бы предполагало уже и зубатовское... И не только потому, что Лопухин его усиленно рекомендовал!

Хотя об Александре Александровиче Лопухине речь заходила уже не раз, мне именно здесь представляется необходимым познакомить читателя с его биографией хотя бы вкратце. Родился в 1864 году. В 1886-м окончил юридический факультет Московского университета. С 1890-го — помощник прокурора рязанского окружного суда, с 1893-го — товарищ (заместитель) прокурора Московского окружного суда, с 1896-го по 1902-й — занимает всевозрастающие прокурорские должности в Твери, Петербурге и Харькове. Его доклад о крестьян-

ских волнениях на Украине произвел сильнейшее впечатление не только на правительственные, но и на революционные круги. С мая 1902 года по март 1905-го — директор департамента полиции. Смещен по настоянию Д. Ф. Трепова, заподозрившего его в попустительстве покушению И. Каляева на великого князя Сергея Александровича. С июля 1906 года в отставке. Содействовал разоблачению погромной антисемитской агитации, которую вел П. И. Рачковский, устроивший для этого в департаменте полиции подпольную типографию. В 1908-м помог В. Л. Бурцеву в разоблачении Е. Ф. Азефа, за что был приговорен к пяти годам каторги, замененной красноярской ссылкой. В 1913-м был восстановлен в правах и служил в банке. Написанные им воспоминания погибли или потерялись во время гражданской войны. В 1923 году, после выхода «Воспоминаний» С. Ю. Витте, написал и издал небольшой к ним комментарий, названный «Отрывки из воспоминаний».

Так вот, как показывал Лопухин на суде в 1909 году, он, после крестьянских волнений 1902 года, в которых ему увиделось «начало русской революции», считал, что патристический долг обязывает его «пойти на эту должность директора, и не считал вправе отказаться, хотя непосредственно к делу департамента полиции я не считал себя призванным». Он принял должность в надежде на грядущую реформу полиции, но реформа не состоялась. «Я должен сказать, — показывал он, — что значительную роль в том, что реформа не была проведена, играл тот поворот, который произошел».

Отложив на будущее вопрос о том, что за поворот имеется здесь в виду, согласимся, что ежели директор важнейшего департамента — полиции! — не знает полицейской работы и сам это сознает, то и он, и его начальство должны рассчитывать на кого-либо знающего, не так ли? Но Л. А. Ратаева, известного всей столице под именем «корнета Отлетаева», ни он, ни Плеве считать таковым никак не могли. Зубатова — дело другое.

Как будто все ясно, но вот что, однако, пишет Ратаев: «После моего перевода за границу на мое место был назначен Ф. С. Зиберт, который провел в этой должности две недели. Его заменил Зубатов». Добавим, что несколько недель до этого сам Зубатов занимал должность чиновника особых поручений при министре. Вот и выходит, что результат московских переговоров с Зубатовым для Плеве совсем не таков, как то представляли себе чины московской охраны.

Есть, кстати, и документ, отложившийся по ходу событий, а следовательно, свободный от позднейших искажений. Вот что писал Зубатову 13 ноября из Парижа все тот же Л. А. Ратаев: «Вы заведующий особым отделом, Вы — в моем кабинете! Вот это я понимаю. Фирма старинная и мало-помалу завоевывающая доверие. И совсем подходящая к Вашему положению и определенно его ставящая. Очень, очень рад, скажу более — горд и счастлив».

То, что Ратаев действительно рад, не подлежит сомнению: судя по переписке, с Зубатовым у него были отношения внешне приятельские, хотя об уме и розыскных способностях Ратаева Зубатов был мнения не Бог весть какого. Но не подлежит сомнению и другое: отправляясь в Париж, Ратаев и не подозревал о назначении Зубатова — это для него приятная неожиданность. Да и само перемещение Ратаева в Париж — вовсе не продуманный министром «ход» в единой цепи кадровых замен, а, скорей, спонтанное реагирование на внезапное увольнение Рачковского, неудачно вмешавшегося в придворные интриги (он прислал в Россию документы, компрометирующие очередное «мистическое увлечение» Их Величеств — шарлатана мсье Филиппа) и на том погоревшего.

Петр Иванович Рачковский — одна из наиболее отвратительных и загадочных фигур нашей истории. «Если бы вы встретили его в обществе, я очень сомневаюсь, что почувствовали бы хоть малейшее опасение, ибо в его облике не было ничего, что говорило бы о его чудовищной работе. Полный, суетливый, с постоянной улыбкой на губах, он напоминал скорее добродушного парня на пикнике...» (Папюс, Эхо Парижа, 1901, 27 октября). В юности, будучи совсем мелким служащим, Рачковский вращался в кругах революционного студенчества и был замешан в покушении на генерал-адъютанта Дрентеля в 1879 году. Его арестовали и поставили перед выбором: либо Сибирь, либо полиция! Он без колебаний выбрал полицию и стал делать стремительную карьеру. В 1881 году он уже деятель «Священной дружины», ставившей себе целью тайную борьбу с революцией. Здесь-то, в «Дружине», он и познакомился, видимо, с С. Ю. Витте, став навсегда его верным вассалом. В Париже он сменил основателя заграничной охраны Семякина и до 1902 года успел многожды прославиться на малопочтенной ниве политической провокации. Так, в 1886 году его агенты взорвали в Женеве типографию «Народной воли», причем все было обставлено так, будто бы взрыв — дело предателей из числа самих народовольцев. В 1890 году «разоблачил» парижскую «мастер-

кую бомб», якобы устроенную русскими радикалами. Французская полиция арестовала и выдала несколько десятков эмигрантов; а через 19 лет было неопровержимо доказано: бомбы подкладывали люди Рачковского.

Любимейшим амплуа Петра Ивановича стала подделка политических документов. Именно в этом деле он достиг невиданных высот и неслыханной виртуозности. В начале 1902 года он, например, распространил в Париже призыв поддержать некую «Русскую патриотическую лигу». Здесь было все, даже жалобы на Рачковского, который-де неверно представляет цели Лиги и ее деятелей. Единственная загвоздка заключалась в том, что ни Лиги, как таковой, ни ее деятелей никогда и не было.

Под его чутким руководством создана и самая знаменитая фальшивка XX века — так называемые «Протоколы сионских мудрецов». «Рачковский... многое сделал для разработки техники, которую в следующем столетии использовали нацисты. Она заключалась в том, чтобы представить все прогрессивные движения как простое орудие в руках евреев».

О назначении его Треповым на должность товарища директора департамента полиции и о последующем разгуле фальшивок и провокаций у нас уже говорилось. В 1906 году Рачковский был уволен из полиции вторично и окончательно.

Даже о смерти Петра Ивановича ходили легенды. Известный германский антисемит Готфрид цур Бек не шутя заверял Европу, что Рачковский убит по приказу сионских мудрецов. Увы, он умер вполне естественным образом, в собственной постели, в 1911 году, в Крыму.

Но вернемся к смыслу служебных перемещений С. В. Зубатова. Выходит, московским охранникам просто померещилось, будто еще в апреле им удалось увлечь Плеве идеями легализации рабочего движения и «широкой полицейской реформы»? Но как же тогда объяснить майский вызов Вильбушевич и данное ей поручение расширить деятельность «независимцев»? Как объяснить многие его другие решения?

Увы, у нас нет ни биографий, ни политических портретов Витте, Сипягина, Плеве, Коковцова, Победоносцева... — не говоря уже о многих других «действующих лицах» колоссальной исторической драмы, именуемой «Россия в канун революции». Мне представляется, что это — излишне затянувшееся следствие того увлечения наших историков-марксистов извлечением отовсюду «исторических закономерностей», при котором люди представлялись им всего лишь простыми функциями этих

самых «закономерностей». Как, например, у известнейшего историка 20-х годов М. Н. Покровского, писавшего: «Известно, каковы были в конце XIX и начале XX века отношения министерства финансов, представлявшего интересы русского капитализма, следовательно, как-никак, относительно прогресса, и министерства внутренних дел, охранявшего незыблемость устоев самодержавно-крепостнического государства и объективно могшего представлять, стало быть, только реакцию». Стало быть, только... Да право же, утверждение, что все рыжие крайне коварны, содержит «объективной исторической закономерности» отнюдь не меньше!

Разумеется, политический портрет Плеве — тема не для маленького вставного экскурса. Но нам не обойтись без того, чтобы составить о нем хотя бы беглое представление. Ведь даже одно человеческое решение можно понять, лишь присмотревшись ко многим.

По общей оценке современников, Плеве проводил вполне ретроградную политику, основным элементом которой было всеобщее полицейское подавление, — политику, оказавшуюся, естественно, совершенно неэффективной. Между тем люди, которых он в начале своего министерства приглашал к сотрудничеству, имели, по большей части, репутации реформаторов и либералов. А главное, они единодушно утверждали, что пошли в его «команду» именно с тем, чтобы осуществить свои реформаторские планы. Парадокс?

Или, может, они придумали свои реформаторские порывы потом, в порядке самооправдания? Что ж... Давайте проверим их свидетельства свидетельствами их врагов — способ самый что ни на есть надежный.

«В 1902 году, — вспоминает большевик М. Лядов, — один вернувшийся из ссылки социал-демократ по личному делу вынужден был зайти в департамент полиции. Тогдашний директор этого департамента, г. Лопухин, который, будучи еще товарищем прокурора, принимал непосредственное участие в изобличении этого социал-демократа, встретил теперь его радостным известием, что отныне «они» решили вступить на путь законности; произвол охраны отойдет-де в область предания, все революционеры будут судиться правильным судом и рабочие получают право стачек и союзов; таким образом, социал-демократам не будет возможности продолжать свою деятельность. «Ваше движение должно будет исчез-

нуть, и оно исчезнет», — закончил Лопухин свои откровения».

Так что реформаторские планы действительно были. И видимо, одобрялись и поддерживались начальством — иначе о них не оповещали бы посетителей.

Были, были, да как-то незаметно и сплыли... Отчего же и каким образом?

Вот это мы и попробуем понять, присматриваясь к фигуре грозного министра.

Итак, Вячеслав Константинович фон Плеве (1846—1904, православный, из небогатых дворян, отец служил смотрителем городского училища в Мещевске Калужской губернии) выдвинулся, участвуя в дознаниях по политическим процессам в качестве прокурора Варшавской и Петербургской судебных палат. С 1881 года, т. е. с момента создания, и по 1884 год — директор департамента полиции. Разгром «Народной воли», неслыханный зажим русской прессы — его главнейшие служебные подвиги. Затем — сенатор и товарищ министра внутренних дел, в 1894 году — государственный секретарь и управляющий кодификационной частью при Госсовете, еще через два года — министр и статс-секретарь великого княжества Финляндского.

Стремительный старт и далее — добротное, надежное продвижение со ступеньки на ступеньку, но не больше того. Рисунок карьеры легко объясним: после полиции Плеве ничем себя особо не проявил. Зато полицейский его подвиг — стремительное «подмораживание» России и очистка ее от «крамолы» — запомнили многие. И министром внутренних дел он был, несомненно, назначен в качестве «твердой руки».

Едва ли не в первой же беседе с новым министром Николаем II заметил: «Вообще на печать надо будет обратить самое строгое внимание. Она в последние годы сильно распустилась...» Гонения последовали немедленно, и достаточно крутые, но... Никакого успокоительного эффекта это, странным образом, не произвело! И эпизод этот оказался как бы эпитафией ко всей министерской карьере В. К. Плеве! Он действовал энергично, а результаты...

Вообще весна 1902 года — время для России весьма и весьма непростое. Общество явно ощутило тут какой-то происшедший с ним сдвиг, надлом, но... какой? Что, собственно, всех так взбудоражило? Громкие террористические акты? Да, но террор не сходил с русской политической арены уже четыре десятилетия... Нарастаю-

щая национальная рознь, первая кровь? Да, но когда же такого и не было на бескрайней Руси? Всегда бывало...

Жесточайший крестьянский бунт, погромы в Харьковской и Полтавской губерниях, куда сразу же после назначения срочно выехал Плеве? Да, но когда ж и не бунтовал на Руси крестьянин? Рецепт же его «лечения», выписанный Плеве, был вполне традиционным: харьковский губернатор князь Оболенский, крестьян поровошший со вкусом и знанием дела, получил орден св. Владимира, полтавский же губернатор, с поркой промедливший, — отставку. Кроме того, в отчете нового министра было сказано о вредном влиянии земских статистиков. О чем Его Величество и распорядился тотчас же указать губернаторам...

Так что же? Промышленный кризис? Да, но худшее — то было здесь уже позади...

Нет, ничто из этого в отдельности, но все вместе — и вот люди, еще вчера спокойно жившие, вдруг ощущали у себя под ногами этакое бурление почвы, ее тектонические толчки. И они принимались опасливо оглядываться по сторонам, ища и выдумывая причины своих бед и страхов.

Результат: если чуть раньше, на самой грани веков, процесс становления и самоопределения проходили будущие крайне левые партии — социал-демократы, эсеры, национальные движения окраинных народов, — то в 1902—1903 годах нарастающее беспокойство приводит в движение и серединные, прежде вполне лояльные слои общества, формируя будущие либерально-реформистские и крайне партии.

Все это еще в состоянии глухого брожения, когда поиск причин едва начат, но уже начат всеми, что и приводит к поразительным совпадениям и перекличкам. «Если раньше действовали только офицеры революционной партии, то теперь двинулись на борьбу солдаты-рабочие». Это что — из какого-то зубатовского донесения? Ну что вы! Это Н. Н. Львов, известный земский деятель и либерал.

Среди крестьян ходит слух: «Двух-де министров убили, а когда всех перебьют, тогда нам и землю разделят». Кто же его записывает — какой-нибудь эсер? Ну что вы! Это генерал Е. В. Богданович, стопроцентный монархист и реакционер. И следовательно, слух действительно ходит

весьма широко, свидетельствуя, что правительство (хотя еще и не царь!) уже воспринимается в народе как нечто «не свое», мешающее жить... Опасный симптом!

Ну, а что же сам Плеве? Ощущает ли он это грозное бурление российской почвы?

Выслушаем свидетелей, которые, как и всегда, разноречивы.

Л. А. Ратаев: «Я повторяю, он (В. К. Плеве.— В. К.) не верил в революцию, не допускал, что она уже успела пустить глубокие корни в неустойчивой части русского общества, резкие же ее проявления приписывал недостатку энергии со стороны полиции и администрации... Он сменил весь высший персонал департамента полиции и уволил в отставку или переместил нескольких начальников губернских жандармских управлений и губернаторов. Он окружил себя новыми людьми, он настоятельно требовал, чтобы они безотлагательно приступили к реформам; чего, собственно, он хотел, он сам совершенно еще не знал, так как не успел войти в курс дела, лишь в одном он был твердо убежден, что все прежнее никуда не годится...»

В. Д. Новицкий, жандармский генерал: «Статс-секретарь фон Плеве в продолжительных беседах со мною (летом 1902 года в Харькове.— В. К.) по политическим делам сказал мне, что он совершенно временем отстал от политических дел, не знает еще настоящего внутреннего политически-революционного положения в России, с каковым и просил меня ознакомить. Насколько смог и умел, я доложил все... При этом я обратил внимание его на действия Зубатова, московского охранного отделения и политического провокаторства в рабочей среде, ненадежности его в смысле тесно политическом и ведении розыскного дела, приемами и способами, через летучие отряды, влекущие за собою большое недовольство в обществе через массовые аресты. На это мне министр ответил, что он все примет к сведению и «перелому» направления розыскной части департамента и тем более признает возможным легко ныне это сделать, что он, бывши в Москве, успел переговорить об этом с великим князем Сергеем Александровичем, который просил выразить свое согласие на приостановление Зубатовым действий в отношении московского фабрично-заводского населения».

Генерал, как это отчетливо видно по его воспомина-

ниям, малость глуповат, но... тем надежнее его свидетельство!

С. И. Демидова, дочь министра двора: «Это был тип чиновника — лстивый и увертливый с высшими ему и нахальный и грубый с теми, кто от него зависел; надо также думать, что никакой любви к родине и ее благосостоянию он не имел».

Еще один генерал — **В. И. Гурко**, ближайший сподвижник Плеве по министерству: «Угрозы, снисходительность, милости — все было перемешано, и вследствие этого угрозы не пугали и милости не вызывали благодарности. Что запрещалось сегодня, то разрешалось завтра. Что отвергалось сейчас, то в следующий момент превозносилось и одобрялось. Престиж правительства, уверенность в устойчивости его быстро падали. С одной стороны, никто не мог быть уверен, что какие-нибудь невинные действия, не запрещенные правительством, не будут причиной ссылки, с другой — росло убеждение, что любое приказание правительства можно парализовать решительным сопротивлением».

Л. А. Тихомиров: «Странный человек. Все было: ум, характер, честность, деловитость, опытность... Множество лиц ожидали от него многого, множество лиц, преданных государю, России и порядку, предлагали ему свои силы, свою помощь. Он всех слушал, всем, попросту сказать, лгал, морочил всех, будто он о чем-то думает... Постепенно всех честных людей устранял, а сам только душил и больше ничего. Кто ж спорит? Конечно, революционеров должно было подтянуть. Но ведь Россия — не революционерка, и она действительно нуждается в глубоких улучшениях жизни — он же не хотел ничего делать».

Князь В. П. Мещерский: Плеве «во всех видел заговорщиков против себя и вследствие этого говорил со всеми как с заговорщиками и всему своему образу действий придал характер большого заговора против множества разных заговорщиков».

Общий знаменатель этих характеристик просматривался довольно отчетливо. И состоит он, по-моему, из трех следующих положений: **во-первых**, беспокоившую всех болезненную ненормальность русской жизни Плеве, конечно же, ощущал; **во-вторых**, принципиальным, идейным консерватором и ретроградом он, конечно же, не был, реформы обещал искренне — даже когда приходилось сегодня обещать Зубатову одно, а завтра Новиц-

кому — совсем другое; но **в-третьих** и в-главных, он был чиновником. *Прежде всего чиновником и уж никак не политиком.*

Спешу, впрочем, оговориться: это, разумеется, не характеристика всех политических позиций и планов Плеве. Это — всего лишь предположение о психологической основе, о побудительных мотивах его выборов и предпочтений. Предположение, которое доказать исчерпывающим образом вряд ли возможно, но проиллюстрировать довольно легко.

Бюрократию всех времен и народов отличает ряд собственных, ролевых психологических стереотипов, действующих подчас даже помимо сознания и воли отдельного человека. Возьмем, к примеру, основу основ бюрократизированного сознания — его опору на официальную идеологию государства как на истину в последней инстанции. Присуща ли она В. К. Плеве? Что ж... Неумение «поступаться принципами» было им многожды продемонстрировано. «Я искренний защитник земства, и во мне вы всегда найдете поддержку, — заявил он, например, нижегородским земцам, — но я прошу, господа, не переходить демаркационной линии. Об экономической политике рассуждайте сколько вам угодно, но о самодержавии... Как только вы коснетесь этого вопроса — я перестаю быть министром внутренних дел и становлюсь только шефом жандармов». (Освобождение, 1903, № 14).

Второй стереотип — вера во всеислие формальных управленческих решений, в неисчерпаемую возможность власти руководить всем и вся. Присущ ли и он В. К. Плеве? Да возьмем хотя бы его тяжбу о подчиненности фабричной инспекции — что прежде всего ставилось им в вину существовавшей практике? То, что инспекторы не всегда извещали губернаторов «о брожении умов, происходящем на фабриках и заводах, в расчете обойтись без вмешательства полиции». А уж если бы губернаторы знали все, что творится в умах!..

Стереотип третий — панический страх упустить хоть что-то из-под своего формального управления. Казалось бы, уж тут-то Плеве безгрешен! Ведь главная из осуществленных им реформ — губернская — по самому своему замыслу, по идее — децентрализаторская. По идее — да. Необходимость «коренного преобразования местного строя» ощущалась в России давно и многими.

Даже вечный соперник и враг Плеве С. Ю. Витте на совещании у Николая 3 мая 1903 года говорил, что реформа возможна и желанна, если будет осуществлено «возвешенное в высочайшем манифесте 26 февраля коренное преобразование губернского и уездного управлений с усилением при том власти и значения губернатора, который явился бы не только органом министерства внутренних дел, как нынче, а действительным представителем верховной власти». Но именно после этого совещания Плеве постарался с реформой подзатынуть... Провел он ее только после ухода Витте с политической авансцены и, разумеется, так, что власть его министерства не только не уменьшилась, но и значительно возросла. В результате такой «децентрализации» именно он приблизился «к положению первого министра», именно в его подчинении оказались и губернаторы с их возросшей властью, и Совет по делам местного хозяйства — всё!

Эта-то осуществленная им реформа и есть, по-моему, лучшее доказательство того, что в душе Плеве был «прежде всего чиновник»! Как у всякого истового чиновника, первая задушевнейшая его забота была о докладе. «Ваше Величество, Россия успокоилась. Разрешите приступить к либерализации», — о чем-то таком ему наверняка постоянно мечталось. И потому все, что он делал, он делал как бы *пока*, на время. *Пока* обещал должность Зубатову, потом назначил Зиберта. *Пока* требовал расширения деятельности ЕНРП, потом — прекращения. Ну и т. д.

Впрочем, став министром, он в различных политических коллизиях пытался поначалу реагировать прежде всего либерально. В ответ на беспорядки в Вильне послал туда не драгун, а независимцев, испробовав зубатовскую теорию... О майском (1902 г.) совещании земцев он, конечно же, прежде всего доложил царю, что «само допущение организации съезда без разрешения надлежащей власти... свидетельствует о возможности выступления земских учреждений на путь... вторжения в область власти государственной». А как же! Вовремя доложить, и доложить так, чтобы ни в коем случае не оказаться потом виноватым, — первая и самая святая чиновничья заповедь. Но 2 июля, объявляя Д. Н. Шипову официальный царский выговор, он постарался сделать это так, что Шипов был почти что в восторге. Еще бы!

Земцев пообещали приглашать в будущем на совещания в МВД, выслушивать...

Зато вскоре, когда С. Ю. Витте, главный соперник в борьбе за влияние на царя, пошел в заигрывании с либералами чуть дальше и стал говорить, что ему «понятно желание свобод, самоуправления, участия общества в законодательстве» и что «если правительство не даст выхода этому чувству легальными путями, оно пробьется другим способом», — то Плеве тут же заверил, что «у нас до сих пор крепок в народе престиж царской власти и есть у государя верная армия!»

Ошибется, однако, тот, кто увидит за этим внезапный политический поворот: ничего подобного! Реплика диктовалась только желанием во что бы то ни стало «перешибить» соперника, произвести на царя более благоприятное впечатление, ибо для чиновника сиюминутное расположение начальства превыше любой политики! И это невыправимо!

Понятно, что такой министр не столько направлял события, сколько был направляем ими. И трижды прав Лопухин, когда говорит, что поворот во внутренней политике Плеве «произошел», но не был им произведен.

Так вот: исходя из того, что действовал Плеве прежде всего как чиновник, а не как политик, мы и выскажем здесь предположение, что колебания его при назначении Зубатова никак не связаны с политической оценкой зубатовщины. Ее, как увидим дальше, он вполне принимал, но, как и многое другое, до той лишь черты, за которой она могла бы помешать его бюрократическим интересам. А тут, с назначением Зубатова, дело, пожалуй, не в зубатовщине, а в азефовщине. В самом деле, в обвинительном акте по делу А. Лопухина мы читаем: «К 1902 году, после убийства егермейстера Сипягина, он (Азеф.— В. К.) первый выяснил круг лиц, прикосновенных к этому делу, и доказал, что организатором этого дела был тот же Гершуни». И там же, в показаниях Ратаева, уточняется: в феврале 1902 года Азеф выдает Гершуни, едущего в Россию, «не указывая, однако, на тот или иной замысел».

Эти данные, несомненно, были известны Плеве уже в апреле — мае 1902 года. И что же из них вытекало? То, что Зубатов, увлекшись своими политическими идеями, упустил опасного террориста Гершуни — раз. Что он почему-то не воспользовался февральским указанием Азефа — два. И что бы ни говорилось там вслух, а в

глубине, на донышке чиновничьей души этот сыщицкий грех мог перевесить любые политические заслуги!

О том, как министр шпынял Зубатова, выставляя на стол портрет Гершуни, мы уже поминали. Добавим и то, что, когда Гершуни был наконец схвачен, Плеве считал необходимым лично навестить его в Трубецком бастине. Диалог, правда, получился оскорбительно для него короток.

Плеве: «Имеете что сказать мне?»

Гершуни: (крайне удивленно): «Вам?!»

Похоже, что в глазах Плеве фигура Гершуни имела какое-то особое, фетишизированное и чуть ли не мистическое значение, ничуть не соразмерное его реальному политическому весу. Ведь террор прекрасно продолжался и без Гершуни, не говоря уже о революции в целом.

Приведу, кстати, и несколько свидетельств в пользу того, что квадратура отношений Зубатов — Азеф — Плеве — Лопухин еще таит немало загадок. Во-первых, обратим внимание на зубатовское письмо А. Спиридовичу после выхода книги последнего «Партия социалистов-революционеров и ее предшественники»: «Умалчивал он (Азеф.— В. К.) об очень серьезном, и не из сочувствия революционерам, а из опасения возбудить в чинах правительства особое рвение, всегда для его головы опасное. Простите за дерзость, но он едва ли находил равновеликий персонаж среди его казенных руководителей. Дело прошлое, но все же любопытно, как Азеф мог проагентурить до 1908 года, когда мы с ним разругались еще в 1903 году, перед моим уходом из департамента. Что же могло усыпить у департамента мои открыто выраженные А. А. Лопухину сомнения о допустимости его тактики?»

Последняя фраза довольно туманна: о чьей, собственно, тактике идет речь — Азефа или Лопухина? А ведь Зубатов писал отлично, туманности в его текстах всегда тщательно обдуманы!

Современный американский историк, издатель архива Троцкого Ю. Фельштинский, рассказывая о Б. Николаевском, авторе очень серьезного исследования об Азефе, утверждает, что через несколько лет после выхода в свет своей книги «Николаевский пришел к выводу, что Азеф провокатором не был, что он был честным полицейским агентом, который аккуратно передавал информацию Лопухину, директору департамента полиции.

И именно Лопухин, чуть ли не в сговоре с Витте, клал эту информацию под сукно, и так допустил, например, убийство министра внутренних дел Плеве. Об этом Николаевскому сообщила вдова Лопухина, с которой беседовал Николаевский. Он предполагал использовать эту информацию для будущего нового издания книги об Азефе, но, к сожалению, не успел».

Это косвенное свидетельство о косвенном свидетельстве слишком, разумеется, ненадежно, чтобы всерьез говорить о причастности Лопухина к убийству Плеве, да и сговор Лопухина с Витте предположить достаточно трудно. Но совершенно точно, что особых оснований беречь Плеве Лопухин не имел. А ведь охота на министра велась эсерами постоянно, можно было просто не проявить однажды особой расторопности и...

«11 июля 1904 года,— сообщает Л. Меньщиков,— Кракова (кличка нелегала, приехавшего из-за границы, чтобы, как сообщил Ратаев, убить Плеве.— В. К.), поселившегося в Петербурге, арестовали. 13-го числа об этой удивительной истории в особом отделе департамента полиции составлялась записка, которую министр должен был представить царю на ближайшем докладе. В тот же день чиновник особых поручений Пешков, ведавший заграничными переписками, метался по архиву, спешно наводя справки о бывшем студенте Егоре Сазонове, выехавшем, по сведениям, полученным от сотрудника «Виноградова» (одна из кличек Азефа.— В. К.), в Россию для участия в политическом предприятии». 15-го бомба Е. С. Сазонова поставила последнюю точку в карьере Плеве. Согласимся: тут есть о чем подумать.

Но вернемся к Сергею Васильевичу Зубатову. Если отношение министра к его политическим идеям серьезных изменений не претерпевало, то что же оборвало его карьеру? Что же произошло за 9 месяцев его пребывания в Петербурге?

Должно признать, что на этот вопрос — «что же произошло?», ответ в нашей исторической литературе давно имеется: «...в ходе вспыхнувшей в июле всеобщей стачки,— пишет, например, Б. В. Ананьич в книге «Кризис самодержавия в России» (1984 г.),— Шаевичу и его агентам не удалось удержать рабочих, в том числе и связанных с Еврейской независимой рабочей партией, в рамках экономической борьбы. Всеобщую стачку в Одессе возглавили социал-демократы, правительству уда-

лось подавить ее только силой. Провал зубатовцев в Одессе вызвал раздражение Плеве, резко изменившего свое отношение к Зубатову... После всеобщей стачки в Одессе... Плеве перешел к открытому осуждению зубатовского движения. В конце июля для выяснения причин возникновения стачек... в Одессу, Николаев и Киев выехал директор департамента полиции Лопухин. Последовал роспуск Еврейской независимой рабочей партии. Зубатов был смещен со своего поста и выслан из Петербурга во Владимир».

Все очень четко, логично и ясно! Но... Никак что-то не могу я в эту четкость и ясность поверить, ибо:

а) Сведения о том, что одесскую стачку возглавили социал-демократы, сильно преувеличены. Забастовка была, по сути, стихийным процессом, в котором социал-демократам удавалось иногда перехватить у независимцев инициативу, но под конец, на решающей сходке в Рубовом саду, они ее все-таки упустили.

б) Правительству не было никакой нужды подавлять стачку силой — она могла закончиться вполне мирно. То, что сила была все-таки пущена в ход, объяснимо не столько социал-демократическим руководством стачкою, сколько потребностью одесских властей оправдаться за проявленную бездеятельность и нерешительность.

в) Роспуск ЕНRP произошел задолго до поездки Лопухина, еще в самые первые дни одесской стачки, когда ее будущие масштабы и не совсем мирный характер никому не могли быть известны. Участник ликвидационного съезда С. Черемиский вспоминал, что при отъезде его из Одессы в Минск бастовал только завод Рестеля. Тем не менее «чувство у меня было такое, что мы в Минске все ликвидируем... После ликвидации узнали о могучей забастовочной волне...» (Красный архив, 1922, т. 1).

Думается, этого вполне достаточно, чтобы усомниться в выводах Б. В. Ананича и понять, что названные им события стоят в какой-то совсем иной причинно-следственной связи.

Так что же произошло за 9 месяцев петербургской службы Зубатова? Ничего особенного. И вместе с тем — все! Произошел тот самый поворот, о котором и говорил на суде Лопухин.

Собственно, его можно разделить на два, так сказать, подповорота. Они даже несколько разделены по времени, хотя по сути связаны теснейшим образом.

Первый — это поворот в национальной политике царизма.

В последние годы наши публицисты много спорят: можно ли считать дореволюционную Россию тюрьмой народов? Мне кажется, было бы неплохо вначале договориться, что называть тюрьмой. Если иметь в виду сталинские тюрьмы, где над заключенными измывались и сживали их со свету, то — нет, такую тюрьмой народов дореволюционная Россия не была никогда! Но если называть тюрьмой всякое ограничение прав и свобод, как называли большевики, пока сами не пришли к власти, то — да, была тюрьмою. Права инородцев в России были ограничены — особенно в области употребления родного языка, получения на нем образования, развития национальной культуры и т. п. Во многих местах проводилась политика насильственной русификации. Особенно ограничены были права евреев, и возможно, именно поэтому национальные и национально-социальные движения в их среде были так мощны.

Кстати, вопрос об отношении к национальным меньшинствам неизбежно вставал при обсуждении любых планов возможной либерализации режима. Так, А. Н. Куропаткин еще 1 января 1902 года записал в дневник свой разговор с С. Ю. Витте, в котором он доказывал невозможность ограничить самодержавие в России именно тем, что если «дадут конституцию и представительное собрание, то депутаты с окраин... дружно соединившись, отвоюют себе права, которые приведут Россию к штатам... но не к великой русской державе». Витте не соглашался. «Давление, которое мы оказываем на окраины, — утверждал он, — приведет скорее к революции, чем если бы мы дали окраинам относительную свободу».

События, в которых проявился поворот правительственной политики от «относительной свободы» для разного рода национальных движений ко все возрастающему давлению, естественным образом группируются вокруг кишиневского погрома 6—7 апреля 1903 года. Во множестве публицистических и исторических сочинений организация этого погрома приписывается непосредственно Плеве. Однако же такой осведомленный и не имеющий никаких оснований защищать Плеве человек, как А. А. Лопухин, писал: «Каковы бы ни были политические грехи Плеве, организация кишиневского погрома ему, по моему глубокому убеждению, приписы-

вається несправедливо. Антисемітизм його не підлягає сумніву, але ж одного цього для того, щоб людині умному приписувати міру не тільки гнусну, але й політичною глупу, мало. А крім його антисемітизму було тільки воспроизведення в «Освобождении» письма Плеве к бессарабскому губернатору, содержащее полупризнание в организации погрома. Но, по произведенному мною тщательному расследованию, письмо это оказалось подложным. Рядом с этим неоспоримым остается факт увольнения, и увольнения по настоянию Плеве, бессарабского губернатора Раабена за бездействие власти во время кишиневского погрома».

Действительно, строго документально можно доказать не причастность Плеве к организации, а лишь одобрение им погрома, уже происшедшего, — это зафиксировано в дневнике того же генерала Куропаткина. Конечно, такое одобрение тоже значит немало, но согласимся, что разница все же весьма существенна. Темна и двусмысленна также роль начальника кишиневской охранки ротмистра Лемендаля, но и тут документальный материал позволяет обвинить представителя власти лишь в попустительстве погрому, а не в организации его.

Однако если об организаторах еще можно спорить, то важнейшая роль агитатора и подстрекателя бесспорно принадлежит кишиневской газете «Бессарабец», издававшейся П. А. Крушеваном, к этому времени, впрочем, уже проживавшим в столице. Антисемитская пропаганда была для «Бессарабца» делом обычным. Однако весной 1903 года, в связи с так называемым Дубоссарским делом, она была резко усилена и переросла в прямое подстрекательство к погрому.

9 февраля 1903 года в местечке Дубоссары исчез четырнадцатилетний Миша Рыбаченко. Как было затем бесспорно установлено следствием и судом, его убийцы Иван и Михаил Тимошуки и Антон Тищенко действовали из корыстных побуждений: дед Миши Конон Рыбаченко завещал ему свое хозяйство в обход старшего внука Ивана Тимошука. Миша был убит ударом полена по голове, затем исколот вилами. Зарыть его тело убийцы не сумели — только присыпали мусором; через два дня, когда полиция обнаружила труп, он был уже сильно истреблен птицами. Многочисленные воронкообразные и колотые раны на теле убитого и послужили «основанием» для слухов о ритуальном характере убийства:

евреи, дескать, добывали христианскую кровь для своих пасхальных опресноков. Эту гнусность «Бессарабец» расписывал несколько недель, пока — по требованию прокурора Одесской судебной палаты А. Подлана — редакция не была вынуждена поместить опровержение, — разумеется, оно оказалось сформулировано двусмысленно и столь мелко набрано, что его никто почти и не заметил.

«Суд, — писал В. Г. Короленко, — вследствие опроверг все выдумки... Да! Но между агитационной ложью и судебным решением легла кровавая кишиневская Пасха, полная ужаса, крови и позора». За два дня погрома было убито 45 и ранено свыше 400 человек, разграблено, сожжено и разбито свыше 1300 домов и лавок.

Все это, впрочем, достаточно хорошо известно. Стоит, однако, обратить внимание на целый ряд других фактов, явно или неявно с кишиневским погромом связанных.

На бернском суде 1934 года — где было убедительно доказано, что «Протоколы сионских мудрецов» есть не что иное, как фальшивка, изготовленная по указаниям П. И. Рачковского на основе текста книги М. Жоли «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», — фигурировало также относящееся к 1902 году письмо Рачковского, в котором он сообщал о своем намерении начать широкую кампанию против русских евреев. Таким образом, изготовление «Протоколов», несомненно, связано не только с участием Рачковского в придворных интригах по компрометации шарлатана «мсье Филиппе», но и с намеченною кампанией. И тут уж никак нельзя не обратить внимания на то, что первая их публикация осуществлена все тем же П. А. Крушеваном, только уже не в кишиневской, а в петербургской его газете (Знамя, 1903, август — сентябрь)¹, и была несомнен-

¹ В связи с этим и рядом дальнейших сюжетов обратим внимание читателя еще на одну публикацию «Знамени»: 17 июня 1903 года в нем появился разухабистый фельетон «Князь Мещерский. Опыт некролога». Этот фельетон вместе с письмом Э. Э. Ухтомского на следующий же день был на столе у Николая. Ухтомский возмущался, что повседневная, «да еще пользующаяся особым покровительством министерства внутренних дел (выделено мною. — В. К.)» газета воспользовалась «такими неслыханными приемами газетного разбоя», что «совершенно сумасшедший, опьяненный помощью г. Плеве (выделено мною. — В. К.), Крушеван не склонен ничего шадить и ни с чем считаться».

Но, хотя В. П. Мещерский и числился еще среди ближайших его друзей и советников, защищать его от Крушевана и Плеве Николай почему-то не стал.

ной попыткой хотя бы задним числом оправдать действия погромщиков. При этом редакционная оговорка, что «Мудрецов не следует отождествлять с представителями сионистского движения», была не более чем «подсказкой навыворот»...

Но как же попала к Крушевану эта фальшивка? Свидетельств каких-либо прямых его связей с Рачковским мы не имеем, и «Протоколы», скорее всего, попали к нему путем кружным, через кого-либо достаточно близкого ко двору. А это, в свою очередь, лучшее свидетельство того, что при дворе нашлись люди, с доверчивой готовностью воспринявшие идеи, ради навязывания которых обществу и власти и сделана была фальшивка П. И. Рачковского. Именно придворная среда оказывается тем узлом, что связывает воедино кишиневский погром, «Протоколы» и заметный поворот в национальной политике Плеве.

В чем же, однако, секрет столь поразительного легковерия «государственных мужей» России? Да в том, пожалуй, что как раз в 1902—1903 годах никакие предпринимаемые правительством меры — ни мнимо либеральные, ни свирепо репрессивные — не достигают поставленной цели!

Большие надежды возлагались на Манифест от 26 февраля 1903 года, в котором, во-первых, признавалось, что, «к глубокому прискорбию нашему, смута, посеянная отчасти замыслами, враждебными господствующему порядку, отчасти увлечением начинаниями, чуждыми русской жизни, препятствует общей работе по улучшению народного благосостояния», а во-вторых, обещалось приступить к «усовершенствованию государственного строя» и «укреплению порядка и правды в Российской Земле». Казалось бы, чего им еще? Правительство все признало, все пообещало — сидите и ждите! Но либералы по-прежнему шумят, волнения и забастовки нарастают... А ведь тот же Плеве неустанно печется об успокоении страны: 24 марта увеличены штаты полиции в приморских городах, 5 мая по всей Европейской России устанавливается единая полицейская норма: 1 блюститель порядка на 2,5 тысячи душ обоего пола, — а толку нет!

Плеве требует решительности. Уфимский губернатор М. Н. Богданович эту решительность проявляет — сажает в кутузку «зачинщиков» златоустовской забастовки, а когда у его дома назавтра собирается толпа, требующая их

освобождения, приказывает открыть огонь. 28 человек убито, более 200 ранено, а толку нет — успокоение не наступает, ибо никто и ничего уже не пугается, а менее чем через два месяца слесарь Егор Дулебов одним выстрелом отправляет бравого губернатора к праотцам...

Когда люди не понимают природы сил, действующих на политической арене, когда они не могут определить источник своих бед, не знают, где тот враг, с которым следует бороться, но чувствуют, что враг вроде бы есть, ибо беды неисчислимы, — тогда их сознанием неизбежно овладевают фантомы. И умны они или глупы, тут особой роли уже не играет. Гораздо важнее становится «удобство» явившегося им фантома, его «применимость» к окружающим обстоятельствам.

22 января 1906 года первый российский премьер С. Ю. Витте пригласил к себе отставного губернатора А. А. Лопухина как человека, который «заведовал одно время по департаменту полиции так называемыми еврейскими делами» и поэтому осведомлен о «различных национальных еврейских организациях». Пригласил посоветоваться в связи с необходимостью получить за границей крупный заем.

«Меня крайне удивило в Витте, — пишет Лопухин, — чисто обывательское представление о существовании какого-то еврейского политического центра, центра всемирного кагала, который путем таинственных нитей будто бы управляет еврейством всего мира, может направить его «засилье» в ту или иную страну, может простым приказом бросить его в революцию или воздержать от участия в ней. Я высказал Витте, что такая организация существует только в области политических легенд, а в действительности же еврейство, подчиняясь общему закону классового деления, страдает отсутствием единства едва ли не больше, чем христианский мир».

Что ж... Александр Александрович все правильно объяснил российскому премьеру, который, по мнению черной сотни, был кстати, одним из главарей именно того жидомасонского заговора против России, в существование которого и сам, оказывается, верил, только не знал, как же войти в контакт с его главарями!..

Но Лопухин все правильно объяснил премьеру в 1906 году. В 1903-м же его познания, увы, не были еще столь глубоки; во всяком случае, 2 сентября 1903 года он писал Зубатову из Лейпцига: «Сегодня в «Новом

времени», которое получаю от Ратаева, прочел об антиеврейских беспорядках в Англии. Они будут иметь огромное значение для России, ибо дадут опору антисемитскому движению у нас... Здесь на досуге я кое-что прочел по истории еврейства и в результате весьма мрачными глазами смотрю в будущее... Массонство, с которым я познакомился здесь, — довольно, впрочем, поверхностно, по нескольким статейкам, — и в котором главную роль играют все-таки евреи, страшно нам как сила не действующая, а оказывающая поддержку; от него, по всей вероятности, у революционеров деньги...»

Знакомство с серьезными вопросами «по нескольким статейкам» — вещь опасная, ибо она чаще всего лишь укрепляет мучающие воображение фантомы... Зато из вышеприведенного письма достаточно ясно видно, какие «политические проблемы» занимали департамент полиции осенью 1903 года, какие версии усиленно там прорабатывались и какая ужасающая политическая малограмотность была подоплекою того опасного поворота во внутренней политике империи, который произошел при Плеве, — поворота к открытому стравливанию населяющих Россию народов.

Впрочем, повторю: и в 1903-м, и в 1906 году главной причиной завораживающего влияния различных политических фантомов даже на очень умных людей было их бытовое удобство: ах, вы говорите, что никакого жидомассонского заговора нет? А кто этот неуловимый Гершуни? Разве не еврей? А забастовка в Одессе — разве ее не «жидюга Шаевич» устроил? И то же — в 1906-м; кто устроил в столице этот кошмарный Совет рабочих депутатов? Разве не Носарь с Троцким?.. И не надо ломать голову — все уже объяснено!

Но если первая часть этого поворота во внутренней политике связана с поисками фантомного «врага унутреннего», то вторая — с поиском и обретением врага внешнего.

Военные стычки с Японией начались в январе 1904 года, резкое обострение дипломатических отношений — полугодом ранее, но и это были лишь заключительные этапы долгого сползания к войне. Весной 1903 года внутри правящей верхушки России происходила та заключительная перегруппировка сил, при которой главным, определяющим становилось противостояние по принципу: «за» или «против» войны. Старые обиды и козни при

этом поспешно забывались, складывались новые «комплоты»...

Плеве войны желал, желал страстно, видя в «маленькой победоносной войне» единственный выход из стремительно обострявшегося внутривнутриполитического положения. Это зафиксировано перепиской и дневниками современников и сомнению не подлежит.

Разумеется, «маленькая победоносная война» могла бы и в самом деле, вызвав патриотический порыв, породить временную консолидацию общества. Почему бы и нет? Дело возможное. Но для этого, как минимум, необходимо, чтобы война действительно была «маленькой» и «победоносной». Люди же, хорошо чувствовавшие экономическое положение России, предкатастрофическое напряжение ее социальных противоречий, не верили в то, что война окажется таковой. И выступали против войны, исходя, по сути, из тех же политических целей — сохранения монархии и государственной целостности. Был среди этих людей и Витте.

Его так часто называли «отцом русско-японской войны», в чем есть немалая доля истины, и это как бы дает основания ставить под сомнение его антивоенную позицию летом 1903 года. Что совершенно, по-моему, несправедливо. Витте был то, что нынче именуется «динамичным политиком», т. е. под давлением фактов и обстоятельств он умел не только менять позиции, но и меняться. Именно Витте погубил в 1899 году земский проект Горемыкина, а спустя всего три года уже заявлял, что ему «понятно желание свобод, самоуправления, участия общества в законодательстве» и что надо дать выход «этому чувству легальными путями»... Витте был ярким противником зубатовщины, пока она поддерживалась людьми Плеве, но он же стал ее сторонником, как только очутился в кресле премьер-министра, а может быть, и еще раньше.

Что касается войны с Японией, то приведшие к ней обстоятельства накапливались по мере экономической экспансии России на Дальнем Востоке, — сама же эта экспансия была сутью виттевской политики: «проценты на капиталы, получаемые в Европе, выплачивать из выручки от вывоза в Азию». Но — обязательно ли такая политика должна была привести к войне? Вот в Персии же не привела... Видимо, дело не в каких-то «закономерностях империализма», а в темпах и методах

проведения такой политики. И в 1903 году «отец русско-японской войны» явно не желал появления на свет такого «дитяти» — в политике, в отличие от гинекологии, предупредить роды дело вполне возможное. Но у «дитяти», увы, кроме отца были и умелые акушеры — адмирал Абаза, статс-секретарь Безобразов, сам Николай... Они-то и помогли ему появиться на свет.

Немалую роль в расстановке политических сил накануне войны играли перипетии соперничества двух главных министров. Первым полем сражения Витте и Плеве стало «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности», созданное Витте. Либеральные земцы увидели в нем возможность заявления своих претензий и мнений, и уже поэтому Плеве оно раздражало. Немало масла подливали в огонь и слухи о «проекте широких реформ», согласно которому фабричная инспекция должна была превратиться в некое «ведомство труда» под эгидою Министерства внутренних дел. На стороне Плеве и его проектов был уже не раз упоминавшийся князь В. П. Мещерский, при поддержке которого, собственно, Плеве и стал министром. Но «с весны 1903 года, — вспоминал Лопухин, — отношения эти стали меняться — появилось охлаждение между Плеве и Мещерским, а прежняя близость между последним и Витте восстановилась. Мещерский вскоре стал открыто осуждать политику Плеве; информировал же его по части этой политики Зубатов, часто его посещавший и своими информацией дававший ему сильное оружие против Плеве, против которого у Зубатова накопилось много обид — и за двойственность Плеве в отношении к его рабочим организациям, и за личное к нему, Зубатову, высокомерное отношение».

Сопоставив с этим воспоминания самого Витте, мы можем не только убедиться в верности сообщения, но и установить дату, имевшую, по-видимому, решающее значение в процессе создания новой политической группировки.

«Я отлично помню, — пишет он, — как 6 мая 1903 года приходит как-то ко мне Мещерский и показывает мне письмо Государя, в котором Государь говорит ему (содержание письма приблизительно было таково): «Я тебе очень благодарен за то, что ты мне пишешь всю правду и предупреждаешь относительно тех лиц, которые, по твоему мнению, ведут меня к войне. За эти сообщения я тебе очень благодарен, но остаюсь при своем прежнем

мнении, и завтра ты увидишь этому доказательства»¹.

Мещерский спросил меня, что значит [эта] фраза в письме... Я ответил, что тоже не могу этого понять. Но на другой день мы прочли, что Безобразов сделан статс-секретарем...»

И еще раз воспоминания Лопухина: «Мало-помалу дом Мещерского превратился как бы в конспиративную квартиру заговора против министерства Плеве. Посещая ее, Зубатов и Витте в ней, однако, первоначально не встречались. Знакомство меж ними произошло вовсе не неожиданно для Витте, как он уверяет, а при посредничестве того же Мещерского».

Это — комментарий к следующему абзацу из воспоминаний Витте: «Вдруг в начале июля 1903 года... мне докладывают, что меня желает видеть Зубатов. Я его принял. Он мне начал подробно рассказывать о состоянии России по его секретным сведениям охран-ных отделений, говорил, что «вся Россия бурлит», что «удержать революцию полицейскими мерами невозможно», что „политика Плеве заключается в том, чтобы загонять болезнь внутрь и что это ни к чему не приведет, кроме самого дурного исхода“».

Разумеется, такие беседы «вдруг» не происходят. Встреча явно готовилась, и механизм ее подготовки Лопухин раскрывает достаточно убедительно. Но — каковы же были результаты, о чем договорились чиновные конспираторы? Лопухин пишет об этом на основании информации, полученной от «сослуживцев и главным образом от Плеве»:

«Заговор против него (Плеве.— В. К.) на квартире Мещерского созрел настолько, что... было окончательно решено свергнуть его и на его место водворить С. Ю. Витте...

Для проведения этой политической комбинации был избран и начал проводиться такой план: Зубатов составил письмо, как бы написанное одним верноподданным к другому и как бы попавшее к Зубатову путем перлюстрации. В нем в горячих выражениях осуждалась политика Плеве, говорилось, что Плеве обманывает царя

¹ Это почти дословно совпадает с письмом Николая В. П. Мещерскому от 1 мая 1903 года: «По меньшей мере смешно, если ты думаешь, что я буду исполнять все твои желания. У меня есть свое мнение и своя воля — в этом ты скоро убедишься».

и подрывает в народе веру в него, говорилось также, что только Витте по своему таланту и преданности лично Николаю II способен вести политику, которая оградила бы его от бед и придала блеск его царствованию. Это письмо Мещерский должен был передать Николаю II как голос народа и убедить его последовать пути, этим голосом указываемому. Но этому плану не было суждено осуществиться. Зубатов допустил крупную оплошность — он посвятил в него своего друга, а ранее секретного агента Гуровича... Гурович же тотчас отправился к Плеве... разоблачил весь заговор и даже предоставил копию сфабрикованного Зубатовым письма. Плеве в день следующего же очередного доклада в Петергофе, где Николай II в то время находился, доложил ему, какими интригами занимается его министр финансов. Это было в четверг, а в пятницу министр финансов покинул свой пост».

Правдив ли этот рассказ? Уже упоминавшийся историк М. Н. Покровский считал, например, что «рассказ явно неправдоподобен, ибо Витте был все-таки очень умный человек», а тут этакая-де глупость с письмом. Однако же в общем контексте тогдашних придворных и правительственных интриг план «трех конспираторов» не выглядит ни фантастическим, ни тем более — глупым. На Николая многие пытались воздействовать, используя те или иные подделки «гласа народного». В том числе и сам Плеве. Даже после его гибели в бумагах его были найдены копии перлюстрированных писем, в которых «со свойственной представителям крайне правых течений грубой убежденностью высказывалось мнение о неоспоримой деятельности Витте на пользу революции... В этих письмах было нечто, что располагало к доверию того читателя, на воздействие на которого перлюстрация была в данном случае рассчитана: они носили яркий отпечаток монархических взглядов корреспондентов и личной преданности их Николаю II». И на записке Плеве, при которой эти письма ему передавались, Николай, ничтоже сумняшеся, начертал, как-де тяжело ему «разочаровываться в своих министрах».

Как видим, задуманная интрига вполне могла бы и сработать. Другое дело, что, сводя все к этой раскрывшейся ему интриге, Плеве явно упрощал ситуацию. Воспоминания А. Спиридовича вносят, например, в нее весьма любопытный дополнительный штрих: «О Зубатове

кричали, что он сам устроил эту забастовку (в Одессе. — В. К.), что он сам революционер... В дело вмешался великий князь Александр Михайлович¹, доложивший государю, что забастовку в Одессе устроил сам Зубатов. Директор Лопухин в это время был за границей. Плеве взвесил все обстоятельства и решил пожертвовать Зубатовым и покончить с ним, тем более что в это время он узнал, что Зубатов ведет против него интригу вместе с Витте и кн. Мещерским».

Действительно, «разоблачение» Зубатова было явно выгодно всем сторонникам развязывания войны на Дальнем Востоке хотя бы уже тем, что «закрывало» тему южных забастовок как свидетельство промышленного и политического кризиса — они сразу же превращались всего лишь в элемент «злокозненной интриги».

В 2 часа дня 19 августа (через три дня после отставки Витте!) Зубатов был вызван к Плеве. В зале заседаний (а не в кабинете!) рядом с Плеве сидел командир корпуса жандармов генерал-лейтенант фон Валь, и Плеве для начала заявил, что с лицами, которым он не верит, он «не имеет обыкновения говорить один на один». Затем Зубатову было предложено изложить историю с ЕНРП. Тот начал было рассказ, но...

«На этих словах меня перебил г-н министр и спросил, проповедовал ли я стачки? Я категорически заявил, что являюсь принципиальным противником стачек, о чем всегда приходилось спорить с независимцами, которые, разделяя эту мысль в принципе, часто доказывали, что в жизни это неисполнимо: или по грубости евреев-хозяев, или из-за конкуренции с революционерами, которые всегда изловчатся подловить независимцев и сами поставят стачку, чтобы сделать выгодное массе и скомпрометировать их тем самым в глазах последней».

Когда затем я доложил об успехах независимцев в Минске, где вся администрация вела с ними сношения, рабочие тысячами записывались в их организации, а бундовцы из 800 своих членов растеряли 600, и перешел к моменту появления независимцев в Одессе, — Его

¹ Великий князь Александр Михайлович — сын Михаила Николаевича, кузен царя. В 1905 году был начальником отряда минных крейсеров. Перед русско-японской войной постоянно твердил о якобы грозящей России со стороны Японии опасности и требовал больших ассигнований на морской флот.

Высокопревосходительство начал сам¹ продолжать мой рассказ генерал-лейтенанту фон Валю: „Особа, которую таскали ко мне, еврейка Вильбушевич, поехала в Одессу, где поставила во главе жида Шаевича, выпускавшего с одобрения г. Зубатова очень глупые прокламации, делавшего стачки, и пр.“».

Понятно, что, когда все уже решено, анализом происшедшего чиновнику заниматься незачем. И однако же, уволить начальника всей тайной полиции России, не предъявив ему хоть каких-то обвинений, — это было бы слишком! С другой стороны, не заявить же вслух, что Зубатов увольняется за участие в интриге против собственного министра?! Ситуация щекотливая, но похоже, что Плеве не особо ломал над ней голову.

«Перейдем теперь к документам, — заявил он. — Вот, генерал, письмо г. Зубатова к этому Шаевичу: «Дорогой Генрих Исаевич, я человек очень прямой и искренний...» Дальше идут сентиментальности... А вот уже и государственное преступление, оглашение государственных тайн: «Недавно я нашел себе единомышленника в лице юдофила Царя. По словам Орла (т. е. меня), представлявшемуся по случаю назначения градоначальником в Одессу — Арсеньеву, Государь сказал: „Богатого еврейства не распускайте, а бедному жить давайте“».

Конечно, надо иметь «горячее сердце монархиста» и богатое воображение, чтобы объявить эту фразу проявлением юдофильства. Но куда больше воображения требуется, чтобы ее цитирование в частном письме счесть «оглашением государственной тайны», не меньше!

«Никогда не бывший по существу чиновником, Зубатов ответил Плеве не менее резко... и в заключение быстро вышел из кабинета, и так хлопнул дверями, что, как потом рассказывал мне Скандраков, чуть стекла не посыпались» (А. Спиридович).

Уехав на следующий день в Москву, Зубатов вскоре обнаружил, что за его квартирой ведется демонстративно грубая слежка... Он, однако, еще не сдавался, и 4 октября в докладе на имя Лопухина выдвигал требования «о формальном восстановлении в области государственной и общественной жизни моей политической честности»,

¹ Выбор момента, с которого Плеве не дает уже говорить Зубатову, может служить еще одним косвенным подтверждением, что именно по его инициативе независимцы в Одессе и появились.

а также «моем материальном обеспечении в таком размере, при котором потеря мною политической чести не могла бы лишить меня общественной дееспособности... Одною из мер первой категории я бы считал возвращение из Восточной Сибири Г. И. Шаевича и назначение особой комиссии экспертов из людей науки, которая бы рассмотрела вопрос о том, было ли что-либо политически неблагонадежное в моих воззрениях и деятельности по так называемой „легализации“».

Но он сильно переоценивал либо возможности, либо желание Лопухина за него бороться. Вместо реабилитации последовала ссылка его во Владимир. Полицейская и политическая карьера Зубатова кончилась.

Нам остается только привести доказательство, что Витте, став премьером, не забывал о своем несостоявшемся союзнике. Это письмо И. Ф. Манасевича-Мануйлова, друга В. П. Мещерского и чиновника для особых поручений при канцелярии Витте, от 31 октября 1905 года:

Дорогой Сергей Васильевич,

Спешу сообщить Вам, что граф очень хочет Вас видеть и потолковать с Вами, а потому немедленно берите поезд и приезжайте сюда¹.

Пока инкогнито. Никому ни слова.

Ждем. Обнимаю,

Ваш И. Мануйлов.

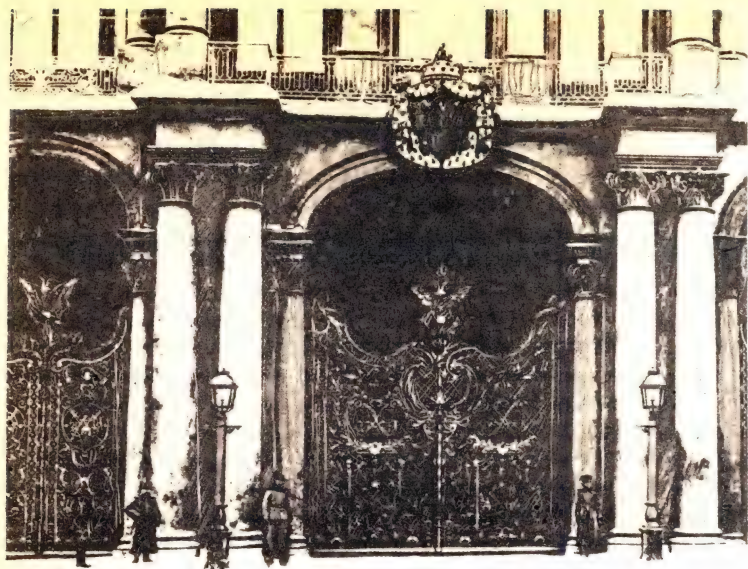
Зубатов не поехал. «Если бы я вернулся к делам, мне бы пришлось опять сосредоточиться на репрессии, а это еще менее прежнего могло удовлетворить меня, ибо не в ней, по-моему, лежит суть дела».

«Союз русского народа», с запозданием узнав оговоре двух «всем известных жидо-масонов», приговорил в ноябре 1906 года Зубатова к смерти, не сделав, впрочем, никаких попыток привести свой приговор в исполнение.

Зубатов сошел с политической сцены. Зубатовщина — осталась.

¹ Конечно, само по себе приглашение это мало о чем говорит. Витте не отказывается от контактов и с самыми яркими политическими противниками. Но в октябре — ноябре 1905 года он проявлял интерес не только к Зубатову, но и к пытавшейся возродиться зубатовщине, и к зубатовцам, контакт с которыми налаживал через того же Манасевича-Мануйлова, о чем, впрочем, у нас еще будет повод поговорить.

ГАПОНИАДА



Глава первая

Георгий Гапон: личность в истории

Зубатовщина осталась, но реальная сила ее была не столько в сохранившихся организациях — петербургская умирала, так и не став на ноги, московская была подорвана навязанною идеологией и тотальным полицейским контролем, — сколько в неизжитом *стремлении* к легальному объединению рабочих. Силу имела сама *идея* движения, а не те *формы*, которые она уже породила. Формы же эти и в рабочих «низах», и в полицейских «верхах» воспринимались скорее как «блин комом», как *искажение* идеи, а не ее воплощение.

В этих условиях многое, естественно, зависело от тех конкретных людей, в чьи руки могло попасть стремившееся обновиться легальное рабочее движение. А потому — с них и начнем.

Можно с уверенностью сказать, что в 1905—1906 годах ни одно русское имя не вызывало во всей Европе столь же жгучего интереса, как имя Георгия Гапона. Его превозносили, его низвергали, на него клеветали... Клеветали слева и справа, особенно справа. Известный черносотенец князь Михаил Шаховской не гнушался, например, даже такими «разоблачениями»: «Гапон хорошо понимал, что без влияния прекрасного пола на мужское население заводов и фабрик обойтись нельзя... Он открывает «отдел женщин», сам ведет его, руководит их тактикой по отношению их влияния на мужей, братьев и в особенности на многочисленных «воздохтаров», попросту любовников. Среди женщин появляются фанатические поклонницы Гапона, энергично работающие в его направлении... Гетеры-революционерки врываются в жизнь семей и где угрозами, а где обольщением принуждают стать активными деятелями».

Князь, думается, и сам понимал, что пишет чистейший вздор. Но соображения порядочности редко кого останавли-

ливают там, где речь идет о дискредитации политического противника.

Впрочем, роль Гапона уже и тогда не только разоблачали, но и пытались понять: «Поразительная судьба этого незадачливого человека, нечаянно очутившегося на один момент в центре бури, приподнятого как былинка Бог весть на какую высоту известности и брошенного куда-то во мглу». Это М. Меньшиков. А вот Н. Симбирский: «Но кто же сам Гапон? Какую роль он играл в этом деле? На этой первой ступени его активной деятельности по рабочему вопросу был ли Гапон провокатором, или скрытым революционером, или просто человеком, искавшим правды на земле и идущим к этой правде всякими, даже окольными путями?»

Историки первых советских лет — отдадим им должное! — получив в руки важнейшие документы о Гапоне, также не спешили «упростить» эту фигуру. С. Айнзафт, например, писал: «Хотя факт его связи с правительством и охранными сферами следует считать установленным, но характер этих связей и взаимоотношений его с охранкой не выяснен. Имеются данные, говорящие за то, что он не был простым агентом охраны, а вел какую-то двойственную политику».

Но затем наши историки и публицисты, поголовно числившие себя марксистами, в своих суждениях о Гапоне странным образом — и чем дальше, тем больше — стали смыкаться с монархистом Меньшиковым и черносотенцем Шаховским. А впереди всех, как и всегда в таких случаях, бежала литература.

Шли гулкой массой. Впереди
Распахивалась тень Гапона,
Крестовский остров подходил
К Неве, изрытой взмахом льдин...

Это — поэма П. Орешина «9 января». Столь же неумелыми виршами в ней повествуется дальше о том, как рабочие приходят на площадь, падают на колени, на балкон выходит Трепов, Гапон машет платком, Трепов тоже чем-то там машет, гремят выстрелы, и Трепов говорит: «Патронов не жалеть!»

Поэма вышла в 1925 году к юбилею событий 9 января. Журнал «Каторга и ссылка» тогда же характеризовал ее как «беспардонное вранье, к тому же лишенное каких-либо намеков на поэтическое вдохновение». Это было справедливо, но, увы, недостаточно. Ибо поэма знамено-

вала собой наступление не только низкопробной халтуры, но и новой «идеологии», согласно которой все хорошее могло совершаться только под руководством большевиков; а все то, что совершалось не «под руководством», было заведомо скверно.

Описывать, как попадали под власть этого идеологического примитива не только публицисты, но и серьезные историки, и даже мемуаристы, так же скучно, как и опровергать горы сочиненного ими.

А потому лучше оставить все это воздействию «мышиной критики» и заново перечитать то, что нам известно о Г. А. Гапоне вполне достоверно; заново попытаться понять, что это была за личность, какие пружины двигали ею, в чем состоял секрет ее необычайной судьбы.

Детство, юность и молодость Гапона известны нам почти исключительно по его собственным мемуарам. Они написаны в мае — июне 1905 года в Лондоне по заказу одного тамошнего издательства. В России они официально появились лишь после революции, но уже задолго до этого все упоминаемые автором конкретные обстоятельства были проверены дотошными и жадными до разоблачений журналистами. Поскольку эта жажда так и осталась неудовлетворенной, то можно считать, что перед нами заслуживающий доверия фактический источник. Другое дело — «подача», интерпретация в нем некоторых событий. Сыгранная в жизни «историческая роль» нередко толкает мемуариста на известную модернизацию событий собственной биографии, на выстраивание ее как закономерного и сознательного движения к заранее намеченной цели. Этого, естественно, не избежал и Гапон.

Георгий Аполлонович Гапон родился 5 февраля 1870 года в местечке Белик («село Беляка» — называет свою родину Гапон в мемуарах) Кобыляцкого уезда, в крепкой крестьянской семье. В 1905 году родители его были еще живы, отцу, Аполлону Федоровичу, было «приблизительно 70 лет, а матери около 60-и».

«Тридцать пять лет подряд его (отца. — В. К.) выбирали волостным писарем... Место это доходное, но отец мой никогда не брал взятки ни деньгами, ни натурой и, окончив службу, оказался беднее, чем раньше. Вопреки крестьянскому обыкновению отец никогда не бил детей», «...что касается матери, то ей я обязан прежде всего

моими религиозными взглядами. Сама она была безграмотна, но отец ее умел читать и, как человек чрезвычайно религиозный, большую часть времени проводил за чтением житий святых. Дед часто рассказывал мне о прочитанном, и это оказывало такое влияние на мое воображение, что, будучи 7- или 8-летним мальчиком, я часами простаивал перед иконами и, обливаясь слезами, молился о своих воображаемых грехах».

В мальчишеской душе религиозная экзальтация естественно сочеталась с пылкой фантазией и ранним честолюбием, порождая мечты о судьбе не совсем обыкновенной. Сама интенсивность религиозного чувства, казалось, возвышала его над окружающими и предрекала такую судьбу. Однажды дед рассказал ему, как святой Иоанн пленил черта и смог слетать на нем в Иерусалим. «Рассказ этот произвел на меня большое впечатление: я заплакал, но в то же время желал, чтобы и мне представился такой случай поймать черта».

Неизвестно, впрочем, что именно сыграло большую роль в решении Гапонов отдать сына в Полтавское духовное училище — его ли богомольность, или поговорка «поп — золотой сноп»... Зато в училище с ходу сумели оценить способности маленького Георгия, приняв его сразу во второй класс. Вначале он здесь несколько дичился, страдал из-за своей крестьянской одежды и «мужицких манер», мучился одиночеством, но и освоиться сумел достаточно быстро.

«В конце восьмидесятых годов я был воспитателем в полтавском духовном училище, — писал в 66-м номере «Освобождения» (22 февраля 1905 г.) Иван Михайлович Трегубов, — и Георгий Гапон был в числе моих учеников... Когда я его знал, ему было лет 15—17. Это был юноша умный, серьезный, вдумчивый, хотя очень живой. Он всегда был одним из первых учеников, отличался исполнительностью и большой любознательностью».

В шестнадцать лет Георгий пережил первый душевный кризис, вызванный как смертью любимой сестры, бывшей пятью годами младше его, так и драматическими обстоятельствами собственной жизни.

Среди преподавателей полтавской семинарии было тогда двое известных толстовцев. Это уже упомянутый И. М. Трегубов, а также Исаак Борисович Фейнерман (Гапон пишет «Фейерман», но это явная описка), позднее от толстовства отошедший и сотрудничавший в «Бирже-

вых ведомостях» под псевдонимом «Тенеромо». Получаемые от них запрещенные сочинения великого писателя производили впечатление столь сильное, что юный Георгий не мог удержаться от обсуждения их с товарищами. Кто-то из них доложил начальству. Гапону пригрозили лишением стипендии.

Это совпало по времени с потрясшим его известием о смерти младшей, горячо любимой сестры и вызвало острый приступ недовольства собою и желание немедленно переустроить собственную (а заодно уж и всего человечества!) жизнь на каких-то более возвышенных и разумных началах. Он решил отказаться от стипендии, зарабатывать на хлеб своими трудами и ни от кого более не зависеть. «Чтобы содержать себя, я стал давать уроки в богатых домах и у местного духовенства. Иногда мне приходилось жить летом в домах моих учеников, и это дало мне случай познакомиться с внутренней стороной жизни русского духовенства».

Сторона эта оказалась такою, что карьера священника совершенно потеряла для него всякую прелесть. Но что же делать, куда податься, где искать правду и как служить людям? «Целый год переживал я эту душевную муку, пока не заболел тифом и воспалением мозга. Я болел долго, и когда отец приехал навестить меня в лазарете, то сначала не узнал меня». После болезни он «стал менее посещать лекции в семинарии и все свободное время посвящал босякам и больным в окрестностях, помогал им как мог и говорил с ними о их жизни».

К весне 1893 года семинария осталась позади. Чего желать, какой путь избрать семинаристу, которого всерьез обуревают жажда служения народу, но не прельщает поповская ряса? В университет?.. Увы! Этот проверенный путь был для Гапона закрыт: из-за «грубой выходки по отношению к профессору В. Щеглову¹», ему достался диплом только второй степени.

«Некоторое время я жил уроками и занятиями статистикой в земстве... Дочь одного из состоятельных полтавцев, в доме которого я давал уроки, была дружна с одной хохлушкой, дочерью местного купца. Она окончила

¹ Н. Симбирский так описывает эту «грубую выходку»: еще в 4-м классе Гапон «вступает в богословские прения со своим профессором во время класса и жестоко обличает его в софизмах, в отступлении от истинных основ христианского учения».

гимназию, была очень умна от природы, красива, мила, хорошо воспитана. Я сразу обратил на нее внимание, и постепенно мы с ней сходились все ближе и ближе на почве взаимных занятий и желания служить народу. Она кое-что знала о революционных идеалах, но это не мешало ей быть религиозной». Девушка эта легко убедила своего поклонника, что священническая ряса способствует служению народу ничуть не хуже, нежели диплом врача. «Я решил сделаться священником, а она решила выйти за меня замуж, но осуществить этот брак было далеко не легко».

Выпускник семинарии, живущий случайными и скудными заработками, не казался, естественно, хорошей партией для купеческой дочки. Но юный Гапон обладал уже многими из тех талантов, что обеспечат ему успех в будущем. В том числе — решительностью и умением найти неожиданный, но психологически точный ход.

«Я тем временем пришел к епископу Иллариону, рассказал ему свою сердечную тайну, свое намерение сделаться священником и желание получить приход, если возможно, у себя на родине. Архиерей, всегда относившийся ко мне доброжелательно, и на этот раз был весьма добр. Он призвал к себе мать моей невесты и сказал, что знает меня и будет покровительствовать мне, когда я буду священником. Это решило дело».

Такая благосклонность Иллариона объясняется, вероятно, не столько естественным для пожилого человека сочувствием юной любви, сколько вышеупомянутым скандалом в семинарии, благодаря которому и сам Гапон, и его блестящие успехи в науках были прекрасно известны высокому иерарху. Возвращение же на путь истинный души заблудшей и раскаявшейся (да еще и талантливой к тому же) есть не только истинно христианское деяние, но и один из способов самоутверждения любой иерархической, бюрократизированной системы. Ведь не зря даже в застойнейшие наши времена для истинно блестящей карьеры всего выгоднее была биография как бы малость подпорченная, с таким еле ощутимым антисоветским зигзагом, но, разумеется, искренне преодоленным!

Н. Симбирский считает, что полученное Гапоном место священника кладбищенской церкви было «одним из самых доходных в Полтаве, и потому назначение это принесло Гапону массу врагов и завистников».

Но это, видимо, не совсем так. Своего прихода у кладбищенской церкви не было, а похоронные требы сами по себе обеспечить устойчиво высокий доход никак не могли. Юный поп и красавица попадья были, однако, искренне воодушевлены высокими идеалами, тепло бескорыстного служения людям согревало не только их самих, но и окружающих, пробуждая в них к тому же и нешуточную энергию. На «деньги, полученные с богатых похорон», сообщает Н. Симбирский, Гапон затевает «братства для бедных», которые и собирают в его церковь столько народу, что «духовенство решительно восстает и чуть ли не всем собором идет против этих братств. Братства закрыты».

Братства закрыты, но кладбищенская церковь уже стала самою модной в Полтаве, а горячие проповеди и благотворительные подвиги ее молодого священника — своего рода сенсацией городской жизни.

Но, увы, даже и это, отравленное завистью коллег, счастье улыбалось Гапону недолго. «У нас было двое детей — девочка и мальчик. После рождения мальчика жена моя серьезно заболела... жизнь ее гасла и гасла, и она умерла на моих руках... После смерти жены моей мне казалось, что все светлое отлетело из моей священнической жизни».

О своей любви и семье Гапон вообще рассказывает в записках очень скупое, почти мимоходом, но так, что не остается ни малейших сомнений в силе и глубине его чувства. Жена навсегда остается для него не только светлым воспоминанием, но и ангелом-хранителем — после смерти она несколько раз «являлась» ему то во сне, то даже наяву¹, всегда в самые решительные минуты подсказывая единственный выход и утешая. Понятно, что жизнь в Полтаве, где все так живо напоминало о погибшей любимой, быстро ему опостылела. «Я решил сделать попытку поступить в духовную академию в Петербурге. Я сообщил о своем намерении архиерею, и тот одобрил меня и сделал все, чтобы помочь мне. Затруднение заключалось в том, что поступающие должны были иметь отличный аттестат о поведении в семинарии».

Приехав в Петербург, он «ожидал увидеть мрачный

¹ Некоторые советские авторы, опираясь на воспоминания Гапона об этих «видениях», попытались изобразить его человеком психически не вполне нормальным. Мне кажется, однако, что тот, кому погибшая любимая не являлась хотя бы во сне, не столько «нормален», сколько просто обижен Богом, так и не пославшим ему настоящей любви.

город, окутанный дымом и туманом, населенный бледными, худыми, нервными, благодаря их нездоровой и неестественной жизни, людьми. Но стоял июль, день выдался светлый, солнечный, город мне показался в самом лучшем виде; всюду слышался веселый шум и кипела оживленная деятельность».

Историю его хлопот, его визиты к Саблеру и Победоносцеву — все это мы опустим, ибо и здесь успех Гапону обеспечили уже знакомые нам черты характера — дерзкая настойчивость в сочетании с вкрадчивостью и способностью находить в разговоре психологически неожиданные, но точные ходы.

«Накануне экзамена нервы мои совсем расстроились, руки дрожали до того, что я не мог держать пера. Когда я хотел проверить, знаю ли я предметы, то к ужасу своему увидел, что не знаю ни одного слова. В отчаянии я лег на постель и заснул. Снова мне явилась моя жена и поцеловала меня, и отчаяние мое прошло».

Экзамены были сданы отлично! Но изучение богословских наук могло, увы, занять лишь крохотный уголок его души. По-настоящему увлекало, становилось сутью и смыслом жизни совсем другое. «Однажды петербургский архиерей Вениамин, слышавший обо мне от преосвященного Иллариона, пригласил меня принять участие в миссии для рабочих, которая находилась при церкви на Боровой улице... Я увидел толпу бледных, угрюмых мужчин и женщин, плохо одетых, с печатью бесконечного страдания на лицах... Священник говорил им о заповедях и страшном суде. Я чувствовал, что подобная речь не может удовлетворить слушателей; им нужна была поддержка, они нуждались в прощении и христианской любви. Как могли они не быть слабыми и грешными, когда окружающая их обстановка была лишена какого-либо света и надежды. На следующем собрании миссионеров, где обсуждался дальнейший ход работы, я высказал свое мнение, что для укрепления работы миссии необходимо организовать рабочих для взаимной поддержки и кооперации, чтобы они могли улучшить экономический быт своей жизни, что я считал необходимой предварительной стадией для их нравственного и религиозного воспитания».

Здесь, быть может, самое время сказать о характере религиозных чувств Георгия Гапона. Это был человек, безусловно, искренне и глубоко верующий, но вместе с тем к философским основам и глубинам религии до-

вольно-таки равнодушный. Ближе всего его религия была к той традиционной крестьянской вере, суть которой он сам замечательно обрисовал, рассказывая о матери: «Несомненно, что религиозность моей матери была искренняя, но это не мешало ей во время семейной молитвы замечать все, что происходит вокруг, и если в это время свинья заходила в огород, она бросала молитву и бежала за ней».

В это вот конкретное, живое и для живых творимое добро Гапон веровал гораздо глубже и ярче, нежели в православные догмы. Другие священники-миссионеры считали, однако, что предметом их забот может быть только дух, но никак не плоть, не экономический быт и тому подобные вещи. В результате Гапон очень быстро почувствовал, что здесь он «ничего не сможет сделать народу, который призван наставлять». Разочарование было столь велико, что он даже заболел. Лечиться уехал в Крым, в Петербург вернулся только в октябре 1899 года.

«Услышав о моем приезде, Саблер пригласил участвовать меня в братской миссии той церкви, в которой он был старостой... Здесь я проповедовал о долге, о счастье, и вскоре моя паства настолько увеличилась, что здание не могло вместить ее. Часто собиралось более двух тысяч народу слушать меня. Но этого было недостаточно. Казалось мне, что *за словами должны следовать дела*, и я начал обдумывать, какой практический план я бы мог предложить народу для улучшения его жизни (выделено мной.— В. К.). Я посоветовал им организовать братство для взаимной помощи... Но Саблер отказался дать свое согласие (на организацию братства.— В. К.), может быть, из-за неблагоприятных отзывов обо мне, данных некоторыми из духовенства... После отказа я не считал возможным оставаться на своем месте».

Здесь, пожалуй, можно не только посочувствовать Гапону, но и понять его церковных гонителей. Если за проповедью должна следовать не молитва, не покаяние и просветление души, а организация, борьба за лучший быт и прочие сугубо мирские дела, то это, пожалуй, уже и не проповедь, а политическая пропаганда — не так ли? И если сам Гапон этого не понимает, то скорее всего потому, что политикой в России во все времена принято было именовать нечто непременно противоправительственное, тайное... Легальная же, лояльная по отношению к правительству политическая деятельность была

в империи не то что преследуема, но и вообще как-то немыслима, и даже сторонники очень умеренных реформ, даже политики, отнюдь не порывавшие в душе с существующим режимом, были принуждены изворачиваться, прятаться от самих себя, то именуя свою политическую деятельность земской работой, то объявляя ее духовным служением... Вообще чем угодно, но только не политикой. И уже это одно безмерно искажало их политические идеи.

На втором курсе академии Гапону предложили место главного священника во втором приюте Синего Креста¹, а также законоучителя в Ольгинском доме². Место вполне обычное. Достаточно сказать, что вторым священником в приютской церкви был однокашник Гапона М. С. Попов, по воспоминаниям которого мы и можем составить себе представление о не совсем обычном поведении Гапона в этих обыкновенных для студента духовной академии должностях.

С детьми Гапон охотно играл в лапту, в церкви организовал вокальное трио, к бедным прихожанам ходил пить чай со своим чаем и сахаром... Благотворительская его деятельность также была необычна.

«Однажды,— пишет М. Попов,— сторож доложил ему утром, когда он еще после сна не выходил из комнаты, что его спрашивает какой-то босяк.

— Что ему надобно?

— Он просит сапогов: не в чем, говорит, ему ходить.

— Так отдай ему сапоги, которые я выставил за дверь.

— Нельзя. Там стоят ваши новые штиблеты.

— Вот их и отдай!

— Но ведь за них заплачено 12 рублей.

— Отдай их!

Сторож с сожалением осмотрел новенькие штиблеты и отдал счастливцу.

Гапону в то утро подали дамские туфли, и он носил их долго-долго, появляясь даже в академии».

Неудивительно, что паства столь необычного батюшки быстро увеличивалась. Приютская церковь сделалась

¹ Синий Крест — общество попечения о бедных и больных детях. Васильевский остров, 22-я линия, дом 11.

² Ольгинский дом — приют для трудолюбия св. Ольги. Васильевский остров, угол Среднего проспекта и 23-й линии.

модным местом. «Видя успех его проповедей, начальство души в нем не чаяло. Он всех словно околдовал. Ему приносили корзины фруктов и вин,— не без зависти сообщает М. Попов.— В приюте не полагалось квартиры для духовенства, но для Гапона сделали исключение». Но и здесь главным предметом его забот стала не приютская паства, а босяки и бездомные, обитавшие на обширных свалках Гаванского и Девичьего полей, по которым пролегали его обычные каждодневные маршруты.

«Часто на своем пути я останавливал этих несчастных, знакомился и разговаривал с ними и помогал им, чем мог. Их печальная судьба глубоко меня трогала. Стал (вместе со своими подопечными.— В. К.) скитаться по частным ночлежкам, иногда даже устраивая там церковные службы... Конечно, было неизбежно, что в конце концов эти сведения о моей деятельности дойдут до полиции. Однажды градоначальник Петербурга генерал Клейгельс предложил мне явиться к нему в канцелярию. Он спросил меня, чем я занимаюсь. Я сказал ему, что я пытаюсь найти способ, каким можно было бы возвратить этих несчастных людей к честной и порядочной жизни. Я добавил, что собираюсь писать доклад о всех своих заключениях и предложениях, а он, делая вид, что все это его очень интересует, и видя, что у меня никаких политических целей в работе нет, отпустил меня».

Если вспомнить, что некоторые революционные группы (те же махаевцы, например) именно в босяках — слово это означало тогда людей в основном спившихся, сошедших с круга, вроде обитателей ночлежки в горьковском «На дне»,— и вообще в люмпен-пролетариате склонны были видеть ударную силу будущей революции, то беспокойство градоначальника станет вполне понятным. Но вернемся к Гапону.

«Я написал обширный доклад на тему о возрождении этих несчастных посредством устройства целого ряда рабочих домов в городах и рабочих колоний в деревнях... В докладе я наметил три типа подобных учреждений. Одни служили для принудительных работ преступников... Оказавшиеся достойными переходили бы в другие дома или колонии, где кооперативный принцип применялся бы более широко. Здесь работающим могло быть предоставлено право выбора своих должностных лиц для ведения работ мастерской или колонии. Половина заработка считалась бы собственностью работающих. Эта ступень

имела бы большое воспитательное значение и подготовила бы работников для высшей ступени рабочих домов или колоний, которые практически были бы свободными кооперативными предприятиями. Почти весь заработок принадлежал бы членам...»

Зубатов, высокомерно не пожелавший читать этот проект «из-за странности темы», явно был не совсем прав. Проект интересен. Он учитывает психологию человека, на поведение которого решающее влияние всегда оказывает прежде всего ближайшая, реально ощутимая перспектива — а трехступенчатое построение с усилением элементов свободной кооперации на каждой следующей ступени и создает такую перспективу для каждого... Кстати, по этому проекту никак не похоже, чтоб «о существовании литературы по профессиональному рабочему движению» Гапон ничего не слышал. Ведь о кооперации он начитан совсем неплохо, а области эти тесно взаимосвязаны. Хотя весьма возможно, что в беседах с Зубатовым он отнюдь не стремился обнаружить эту свою начитанность.

Но не будем забегать вперед. Пока что гапоновский проект готов, обсужден «со многими безработными» (среди них даже собрано свыше 700 подписей), переписан набело приютскими девочками, обожавшими своего необычного батюшку, и представлен двум генералам — уже знакомому нам Клейгельсу и Максимовичу, заведующему «всеми рабочими домами, состоящими под покровительством императрицы». И оба генерала очень довольны. Максимович даже приказал проект перепечатать и послал экземпляр Танееву, а тот — самой императрице, которая «пожелала, чтобы он был обсужден в комитете в ее присутствии» и с приглашением автора. «Успех моего доклада так ободрил меня, что я хотел посвятить разработке этого вопроса всю свою жизнь».

Увы, отнюдь не мечтавший об изменении российской монархо-бюрократической системы, воспитанный на ее принципах и многие из них впитавший чуть ли не с молоком матери, Гапон плохо понимал самую суть этой системы, как, впрочем, и большинство из тех, чьими усилиями она держалась.

Среди множества иллюзий и мифов, питающих их политическое сознание, миф о всесии и суверенности монаршей воли был одним из самых стойких. Но в практической деятельности системы явно выраженное одобре-

ние самой императрицы (да хоть бы и императора!) ровно ничего не стоило. Проект мог понравиться кому угодно, но если он противоречил самому существу системы, она отторгала его почти автоматически. Шел месяц за месяцем, а ни малейших практических шагов по его осуществлению не предпринималось.

Зато система умела при необходимости заглаживать свои тычки и пригревать своих неудачников. Пока проект лежал без движения, самого Гапона стали приглашать в салоны титулованных особ, близких к придворным кругам, где он вскоре совсем освоился... «В обществе этом была одна женщина, которую я глубоко уважал. Это была Елизавета Нарышкина, старшая гофмейстерина при императрице. Женщина добрая и умная, она была основательницей многочисленных благотворительных учреждений, вполне удовлетворяющих своему назначению. Она приглашала меня к себе, и мы подолгу разговаривали. Благодаря ей я стал идеализировать императора Николая II... Она уверяла меня, что знает его как своих детей и отзывалась о нем как о действительно добром, честном человеке, но, к сожалению, совершенно бесхарактерном и безвольном».

Впрочем, великосветские знакомства и покровительство некоторых «титулованных особ» ничего нового, кроме новых конфликтов и неприятностей, в жизнь Гапона не принесли.

Один из советских авторов 30-х годов, Д. Венедиктов, писал об этом следующим образом: «К этому времени (1901—1902 гг.) относится и «какая-то таинственная история», которая послужила причиной увольнения Гапона от должности священника приюта и исключения его из числа студентов академии. Веселый, жизнерадостный вдовый священник был не чужд и светских удовольствий; он любил жизнь в наиболее элементарных ее формах: комфорт, роскошь, блеск, женщины и др. — все, что можно было купить за деньги. Его красивая наружность, его живые, сверкающие огнем глаза, красивый и умный лоб давно обращали на себя внимание дам-патронесс приюта и воспитанниц, почему он стал предметом «обожания». Насколько близко принимал он к сердцу интересы своих воспитанниц, можно судить по следующему свидетельству Хитрово, одной из его «высокопоставленных» попечительниц: «...несколько раз он каким-то образом ухитрялся попасть в спальню к девушкам, однажды

он встретил какую-то из них и отправился в меблированные комнаты».

Сколько ни сталкиваешься, а все не перестаешь удивляться «истории», в которой, ради «правильного идеологического освещения», в ход шло все, вплоть до сплетен, и замалчивались только документы (к моменту выхода в свет книги Венедиктова давно и прекрасно известные).

На самом деле ничего «таинственного» в истории увольнения Гапона нет: здесь просто тесно переплелись личная драма и разные интриги, в механизме которых и сам Гапон, видимо, разобрался не сразу.

Сначала — о личном. В том, что тридцатилетний вдовец влюбился в одну из воспитанниц приюта, равно как и в том, что она ответила ему полной взаимностью, ничего безнравственного, а тем более — таинственного, разумеется, не было. Но, поскольку для православного священника повторный брак невозможен, простор для сплетен открывался почти безграничный.

Отношения же Гапона с приютскими попечителями действительно ухудшились, но по иной совершенно причине. Княгиня М. А. Лобанова-Ростовская предложила ему место священника в Красном Кресте. Попечителям Синего Креста это, естественно, не понравилось, ибо уход популярного священника мог сказаться и на доходах, и на авторитете приюта. Пошли всякие контры и ссоры. 2 июля 1902 года Гапон, уже точно зная, что будет уволен, произнес прощальную проповедь о своей обиде: «Братцы, меня отсюда выгоняют, но это ничего. Я здесь был мучеником; но за все мои страдания Господь услышал мою молитву и послал место. Это недалеко отсюда. Приходите туда». Закончил он трогательно: «Прощай, святой престол, где я молился, прощайте, стены, вмещавшие моих слушателей, святые иконы, прощайте и вы, теснившиеся ко мне, как пчелы к матке, прощай решетки, сдерживавшие напор моих слушателей...» Он «почти дословно повторил одну из лучших речей Григория Богослова».

Последний упрек М. Попова совершенно справедлив, но... кто же из священников не пользовался при сочинении проповедей риторическими приемами Григория Богослова? А вот жаловаться на начальство было, конечно, не принято. И всего вероятней, что именно это в речи Гапона и произвело столь сильное впечатление, что какое-то время «приютскому начальству нельзя было ни пройти, ни проехать: его бранили, в него летели камни. Приходилось

считаться уже не с Гапоном, а с возбужденною, озлобленною массою» (М. Попов).

Через несколько дней после этой речи Гапон уехал в Полтаву вместе с окончившею курс воспитанницей Александрой Уздалевой, которая стала его гражданской женой. 17 июля он был официально уволен от должности настоятеля одновременно с начальницею приюта г-жой Богдановой, «самовольно» выдавшей ему документы Уздалевой.

В официальном отчете Общества попечения о бедных и больных детях за 1902 год, как вероятно, и в докладе попечителей епископу Иннокентию, замещавшему тогда митрополита Антония, о недовольстве прихожан не было, разумеется, ни слова... Зато фигурировали «9 случаев, когда родственники забирали воспитанниц», и сообщалось, что «все эти случаи, во-первых, имели, если можно так выразиться, эпидемический характер в продолжение августа и сентября месяцев и, во-вторых, сопровождались странной поспешностью и непонятым смущением как родственников, так и воспитанниц».

Всего-то полфразы — и форма протеста прихожан против увольнения Гапона превращена в доказательство его безнравственности. Охотно поверив в столь большие производительные возможности вдового священника, епископ Иннокентий уволил Гапона заодно и из академии, — Гапон с молодой женой фактически оказался на улице и без куска хлеба.

В своих записках Гапон высказывает предположение, что эта интрига против него была инспирирована сенатором Аничковым (Александром Милюевичем), членом комитета Главного попечительства детских приютов. Несколькими месяцами раньше, когда гапоновский проект стремительно продвигался «на самый верх» и его автор вот-вот, казалось, будет представлен императрице (а какое влияние может приобрести на нее красноречивый и странный поп, многие понимали), Аничков усиленно «ласкал» приютского батюшку, приглашая его к себе и ведя весьма откровенные беседы под водочку. Но стоило проекту надежно застряť, как отношения тотчас переменялись! Впрочем, приютские попечители могли действовать и самостоятельно — причины у них были. Зато уж другой ход против Гапона — донос охранному отделению — полностью на совести почтенного сенатора.

В один прекрасный день к ничего не подозревавшему

Гапону «явился один из высших чиновников этого отделения Михайлов». Так началась долгая и рискованная игра Гапона с охранкой. Не надо, разумеется, понимать это так, что он был немедленно «заагентурен» и пр. Дело обстояло проще и будничней... Гапон, разумеется, постарался объяснить, что ничего противоправительственного, революционного ни проект его, ни его проповеди не содержали, а Михайлов, охотно ему поверив (в чем тоже нет ничего подозрительного, ибо сие так и было), написал благоприятный отзыв... Игра началась, так сказать, «этажом выше», когда отчет, представленный начальству охранному, оказался почему-то под рукой у начальства церковного. «Митрополит Антоний, тем временем вступивший в отправление своих обязанностей, принял меня и восстановил в звании священника и ученика академии, и я снова стал принимать у себя своих друзей-рабочих».

Разумеется, хотя Гапон об этом и умалчивает, ему дано было понять, **кому** должен быть он благодарен. Но и тут не стоит еще все поминать о коготке, который, ежели увязнет... Не стоит хотя бы потому, что Гапон к этому времени уже мало похож на безобидную птичку. На лету усваивая уроки жизни, он быстро превращается в сильного и осторожного зверя, неплохо понимающего законы родных джунглей.

«Однажды Михайлов приехал ко мне в академию и сказал, что одно лицо желает со мной познакомиться, и просил меня немедленно ехать к нему... «Вы сейчас увидите Зубатова», — сказал мне Михайлов. Я в это время ничего не знал ни о департаменте полиции (так уж и не знал? Лукавит батюшка. — В. К.), ни о Зубатове, всесильном начальнике политического отделения. Мое любопытство было сильно возбуждено... „Мой коллега Михайлов, — сказал Зубатов с приветливым движением руки, — хорошо отзывался о вас. Он говорит, что вы в постоянном общении с рабочими, имеете свободный к ним доступ и оказываете на них большое влияние. Вот почему я так рад познакомиться с вами“».

Сопоставляя зубатовскую и гапоновскую версии этой беседы, ясно видишь, что Гапон уже чуял некую для себя опасность, понимал уже, что коготок-то увяз... И потому старался благоразумно не делать никаких резких движений, чтоб ненароком еще сильнее не запутаться. Оттого, вероятно, протачком и прикидывался:

«в политике совсем желторот», по рабочему вопросу ничего не читал... И Зубатов, не слишком, видимо, коллеге Михайлову доверявший, поспешил отодвинуть Гапона в запас, приставив к нему одного из своих «подручных» — Илью Сергеевича Соколова. Чтоб, значит, и под ногами не болтался, но и совсем не исчезал: вдруг понадобится?

«В тот же вечер Соколов пришел ко мне. Человек этот был в руках Зубатова и правительства сильным орудием в деле создания союза московских рабочих под наблюдением и управлением тайной полиции, и в Петербурге он был видным деятелем на этом же поприще».

Тут следует уяснить один момент.

Зубатов, как помним, утверждал, что в сотрудничестве Гапона ничуть не нуждался, что хитрого попа ему навязали, а для чего — это он понял только при своем увольнении: Гапон должен был по поручению Сазонова за ним шпионить. На Сазонове действительно лежала малоприятная обязанность информировать Клейгельса о «рабочих затеях» своего шефа — это мы знаем по документам. Но возложена эта обязанность была на него лишь в начале 1903 года. Гапон же появился среди зубатовцев, как минимум, на полтора-два месяца раньше.

Скорей всего, Михайлов привел Гапона к Зубатову именно как одного из возможных сотрудников. Окунуться в новое дело Гапон, однако, не поспешил. Ходил осторожно вокруг, что-то про себя прикидывал, то притворяясь простачком, то озадачивая Зубатова софизмами, ездил в Москву знакомиться с тамошней постановкой дела, написал даже доклад и даже от предложенных за него денег не отказался, но непосредственно в дело, в организацию все никак не вступал, держался на ее периферии. Опять же: будь он действительно сазоновским агентом, для слежки и «освещения» приставленным, ему, конечно, было бы сподручней стать непосредственным участником движения. А он все ходил вокруг, по краешку...

Чем же все-таки была вызвана эта полугодовая гапоновская нерешительность? Только ли тем, что и коготок не вывязать было, и птичке пропадать не хотелось? Или же в этом, откровенно полицейского происхождения, рабочем движении что-то его не только отталкивало, но и привлекало? Какие-то виделись в нем возможности? Похоже на то.

«После долгих колебаний я решил, несмотря на испытываемое мною отвращение, принять участие в на-

чальной организации и попытаться, *пользуясь Зубатовым как орудием*, постепенно забрать контроль в свои руки (выделено мною.— В. К.)... Я полагал, что, начав организацию рабочих для взаимной помощи под покровительством властей, я могу одновременно организовать и тайные общества из лучших рабочих, которых я воспитаю и которыми я буду пользоваться как миссионерами, и таким образом мало-помалу направлять всю организацию к желаемой цели».

Так рассказывает Гапон. Но не «спрямляет» ли он свой путь, делая вид, будто всегда желал именно того, что после и вышло? Попробуем это проверить. В воспоминаниях Варнашова обращает на себя внимание следующий эпизод: «Весною 1903 года я сделал попытку примирить Соколова с Пикуновым (в разладе между этими деятелями и виделся ему главный тормоз.— В. К.), для чего воспользовался днем моих именин и — заручившись содействием Гапона — просил всех собраться у меня». За выпивкою выяснилось, что каждый из названных «деятелей» озабочен прежде всего тем, чтобы доказать свое первенство «некому Сергею Васильевичу», и Варнашов, почти еще не догадывавшийся о закулисной, полицейской стороне дела, двинул свою главную идею: вот-де, если бы за дело взялся батюшка... «Но я плохо рассчитал. Мои слова встретили заметную неприязнь со стороны Соколова, некоторое выражение неожиданности от Пикунова и энергичный протест со стороны Гапона. Он ссылается на предстоящие экзамены, на подготовку к которым уходит все время, но советом рад помогать и его двери открыты для нас днем и ночью».

Примерно к этому же времени относится и эпизод из воспоминаний А. Карелина:

«В то время стали открываться чайные и столовые общества трезвости. В этих столовых и чайных духовенство и вело пропаганду против пьянства. Наша компания печатников приходила обычно по вечерам, занимала излюбленный столик, баловалась чайком и вступала в споры с попами. *Гапон обратил на нас внимание* (выделено мною.— В. К.). Среди нас был молодой паренек, рабочий Егоров. Он особенно часто и резко выступал против духовенства, и за это его выслали в Архангельскую губернию. Эти выступления и обратили внимание Гапона на нас... И вот как-то раз он подсел к нам. Завязался разговор. Из разговора мы убедились, что

Гапон не такой, как все священники. Познакомились ближе и 9 мая сошлись на квартире у Варнашова.

Гапон много говорил и высказал мнение, что нужно отвлечь рабочих от чайных трезвости, от дурного влияния попов. Говорил он и о том, что нужно устроить свое рабочее общество, свой клуб и чайную».

Вспоминает о 9 мая и сам Гапон: «8 мая 1903 года пять плотников, умных и честных, пришли ко мне в академию... Они доказывали мне необходимость примкнуть к зубатовской организации для того, чтобы использовать ее в своих целях. Затем мы снова встретились в квартире одного из этих рабочих¹, и после долгих убеждений я уступил. Тогда мы и организовали тайный комитет».

Каждый, естественно, все вспоминает по-своему, однако же несомненно, что к маю 1903 года в уме Гапона уже созрел некий план использования зубатовской организации не совсем в зубатовских целях. Но — в каких? И как? Что именно собирался предпринять «тайный комитет», созданный 9 мая? Перехватить руководство организацией? Но тогда Гапон и Карелин должны были бы поспешить со вступлением в ее ряды. Или — создать свою, параллельную? Но уж этого бы Зубатов, конечно, не допустил, а в мае надеяться на его падение не было еще никаких оснований...

Скорей всего, какие-либо конкретные планы вызрели все-таки позже, и именовать заключенный 9 мая союз «созданием тайного комитета» можно только при большом желании выдавать себя за «старого революционера». Но безусловно, что среди надежд и планов, объединивших тогда пятерых приятелей, возможность некой тайной работы под прикрытием зубатовского союза играла далеко не последнюю роль.

Характерно, что именно с этой возможностью, с этими надеждами Гапон связал и собственные житейские планы. Учеба его подходила к концу. «Митрополит Антоний предложил мне место в провинциальной семинарии, но так как я решил посвятить себя деятельности среди рабочих, то я отказался и остался в Санкт-Петербурге».

Вот здесь-то, в Петербурге лета 1903 года, накануне неожиданного падения Зубатова, мы, пожалуй, и прервем

¹ Это и было то совещание 9 мая на квартире у Варнашова, среди участников которого в других источниках называются также Карелин, Васильев, Кладовиков.

изложение гапоновской биографии, чтобы попробовать определить, что же за человек был наш Георгий Аполлонович.

Пожалуй, не приходится сомневаться в искренности и горячности его сочувствия рабочим и всему бедному люду. Более того: как ни освоился он на бюрократических «верхах», а своими для него всегда оставались люди «низов», даже дна... Именно здесь он был дома. И именно на эту среду были ориентированы не только его деятельность, но и его нравственные принципы.

К ним-то и следует присмотреться, их-то нам и надо понять.

Гапон рассказывал И. Павлову: «Еще юношей попал в тюрьму, там я многое узнал, и там я получил, как и все попадающие туда, практическое политическое воспитание. Я увидел, что обыкновенными путями, т. е. честными, ничего не поделаешь. По-моему, путь, т. е. тактика наших революционных партий слишком прямолинейна, слишком прозрачна, так прозрачна, что сквозь нее все видно, как на ладони. Правительство же в достижении своей цели ничем не церемонится и никакими средствами не брезгает. К тому же и аппарат для борьбы в виде полиции и прочего в распоряжении правительства имеется неизмеримо лучший, чем у всех партий вместе взятых; силы далеко не равны — их надо уравнивать. Помимо организации масс необходимо еще кое-что».

Маленькая деталь: ни в автобиографии Гапона, ни в других документах про тюрьму, в которую он попал юношей, нет ни звука. Подробность явно выдумана на ходу, вящей убедительности ради.

Впрочем, как сообщает анонимный автор «Русского богатства», познакомившийся с Гапоном уже в эмиграции, тот и вообще «не стеснялся, когда ему казалось нужным, прибегать к самой грубой лжи, и нисколько не смущался, когда его обличали в ней. Помню такую сцену. Один из социалистов-революционеров упрекнул его, что он тайно ведет какие-то переговоры с Лениным.

— Да я его в глаза не видел! — воскликнул он гордо.

— Но я сам ведь видел вчера, как он вышел из вашей комнаты.

Гапон расхохотался и, хлопнув собеседника по колену, воскликнул весело:

— Ну-ну! Ничего-ничего! Видели — значит, так и надо! Ха-ха!»

А вместе с тем были люди — тот же А. Карелин или Н. Варнашов, — для которых Гапон до конца жизни оставался образцом честности и доброты, несмотря даже на то, что они были прекрасно осведомлены о его сношениях с охранкой. Кто же прав? И в чем тут дело? Не в том ли, что в обоих вышеприведенных случаях Гапон беседует с интеллигентами, т. е. людьми явно для него «не своими»?

В социально ущемленных слоях любого общества неизбежно формируется такое вот четкое деление мира на «своих», с которыми надо жить по-божески, и на «чужих» — обидчиков и супротивников, по отношению к которым дозволено если и не все, то очень многое. «Чужих» и обмануть не грех, и унижение перед ними не унижает, особенно если оно еще и выгодно...

Это революционер-интеллигент мог считать, что всякое общение с охранкой позорно. Гапон же не был стреножен такими максимами. Взять у Зубатова деньги? Да отчего ж и не взять, если от этого выйдет польза для своих, для рабочих?..

«Получалась, например, такая психология: сидит Гапон, например, у всесильного и грозного министра фон Плеве, беседует с ним, и министру кажется, что перед ним преданнейший слуга режима, который за деньги готов служить ему до конца дней своих.

Гапон оставляет министра в этом блаженном неведении, ибо ему нужно **сделать дело** через этого министра и ему глубоко безразлично, что в данную минуту министр о нем думает. Важно, чтобы он **сделал то, что нужно Гапону и рабочим** в настоящее время» (Н. Симбирский).

И еще одно воспоминание. «Во взгляде этих глаз, — писала о Гапоне Л. Гуревич, — была какая-то бездонность, глубина неоформленной стихии; этот взгляд не был твердым и не выражал чего-то своего, как бывает у крепких волевых натур с определенным идейным содержанием; и он не впивался в глаза собеседника, а как бы впивал его в себя».

Да, в отличие от того же Зубатова и вообще от большинства как революционеров, так и reactionеров, Гапон не был носителем какой-то определенной идеологии... В эмиграции над ним посмеивались. «Однажды

кто-то шутя сказал ему: «Вот, постойте, восторжествует революция — и вы будете митрополитом». Гапон, загадочно улыбаясь, серьезно ответил: „Что вы думаете, что вы думаете! Вот дайте только одержать победу — тогда увидите!“». Его представления о послереволюционном будущем ограничивались, пожалуй, вполне бесхитростным пожеланием: чтоб все было так же, только намного лучше. Тем не менее ошибались те, кто считал, что «у него вообще не было никаких определенных взглядов и убеждений. Все зависело от настроения, последней встречи и последней политической комбинации... Его сочувствие той или иной партии определялось прежде всего отношением представителей этой партии лично к нему». Таким Гапон стал уже в эмиграции, вырванный из окружения «своих», из питавшей его почвы их воли и чаяний. Возможно, именно поэтому он как личность и деградировал столь стремительно. В Петербурге же, среди рабочих, среди «своих», эта его податливость всем вместе и никому в особенности или отсутствие того, что именуется цельным мировоззрением, отнюдь не делали его личностью мелкой и незначительной. Наоборот! Именно это-то и позволяло ему резонировать на все изменения настроений и ожиданий окружающих. Он легко, естественно резонировал на любые эмоции толпы, подхватывая их и возвращая ей усиленными, облаченными в привычные одежды церковной риторики. Интеллигенты считали его скверным оратором (это многажды отмечено), зато рабочие слушали затаив дыхание, ибо в сущности слушали сами себя, свои стремления и думы, даже свои предрассудки... Его дальние планы частенько бывали наивны до смешного, но в определении завтрашнего шага он не знал себе равных, ибо всегда точно ощущал, куда *желает* шагнуть толпа.

Отсутствие твердых нравственных правил, рабский прагматизм во взаимоотношениях с властями (а раб, власть господина над которым вполне безгранична, и сам не ограничивает себя в отношениях к нему ни честностью, ни добросовестностью — порой лишь за счет этой изворотливости и может существовать!), отсутствие определенной идеологии, определенных планов будущего, принципов, по которым оно должно строиться, и в то же время горячее сочувствие страдающим и бедным, искренняя готовность поделиться с ними последними сапогами и последним рублем — и в этом же лукавое

актерство, одновременная готовность и к искреннему порыву души, и к лицедейству, безошибочное интуитивное понимание законов бюрократической машины и психологии масс... Все это вместе и есть Гапон — человек, сформированный своим временем и своей страной и неожиданно (отчасти и для себя — неожиданно) против них восставший; человек, переживший мгновение истинного душевного величия и затем стремительно низвергнувшийся в позорное духовно-нравственное ничтожество.

Глава вторая

Гапоновское собрание: механизм эволюции

«Зубатовщина роди гапоновщину, гапоновщина роди ушаковщину...» Несть числа газетным и журнальным статьям, повторявшим в начале века эту хлесткую формулу. Встречались, впрочем, и другие, и не намного реже. Например: «Была каракозовщина, была нечаевщина, была дегаевщина, была зубатовщина, нарождалась гапоновщина, родилась милюковщина-жидовщина».

Их популярность неудивительна: одна из распространеннейших иллюзий человеческого ума в том и состоит, что любое явление, поставленное в ряд сходных и взаимопроникающих, уже кажется нам осмысленным. А ведь подобных рядов всякий раз можно выстроить сколько и каких угодно! Для того чтобы превратить эти ряды из праздной игры ума в действенный инструмент познания, их, как минимум, нужно дополнить «формулой перехода» одного явления в другое: что и почему при этом утрачивается, что и как приобретается...

«Зубатовщина роди гапоновщину...» Несомненно! Но чтобы понять действительную связь этих явлений, нужно поставить еще целый ряд вопросов и попытаться на них ответить. Например: 1) Почему «верхи», несмотря на свой печальный опыт, не только допустили создание новой рабочей организации, но и длительное время ей покровительствовали? 2) Почему «низы», несмотря на опыт не менее печальный, в эту организацию пошли? 3) На что надеялись и чего ждали те

«интеллигентные и развитые рабочие», что составили «кружок ответственных лиц»? 4) На что мог рассчитывать сам Гапон?.. И т. д.

Конечно, любителям размашисто-глобальных исторических построений это разгадывание малейших подробностей давно прошедшего может показаться занятием скучным. Но, по-моему, дело обстоит как раз наоборот: лишенная подробностей история лишается и всякого интереса. Ведь только в подробностях может быть сохранена та живая жизнь, которая делает для нас минувшее кровно близким. Во всяком случае, найти ответ на каждый из перечисленных вопросов — значит, по-моему, не только продвинуться в понимании предыстории революции, но и проникнуть в тайну определенного механизма политической жизни масс — механизма, способного самовозрождаться и действовать в разное время и в разных условиях.

Начнем с «верхов», с Плеве. Его расправа с Зубатовым, как знаем, диктовалась отнюдь не пониманием опасностей зубатовщины. Напротив, расправившись с Зубатовым, он мог считать, что тем самым устранил уже наиболее опасные недостатки зубатовщины, открыл путь для того «исправления» легального рабочего движения, на котором настаивали наиболее авторитетные авторы поданных ему проектов «решения рабочего вопроса».

Еще в конце 1902 года академик И. И. Янжул, например, добился у него аудиенции, чтобы представить следующий проект «переустройства фабрично-заводского быта»:

«1) создание союзов для защиты интересов рабочих и для улучшения условий труда и вообще рабочего быта;

2) свободное разрешение рабочим стачек и забастовок, кроме случаев, где этому противоречат важные государственные или экономические интересы;

3) так как министр финансов должен заботиться о возможном удовлетворении интересов фабрично-промышленного класса предпринимателей... то всего удобней... заботу о наилучшем удовлетворении выгод рабочих возложить на ведомство, которому доверено создание благополучия народа и наблюдение за порядком, то есть на министерство внутренних дел».

Заметить тут явные переклички с тем, что пропагандировалось «командою Плеве» (Лопухиным и др.) под

названием «широкой реформы», совсем несложно, а потому и ничуть не удивительно, что Плеве отнесся к этому проекту весьма благосклонно и даже предложил Янжулу возглавить некое «ведомство труда» под эгидой МВД. Но ведомство это так и не родилось; создана была только группа статистиков для составления справки «о численности рабочих в России, об условиях из жизни и тех нуждах трудящегося населения, какие возможно было бы устранить при сохранении существующего самодержавного строя». По рекомендации Янжула ее возглавил известный либерал А. В. Погожев, оставивший воспоминания о Плеве, один эпизод из которых весьма любопытно и полезно проанализировать именно в связи с поставленными нами вопросами.

«За три дня до катастрофы я застал его (Плеве. — В. К.), 12 июля 1904 года, особенно грустно-задумчивым, сосредоточенным на какой-то затаенной мысли, видимо его удручавшей. Помолчав некоторое время, он предложил мне следующий вопрос: «Я убедился, что вы основательно изучили рабочий быт и хорошо осведомлены относительно его современных условий... Скажите, какого вы мнения о так называемой «зубатовщине», и могла ли она повлиять на общий ход революционного движения в России?»...

Я должен был дать министру следующий ответ: «Зубатовщина внесла страшную деморализацию. Не пройдет и двух-трех лет, рабочий вопрос вырвется на улицу и произойдет столкновение, последствия которого никто не в состоянии учесть...» Плеве, который стал еще более задумчивым, после довольно продолжительного молчания заметил: „Да, вы правы... Я и сам теперь вижу, что преждевременно было вызывать такое движение среди русских рабочих...“».

Заметим, во-первых, что реакционный министр и либеральный статистик, беседующие столь любезно и почти во всем соглашающиеся друг с другом, по сути, совершенно друг друга не понимают, находясь как бы в разных понятийных системах.

«Зубатовщина внесла страшную деморализацию», — говорит либерал, имея в виду искажение облика реально существующего рабочего движения, внесенный в него разврат двойной морали и полицейщины... Соглашаясь с ним, консерватор, по сути, утверждает нечто совершенно иное: Зубатов *вызвал* рабочее движение, и вызвал

его *преждевременно*. Следовательно, и деморализация этого движения, с чем он согласен, есть для него нечто иное, не то, что имеет в виду Погожев. Но что же?

Тремя месяцами ранее Плеве убеждал Куропаткина, что он «и не думает идти путем ретроградным. Что путь ему представляется ясным. Что прежде всего надо *поднять значение церкви*. Увеличить значение *прихода* (выделено мною. — В. К.). Затем надо поднять достаток сельского населения. Если эти цели будут достигнуты, то он надеется остановить поток недовольства».

И надо заметить, что в *воображении* Плеве все это (по крайней мере в отношении рабочего движения) было *реально осуществляемым* планом, приносившим до самого последнего момента *реальные плоды*: кто мог, например, оспорить, что под непосредственно полицейским руководством Зубатова легальное рабочее движение приводило к опасным всплескам недовольства (вот уж, по Плеве, воистину — деморализация!), а замена Зубатова священником Гапоном привела к успокоению рабочей среды?

Во-вторых, хотя под пером Погожева Плеве и предстает государственным деятелем, всерьез размышляющим о столь серьезном политическом явлении, как зубатовщина, мы именно на основании погожевских мемуаров можем утверждать, что это не так, что перед нами всего лишь *примитивно-бюрократическая* реакция на только что полученную *бумагу*, ибо, в отличие от Погожева, знаем бумагу, которой были продиктованы заданные ему вопросы министра. Это — письмо из управления московского генерал-губернатора, посланное 6 июля 1904 года и, следовательно, полученное министром за два-три дня до разговора с Погожевым. В письме сообщалось, что «19 минувшего июня прибыл из Санкт-Петербурга в Москву настоятель церкви, что при Доме Предварительного заключения в Санкт-Петербурге, священник Георгий Гапон, который, не испросив надлежащего разрешения, немедленно по приезде своем в столицу, начал посещать районные собрания рабочих г. Москвы», и что «при этом священник Гапон рекомендовал руководителям московских рабочих организаций выбрать из среды своей одного представителя, по возможности из интеллигенции, который бы и служил посредником между рабочими Москвы и Санкт-Петербурга по делам организаций, помимо участия в этой

связи местной административной власти», что «является крайне вредным и подрывающим... в глазах рабочих престиж власти».

Если министр всячески желает «поднять значение церкви», а священник, которому он вполне доверял, вдруг начинает «подрывать престиж власти», то, согласимся, министру есть о чем призадуматься.

Мы, однако же, знаем, что, даже призадумавшись, министр ограничился переданным через Фуллона предупреждением, что если, мол, Гапон и впредь будет продолжать подобную агитацию, то его отлучат от должности настоятеля и подвергнут административному взысканию.

В чем же секрет подобного «либерализма», отнюдь не соответствующего ни характеру самого Плеве, ни серьезности полученного им доноса? Не в том ли, что сигнал из Москвы был первым и пока единственным настораживающим сигналом за все десять месяцев гапоновского руководства рабочим движением в столице?

Конечно, могли иметь значение и некоторые внутри-министерские интриги (и о частностях, на них указующих, мы еще скажем), но серьезное объяснение, разумеется, не в них, а именно в том, что сигнал был первым и совершенно неожиданным.

Но если это так, то мы должны задать себе и следующий вопрос. Возникновение легального рабочего движения в Москве, Минске и Одессе немедленно оборачивалось повышением забастовочной активности рабочих; да и в Петербурге именно обозначившаяся опасность забастовок заставила Министерство финансов предпринять энергичнейшие шаги, чтобы помешать становлению зубатовской организации! Но вот пришел Гапон, и то же движение за целый год ни единой забастовки не вызвало. Почему? Как это ему удалось? В чем суть произведенных им для этого перемен?

Прежде всего попробуем, сопоставляя *декларации и дела*, понять реальные *намерения* Гапона. Сразу же после отставки Зубатова, буквально на следующий день, «рассказав причины (этой отставки.— В. К.), Гапон добавил, что утром ему удалось повидать Зубатова, который, расставаясь, заплакал, прося Гапона не бросать дело организации рабочих, и указал ему лиц в административном мире, сочувствующих организации» (Н. Варнашов).

Итак, с одной стороны, объявляется о полной и трогательной преемственности («заплакал, прося не бросать»), но с другой — когда «собралось человек 15—20 наиболее влиятельных и решительных рабочих... Гапон доложил собравшимся, в каком положении дело, и высказался за необходимость: окончательно бросить форму московской организации, освободиться от опеки административных нянек и, что особенно важно, создать материальную независимость. Для начала предлагал, обязавшись круговою порукою, снять помещение для организации, оборудовать его и подать на утверждение устав, который в общих чертах у него *уже имелся* (выделено мною. — В. К.), т. е. начинается энергичная и заранее продуманная перестройка по нескольким направлениям, главное из которых — с него и начнем! — безусловно «освободиться от опеки административных нянек».

Что имеется в виду? Прежде всего удаление и без того всем известных агентов — «Соколова — Зубатова и Ушакова — Витте, причем о Соколове он убежденно высказался, что последний получает у Зубатова определенное жалованье» (Н. Варнашов). При этом, однако, в организации остается С. Кладовиков, который через год с небольшим покажет на допросе у следователя Семигановского: «...когда приходилось замечать намерения революционеров оказать свое влияние, я и многие ходили к Зубатову и Якову Григорьевичу Сазонову и указывали им на этих людей, исключительно по чувству долга, охраняя наше новое рабочее дело, и никогда никаких денег за это не получал». М-да, на решительное моральное очищение организации (как то официально подается рабочим) действия Гапона «не тянут».

Второе направление — материальная независимость. Действительно: квартира снимается в складчину, и когда помещение потребовалось «отремонтировать и приобрести какую-либо обстановку, [то] среди учредителей нашелся маляр, столяр и слесарь, а помощников сколько угодно, и дело быстро пошло вперед... Составили и библиотеку, тоже общими усилиями, натащив книг, какие у кого имелись» (Н. Варнашов).

Гордость, с которой потом об этом рассказывалось, понятна. Но... послушаем самого Гапона: Лопухин «принял меня весьма любезно и, когда я сказал, что у нас нет библиотеки и мы нуждаемся в книгах и газе-

тах, он удивил меня вопросом, сколько мне надо денег для этой цели. Вскоре, к моему отвращению, я получил из министерства внутренних дел около 60 рублей, со строгими предписаниями подписываться только на консервативные газеты».

Впрочем, в счетные книги Собрания сумма была занесена, как «пожертвование неизвестного лица», что при гласной проверке книг (а таковым Гапон придавал громадное значение!) не вызвало никаких подозрений, ибо все знали, что у батюшки есть «очень богатая и энергичная помощница Полубояринова, снабжавшая его при случае средствами» (А. Сухов).

А вот еще одно красноречивое свидетельство: «Приблизительно в январе 1904 года Гапон познакомился с Герасимовым... Посещение Герасимова в одном случае было вызвано моею неосторожностью, выразившейся в легкой критике существующего строя на одном из собраний (и о которой, следовательно, тут же стало известно Герасимову.— В. К.). Меня не побеспокоили. Гапону же, вооружась протоколами собраний, пришлось обелять мою благонадежность... Свои сношения с названными лицами от меня и Васильева, а позднее от Карелина и Кузина Гапон не скрывал» (Н. Варнашов).

Итак, материальная поддержка и контроль со стороны администрации, по сути, *остаются нетронутыми*, но то и другое осуществляется исключительно через Гапона, при его посредничестве. Он становится как бы единственным интерпретатором действий власти для рабочих и действий рабочих — для власти. То, что это открывало перед ним широкий простор для маневра, понятно. Но почему на это пошла власть? И почему рабочие приняли это?!

Насчет власти — более или менее ясно. Плеве со всех сторон твердили, что в легальных рабочих организациях «слишком много полиции», что именно это «порождает страшную деморализацию», что «избалованные» своими контактами с властью союзы пытаются во время стачек говорить и действовать как бы от имени самой власти... И т. д.

Он слушал и соглашался. Единственным, что им при этом совершенно не воспринималось, была рекомендация поставить рабочее движение на рельсы строгой законности. Это уж слишком противоречило бы самой при-

роде бюрократизма — выпустить из рук рычаги непосредственного воздействия, управления.

А вот сократить до минимума *внешнее* присутствие полиции, поставив во главе движения единственного Представителя, персонально за все перед властью ответственного, — это было так удобно, так соблазнительно... И власть, само собой, ни минуты не сомневалась, что этот Представитель будет ее послушнейшей марионеткой!..

Ну а рабочие? Они-то почему согласились на единоличное представительство их движения Гапоном? Что — столь безоговорочно в него поверили?

И. Павлов, оперный певец, принимавший одно время активное участие в культурной программе гапоновцев, так пересказывает характеристику его А. Е. Карелиным в ноябре 1903 года¹, то есть непосредственно после первоначального становления организации и вхождения Карелина в ее руководящее ядро: «Он безусловно предан идее освобождения рабочего класса, но так как подпольную партийную деятельность он не находит целесообразной, то он считает неизбежно-необходимой открытую организацию рабочих масс по известному плану и надеется на успешность своей задачи, если отдельные группы сознательных рабочих сомкнутся около него и дадут ему свою поддержку...» И тут же: «Чужая душа потемки, и в сущности Гапон — это такой черт, которого раскусить невозможно... Но для нас важно уже то, что между нашими в нашей теперешней группе провокаторов нет, в этом можно поручиться, за исключением; конечно, самого Гапона... И наконец, мы надеемся держать его в руках, а ему, во всяком случае, в руки не даваться».

В чем, в чем, а в простодушной доверчивости карелинскую компанию, как видим, заподозрить трудно. «Простодушные и доверчивость» проявились у нее не ранее конца января 1905 года, когда на допросах

¹ Поскольку И. Павлов связывает полученное приглашение участвовать в организации музыкальных вечеров именно с этим разговором, то мы можем несколько уточнить его дату. В одном из писем Зубатову Гапон сообщает: «Музыкальный кружок в зародыше, но уже нашелся учитель и руководитель, бескорыстно несущий свой труд». И там же: «На днях лично подал доклад г. градоначальнику о нашем деле». Доклад подан 9 ноября. Следовательно, и разговор И. Павлова с А. Карелиным состоялся в первой декаде этого месяца.

у Семигановского В. Иноземцев, В. Янов, С. Кладовиков и другие, не сговариваясь, дружно стояли на том, что они, мол, так и не поняли, когда и зачем началась забастовка, а затем и шествие, ибо всем-де руководил сам Гапон. «Отчего появилось решение о всеобщей забастовке, я не сумею подробно объяснить,— говорил В. Иноземцев.— Это очень сложная и запутанная комбинация... Я шел за всеми, не отдавая себе отчета почему. Мое спокойное отношение к делу, когда я сопротивлялся революционному влиянию на рабочих, мною было утеряно, и я действовал почти бессознательно...»

Сходство показаний, дававшихся почти всеми активистами Собрания позволяет, мне думается, говорить об их продуманной тактике, если не о предварительном сговоре.

Выходит, «штабным» Гапон в роли Представителя рабочих был выгоден так же, как и правительству,— с обеих сторон на него смотрели как на марионетку и ширму.

Что же до разрыва с организационными формами московской зубатовщины и «устава с более широкими возможностями», то, увы, устав Собрания едва ли не консервативнее всех предыдущих рабочих уставов. В нем нет ни слова о защите интересов рабочих, ни даже об их взаимопомощи, хотя касса взаимопомощи, конечно же, была создана. Собственно, консервативнее прежних был уже и поданный Гапоном проект, но департамент полиции тем не менее, «не находя препятствий вообще к утверждению устава, признал, однако, необходимым установить: 1) чтобы указанные в пункте «б» § 2 библиотека и читальня были подчинены фактическому контролю и находились под ответственностью лиц, утверждаемых в сем звании градоначальником; 2) чтобы лекции рабочим, особенно по рабочему вопросу, указанные в пункте «ж» § 2, происходили обязательно в присутствии представителей от полиции; и 3) чтобы касса взаимопомощи не выдавала пособий в случае стачек». Все это было покорно и поспешно принято. Не оттого ли, что «штабные» и на устав смотрели уже как на своего рода ширму, прячась за которую можно гнуть свое если не сейчас, то в будущем?

Таким образом, исходя не из деклараций, а из практики движения, следует признать, что гапоновщина отли-

чалась от зубатовщины, **во-первых**, появлением внутри легального движения полубланкистской группы, претендующей на особую роль и преследующей цели, до поры до времени массе неведомые, а **во-вторых** — появлением харизматического лидера, которого данная группа надеялась использовать в своих интересах в обмен на открытую пропаганду его харизмы. Все это чрезвычайно усиливало элемент политической мимикрии как внутри движения, так и во внешних его проявлениях.

С этой точки зрения любопытно, мне кажется, перечитать некоторые вроде бы хорошо знакомые документы. Например, доклад Гапона Лопухину (от 14 октября 1903 г.). «Не нужно забывать, что стремление к организации и самодеятельности, — пишет здесь Гапон, — естественно у людей, стоящих на известной степени развития и положения... Пусть лучше рабочие удовлетворяют **свое естественное** стремление к организации для самопомощи и взаимопомощи и проявляют свою разумную самодеятельность во благо нашей родины **явно и открыто**, чем будут (а иначе непременно будут) самоорганизовываться и проявлять неразумную свою самодеятельность **тайно и прикровенно во вред себе и всему, может быть, народу**. Мы это особенно подчеркиваем — **иначе воспользуются другие — враги России**».

И чуть ниже: «Конечно, при той постановке дела, которая имела место в Одессе (о Минске нечего и говорить), где руководителем русских рабочих являлся еврей, и в Москве, где руководителем являлась — и притом не особо умело — полиция и где поэтому дело приняло было административно-полицейский и притом показательный, шумный характер, конечно, только поверхностный или слишком увлекающийся человек мог не глядеть с недоуменными вопросами на своеобразное рабочее движение... Конечно, можно было несколько опасаться за результаты подобной же деятельности первоначально в Петербурге, где так же полиция... принялась через рабочих, бросивших работу, осуществлять известную нам идею с некоторым шумом, треском, но непоследовательно, а главное, не образовав ядра — кружка сознательно развитых, преданных идее и уразумевших ее людей».

Здесь хотелось бы выделить два слоя. Один — рассчитанная на начальство поверхностная «дипломатия». Припугнув своих покровителей «естественностью», а сле-

довательно, и неостановимостью стремления рабочих к самоорганизации, Гапон тут же спешит их успокоить, перечисляя то, чего не будет в проектируемом им Собрании, — а не будет, естественно, всего того, что осознано уже администрацией как недостатки и опасности легального рабочего движения. Указан и инструмент для преодоления этих недостатков — «кружок сознательно развитых»... Как он, этот инструмент, станет работать, пока, правда, неясно.

Но второй — более глубокий — слой текста содержит и понимание некоторых действительных закономерностей. А именно: что естественное стремление социально приниженного слоя к самоорганизации есть, собственно, начальный этап его восхождения к политической жизни — этап, на котором общение между собой, осознание себя в качестве некой целостности самоценны, и потому возникающие в этом слое организации могут быть по-разному направляемы различными политическими силами. Это-то и можно прекрасно использовать при помощи названного инструмента — «кружка сознательно развитых» рабочих, подлинные цели которого до поры до времени не афишируются. Гапон явно понимает и то, что самоценность возникающей организации для большинства ее членов позволяет ей начать с дел в общем-то второстепенных, с программы культурно-образовательной и развлекательной, позволяет даже довольно длительное время ею и ограничиваться.

Любопытно в связи с этим заметить, что в воспоминаниях Гапона даже эта первоначальная консервативно-просветительская деятельность окрашена в революционные тона.

«Я всецело отдался организации и развитию Союза, — пишет он, — присутствовал на всех собраниях, образовал массу рабочих кружков для изучения истории промышленности и политических вопросов. Несколько профессоров взялось помогать мне в этом деле».

«История промышленности», «политические вопросы» и «несколько профессоров» — все это преувеличения явные. Первыми лекторами Собрания были: геолог Преображенский (по свидетельству Карелина, его лекции приносили особенно большую пользу, поскольку «рабочие ведь ничего не знали, как и что, и откуда земля, мир, а в лекциях все это разъяснялось и указывались причины») и Ф. Н. Малинин, редактор «Тюремного вест-

ника» (по истории литературы «в очень понятном и доступном изложении»). Два других популярных и куда более прогрессивных лектора Собрания — Я. Финкель и Н. Строев (Я. Стечкин) — появились значительно позже. Они-то и начали поднимать «политические вопросы». Тем не менее оговорка Гапона — не просто хвастовство: здесь подлинные, но пока что удерживаемые «про себя» цели как бы окрашивают ту реальную деятельность, которой Собрание вынуждено было ограничиваться на первом этапе. То, что эти цели действительно были и каковы они были, мы увидим чуть дальше, а пока заметим, что на Оренбургской улице (первая квартира Собрания) наибольшим успехом пользовались не лекции, а музыкально-литературные вечера, ставшие более или менее регулярными уже в декабре 1903 года.

«Для этого я обратился к некоторым знакомым артисткам и артистам, — вспоминал И. Павлов, — заручился их согласием петь и читать для рабочих; некоторые согласились взять на себя труд и по организации дела... Решено было давать музыкальные вечера два раза в месяц, чтобы сбором с них окупались расходы для уплаты за квартиру. Цель эта легко достигалась, и даже получался избыток, так как в эти вечера буфет (чай, фрукты, конфеты) торговал на славу, хотя цена была установлена наивозможно дешевая».

Что же касается собственно политики, то, по свидетельству того же И. Павлова, «направление Собрания было в высшей степени лояльное с виду; было решено в политику пускаться осторожно, боясь преждевременно раскрыть карты и сорвать все дело»...

На первых этапах этой «консервативности» Собрания весьма способствовали и перемены в общеполитической обстановке. Начало войны с Японией вызвало патриотический подъем как в либерально-буржуазной, так и в обывательской, и в рабочей среде: патриотическая гордость на время заглушила горечь социальной приниженности. И не случайно именно отношение к войне было тем пунктом, в котором Гапон до самого лета неизбежно побивал всех левых ораторов. Один из таких эпизодов рассказан видным деятелем тогдашней петербургской социал-демократии А. Суховым в предисловии к книге Э. Авенара.

«В первый раз я столкнулся с Гапоном ранней весной 1904 года на квартире Кузина, участника одного из ру-

ководимых мною социал-демократических кружков Васильевского острова. За небольшим столом, уставленным пивными бутылками, сидела весьма оживленная компания — чернобородый священник, главный истребитель пива, несколько рабочих и какая-то полная женщина купеческого типа.

«Садитесь, Егор Егорович!» — пригласил меня Кузин. «Вот, батюшка, один из социал-демократов, о которых мы только что говорили». Последний повернулся ко мне и без лишних предисловий напал на эсдековскую прокламацию, направленную против войны и провозглашавшую братство и единство рабочих всего мира...

В заключение Гапон объявил, что рад нас всех видеть в только что открывшемся отделении его общества на Выборгской стороне. „Там у нас все запросто, люди приходят с семьями, пьют чай, беседуют, а потом мы читаем и молимся“».

Визит социал-демократов в Собрание последовал недели через две, без всякого предупреждения: «Мы, василеостровские социал-демократы, в количестве 40—50 человек явились в гости к Гапону. Большинство вооружились железными палками. В окрестностях стали патрули, чтобы не дать полиции захватить нас врасплох... Давно известный охранник Варнашов был председателем, а заодно и первым докладчиком. Он разносил социал-демократов за их «пораженчество» и заявлял, что «всякий честный человек наплюет в рыло тем, кто радуется маёсе вдов и сирот, оставшихся после убитых русских офицеров и солдат»... Гапону возражал я и открыл слушателям источник его «мудрости»: «Мы все видим, как из-за священнической рясы выглядывает лисья рожа жандарма». Наши василеостровцы словно по команде сделали вид, будто ищут глазами за спиной Гапона скрытого там жандарма. В собрании смешок. Сдержанно улыбаются солидные «истинно русские» люди. Тогда вновь применяется старый прием, вновь поют молитвы, и на этом беседа кончается».

Должен сказать, что суховское описание «визита социал-демократии к Гапону» представляется мне несколько легендарным. Во-первых, численность визитеров явно преувеличена: РСДРП, как мы увидим в дальнейшем, была далеко еще не массовой организацией. Во-вторых, уж слишком воинственны описанные приготовления! Железную палку трудно спрятать где-нибудь под одеж-

дой, а появление столь многочисленной и столь вооруженной компании не могло бы не вызвать соответствующей реакции в зале. Ну и, наконец, только слишком увлеченный и слишком пылкий человек может думать, что описанный Суховым примитивно-театральный пропагандистский прием мог всерьез подействовать на публику. Смешки-то, наверное, были, да вот над кем смеялись?.. Так что и на описанном собрании моральная и пропагандистская победа осталась, конечно же, за Гапоном, и он мог с чистой совестью говорить об очередном посрамлении революционеров.

Сложнее, как уже было сказано, понять другую сторону «консервативности» Собрания — почти полное отсутствие забастовок не только под его руководством, но и с его участием. Конечно, тут играл роль и некоторый промышленный подъем, связанный с началом войны, но... Жизнь есть жизнь, и рабочие не могли не нести свои обиды и беды в Собрание, не могли не претендовать на сочувствие и помощь товарищей. К тому же подлинное сплочение любой социальной группы вряд ли возможно без осознания ею собственной значительности и силы. Сила же никак не может быть осознана и прочувствована, оставаясь в бездействии.

В том-то, однако, и дело, что Собрание *защищало* своих членов, и даже *весьма успешно*, хотя и при полном отсутствии стачек. Правда, защитником выступало не Собрание, как таковое, а его Представитель, отец Георгий. Как? Да по-разному.

«Услышит ли он,— свидетельствует Н. Симбирский,— что мастер притесняет рабочих, он смело идет к мастеру и требует (заметьте: не **просит**, а **требует**) справедливости.

Не слушает мастер, он идет к хозяину фабрики; это не действует, он идет к фабричному инспектору.

И здесь он опять требует и угрожает даже; если не будет выполнено его требование справедливости, он пойдет дальше.

— До царя дойду, а своего добыю,— твердо заявляет он.

И представьте, требования его понемногу стали выполняться...»

Что ж... Мне, например, представить это совсем несложно — сам в застойные наши времена кой-чего добивался подобным же образом. Ведь бюрократия —

она бюрократия везде и всегда, законы ее одинаковы. На нижних ступеньках нахрап и угроза добраться до верхних частенько срабатывают. Ибо главный принцип на нижних ступеньках — не создавать начальству лишних хлопот, не обращать на себя его разгневанного внимания.

Конечно, столь примитивный прием не может срабатывать раз за разом. Неизбежны и осечки. Но ведь в арсенале Гапона этот прием не единственный. Вот что рассказывал один фабричный инспектор:

«Сижу дома. Докладывают мне, что желает меня видеть какой-то священник Гапон. С недоумением принимаю. Входит молодой черноволосый поп в довольно поношенной рясе и с места в карьер начинает рассказывать мне одну фабричную историю, отчасти знакомую мне. И при этом категорически требует, чтобы мастер такой-то был немедленно уволен...

Признаться, меня взбесил этот разговор. Спрашиваю:

— Вам, батюшка, собственно, какое дело до этих рабочих?

— Я вообще интересуюсь рабочими. Вы должны повлиять на уход мастера.

— Исполнить вашу **просьбу** не могу.

И делаю движение, явно показывающее, что наше свидание уже кончено.

Станный священник не обратил никакого внимания на мое движение, докурил папиросу и уже совершенно иным тоном начал со мной беседу на разные темы и, между прочим, на наши министерские злобы дня.

Через пять минут я его слушал уже очень внимательно, а через десять — велел подать чаю. И беседа наша приняла уже интимный характер. Представьте! Этот священник знал все тайны нашего министерства. Он мне сообщал о делах и бумагах, о которых могли знать двое: министр да его чиновник, который переписывал бумагу. Но чиновник — это могила. Значит, он знаком с министром...»

Основания для увольнения мастера тут же, понятно, были отысканы. Ведь с человеком, который вхож к министру, да еще и непонятно как и почему вхож, ссориться опасно, а услужить ему... о, это очень даже может пригодиться!

Разумеется, ни к какому реальному улучшению быта рабочих подобные гапоновские победы вести не

могли. Но ждать и терпеть, несмотря на малость свою, помогали неплохо, ибо ничто не укрепляет так веры в конечное торжество справедливости, как частные ее победы, одерживаемые как раз вопреки общему ходу вещей. И тем более укрепили эти победы веру в самого батюшку; молва о бескорыстном его заступничестве многих влекла в Собрание, где, «ежели что, батюшка в обиду не даст». Но росло Собрание не только вследствие личной популярности Гапона и даже не столько вследствие ее, как...

Впрочем, чтобы точнее определить *причины роста* Собрания, надо присмотреться к тому, *как именно* оно росло, к динамике. Сопоставив различные документы, в которых упоминается численность «действительных членов», т. е. людей, официально вступивших в Собрание и плативших взносы (число посещавших беседы и вечера всегда было в несколько раз больше), мы легко составим следующую картину:

ноябрь 1903 года — 30 с лишним человек (письмо Гапона Зубатову);

1 мая 1904 года — 170 человек (В. Святловский);

30 мая 1904 года — 750 человек (справка полковника Кременецкого);

21 сентября 1904 года — 1200 человек (В. Святловский).

Одного взгляда на таблицу достаточно, чтобы понять, что после длительного периода латентного, как бы внутритрубоного, развития весной 1904 года Собрание сделало стремительный рывок, затем период равномерного неспешного роста и затем — новый рывок в октябре — декабре 1904 года. О причинах второго рывка написано очень много. Первый же историками почти не замечен. А его причины не менее важны и любопытны.

Чтобы понять их, надо вернуться к поздней осени 1903 года, когда в работе Собрания впервые приняла участие группа А. Е. Карелина. Ну и, конечно, надо познакомиться с самими супругами Карелиными, роль которых в истории Собрания мемуаристы единодушно признают исключительную.

Супруги Карелины принадлежат к числу зачинателей социал-демократического движения в России. Оба принимали активное участие еще в группе Михаила Ивановича Бруснева, именовавшейся то Центральным рабочим комитетом, то Рабочим союзом, в группе, которая была

преемственно связана с самыми первыми марксистскими группами Благоева и Точисского и в которой участвовали также Н. Богданов, В. Голубев, Л. и Г. Красины, Н. Крупская, А. Радченко, В. Святловский и многие другие.

Благодаря записям Л. Гуревич и П. Куделли, биография Веры Марковны известна нам гораздо подробней, чем биография ее мужа. «Она родилась в 1870 году; мать ее была простолюдинка, — читаем мы у Л. Гуревич, — отец интеллигентный поляк, высланный из Польши после восстания. Матери ее было 18 лет, когда она была брошена, девочка была отдана в воспитательный дом и воспитывалась как «шпитомка» в Ямбургском уезде у суровой, умной крестьянки с самобытной, протестантской окраской по отношению к русскому общественному строю. Вера Марковна Карелина помнит, как она пришла девочкой из школы, заливаясь слезами об убийстве Александра II, и ее приемная мать сурово остановила ее, сказав, что «одного дармоеда убили — найдутся другие», и поставив в укор Александру II, что он освободил крестьян без земли. После смерти приемной матери Вера Марковна была прислужницей в воспитательном доме, видела там ужасные сцены; потом была прислугой в одном родильном доме. Страстно хотела учиться, много читала, готовилась поступать на акушерские курсы. В это время она познакомилась с несколькими социал-демократами, преимущественно рабочими, и поступила на фабрику ткачихой. Работая там по 15 часов в сутки, находила время заниматься партийной деятельностью. Болезнь заставила ее бросить фабрику. Она поступает на курсы. В это время она сходитя с А. Е. Карелиным, который тоже работает в партии».

«С кружком, куда входили Егор Климанов и Карелин, водила компанию молодая и живая ткачиха с Новой Бумагопрядильни Вера Марковна, — вспоминает Святловский. — Это была развитая, грамотная, умная и очень самостоятельная девушка, пламенно тяготевавшая к общественному делу. Вскоре с громадным трудом и лишениями она начала готовиться к экзаменам на акушерские курсы и поселилась с курсистками из интеллигенции (А. Кугушевой и красавицей Любовью Васильевной Миловидовой, впоследствии женой Л. Б. Красина). Помню крохотную комнатку в густо населенном

студенческом общежитии барона Гинзбурга, в «Ротах», где ютились все три девушки. Какие-то теплые лучи исходили от этого жизнерадостного, но уже вступившего на героический путь борьбы и лишений трио».

Карелины были участниками как самой первой (1891 г.), так и второй петербургской маевки. «24 мая старого стиля, т. е. опять в Троицын день,— вспоминает тот же Святловский,— все мы двинулись к этому месту, кто пешком, кто на лодке. Я ехал в лодке с Алексеем Карелиным, его невестою Верою Марковной, Лунеговым и еще несколькими рабочими». Как и многие участники этой маевки, Карелины были арестованы; около полугода их продержали в тюрьме, а затем выслали в разные города. Вторично Вера Марковна подверглась аресту уже в Сумах, где отсидела 9 месяцев и была выпущена под гласный надзор полиции. Здесь, Сумах, они с Алексеем Егоровичем и поженились.

В 1895 году, уже с маленькою дочерью, вернулись в Петербург, но через год Веру Марковну вновь выслали из столицы за активное участие в подготовке к знаменитой стачке текстильщиков летом 1896 года. В 1897 году ей вновь удалось вернуться.

«Карелин,— пишет В. Святловский,— принадлежал к числу тех петербургских рабочих, которые, не удовлетворившись интеллигенцией и разочаровавшись во многих ее представителях, косо смотрели на всех нерабочих¹. Это были первые признаки того движения, которое нашло себе в 1905 году выражение в гапоновщине... Его отличительною чертою было неуклонное стремление к образованию. Я думаю, что это был самый неизменный посетитель всех научных диспутов и лекций в Петербурге».

Добавим к этому и впечатления человека совсем иной среды — оперного певца И. Павлова: «К[арелин] на была

¹ Этот «косой взгляд» на интеллигенцию ясно чувствуется и в воспоминаниях самого А. Карелина, в том, как он защищает своего кумира: «Грязи на него выливали больше интеллигенция разная, партийная и беспартийная, бесхребетная больше. А Гапон говорил нам, да и от других слышали мы, что еще в Полтаве Гапон привлекался по политическому делу, борцом за народ давно был». Медленно и трудно сближавшийся с Гапоном, Карелин, поверив в него однажды, уже не пожелал изменять своей любви и вере даже тогда, когда слепота их выяснилась более чем достаточно.

Что касается Веры Марковны, то она, судя по всему, была душевно мягче и глубже своего супруга, антиинтеллигентские настроения свойственны ей куда меньше.

росту немного выше среднего, несколько полновата, шатенка, слегка смугловата; черты смугловатого лица можно было признать некрасивыми, но в общем выражении лицо было приятное, а где-то в глубине глаз теплилась серьезная мысль, и еще глубже почти совсем незаметной мерцала теплота чуткой души... Что касается ее мужа, то он на первый взгляд совсем не производил никакого впечатления: среднего роста, худощавый, с клинообразной бородкой, тоже слегка сутуловатый, с неправильными чертами лица, жиденькими светлыми волосами, застенчивый — он дичился посторонних и незнакомых и вследствие этого казался сереньким. Но, вовлеченный в интересный разговор, он оживал, и его светлые глаза становились выразительными и почти красивыми».

Как видим, это были типичные представители того узкого социального слоя, который в начале века именовался интеллигентной (или — развитой) частью рабочего класса и который современные социологи охотнее именовали бы маргиналами, т. е. людьми переходного социального положения. Переходность-то и определяет сложные психологические комплексы, характерные для данного слоя. Тяга к знаниям и нелюбовь к интеллигенции — лишь простейший из тех парадоксов, о которых у нас еще будет повод поговорить.

Пока же — вернемся к истории Собрания. Знакомство Карелина с Гапоном состоялось, как мы помним, еще весной 1903 года в чайном клубе Общества трезвости, затем последовало несколько бесед, в том числе и достаточно конспиративных, а 9 мая, как уверяет Гапон, было даже образовано «тайное общество», но тем не менее первые шаги по созданию обновленной организации в августе и сентябре 1903 года делаются без участия группы Карелина. Сближение с этой группой вообще происходит очень осторожно, с отступлениями, как бы на ощупь... Н. Варнашов вспоминает, что только «спустя несколько месяцев, когда Гапону удалось поколебать их осторожность и рассеять сомнения, они приступили к работе и сняли «запрет» со стен «Собрания», что сразу выразилось в увеличении числа вступавших в члены „Собрания“».

«Спустя несколько месяцев»!.. А между тем Карелин не только привлекает (уже в ноябре!) к участию в работе Собрания И. Павлова, но и сам принимает важ-

нейший пост казначея... Решающее значение этого поста определялось не столько даже тем, какое значение придавал Гапон открытости и доступности счетов Собрания, сколько тем, что эта торжественно провозглашаемая *открытость*, по сути, должна была *прикрывать* то и дело поступающие Собранию «подарки» охранного отделения... При этом казначей, понятно, должен быть «очень своим» человеком, доверенным и надежным хранителем не самых красивых тайн движения¹. Выходит, продолжавшиеся несколько месяцев колебания карелинской группы были вызваны вовсе не этими «тайнами». Но... если не ими, то чем же?

Всем инициаторам Собрания было ясно, что родиться и до поры до времени существовать оно может лишь в строго консервативных одеждах. На это шли сознательно. Но — до какой поры? И каким окажется то подлинное лицо Собрания, ради сохранения которого напяливается на новорожденного консервативно-монархическая маска?..

В узком кругу, на собраниях «кружка ответственных лиц», как вспоминает Н. Варнашов, «оппозиция не упускала случая коснуться положения «Собрания» и его целей, все сводя к сомнению. Такие напряженные, нервные и сильно озадачивающие Гапона отношения с оппозицией продолжались, пока последняя не сблизилась и не прониклась к нему доверием. Произошло это благодаря сходимкам, происходившим у Гапона на квартире. Устраивались они совершенно случайно: достаточно было Гапону иметь свободное время, встретить интересовавших его 2—3 человек, и он, закончив дела в «Собрании», тащил их к себе чай пить... Сейчас загорается

¹ Не отсюда ли, не от знания этих «тайн» и идет настойчиво творимая группой Карелина легенда об ее особых требованиях к Гапону? Ведь именно со слов Карелина или Карелиной записывал И. Павлов, что «ему (Гапону. — В. К.) было предложено («штабными». — В. К.) прекратить сношения с охранкой, но, очевидно, эта операция ему нелегко давалась, так как сношения все же продолжались. Со своей готовностью идти на компромиссы он, вероятно, и там так запутался, что порвать сразу не было возможности». А сам Карелин даже после революции пытался утверждать, что «дело было чисто. Народ шел и шел к нам. Говорили много нехорошего о Гапоне. Если бы это было верно, то ведь арестовали бы кого-нибудь, а никто за все время не был арестован, никого не выследили, хотя, случалось, говорили открыто и очень резко». Так-то оно так, арестов не было, но было немало *других*, не раз уже упоминавшихся нами фактов, не зная которых Карелин никак не мог.

спор о каком-либо предмете из научной области. Затем перекидывается на какой-либо эпизод из истории революции и незаметно переходит на значение учения Христа в общем прогрессе, пока всех не покроет могучий баритон Павлова, земляка Гапона, арией из „Демона“»...

Особенно резко оппозиция карелинской группы выявилась при обсуждении образца печати Собрания.

«Последняя, как известно, помимо текста, — вспоминает Н. Варнашов, — содержала в себе выгравированные эмблемы труда, т. е. наковальню, молот, шестерню, угольник и, между прочим, крест. При обсуждении... я восстал против помещения креста среди прочих эмблем. Инициатива же креста исходила от Гапона, и он выступал для защиты своего предложения. Я не сдавался. Первоначально меня поддерживала оппозиция, но, получив энергичные щелчки от Гапона, умолкла, но я продолжал упорствовать и как последний аргумент против помещения креста выдвинул **возможную кровавую борьбу** организации, для которой такой символ, как крест, не подходит...

Гапон вспыхнул. Он очень резко начал меня отбивать, как не желавшего понять значение креста как символа любви к ближнему, а умышленно приплетавшего к нему недостатки, пороки представителей религии, и закончил словами:

— Но довольно об этом болтать. Ставлю на голосование. Кто против помещения креста — прошу встать.

Встал я и еще... один Карелин... Этот инцидент по своему содержанию должен совпадать со временем утверждения устава, т. е. с началом февраля 1904 года».

Итак, даже в феврале различные группы инициаторов, как видим, еще таят от друга самое важное — намечаемые ими методы и цели движения. Но держать карты под столом и дальше стало уже невозможно. Хотя бы для самого узкого круга «своих», а надо было их выложить!

В марте 1904 года у Гапона собралось пять человек — А. Карелин, Д. Кузин, И. Васильев, Н. Варнашов и Гапон.

«Сделав распоряжение, что его нет дома, плотно прикрыв дверь и предварительно обязав всех честным словом, что то, что будет обсуждаться, останется тайною, Гапон вынул лист бумаги, исписанный красными

чернилами, и, предлагая обсудить содержание, прочел его. Это была **петиция 9 января 1905 года**, а в тот момент рассматривалась как программа руководящей группы «Собрания».

Состояла она из трех пунктов, из которых каждый заключал несколько §.

Пункт I перечислял меры против невежества и бесправия русского народа.

Пункт II — меры против нищеты народной и

III пункт — меры против гнета капитала над трудом.

Предложенная программа ни для кого из собравшихся не была сюрпризом, ибо отчасти ими же Гапон вынужден был выработать ее».

Разумеется, это была не вся петиция, а лишь ее заключительная часть, и притом без некоторых очень важных пунктов. Текст, появившийся в 1905 году в четвертом номере большевистской газеты «Вперед», наиболее близок, пожалуй, именно к этому наброску:

«I. Меры против невежества и бесправия русского народа:

1) свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, свобода печати, собраний, свобода совести в деле религии;

2) общее обязательное народное образование на государственный счет;

3) ответственность министров перед народом и гарантия законности управления;

4) равенство перед законом всех без исключения;

5) немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения.

II. Меры против нищеты народа:

1) отмена косвенных налогов и замена их прогрессивным подоходным налогом;

2) отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу.

III. Меры против гнета капитала над трудом:

1) охрана труда законом;

2) свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов;

3) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ;

4) свобода борьбы труда с капиталом;

5) участие представителей рабочего класса в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих;

6) нормальная заработная плата».

«Эту программу, названную «программой пяти», они решили держать в секрете и вести дальнейшую работу именно под флагом этой программы, не высказывая ее прямо, а постоянно при всяком удобном случае внедрять ее в сознание собиравшихся рабочих»¹.

Вот после этого-то жизнь в гапоновском Собрании действительно забила ключом, после этого-то только и выяснилось, сколь мощную организационную силу являет собой группа Карелина:

«А. Карелин, работавший на фабрике Маркуса, представлял собой добрую половину фабрики, не говоря о связях с рабочими по всему городу.

Его жена В. Карелина оказалась неоценимой энергичною пропагандисткой, которой вскоре поручена была организация женщин и управление их собраниями.

Д. В. Кузин, помимо всего прочего, представлял связь с революционной интеллигенцией и некоторыми партийными деятелями, что сейчас же проявилось со стороны последних заметной терпимостью».

«В мае 1904 года,— вспоминает Гапон,— я послал несколько из самых благонадежных моих людей на Путиловский завод, находя, что наступило время организовать сплоченную массу из 13 тысяч рабочих. В конце месяца на наши «Собрания» пришло уже 50 человек с этого завода с просьбою организовать их так же, как я организовал своих рабочих, что я и исполнил, и это была первая ветвь нашего союза... Первым делом я нанял большой дом за Нарвской заставой, в котором была зала, способная вместить 2 тысячи человек. К моему великому удовольствию, генерал Фуллон принял мое предложение присутствовать на собрании при открытии первого отдела Союза... Фуллон был простодушен и добр, и ни в его натуре, ни в его предыдущей карьере не было ничего полицейского. Раньше он служил в Варшаве и так ладил с поляками, что немедленно был вызван в столицу. Чтобы обеспечить свое дело, я обратился к генералу Скандракову и агенту полиции Гуровичу с

¹ Из протокола «свидетельского собрания», организованного А. Шилковым 6 января 1925 года для выяснения истории петиции 9 января. В собрании участвовали супруги Карелины, Варнашов и другие гапоновцы, остававшиеся к тому времени в Ленинграде.

просьбой ходатайствовать за меня перед Фуллоном...»

Да, покровительство нового градоначальника было одним из тех внешних факторов, что совпали по времени с внутренней консолидацией Собрания и немало способствовали росту его активности и успехов. При открытии Нарвского отдела (акция, заметим в скобках, вполне незаконная, осуществленная явочным порядком, так как никакие отделы уставом Собрания не предусматривались) генерал даже произнес пламенную речь:

— Я счастлив видеть вас на этом дружеском и разумном собрании. Я солдат. В настоящее время родина наша переживает тяжелое время, благодаря войне с далеким и лукавым врагом на далекой окраине. Чтобы с честью выйти из этого испытания, вся Россия должна объединиться и напрячь свои силы. В единении сила!

Грянувшие дружно аплодисменты подействовали на генерала столь сильно, что «на всех последующих открытиях отделов Фуллон везде повторял эту речь буквально» (Г. Гапон).

Впрочем, до открытия новых отделов было еще далеко. Внутренне резко переменившись, ускорившись, жизнь Собрания сохранила все свои сугубо консервативные внешние формы. И именно они тщательно выставлялись напоказ, подчеркивались «штабными». Так, 6 июня 1904 года в Нарвском отделе собрание «открылось пением молитвы «Царю небесный». Далее Представитель высказал соболезнование о несвоевременной кончине генерал-губернатора Бобрикова, проводившего идею самосознания и развития русских людей и погибшего от руки иноверца, причем несвоеременно погибшему генерал-губернатору Бобрикову была пропета всем собранием «вечная память». Представитель просил всех товарищей, ничем не смущаясь, идти к намеченной цели и, соединяясь вместе, идти в сторону от иноверцев, всячески старающихся вредить русскому единению».

Ну? Как же было полиции не любить такое Собрание? Как не поощрять его материально, тем более что несколько сот рублей — для полиции это не деньги? У нее один агент И. Ф. Манасевич-Мануйлов в это же время бесконтрольно расходовал около девяти тысяч в год. И наконец, как было не попытаться столь ценный опыт распространить?

«В июне 1904 года, — писал Гапон, — я получил письмо от генерала Скандракова, в котором он мне сообщал,

что московское общество, основанное Зубатовым и находящееся теперь под особым покровительством Трепова и великого князя Сергея, очень заинтересовано моей работой». Скандраков просил Гапона встретиться с редактором «Московских ведомостей» Грингмутом. «Грингмут пригласил меня посетить его в Москве, а я попытался организовать в Москве и других больших городах России общества, подобные нашему».

Собственно, идея предпринять нечто для создания филиалов Собрания в других городах владела Гапоном давно. В поданном им проекте устава «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» слов «г. Санкт-Петербурга» не было. Они вписаны департаментом полиции, и, как свидетельствует И. Павлов, «это обстоятельство вызвало было порядочное волнение рабочих, но затем, пораздумав, решили пока смириться с этим, а деятельность в провинции развигивать нелегально»...

Развивать *легальное* рабочее движение *нелегально* — идея, конечно, странная, но вполне в духе Гапона, который не любил обременять себя не только теоретическими построениями, но и обычной логикой, более всего полагаясь на свою практическую, сиюминутную ловкость: ведь если удалось в обход закона, явочным порядком открыть отдел в Нарвском районе, то почему бы не уdatся этому в Москве или Харькове?..

В середине июня Гапон отправился в свой вояж. «Я посетил Москву, Киев, Харьков, Полтаву и другие города. В Москве я убедился, что власти уже предупреждены и что мне нечего рассчитывать на успех. Присутствуя на одном из собраний зубатовского Союза, я горячо протестовал против вмешательства полиции в рабочую организацию. Был я и у Грингмута... Из того, что я видел в Киеве и Харькове, я убедился, что разумнее было сперва заняться упрочением петербургской организации рабочих, чем расходовать энергию на организацию рабочих в провинции».

Что означает здесь брошенное мимоходом «власти уже предупреждены»? Ведь отправляясь в Москву по приглашению редактора «Московских ведомостей», чья тесная связь с великим князем Сергеем была прекрасно известна, не мог же Гапон в самом деле рассчитывать на какую-то внезапность, а тем более — конспиративность своих действий? Похоже, однако, что все-таки на что-то рассчитывал, а на что именно, ему говорить не хочется.

Отсюда вопрос: не связана ли эта его поездка с некоторой интригой внутри МВД (письмо Скандракова, странный эпизод в Киеве...), о которой мы можем только догадываться? Уж слишком велик контраст между серьезной озабоченностью В. К. Плеве московским инцидентом (см. цитированные выше воспоминания Погожева) и той легкостью, с которой Гапон ускользнул от министерского гнева. Объяснять это только внезапной смертью министра некорректно — в других случаях бюрократическая машина проявила куда большую памятьливость.

В Киеве Гапон прежде всего нанес визит своему старому знакомому, начальнику местной охраны А. Спиридовичу. «Сказав, что он действует по полномочию директора Лопухина, Гапон разъяснил мне, что приехал просить Клейгельса разрешить ему начать в Киеве организацию рабочих наподобие Петербурга... Мы переговорили, причем я разъяснил, что все зависит от генерал-губернатора, в душе же я считал, что время для легализации у нас совсем неподходящее. И что все усилия надо направить на борьбу с разрастающейся революцией».

Клейгельс охотно прислушался к рекомендации Спиридовича: Гапон уехал несолоно хлебавши. «Однако, — пишет Спиридович, — обеспокоенный тем, что я проделал все это вопреки желанию директора, на которого ссылался Гапон, я срочно выехал в Петербург и подробно доложил обо всем Лопухину. Последний возмутился нахальством и ложью Гапона. Он позвонил секретарю, приказал принести дело о Гапоне и рассказал мне его инцидент в Москве, объяснил, в какие он взят рамки в Петербурге, и показал некоторые документы из дела, в том числе и письмо великого князя и резолюцию Плеве. Директор нашел мои действия правильными».

Нет никаких оснований не верить Спиридовичу. Но опять-таки странно: почему же «возмущенный нахальством и ложью Гапона» Лопухин ровно ничего не предпринял по его возвращении? Не было ли это его возмущение «немножко спектаклем»?

Завершил свою поездку Гапон в Полтаве, где его и настигла весть об убийстве Плеве. «В ту минуту ничто не указывало на то, что убийство это внесет какие-либо перемены в правительственную политику... Одновременно стало известно, что великий князь Сергей написал Плеве донос на меня. К счастью, донос запоздал — Плеве был уже убит, а градоначальник Фуллон заболел, и к тому

времени, когда он выздоровел, обстоятельства настолько изменились, что дело было забыто и мне легко было вернуть себе расположение Фуллона».

Летом численность «действительных членов Собрания» продолжала заметно расти, был даже открыт еще один отдел — Василеостровский, но, если говорить о качественно новом рубеже, то им безусловно стало общегородское собрание всех отделов 19 сентября в Народном доме Паниной, специально для него снятом. Зал на 1000 мест был набит уже с утра; с 12 до 16 проходила, как сказали бы сейчас, «деловая часть» — члены Собрания обсуждали свои дела и нужды, свои планы. В фойе «на столе лежали чертежи и отчетные книги, чтобы каждый мог сам убедиться в честности и целесообразности делопроизводства». Затем, после перерыва, зал набился еще плотнее. Играла музыка, работали буфеты, выступали известные артисты...

«Для женщин и девушек, — вспоминает И. Павлов, — возможность бывать на вечерах «Собрания» доставляла, по-видимому, огромное наслаждение; здесь они имели возможность более культурного общения между молодежью, здесь они слушали пение, музыку и чтение в довольно хорошем исполнении, и, что самое главное, все это было их собственное, рабочее».

Идея созыва этого общегородского собрания была отличным политическим ходом — мирным и даже лояльным по отношению к властям способом дать почувствовать членам Собрания его возросшую силу, проникнуться гордостью за свою принадлежность к чему-то необычному, будоражащему умы, вызывающему интерес и у той публики, которая лично на тебя и не глянула бы!

С начала осени работа Собрания к тому же окончательно приобретает черты правильно, регулярно поставленной деятельности — а это всегда привносит ощущение прочности, перспективы. Все отделы открыты ежедневно с семи часов вечера; по средам и воскресеньям в них регулярно проходят собрания; каждую субботу в квартире Гапона на Церковной собираются «штабные», чтобы подготовить материал для очередных воскресных собраний, обговорить его «подачу»...

«По средам и воскресеньям выступать могли все пришедшие, причем при входе контроля не было никакого.

Конечно, выступали со своими мыслями люди более или менее развитые, но иногда не обходилось и без того, чтобы иной нес ахинею... Простой, малоразвитый рабочий заводит, например, речь, что у них в мастерской мастер больно бойкий, как бы его и нельзя ли его «остепенить малость, а то девкам-то невтерпеж»... А ему тут же и выводили тотчас же, что для того, чтобы остепенить мастера, надобно, чтобы он зависел не от хозяина, а от рабочих, иначе хозяин всегда будет защищать его с точки зрения своих собственных интересов.

В дни, когда не было ни собраний, ни лекций, в отделы приходили просто так — почитать газеты, потолковать в тесном кругу за чайком... Буфеты-чайные были при каждом отделе и никогда не пустовали. И это тоже была очень важная часть общей работы, быть может, даже важнейшая.

По мере сгущения общественной атмосферы и роста напряженности, как пишет И. Павлов, «председателям становилось все труднее и труднее удерживать собрание в тоне обычной умеренности, а так как эти председатели были и наиболее развитыми и сознательными рабочими, то умеренность и осторожность их была простым рабочим вполне понятна; было видно, что пока не пришло еще время; *создавалась атмосфера внутреннего единения между вожаками и массой, — получался всем понятный массовый заговор...* (выделено мною. — В. К.)». И эта атмосфера молчаливого, но всем понятного заговора не могла бы сложиться без ежевечерних чаепитий в тесных кружках, где те же активисты Собрания параллельно своей открытой, «официальной» агитации вели «глухую», только для особо доверенных, которая быстро распространялась и становилась всем известной поправкой к их публично-благонамеренным речам.

Кстати сказать, эта столь хорошо понятная нам, детям застойных десятилетий, атмосфера молчаливого заговора, необъявляемой, но всем известной поправки к громко произносимым словам, некоего «языка своих» — эта атмосфера, безраздельно царившая в Собрании, была чужда и непонятна партийным ораторам того времени. Они совершенно не понимали реакции зала.

«Стоило назвать себя социал-демократом, — пишет, например, Д. Сверчков, — чтобы немедленно быть лишенным слова толпой. Некоторые из товарищей, однако, умели выкарабкиваться из затруднительного положения.

Помню одного рабочего, пользовавшегося таким приемом. Получив слово, он начинал:

«Товарищи! Отец Гапон говорил так: рабочих душат со всех сторон. Это делает и правительство, и капиталисты. Нам нужно думать, как освободиться от этого двойного ярма. Для того чтобы бороться и с теми, и с другими, нужно организоваться. И об этом говорил отец Георгий Гапон. Но организоваться нам не дают при полицейском строе. И вот отец Георгий Гапон говорил, что нужно прежде всего завоевать свободу союзов, слова, печати и стачек...»

Отец Георгий Гапон ничего этого никогда не говорил, но слушатели были в восторге и провожали оратора, излагавшего программу нашей партии со ссылкой на отца Георгия Гапона, громкими одобрениями.

Стоит, однако же, заглянуть хотя бы в мартовскую «программу пяти», излагающую подлинные цели Собрания, чтоб стало ясно: именно это все и говорилось многожды и отцом Георгием, и его многочисленными помощниками, которые, разумеется, выражались больше намеками и обиняками, но для собиравшихся вполне ясно. А столь хвалимый Сверчковым партийный оратор выглядел, я думаю, в глазах гапоновцев таким хорошим, но простоватым парнем, сплеча рубящим то, на что умным достаточно лишь намек.

Как быстро продвигались члены Собрания в усвоении цивилизованных демократических понятий, видно хотя бы из того, что здесь велась специальная работа среди женщин — вещь на Руси за пределами ее образованного слоя совершенно немыслимая. «Помню, какой бой мне пришлось выдержать, когда обсуждался вопрос, может ли женщина быть членом Общества», — вспоминает В. М. Карелина. Но очень скоро «в одну из частных бесед с Гапоном я высказала ему свою мысль относительно женской организации при Обществе. Гапон охотно согласился на это... Я должна была взять на себя инициативу, так как в Обществе не было интеллигентных сил не только женских, но и мужских почти не было. Назначили один день в неделю для женских собраний — четверг. В первое время все женские собрания и организацию их приходилось вести мне, но как только немного наладилось дело, то были выбраны в каждом отделе свои председательницы и секретари, которые уже входили в ответственный кружок отдела с правом голоса... Стали

их выбирать распорядительницами на концерты и танцевальные вечера, потом выбирали в хозяйственную комиссию, в библиотечную и лекционную».

Отделы Собрания росли как грибы после дождя. У Собрания было теперь все: покровительство обманутого начальства, деньги (благодаря концертам и чайным отделы совсем неплохо окупались), а главное — кадры. «Открывающиеся отделы получали от центра революционную закваску», — пишет Н. Варнашов и поименно перечисляет тех членов «кружка ответственных лиц», тех «штабных», которые и служили такой «закваской».

Только полиция чувствовала себя в Собрании все более неуютно. Гапон до того осмелел, что однажды просто-таки выставил полицейского пристава: «Вам здесь делать нечего. У нас был градоначальник — это лучшее свидетельство того, что у нас все благополучно и законно». Переодетые агенты, разумеется, шастали, хотя и с ними тут пытались бороться.

«Если узнают или заподозрят шпиона, разыгрывается такая сцена.

Перед началом заседания из толпы раздается возглас: — Товарищи! Между нами шпион. Расступитесь!

Толпа молчаливо расступается, делает «улицу», и здесь, между двумя молчаливыми живыми стенами, по вежливому приглашению, должен дефилировать разоблаченный агент по направлению к двери.

— Смотрите ему в лицо! — говорят главари. — Чтобы запомнить лучше...» (Н. Симбирский).

Можно усомниться: да впрямь ли удавалось столь простым способом выявлять настоящих шпионов? В глупое положение «среди улицы» скорей попадались просто случайно, из любопытства забредшие в Собрание новички. Но спланированный, психологический эффект таких «фокусов» был, я думаю, очень велик.

Ну и как последний штрих в картину этого бурного осеннего расцвета Собрания следует добавить два важных свидетельства.

«Через шесть месяцев своего существования (со дня официального открытия. — В. К.) наш союз стал приносить доход, и мы открыли потребительские лавки и чайные» (Г. Гапон).

Осенью у Собрания «появился запасной капитал в банке. В несколько тысяч. Когда появился капитал, дело ширится и развивается. Задумана широкая система ко-

операции... открыть при отделах свои мастерские, чтобы обувь и платье рабочему, находящемуся в кооперации, **стоила** ровно столько, сколько стоит материал при оптовой закупке. Надо завести потребительские лавки, чтобы промышленность удешевилась до минимума, и т. д. и т. п. Возникает проект специального рабочего банка, созданного исключительно на рабочие деньги. Все это было сделано в несколько месяцев петербургскими рабочими при ближайшем и непосредственном руководстве Гапона. И оборвалось все это 9 января...» (Н. Симбирский).

Ну, а теперь давайте на минутку отвлечемся от хода событий и задумаемся: что же это было за такое учреждение — гапоновское Собрание? При всей нечистоте его источников — на пользу рабочим была его деятельность или во вред? Радоваться ли, что оно так недолго просуществовало, или все-таки огорчаться? Впрочем, все стороны деятельности Собрания разом не охватишь — возьмем по пунктам.

1. Просветительская программа, музыкально-литературные вечера, танцы, лекции — это на пользу? Ну, не Бог весть что, конечно, подлинно культурными людьми в стенах гапоновского Собрания не становились — это так. Но ведь хоть что-то. Ведь «у рабочих была страстная охота заниматься. И чем только они ни занимались. Кто математикой, кто русским языком, а кто и иностранными языками. И на что они были им, не знаю, а занимались и этим. Занимались музыкой и даже гимнастикой...» (А. Карелин). Занимались, четко понимая, что шубу из этого себе не-сошьют, в люди не выпрыгнут... Но ведь душа, придавленная тяжким трудом и скудным бытом, требовала хоть какого-то выхода, хоть иллюзорного расширения своего пространства. И эту ее потребность Собрание старалось и могло удовлетворить.

2. Взаимопомощь. Возможность получить ссуду ввиду родин, болезни, потери работы... Это, я думаю, и объяснять не стоит: касса взаимопомощи благополучно дожила до наших дней на любом производстве, в любом коллективе.

3. Собрания, обсуждение нужд и различных производственных ситуаций — на пользу? Во вред? Как ни оценивая политический эффект этих обсуждений (а разные партии его, естественно, по-разному и оценивали),

общеразвивающее воздействие их очевидно и всеми признано. Значит — на пользу.

4. Учреждение артелей и потребительских кооперативов — на пользу?.. Представим себе на мгновение, что 9 января не было, залпы не грянули, кровь не пролилась и Собрание благополучно существовало еще лет десять, а то и двадцать. Эта его деятельность могла бы тогда стать началом очень важных процессов в сфере экономики, а следовательно, и политики. Ведь распространение таких экономических ячеек, по сути народных предприятий, могло бы хоть несколько поколебать монополию частного капитала, оказать ему конкуренцию, а следовательно, и смягчить его молодую эксплуататорскую злость...

Да, что ни говори, заманчиво.

И все-таки все это — мечты, миражи, не более. Потому что все эти благие веяния, радужные перспективы сулили сколь-либо реальные сдвиги лишь при длительном существовании Собрания. А длительно оно существовать не могло. И осенью 1904 года в нем самом и вокруг него уже нарастали те социальные и психологические напряжения, которые были неизбежны и которые, собственно, и привели к катастрофе 9 января.

Глава третья

Осенняя весна:

надежды, страхи, миражи

Превращение «благомысленного», реакционного, беспрерывно распевающего молитвы и чуть ли не на деньги полиции созданного (доказательства появились позже, да ведь земля слухом полнится!) гапоновского Собрания в неслыханно грозную революционную силу составляло для большинства современников мучительную загадку: да как же могло такое случиться? Почему никто не смог раскусить попа вовремя? Неужели он столь хитер?

Предлагались, естественно, и разгадки. Разные. От прямого участия дьявола (черносотенная газета «Русское знамя») до железных схем «исторической закономерности»: «Итак, сперва экономическая стачка по случайному поводу. Она расширяется, захватывает десятки тысяч рабочих... Радикалы, банкетная политика которых уперлась в тупик, сгорают от нетерпения. Они недо-

вольны чисто экономическим характером стачки и толкают ее вождя, Гапона, вперед. Он вступает на путь политики и находит в рабочих массах такую бездну недовольства, озлобления и революционной энергии, в которой совершенно утопают маленькие планы его либеральных вдохновителей. Выдвигается социал-демократия... Ее лозунги подхватываются массой и закрепляются в петиции».

Это — Троцкий. Но схема им лишь прочерчена. Родилась же она задолго до того, как он сел за свою рукопись. Еще осенью 1905 года Гапон рассказывал журналисту Н. Симбирскому об эмигрантском собрании в Женеве, на которое был принесен свежий номер журнала с описанием 9 января.

«Читается это описание, и из него совершенно ясно определяется, что весь день 9 января в Петербурге сделан, задуман и совершен партией социал-демократов... Гапону здесь отведено самое скромное место...

— Слушал, слушал это я, — говорит Гапон, — да наконец и не выдержал: господа, говорю, это ведь неправда».

Наивный он человек, этот «дьявольский поп»!

Когда политики пытаются в запале борьбы перехватить друг у друга яркое знамя выдающегося события, то им не до «обывательских» соображений о какой-то там правде! Тем более что всей правды о событии, скрытых его пружинах пока что никто и не знает, даже участники. Отсутствующие факты и документы восполняются догадками, интуицией, а интуиция наша — штука очень даже идеологизированная. Но потом, когда одна из борющихся политических сил побеждает и ее версия получает на долгие десятилетия статус *непререкаемой истины*, обрастая целым Монбланом одно и то же долдонящей литературы, — потом вырваться из объятий этой *затверженной версии* на простор свободного сопоставления фактов бывает не так-то легко.

Как же нам быть?... Как отойти от схем и приблизиться к истине? Как разгадать секрет превращения «полицейских агентов» в пламенных революционеров? Особо если учесть, что части их, в том числе и самому Гапону, еще предстоит проделать и путь обратный?

Следует, думаю, вспомнить, что автономность всякого политического явления весьма относительна, что закладываемая его идеологами программа не может осуществлять-

ся иначе, как только беспрерывно корректируясь развитием окружающей обстановки, сопредельными политическими явлениями. Более того, сама структура гапоновского Собрания (харизматический лидер + узкий круг «посвященных» + круг полупосвященных + наконец, масса, находящаяся под властным обаянием харизмы своего лидера) — сама эта структура делала его явлением весьма динамичным, мощно резонирующим на всякую подвижку общественной жизни.

Важнейшим же фактором, определяющим эти подвижки, была, разумеется, война, меняющееся к ней отношение. Начало ее, как и ожидалось, вызвало бурный всплеск патриотизма. И Собрание, официально возникшее как раз в это время (утверждение устава — 15 февраля, открытие — 11 апреля), легко и естественно восприняло сугубо патриотическую фразеологию момента: беспрерывные разговоры о «национальном самосознании», шумная скорбь о его «погибшем от руки инородца» защитнике, многократное «разоблачение» революционеров как антипатриотов, не скорбящих о пролитой русской крови... Все это впитывается Собранием из атмосферы окружающих его общественных настроений, прочно усваивается и... остается почти до конца! Остается, но при этом чем дальше, тем больше воспринимается самим Собранием как фразеология лишь официальная, обязательная, как некая маска, носимая для посторонних и непосвященных.

Удивительно? Ничуть! Ибо всплеск патриотизма был столь явно инспирирован правительством, развязавшим войну, что для общества оказалось реакцией чисто внешней, почти ритуальной. Глубинные же общественные процессы этого времени были едва ли не противоположны. Немецкий журналист Гуго Ганц, проводивший в Петербурге три первых военных месяца, свидетельствовал в своей книге «Перед катастрофой», что «общей тайной молитвой» не только либералов, но и многих умеренных консерваторов в это время было: «Боже, помоги нам быть разбитыми!»

Впрочем, публицистика, даже и очень умная, явление идеологизированное, и потому как свидетельство о времени не слишком надежно. В нашем распоряжении есть, однако, и документы, в момент своего создания для чужих глаз не предназначавшиеся, — дневники, частная переписка... Вот, например, перлюстрированное письмо

графини Бобринской в Париж из Курской губернии: «Мы здесь ждем со дня на день падения Порт-Артура. Не верится больше ни в какую удачу; такое впечатление, будто все рушится в России и снаружи, и внутри. В деревне такая беднота, какой никогда еще не видывала».

Быть может, самое удивительное, что это письмо отправлено еще 29 мая, т. е. за две недели до того дня, когда корпус Штакельберга двинется в наступление на выручку крепости и когда никто еще не мог знать, что наступление это провалится и только внезапный ливень спасет корпус от полного разгрома. И больше чем за два месяца до 30 июля, когда японцы, вбив войска фон Фока в крепость, приступят к правильной ее осаде!

Два месяца!.. Но в Курской губернии уже ждут «со дня на день» падения Порт-Артура! Да, с патриотизмом там, видимо, не густо... Зато там, в Курске, все в порядке с жесткой, отнюдь не женской логикой: может ли, в самом деле, быть велика военная мощь державы, на бесконечных просторах которой «такая беднота, какой никогда еще не видывала»? Нет, разумеется.

Но то, что для одних разумеется, другим как раз и не хочется разуметь. Они предпочитают искусственно поддерживать волну патриотизма, наращивая пропагандистские, «уговаривающие» усилия. Весь конец июня и начало июля Николай проводит в поезде: Белгород, Полтава, Тула, Пенза, Сызрань, Коломна... Их Величество мотается по стране, без усталости вдохновляя и благословляя свои войска. Прокричав ему восторженное «ура!», солдаты грузятся в дальневосточные эшелоны. К концу августа именно эти, вдохновленные монархом, части прибывают на боевые позиции. Численный перевес японцев почти ликвидирован. Но 24 августа японцы, словно и не зная об этом, начинают генеральное наступление под Лаояном...

И что? Да то, что «охраняющие войска, как правило, при появлении противника отходили, не принимая боя и не пытаясь произвести разведку». К 26 августа отступление русских превращается в панический драп. Проливной дождь, разлившиеся реки, раскисшие дороги — артиллерия тонет в грязи, обозы бросаются — драп!!

«Неудачи Маньчжурской армии, — пишет современник событий, — коренились исключительно в том действии, которое производили на воображение начальства армии

смелые маневры неприятеля, вызывавшие с нашей стороны только пассивное уклонение от ударов. К сожалению, такое настроение отразилось на некоторых старших войсковых начальниках, что ослабило еще больше решимость высшего командования доводить дело до боевой развязки».

Великим полководцем генерал Куропаткин, конечно, не был — о чем говорить! Но согласимся, что нежелание командования «доводить дело до боевой развязки» вовсе не обязательно объяснять его бездарностью. Если командующий знает, что при первом же нажиме противника его дивизии побегут... А ведь они бегут раз за разом, и только приказы об отступлении на этой войне исполняются охотно и в срок! Причин много: вооружение, снабжение... Но главная, как ни крути, заключается в том, что безрадостная память о нищете родных равнин явно осиливает восторг патриотизма, взбодренный лицемерием монарха.

Без патриотизма героизма не бывает и быть не может — факт! А с патриотизмом к осени 1904 года дела в России обстоят скверно. В столице — особенно. И поэтому столичная полиция ну прямо... налюбоваться не может на свое детище — гапоновское Собрание. Начальник петербургского охранного отделения не рапортует — поет: «Присматриваясь к деятельности «Собрания», невольно начинаешь видеть его жизнеспособность и его могущее быть весьма благотворным влияние на рабочую массу: опыт жизни самого «Собрания», хотя и кратковременный, служит тому порукой. И теперь уже Собрание русских рабочих явно начинает обрисовываться как благожелательный общественный элемент. К тому же оно все более начинает приобретать симпатии в разумно-честной среде русских рабочих. Доказательством служат усиленные просьбы действительных членов «Собрания» с разных концов Петербурга открыть отделы «Собрания» в их местностях, так как некоторые рабочие только из-за дальности расстояния не вступают в действительные члены „Собрания“».

И это — в начале июня, когда в образованном обществе уже несомненно обозначился общий поворот от патриотического восторга к критике и недовольству войною. А Собрание, только что бурно двинувшись в рост, шумно скорбит о Бобринском и проклинает социал-демократов, как ярых антипатриотов. Вот он — подлинный

исток несомненной симпатии Кременецкого к Собранию. Но... Знать бы бедняге, принятием *какой* тайной программы вызван радующий его прилив энергии и напористости в работе гапоновцев!

Правда, эту программу приняли, с нею знакомы пока только 5 из 750 членов Собрания. Остальные — еще неизвестно, как бы к ней сейчас отнеслись. Скорее всего — отвергли бы! Так может ли иметь какое-либо серьезное значение этот заговор 5 среди 750?

В обществе, живущем нормальной, гласной политической жизнью, разумеется, нет! Но там, где сам министр внутренних дел «всему своему образу действий придал характер большого заговора против множества разных заговорщиков», в стране, где правительство берет на вооружение методы подполья и политического террора, а подполье бюрократизируется почти как правительство, — любая мелочь в такой стране может стать камешком, обрушивающим лавину!

Мелкий чиновник охраны Пешков не успевает вовремя собрать по архиву данные о бывшем студенте Егоре Сазонове, и неперехваченный Сазонов бросает 15 июля бомбу, разносящую в щепки карету самого Плеве! Мгновенно рушится целая гора заговоров, затеянных министром, — и против своего вечного соперника Витте, и против Лопухина¹, и против русской революции!.. И как всегда в таких ситуациях, в глаза обществу мгновенно бросаются самые уродливые и грязные из обломков — заготовленные впрок доносы, перлюстрированные письма «ближайших сподвижников», провокаторство и тотальная слежка в среде высших чиновников... Отвращение и возмущение общества столь велики, что даже царю становится ясно: надо что-то менять! Надо менять, ибо маленькой победоносной войны не получилось, а большой и победоносной без поддержки общества, без его патриотизма просто и быть не может! Нужна поддержка! И мучается бедный монарх, колеб-

¹ После гибели Плеве в его столе, по свидетельству Лопухина, были обнаружены две пачки бумаг, среди которых Лопухин обнаружил подлинники своих же писем, отправленных по почте, но так и не полученных его двоюродным братом Сергеем Трубецким. «Мои письма были задержаны и хранились у Плеве, по всей вероятности, потому, что в них я, как потом оказалось, безошибочно в отношении сущности и характера и в отношении срока доказывал близость революции и неизбежность свержения самодержавия» (А. Лопухин).

лется: так хочется назначить близкого по душе, архиконсервативного Б. В. Штюрмера, уже и указ заготовлен, но... но... Со всех сторон теребят, суетятся, хотят каких-то перемен, подвижек; даже Вово Мещерский и тот... И, махнув наконец-то рукой, царь вызывает из Вильны тамошнего генерал-губернатора, человека добрейшего и честнейшего (хоть и жандармского генерала!), князя П. Д. Святополк-Мирского, испытывающего к тому же столь искреннее отвращение к полицейско-репрессивным методам управления страной, что оно еще в 1902 году заставило его покинуть престижнейший пост товарища министра внутренних дел и шефа жандармов.

Особо прошу заметить: все эпитеты в предыдущей фразе стоят без кавычек! Ибо ни в доброту, ни в честности, ни в благих намерениях, ни даже в уме Мирского у нас нет ни малейшего повода усомниться. И то, что слухи о предстоящем высоком назначении его скорей встревожили, чем обрадовали, — еще одно тому доказательство. «Я считаю, — говорил он министру двора Н. И. Воронцову-Дашкову, — что при теперешних обстоятельствах никто не имеет права согласиться занять этот пост, не создав сначала программу, которая была бы известна и одобрена государем, очевидно на либеральных началах».

Он и Николаю бестрепетно заявил, что «едва ли выбор его может соответствовать господствовавшему в то время направлению государственной политики, основанному на строгом ограничении общественной самостоятельности и на преследовании всякого проявления свободной мысли. Будучи сторонником единения власти с обществом, с народом, он назвал себя «человеком земским». На что Николай II ему заметил, что ведь и сам он всегда поддерживал „земских начальников“»¹. Несмотря на столь содержательную царскую беседу, Мирский принял назначение, не оговорив никакой особой программы. «Когда... я его спросил, — пишет А. А. Лопухин, — почему он не выговорил согласие на конкретную программу, которое, мне казалось, следовало бы облечь в форму письменную, в форму резолюции Николая II на его,

¹ Думается, те из современников, кто ехидничал по этому поводу, что вот, мол, и восьми лет царствования не хватило бедняге, чтобы уразуметь разницу между земством и назначаемым сверху земским начальником, были не совсем правы. По характеру последнего самодержца можно скорее предположить, что это была первая царская «поправка» к еще не заявленной программе Мирского.

— Мирского, докладе, — он мне заметил, что по характеру Николая II это нисколько не обеспечило бы программе исполнения. В успех своей идеи Мирский, мне кажется, не верил, относясь с крайним недоверием к Николаю II, а согласился стать министром, вполне сознавая тот личный риск, который брал на себя, но полагая, что его политические взгляды повредить России не могут, а службу он ей сослужит хотя бы тем, что устранил возможность таких кандидатур, как штюрмеровская, которая уже намечалась».

Вот именно! В том-то все и дело, что при всей своей доброте, честности и даже принципиальности Мирский был прежде всего чиновником, службистом и никак не политиком... «Уж лучше я, чем этот дурак Штюрмер!» — какой чисто чиновничий, аппаратный довод!

И вместе с тем, объясняя свое решение Лопухину, Мирский, как мне представляется, немножко лукавил. Для того чтобы представить царю программу, ее, как минимум, надо иметь. А генерал А. А. Киреев, очень неплохо знавший высшую правительственную среду, не зря писал, что «коренная наша беда в том и состоит, что у наших врагов — конституционалистов и социал-демократов — программы есть, а у людей порядка, не говоря о людях правительства, программы нет. Идеи у них противоречивые, расплывчатые, неопределенные». Вот и у Мирского была не программа, а лишь смутное ощущение, что «положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией. Необходимо помириться, а то скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных и надзирающих, и что тогда?» А также — что и «петрункевичи в массе могут быть полезны», а потому-де необходим «призыв в Петербург выборов для обсуждения».

Приняв назначение, Мирский первым же делом вызвал к себе в Вильну Лопухина и затребовал доклад «о положении вещей в России», которое Лопухин характеризовал ему как «канун, в сущности уже начало революции, неотвратимой в силу крайней духовной немощи власти».

Быть может, Лопухин, запугивая начальство, перегнул палку? Нет, внутриполитическое положение России действительно ухудшалось стремительно и по многим направлениям. Лето 1904 года принесло неурожай в целом десятке губерний. Между тем, в связи с ростом

военных расходов, вместо обычных в подобных случаях послаблений властям приходилось еще и наращивать фискальные усилия. В счет накопившихся недоимок становые отбирали по селам коров, домашнюю птицу, самовары; в городах дорожали продукты, топливо, квартиры... Терпение истощалось не только в образованном обществе, но уже и в «темном народе». В оппозиции правительству оказывались все новые и новые общественные слои. 31 августа на заседании умеренно-либерального кружка «Беседа» П. Долгоруков в лоб поставил вопрос: не пора ли земству отказаться от «казенного патриотизма»? И не нашел серьезных оппонентов! Наоборот! «Говорят, что японская Маньчжурия будет нам постоянной угрозой,— рассуждал его «собеседник» Н. Н. Львов.— Но облегчится ли наша задача, если Маньчжурия будет русской? Сколько потребуется войск для охраны ее от Японии и еще от Китая?.. Нужно кончать бесцельную войну, но для ее окончания существующее правительство недостаточно авторитетно».

16 сентября, официально вступая в должность, Мирский произнес перед чинами министерства несколько туманных фраз о необходимости новой политики, основанной на «доверии к обществу». Несмотря на туманность, а быть может, и благодаря ей, речь в истомленном ожиданием обществе произвела впечатление бомбы! Ведь русский обыватель, привыкший с детства, что никто и никогда не волен вымолвить все, что хочет, ибо рот в империи зажат у всех, любит и умеет истолковать по-своему любое, самое невнятное мычание!

И поток истолкований министерской речи, по свидетельству начальника канцелярии МВД Д. Н. Любимова, хлынул такой, что «сам Мирский был прямо ошеломлен, скажу даже — испуган происшедшим. В своей серой генеральской тужурке, застегнутой на все пуговицы, он нервно ходил по кабинету (в противоположность Плеве, который почти никогда не сходил с кресла) и курил трубку или папиросу за папиросой. Он только пожимал плечами и разводил руками, когда ему, чуть ли не ежеминутно, подавали телеграммы... Более тревожно, прямо страшно ему было за те телеграммы, где была несомненная уверенность в непродолжительном времени коренных реформ всего государственного строя. Между тем мне было известно, что никаких реформ не имелось в виду».

Однако нажим общества был столь ошеломляющ,

что уже через две недели во время доклада царю Мирский заводит речь о необходимости «позлатить железный скипетр самодержавия». Всего лишь позлатить, оставив вполне железным, ибо ему кажется, что «желание громадного большинства благонамеренных людей следующее: не трогая самодержавия, установить в России законность, широкую веротерпимость и участие в законодательной работе».

Что ж... Две недели назад, когда Мирский только вступал в должность, а тем более месяц назад, когда поползли первые, таинственные слухи о его новой политике, «желание большинства благонамеренных», быть может, было действительно таково. Но теперь это ушло — стремительно и безвозвратно. Ибо Мирский не учел очень простого психологического эффекта: человек, которому долго зажимали рот, а потом вдруг отпустили, не может сразу заговорить спокойно и рассудительно — он кричит. Поспешно, захлебываясь, не всегда даже понимая что именно, — он кричит от пережитого унижения, страха и боли, от того, что каждую секунду свинцовая длань полицейщины может запечатать его уста и он вновь будет бессилен что-либо сделать.

А правительство? О, правительство, решившееся после долгой реакции наконец-то на маленькую либерализацию, исполнено совсем иных, разумеется, чувств. Оно так упоено своей добротой и храбростью, что уверено: общество кинется в его объятия, растаяв от благодарности! Оно искренне забывает, что люди, к которым оно вынуждено теперь обратиться, им же неоднократно обижены, оскорблены... Что «петрункевичи», прежде чем их полезность «в массе» была милостиво признана, успели хлебнуть ссылки и вряд ли смогут срочно о ней позабыть.

Общественность, которую так недавно третировали, а теперь призывают в союзники, естественно, желает: во-первых, продать свое участие в правительстве подороже; во-вторых, испытать, освоить столь новое для себя пространство свободы, нащупать нынешние его границы, а по возможности и раздвинуть их явочным порядком; и, в-третьих, создать себе на будущее простор для отступления, ибо она убеждена, что правительство растерялось лишь на минуточку и его нажим вправо еще последует.

В результате правительство, едва осознав прежние

позиции общественности как приемлемые, почти союзнические, едва вновь собравшись на нее опереться, вдруг обнаруживает ту же общественность в качестве довольно далеко отстоящей левой оппозиции.

20 сентября, всего через четыре дня после речи Мирского, Совет «Союза освобождения» решает воспользоваться планирующимся земским съездом (тем самым, где Мирский мечтает найти «опору на общество») для провозглашения своей программы.

Программа же освобожденцев только что заметно полевела. Еще совсем недавно они считали себя «либерально-умеренным ядром русского общества», видели ближайших союзников в земцах-конституционалистах и даже находили «бестактным» в момент войны «предъявлять правительству требования внутреннего преобразования», но в сентябре, только что, они приняли участие в парижской конференции оппозиционных и революционных партий России, на которой общим минимумом для всех было признано уничтожение самодержавия и замена его свободным демократическим строем на основе всеобщей подачи голосов. А ведь освобожденцы (Пошехонов, Хижняков, Богучарский, Прокопович и др.) отнюдь не самые левые деятели в России, даже едва ли не самые умеренные и благонамеренные!

И вот если мы вспомним, что как раз между этими событиями — речью Мирского 16 сентября и решением освобожденцев 20-го — ложится еще одно — общегородское собрание гапоновцев 19-го, то без труда представим себе, какие новые, будоражащие ветры дули в это время в стенах отделов.

«Большое влияние на рабочее движение имела перемена отношения правительства к интеллигентным классам, так называемая «весна», начавшаяся с назначением князя Святополк-Мирского на место Плеве, — пишет Гапон. — Это и была та возможность, в которой я так нуждался. Как только стало немного свободнее, я пригласил студентов и других образованных людей читать лекции во всех наших отделах по различным политическим вопросам».

И действительно, с началом «осенней весны» Святополка-Мирского начинается резкое возрастание роли интеллигенции в жизни Собрания, чему, кстати, ничуть не противоречит вполне сохраняющийся в нем общий антиинтеллигентский настрой. Нарастает роль «нашей»

интеллигенции, т. е. идущей к гапоновцам, служащей им, но параллельно возрастает и неприязнь к тем интеллигентам, кто не подделывается под общий тон Собрания, а пытается ему «навязать свое».

В это же примерно время Собрание начинает замечаться и прессой. Д. Гиммер вспоминает: именно в октябре 1904 года «обратил внимание на беседу с рабочими в «Русской газете» (первая газета, стоившая одну копейку за номер и приспособленная к обслуживанию рабочего-середняка, редактор — некто Строев). Если мне не изменяет память, содержание этих бесед передавало беседу Гапона в отделах. Обыкновенно брались один-два конкретных случая из жизни рабочих, анализировались, обобщались — и делался вывод о необходимости той или другой из буржуазных свобод в устранение определенных дефектов».

Сообщение важное!

Во-первых, оно говорит о том, что Гапон и его «штабные» перестали маскировать или резко ослабили маскировку своей программы, что и понятно: ведь требования демократических свобод вышли из подполья, стали обсуждаться широко, гласно. Но эта возрастающая открытость пропаганды не могла не подогревать и интерес рабочих к тому, что происходило за пределами их среды, к переживаемым образованным обществом бурным перипетиям «осенней весны». Гапоновские «штабные» и вообще, так сказать, интеллектуальная верхушка Собрания в это время «забросили лекции и стали читать исключительно газеты», дававшие теперь обильный и острый материал для разговоров и кулуарной пропаганды.

Во-вторых, изменение тонаса пропаганды меняет и ориентацию в подборе новых членов. Если раньше в Собрание привлекалась в основном «серая масса», то теперь «недостаток в развитых рабочих сказывался в высшей степени ощутительно, и сам Гапон не только признавал это, но и принимал меры к привлечению их. Но в особенности много в этом отношении работали «штабные»: они всеми силами старались привлекать более сознательные элементы рабочего мира в Собрание. Привлеченных таким образом или вообще интересующихся и заходивших на собрания Гапон обыкновенно приглашал к себе и там наедине или в тесном кругу раскрывал карты. В большинстве случаев его беседы

всегда увенчивались успехом, и мало-помалу число развитых рабочих увеличивалось» (И. Павлов).

В-третьих, следует отметить определенное ослабление внимания полицейского и охранного ведомств к Собранию. Если весной по поводу нескольких неосторожных слов весьма благомысленного Варнашова Гапону приходилось с протоколами в руках доказывать охранке, что того-де не так поняли, то осенью «Русская газета» на всю страну сообщила, что в Собрании идет пропаганда общедемократических требований, и — ничего, никакой реакции. Образ Собрания, как организации «патриотической и благомысленной», окончательно сложившийся у властей еще весной и в начале лета, продолжает их завораживать. Фуллон охотно приезжает на открытие все новых и новых отделов, всюду произнося одну и ту же речь, что он-де солдат, а время требует патриотического единения... Никто уже не воспринимает все это всерьез, но «ура» кричат дружно и даже ручку генеральскую в знак благодарности целовать не забывают — жалко, что ли?!

К тому же забот у власти теперь хватает и без Собрания.

События везде идут в нарастающем темпе.

Во-первых, на фронте. Всякому задумавшему политический поворот правительству требуется запас прочности и авторитета. Военная победа — лучший способ его обретения. 5 октября русская армия в Маньчжурии вновь начинает наступление, которое получает у солдат наименование «бараньего», поскольку командуют войсками пятеро баронов: Бильдерлинг, Бринкен, Мейрдорф, Тизенгаузени Штакельберг.

Впрочем, положив руку на сердце, «бараньим» можно бы назвать также сам способ и ход этого наступления. Вперед шли медленно, осторожно, на промежуточных позициях рыли окопы, но все-таки шли, пока... не встречались с противником. «Если противник сам перейдет на вас в наступление, — говорилось в приказе Штакельберга 1-му Сибирскому корпусу, — то, поддерживав отступающие войска резервом, на первой же удобной позиции остановиться и задержать во что бы то ни стало наступление противника». В частях это толковалось так расширительно, что они останавливались чуть ли не перед каждым японцем. И когда генерал Ойяма 10 октября контратаковал русскую армию, она тут же остановилась.

будто обрадовавшись, а 12-го даже попятилась, но Ойяма вперед не пошел.

Общий результат этих десятидневных операций выразился в 42 тысячах убитых и более ста тысячах раненых. Других результатов достигнуто не было. Вместо повышения авторитета правительство получило взрыв общественного негодования.

Впрочем, к военным поражениям общество уже отчасти привыкло, даже научилось им радоваться как свидетельству растущей слабости власти. Зато подлинною сенсацией стали слухи о подготовке земского съезда, который воспринимается образованным обществом как некий «исторический момент». От съезда ждут столь многого, что Николай пугается и 9 октября грозитя Мирскому дать такой рескрипт, «чтобы все поняли, что никаких перемен не будет».

Монарха удастся кое-как успокоить, но земцы, получив полуофициальное разрешение собраться, тут же делают новый ход: 17 октября бюро общеземских съездов принимает решение «внести на обсуждение съезда вопрос об общих условиях нашей государственной жизни и желательных в ней изменениях», т. е. по сути провозгласить конституционную программу.

Теперь уже пугается сам Мирский. Он пытается внушить земцам, что гласное обсуждение этой программы поведет на другой же день к его отставке и возобновлению консервативной политики. Шипов его успокаивает, обещая, что обсуждение будет «дружелюбным» и «очень всех ободрит». Тревога Мирского, однако, не утихает, что и фиксирует дневник его жены, записывающей 29 октября: «Как бы не вышло, что он все-таки потерпел фиаско; он хотел одно, вышло другое». В результате тревог и колебаний министра съезду разрешено собраться лишь как частному совещанию, что, впрочем, очень устраивает его организаторов: полулегальный статус приумножает авторитет съезда в глазах либерального общества.

В столицу прибывает 105 делегатов из 33 губерний. Люди по большей части весьма солидные: 32 председателя губернских управ, 7 губернских предводителей дворянства, 7 князей, 2 графа, 2 барона... Все преисполнены гражданской ответственности. «Сегодня мы должны стать на работу,— заявляет Ч. Н. Львов,— иначе завтра ее совершат другие орудиями и для другой цели...» Но

расчет на относительную умеренность съезда все-таки не срабатывает. За создание выборного законодательного представительства голосует 71 человек, а законосовещательного — лишь 27.

После съезда группа его лидеров во главе с Д. Шиповым и П. Долгоруковым посетила Мирского и заверила его, что на съезде «все сознательно и серьезно отнеслись к делу» и пришли к заключению, что представительство, обеспечение прав личности и т. п. необходимо, но «все должно исходить от государя, т. е. быть пожаловано».

Это существенно. Ведь пожалование любых прав отнюдь еще не нарушает основных принципов абсолютной монархии. В сущности, земцы не требуют ничего невозможного, и через каких-нибудь три месяца монархия будет рада дать куда больше, только бы внести некоторое успокоение в общество, но это будет через три очень долгих месяца, а пока ясно, что программа земцев куда левее, чем ожидалось, и Мирскому нужно время, чтобы освоиться с новым положением вещей.

Между прочим, в эти же первые дни ноября, когда решение освобожденных направить земский съезд «на путь открытого заявления конституционных требований» столь блестяще осуществляется, сами освобожденные в лице Кусковой, Прокоповича и Богучарского впервые, по свидетельству А. Карелина, появляются в гапоновском Собрании:

«В начале ноября в субботу вечером четверо нас — я, Кузин, Варнашов и Васильев — и эти интеллигенты сошлись у Гапона.

Мы и задали вопрос этой интеллигенции: что бы вы посоветовали делать рабочим, ведь земцы выступают с петициями, заявляют свои требования, а как быть рабочим?

Прокопович в ответ на это произнес длинную речь; суть этой речи сводилась к тому, что правительство, мол, обманывает народ. Предложил он нам социал-демократическую программу.

Мы ему говорили на это, что так нельзя, что народ, все рабочие не пойдут за социал-демократической программой.

Вот тогда-то на этом собрании Гапон и объявил свою петицию. Интеллигенты были очень сильно поражены и сознались, что это было лучше программы, шире.

Сами же они ничего нам не посоветовали, как и что

делать нам, мы от них ничего не добились. Они оказались в нетях».

Антиинтеллигентские настроения Алексея Егоровича нам известны, но думаю, что мы вполне можем верить его сообщению об относительной бесплодности первого визита освобожденных в Собрание. Да и вообще какие-либо встречи и переговоры узких групп, подобные описанной Карелиным, могут иметь решающее значение для массовых полустихийных движений только тогда, когда их участниками угадывается настроение массы, чувствуется, чего именно она хочет, на что готова.

Характерно, что ту же идею выступления с петицией другой участник этого совещания, Варнашов, связывает не с ним, а с банкетной кампанией, когда «наиболее яркие резолюции печатались какой-либо газетой или журналом, жертвовавшим своим существованием (для этого.— В. К.). Это давало отделам Собрания вполне легальный и благодарный материал для агитации и пропаганды, требовалось к нему только легкое и безопасное разъяснение»...

Такое возникновение самой идеи вроде бы более естественно. Хотя... От начала банкетной кампании (а началась она в день сорокалетия судебных уставов, т. е. 20 ноября) до 28-го, когда произошло совещание гапоновских «штабных», единодушно называемое ими «заговор на выступление», всего-то одна неделя — срок, за который идея массового выступления вряд ли могла овладеть достаточным кругом рабочих.

Следует, вероятно, предположить, что между этими двумя был и еще целый ряд совещаний, где эта идея возникала и обкатывалась многожды и в разных вариантах. Да и по характеру своему совещание 28 ноября — а оно было довольно многочисленным, так как все отделы были представлены своими «кружками ответственных» — могло быть только итоговым, и центральная группа не могла пойти на него без готовых, продуманных предложений.

Но эта чисто событийная канва вызревания в Собрании идеи некой демонстративной акции, быть может, не так уж важна и интересна: могло быть так, могло быть иначе... Существеннее другое. «Программа пяти», как мы помним, была принята в марте именно как программа, реестр *конечных* целей деятельности Собрания. Так как же случилось, что всего через полгода в сознании

тех же руководителей Собрания *программа собственной деятельности* превратилась в простой список требований к правительству?

Причин, мне кажется, несколько. Но выделим хотя бы две.

Во-первых, создалось уже как бы некое «магнитное поле» однотипных общественных действий. Адвокаты, инженеры, врачи, литераторы — вся мало-мальски образованная Россия — все спешат объединиться в какие-либо общества и союзы и тут же предъявить правительству свои требования. Разумеется, ни одна из этих групп не рассчитывает на их немедленное удовлетворение. Это способ не столько борьбы, сколько политического самопознания, самообнаружения различных социальных групп, что в моменты кризисного обострения общественной жизни, ее политизации и поляризации само по себе чрезвычайно важно и ценно.

Вообще, осознает это общество или нет, но оно всегда являет собой некую целостность, и потому политическая подвижка одного социального слоя немедленно вызывает подвижки и новое самоопределение других. Формирование левых движений непременно отзывается формированием правых: заявили о себе либералы — должны заявить и консерваторы.

9 ноября, сразу же после земского съезда, генерал А. А. Киреев записывает в дневник: «Собрались мы, консерваторы, у Головина. Он предлагает сговориться и устроиться в противоположность партии „петрункевичей“». «Нынешнее настроение общества, — несколькими днями позже записывает великий князь Константин, — слишком напоминает то, что было в 80-м и 81-м. Тогда правительство растерялось, но все же чувствовалась власть; теперь же власть пошатнулась и в безволии государя вся наша беда. Нет ничего определенного. Смута растет, и чувствуется впереди что-то неведомое, но неминуемое и грозное!»

Растерянность и тревога, звучащие в этих записях, не должны нас обманывать, ибо психологически ощущение тревоги как раз и разрешается готовностью к действию, а растерянность — стремлением к организации. Именно осенью 1904 года резко политизирует свою работу «Русское собрание», возникает идейное и организационное ядро того, что вырастет в «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела».

Во-вторых, политизация различных групп общества усиливает в них дух соперничества и рождает подозрительность почти болезненную. Особенно в отношении групп, как-то уже организованных. «В это время,— пишет Гапон,— владельцы фабрик и заводов, встревоженные быстрым развитием нашего общества и независимой манерой его членов держаться и испуганные возрастающей силой «Собрания», решили последовать примеру Зубатова и пригласить некоторых его агентов для организации официального союза для конкуренции с нашим»¹.

Положим, рядовых членов Собрания появление конкурирующей организации встревожило куда меньше, чем сгущавшаяся вокруг них на заводах и фабриках атмосфера подозрительной недоброжелательности. Пока Собрание было горсткой «хороших, патриотически настроенных» рабочих, его можно было поощрять и поддерживать. Но в обстановке резкой политизации стремительный численный рост и организованность Собрания начинают пугать. Еще даже не действуя по-настоящему, оно уже вызывает резкое противодействие. Отсюда и придирки заводских администраторов к гапоновцам. А в результате именно у рядовых членов и возникает настоятельная потребность, чтобы Собрание наконец-то продемонстрировало свою силу и тем их защитило. Как видим, идея некой демонстрации силы рождается *раньше* идеи петиции и, по сути, *безотносительно к ней*.

Уже на совещании 28 ноября, как описывает его Н. Варнашов, эта потребность в демонстрации силы проявляется вполне спонтанно, и характерно, что обсуждаются здесь не столько сами требования, сколько способ их заявления. Собрание было жаркое, бурное, но «все сходились на одной мысли, что если рабочим подавать свой голос, то чтобы услышало его не одно правительство, а вся Россия. Воспользоваться примером земств и корпораций — значило затеряться в общей массе; отправить депутацию — тоже не много; оставалась поддержка забастовкою, но на подготовку таковой надо время и время, а *половина присутствовавших требовала чуть ли не немедленного выступления* (выделено мною.— В. К.)».

¹ «Санкт-Петербургское общество взаимопомощи механических рабочих» во главе с Ушаковым, Старожиловым и Пикуновым действительно возникло в октябре 1904 года. Ему покровительствовал фабричный инспектор Литвинов-Фалинский.

Здесь нам, наверное, следует прервать изложение хода событий и заняться наконец-то одною побочною темой, породившей бесчисленное множество стойких легенд. Тема эта — гапоновское Собрание и РСДРП. А прерваться именно здесь удобно потому, что 28 ноября есть важнейший поворотный пункт как для одной, так и для другой организации.

О деятельности петербургских социал-демократов нам приходилось упоминать лишь от случая к случаю. И далеко не всегда, говоря о социал-демократии, мы имели в виду РСДРП. Ведь когда, скажем, А. Е. Карелин утверждает, что Богучарский и Прокопович предложили Собранию «социал-демократическую программу», то это означает лишь то, что старые кружковцы Карелин, Кузин и Васильев помнили, вероятно, этих людей еще как «легальных марксистов»... Но к осени 1904 года «Союз освобождения» ничего общего с РСДРП не имел.

Что же представляла собой в это время столичная организация РСДРП, какими силами располагала? Это попытался выяснить еще В. И. Невский: «Если даже принять, что во всех районах организация стояла на такой высоте, как в Нарвском (по многим воспоминаниям, именно здесь были особенно сильны большевики.— В. К.), то и тогда число организованных рабочих было ничтожно мало; шесть районов и в каждом максимум 6 кружков по 6 человек, итого $6 \times 6 \times 6 = 216$ человек. С организаторами, пропагандистами-агитаторами, техниками и прочими работниками вся петербургская организация насчитывала максимум 500 человек. Допустим, у меньшевиков и большевиков было по 500 человек (что абсолютно невероятно, так как организация сначала была объединенная), то и тогда петербургская организация включала не более тысячи человек, а это едва-едва доходило до 1/2% всех рабочих, если считать, что их в Петербурге было только 200 тысяч».

Однако и эти цифры представляются все же сильно преувеличенными. Участники кружков — это ведь еще не члены партии, и даже активные ее сторонники — не всегда. По ряду воспоминаний мы знаем, например, что многие кружковцы одновременно посещали и гапоновское Собрание, и влияние Собрания на них было куда значительнее.

Что же можно утверждать не гадая, без приблизительных прикидок? В. И. Невский в своей книге называет

9 меньшевиков, 28 большевиков и 4 из «группы ЦК» — всего сорок один человек. По множеству других источников, я смог прибавить к этому списку еще около двух десятков фамилий и нерасшифрованных кличек. Итого 60 человек. Конечно, документы и не могли сохранить все фамилии. Но думается, что наиболее близкие к реальности цифры можно получить, если взять среднее между полученной мною цифрой, которая заведомо ниже минимума, и подсчетами Невского, которые заведомо выше максимума.

Итак, осенью 1904 года столичная организация РСДРП — это всего 500—600 человек (менее 0,25% численности рабочих, в 5—6 раз меньше числа «действительных членов» гапоновского Собрания). К тому же следует учесть, что именно этой осенью «борьба между фракциями большинства и меньшинства достигла по всей России апогея и парализовала даже ту небольшую работу, которая велась... Организационные планы старой «Искры» были выдержаны крайне строго, по крайней мере в своих отрицательных чертах, настолько строго, что доходило порой до карикатурности. Демократизм был изгнан из организации: от него не осталось и следов, и о нем говорили не иначе, как с насмешкой. Таким образом, в подполье создавался мир, некоторыми своими существенными чертами напомилавший надпольный режим. Во главе подпольного мира стояла бесконтрольная группа революционеров, своего рода партийная бюрократия... Желая сконцентрировать в своих руках все технические и идейные средства, всю «полноту власти», он (петербургский комитет. — В. К.), чуждый своей организации, подобно всякой «всесильной» бюрократии, страдал полным бессилием и крайне плохо выполнял даже функции технического руководства». Так пишет С. Сомов, меньшевик.

Дабы не усомниться, проверим его сообщение и по воспоминаниям большевика Н. Дорошенко: «В ноябре 1904 года по почину, если не ошибаюсь, студенческих групп была намечена демонстрация... Большевики, входившие в состав Петербургского комитета, были сторонниками участия, меньшевики, несколько раз меняя свое отношение, в конце концов оказались противниками демонстрации... Несколько раз нам, периферии, давалась директива звать организованных рабочих на demonstra-

цию, и в тот же день приходили рассылные комитета, отменяющие данные директивы».

Существенно, что разногласия в Петербургском комитете РСДРП резко возросли и обострились именно с началом «осенней весны» Мирского. Ибо можно было как угодно клясть хлынувший поток «либеральной болтовни», но не признавать, что он создал новую политическую ситуацию, требовавшую новых политических решений и средств, было трудно.

О неумении петербургских большевиков найти себя в этой новой ситуации ярко свидетельствует эпизод, рассказанный Д. Сверчковым в книге «На заре революции»: «Съезд (земцев.— В. К.) служил темой для разговоров во всем Петербурге, и между прочим явился пунктом разногласий моих с петербургской организацией социал-демократов... Организация передала мне для напечатания прокламацию по поводу предстоящего съезда земцев, в которой резко критиковалась попытка «освобожденцев» заставить земцев и городских голов говорить от имени всей России и порицалась их трусливая либеральная нерешительность. С этой частью прокламации я был согласен. Но совершенно не был согласен со второй ее частью, где указывался адрес помещения, в котором должен был нелегально собраться съезд, и рабочие приглашались явиться туда в день и час открытия его и разогнать делегатов. Начались споры. Я доказывал, что организация социал-демократов ни в коем случае не может издавать таких призывов, что разгоняющие съезд рабочие могут очутиться в роли помощников полиции, занятой тем же самым... В результате споров — а товарищи из петербургского центра никак не соглашались со мной — я отказался печатать эту прокламацию, и она не вышла». Хвала партийной недисциплинированности Д. Сверčkova и его нравственной сознательности! Тут ведь и в самом деле могла бы выйти грандиознейшая и позорнейшая провокация!

Меньшевики же считали необходимым использовать «банкетную кампанию», основным инициатором которой был «Союз освобождения». Кстати сказать, освобожденцам потому и удалось развернуть кампанию так стремительно, что для них она была давно обдуманным приемом. Первоначально предполагалось, независимо от всякой там «весны», начать ее 19 февраля 1904 года, но война спутала многие карты, в том числе и эти.

Осенью же старая идея освободителей¹ очень пригодилась и была стремительно подхвачена самыми широкими слоями интеллигенции.

«Интересно и крайне поучительно, — самокритично пишет С. Сомов, — что в то время, как петербургская организация социал-демократической **рабочей** партии оставалась глуха к этой громадной стихийно совершающейся у всех на глазах работе организационного и классового самоопределения петербургского пролетариата (т. е. к гапоновскому Собранию. — В. К.), она старалась очень интенсивно реагировать на общее оппозиционное движение других классов, на либеральное движение в земствах и на банкетах. Вопрос об участии партийных рабочих на банкетах не раз обсуждался в петербургских группах. По поводу декабрьского банкета литераторов² было даже созвано совещание наиболее выдающихся партийных рабочих всего Петербурга».

Подобный метод давления на либералов слева большевики отвергали, они звали «не плестись в хвосте у буржуазии, а выходить на улицу». В начале ноября одна из студенческих групп выпустила листовку, призывающую выйти на демонстрацию в воскресенье 14 ноября. Петербургский комитет РСДРП, поддержав идею, перенес демонстрацию на следующее воскресенье, чтобы успеть лучше ее подготовить. Выбрали комиссию, решили выпустить три листовки — две агитационные и призывную, дело пошло, но...

18-го состоялось очередное заседание комитета, на которое по каким-то обстоятельствам не явились трое большевиков. По-новому сложившееся большинство комитета тут же решило отменить демонстрацию как несвоевременную, а отпечатанные листовки уничтожить.

Кстати, нельзя не отметить и замечательную осве-

¹ Идея превратить банкет в политическую акцию могла, мне кажется, родиться только в России. Любопытно, что Ленинградский народный фронт возродил логику этой идеи совсем недавно, в дни Съезда народных депутатов СССР. «Митинг или демонстрацию можно и запретить, — рассуждали его активисты, — но кто может запретить советскому человеку стать в очередь?» И в назначенный день и час у почтовых отделений на Невском выстроились громадные очереди — собравшиеся отправляли телеграммы в поддержку А. Д. Сахарова. Так вот и в дореволюционной России: любое собрание можно было разогнать, но запрещать ресторанный банкет?! Как? И на каком основании?!

² Состоялся 3 декабря. О банкетной кампании у нас еще будет повод сказать чуть ниже.

домленность охраны во всех перипетиях этой межфракционной борьбы. «Насколько сильны были колебания, — докладывал Кременецкий, — видно из того, что еще 26 ноября, т. е. за день до демонстрации, в квартире студента С.-Петербургского университета Константина Александрова Масленникова было сожжено до 8 тысяч призывных прокламаций а затем, когда в тот же день вечером была окончательно решена демонстрация, оставшиеся листки были распространены только между учащейся молодежью. На заводах эти листки не появлялись».

Действительно, 26-го, когда тираж листовок был почти уничтожен, собралось экстренное заседание комитета, на которое не пришел кто-то из меньшевиков, и демонстрация опять была назначена, хотя всем уже было ясно, что провал неминуем.

В полдень 28-го демонстранты вышли на площадь у Казанского собора, были выкинута красные флаги, подняты лозунги «Долой войну!» и «Долой самодержавие!». В половине первого в ход пущены нагайки и шашки, к часу демонстрация ликвидирована. Корреспондент «Юманите» Э. Авенар записывает свидетельские показания некоего доктора: «Выходя в час дня после завтрака от своих знакомых, живущих недалеко от Казанской площади, он заметил казаков, атаковавших толпу. Быстрым обходным движением они окружили одну группу людей, которые и были арестованы; среди них было много студентов, но так же немало рабочих Александровского фабрично-заводского района».

Неудача, как это и всегда в политике бывает, подстегнула назревавший разрыв. «Как бы там ни было, но после демонстрации 4 района из шести вынесли резолюцию, в которой они констатировали бездеятельность и неспособность комитета и отказались впредь признавать его руководящей организацией... недовольные интеллигенты начинают устраивать общие собрания, где также принимают решение действовать самостоятельно, независимо от комитета, и наконец из них выделяется небольшая группа, которая решает взять на себя функции и задачи комитета и делается центром **меньшевистского** течения в Петербурге». Эта группа «прежде всего постаралась осведомиться о состоянии социал-демократической работы в различных районах. Картина получалась крайне печальная. Правильно функционировавшие организации оказались лишь в Нарвском районе, на Петербургской

стороне и отчасти на Васильевском острове. Да и в них организованность следует понимать со значительными оговорками» (С. Сомов). То же и у большевиков: «Подсчитали силы, убедились, что их очень мало, и приступили к работе» (Н. Дорошенко).

Итак, мы должны констатировать, что к началу декабря 1904 года, вследствие догматизма, раскола, ряда непродуманных и неподготовленных политических акций, петербургская организация РСДРП оказалась полностью неработоспособной. Ближе к Новому году последовал и ряд крупных полицейских провалов. Так, 26 декабря на Васильевском была арестована большая группа меньшевиков, выданная известным провокатором Н. Добро-скоковым («Николай Золотые Очки»).

Понятно, что никакого серьезного влияния на январские события ни одна из фракций РСДРП оказать не могла, что единодушно признавалось как в большевистской газете «Вперед», № 4 за 1905 год («Только столкнувшись лицом к лицу со стачкой... мы можем учесть всю дезорганизованность партии. Стоит выйти на улицу и посмотреть, что делается кругом, чтобы понять, до чего мы бессильны»), так и в «Истории РСДРП», написанной меньшевиком Ю. Мартовым («Как ни странно, но революционные организации столицы проглядели тот рост и, вместе с ростом, то постепенное перерождение основанных Гапоном легальных рабочих организаций, которое к началу осени 1904 года сделало их своего рода рабочими клубами»).

Таково было действительное положение вещей. А все последующие рассуждения политиков и историков о «выдвигающейся на авансцену социал-демократии» или «решающем значении позиции большевиков» — не более чем словесная эквилибристика.

Итак, до выхода на арену гапоновского Собрания серьезное значение в политической жизни столицы имело только противостояние правительства и либералов (земцев и освободителей). Да и тут необходима, мне кажется, весьма существенная оговорка: атакуя правительство всевозрастающим потоком петиций, адресов, резолюций, непрерывно повышая градус содержащихся в них требований, либералы, как уже сказано, вовсе не рассчитывали на быструю, а тем более благожелательную реакцию

правительства. Это с некоторым удивлением, но достаточно точно зафиксировал французский журналист Этьен Авенар, уже на третий день своего пребывания в Петербурге записав беседу с неким «либералом-пессимистом»:

«— Возможно ли, — говорю я, — чтобы правительство могло противостоять всеобщему, усиливающемуся с каждым днем давлению общественного мнения?»

— К несчастью, — отвечает он мне, — наше правительство не слишком чувствительно к этому давлению. У него есть старые аристократические предрассудки, от которых оно не может отделаться. Оно не любит, когда на него насаждают. Оно дарует не то, что от него требуют, а то, что ему угодно и когда ему угодно... Теперь мы требуем конституции; что касается меня, я убежден, что именно поэтому-то мы получим нечто иное. Царь захочет еще раз нас удивить — ее-то он нам и не даст».

Пессимистические прогнозы оправдываются на Руси быстро. Этот разговор записан 24 ноября, а в «Правительственном вестнике» за 9 декабря мы уже читаем: «6 декабря председатель черниговского губернского земского собрания представил по телеграфу его императорскому величеству ходатайство означенного собрания по целому ряду вопросов общегосударственного свойства. На телеграмме этой его императорскому величеству благоугодно было начертать: „Нахожу поступок председателя черниговского земского собрания дерзким и бестактным“». Можно, впрочем, почти наверняка предположить, что черниговские земцы не были потрясены этим выговором, ибо как раз чего-то такого и ожидали.

И тут напрашивается один вопрос, имеющий, как мне кажется, прямое отношение и к петиции 9 января: так почему же, никак не ожидая от правительства благоприятной реакции, именно к нему столь настойчиво и нетерпеливо все обращались? У гапоновского Собрания еще могли быть традиционные царистские иллюзии: высшая власть в лице помазанника Божьего могла еще представляться им чудодейственно всесильной и справедливой, хотя и труднодоступной. Но либералы, но земцы?.. Ведь многие из них принадлежали к высшему обществу и с Николаем Александровичем Романовым были попросту лично знакомы, отнюдь не переоценивая при этом ни его нравственных качеств, ни его политической мудрости. А уж николаевских министров они и тем более не переоценивали! Но тем не менее обращались-то исключительно

к власти, только от нее чего-то и ожидая. Загадка?

Ну, какая уж там загадка! Возьмем хотя бы 60—80-е годы нашего века. Куда направлялись многочисленные протесты против преследования правозащитников, ввода войск в Чехословакию и Афганистан, ссылки академика Сахарова и т. д.? Правильно: в правительство, ЦК и даже «лично товарищу Леониду Ильичу Брежневу», который «подписантами» нашей эпохи был уважаем куда меньше, чем Николай II либералами начала века. Ожидали ли «подписанты» какой-либо положительной реакции на свои письма, надеялись ли? Ни в малейшей мере! Ожидали они — что за редкими исключениями и следовало — лишь больших неприятностей для себя лично. И, ставя подпись, были уже к ним готовы.

Дело не в отдаленном сходстве исторических ситуаций, а в некой особенности российской истории в целом. В том, что на определенном ее этапе мы создали столь «огромную, превратившуюся в самодовлеющую силу, государственность», что едва ли не утратили способность мыслить и чувствовать себя вне ее, независимо от нее, а только в подчинении или противостоянии. Более того, государственность на протяжении веков воспринималась (и еще воспринимается!) нами не просто как институт организации общества, но и как некая сакральная, нравственная сила, противостоящая личности, поглощающая ее или подминающая. Именно поэтому всякий протест против тех или иных действий или узаконений государства воспринимался (и воспринимается!) в России прежде всего как протест нравственный, как свидетельство человеческой порядочности, как готовность искупить собственным страданием несовершенство общества.

Поэтому-то политический протест, заявление своих особых позиций имеет у нас прежде всего нравственное, т. е. самодовлеющее, самоценное для личности значение. Это — как бы решающий шаг к возрождению, распрямлению человека, к очищению предстоящим ему страданием. А та предельная внутренняя напряженность, без которой нет готовности к страданию, рождает вместе с нею, увы, и готовность на «крайние меры», «последние шаги» и т. п. Труднее всего на Руси быть центристом, проявлять мудрую способность к компромиссам, терпеливую выдержку, гибкость...

Итак, от правительства, по сути, ничего и не ждали. И тут следует отдать должное князю Святополк-Мир-

скому: как бы ни были обескураживающи для него результаты земского съезда, он не поспешил все же отказаться от своей линии «человека земского», а, наоборот, — относительно быстро усвоил новую идею земцев об участии выборных представителей в законодательной деятельности. Под его руководством сотрудниками МВД, в основном С. Крыжановским и А. Лопухиным, был составлен обширный доклад, представленный 24 ноября царю.

«Записка эта, — пишет А. Лопухин, — доказывала необходимость общего изменения внутренней политики правительства, необходимость мер к укреплению законности и неотложность отмены исключительных законов, установления свободы печати, свободы вероисповедания... равноправия национальностей, уничтожения сословных ограничений, придания большей независимости городским и земским самоуправлениям и необходимость народного представительства в форме введения выборного элемента в Государственный Совет. В записке были сильны не ее пожелания, а мотивировка. Несомненной заслугой Мирского было осуждение существовавших тогда порядков, законов, поскольку ими эти порядки обуславливались, и поддерживающей их практики».

Ознакомившись с запиской, Николай выразил желание тут же подписать Указ обо всех проектируемых вольностях, но Мирский, зная всю неустойчивость подобных его желаний, настоял, чтобы предложения его министерства были обсуждены специальной комиссией. «Членами комиссии были назначены Витте, тогдашний председатель Комитета министров, министры Коковцев, Муравьев, Ермолов, Хилков, Ламздорф, председатели департаментов Государственного Совета Сольский и Фриш, управляющий канцелярией прошений, приносившихся на имя Государя, барон Будберг, управляющий канцелярией о чинах гражданских и наградах Танеев, состоявшие лично при Николае II генерал-адъютанты гр. Воронцов-Дашков и Рихтер, приглашенный в особом порядке Победоносцев¹ и, конечно, Мирский» (А. Лопухин).

¹ Первоначально Николай не включил Победоносцева в общий список, сказав, что тот «слишком стар, чтобы быть в таких случаях полезным». Но едва закрылась за Мирским дверь, как Николай собственноручно написал Победоносцеву приглашение, обращаясь к его «многолетней государственной опытности» и тем самым заранее сталкивая его с Мирским.

2 декабря за проект Мирского «определенно высказались Сольский, Коковцев, Ермолов, Муравьев и Хилков; из других членов одни без особых речей присоединились к проекту, другие же согласились с ним своим молчанием. Витте, вопреки тому, что он сообщает в своих «Воспоминаниях», был весьма неопределенен, неопределен настолько, что Мирский без колебаний принял его поведение за уклонение от данного Мирскому обещания поддержки. Также, вопреки свидетельству Витте, Победоносцев вполне для него последовательно самым определенным образом высказался против народного представительства. Ввиду того, что о таковом вопрос был затронут только принципиально, а предложения записки Мирского о «вольностях» и вовсе не обсуждались, было назначено через несколько дней второе заседание комиссии. Первое же заседание оставило в участниках впечатление успеха проекта Мирского, успеха несколько бледного, но все-таки такого, который, казалось, обеспечивал идее народного представительства формальное признание» (А. Лопухин).

Успех был все-таки очень бледен. Ибо большинство участников совещания обрушились на все реформаторские предложения, требования и ходатайства, от кого бы они ни исходили. «Благонамеренных» земцев, участников банкетов, «нарушителей порядка» — всех предлагалось «строго преследовать». «Как же преследовать? — согласно воспоминаниям жены, спрашивал подрастерявшийся Мирский. — Значит, опять прибегать к административным высылкам, которые только что раскритиковали?» Наконец, он согласился на публикацию правительственного постановления, которое бы «запугало» все слои населения. Таким образом он надеялся дать «некоторое удовлетворение представителям реакции», чтобы одновременно провести призыв выборных к законодательству.

Пожалуй, нам с вами, читатель, не нужно заглядывать в глубины истории, чтоб увидеть, сколь ненадежны и хрупки подобные компромиссы реформаторов с реакционерами — достаточно почитать еще не пожелтевшие газеты.

Особую же бледность «успеху» Мирского придавала позиция С. Ю. Витте. Будущий «творец манифеста 17 октября» в своих «Воспоминаниях» объясняет все так, будто по самому шекотливому вопросу о народном представительстве он хотел было отмолчаться, но на прямой вопрос царя, хоть и «высказался положительно», вынуж-

ден был все же предупредить, что, если проект будет принят, «России не избежать конституционного правления».

Это «чисто теоретическое» замечание на самом деле было элементом сложной игры Витте на повышение собственных политических акций. По воспоминаниям уже упоминавшегося генерала В. И. Гурко, в кругах, разделявших реформаторские идеи, Витте не уставал говорить о том, что он «все уговаривает» Мирского «настоять на введении представительства», одновременно в кругах официальных и перед самим Мирским ратует против представительства.

Двойная эта игра опиралась на два взаимодействующих фактора: на ореол некой левизны и оппозиционности, который Витте все еще сохранял в глазах общества, и на образ неколебимого защитника монархических принципов, который ему необходимо было закрепить за собой в глазах Николая. Поэтому-то, намекнув, что проект Мирского выведет страну на конституционную дорогу, и тем фактически подтолкнув к провалу, он сумел взять практическую подготовку будущего указа в собственные руки.

Объективная же предпосылка успеха этой виттевской игры заключалась в том, что, пока Мирский усваивал идею «выборных представителей» и выступал со своим проектом, он опять завис в воздухе без опоры на общественность, которая еще раз стремительно сдвинулась влево. По свидетельству И. Белоконского, в конце ноября — декабря «всем членам «Союза освобождения» — организаторам банкетов рекомендовалось предлагать на банкетах резолюции, которые выражали бы не только присоединение к постановлениям земского съезда, а провозглашали бы конституционные и демократические требования в форме куда более яркой и решительной».

Продолжая радостно и беспечно осваивать неведомое ей пространство гражданских свобод, либеральная общественность до поры до времени как бы не замечала встречного течения. Между тем либерализация и реакция нарастали в обществе одновременно, как две встающие друг против друга стенки.

«Два важных политических события в течение прошлой недели, — записывает Э. Авенар, — заседания Московской думы во вторник, Петербургской — в среду (1 декабря. — В. К.), где думцы единогласно приняли требование кон-

ституционных гарантий. Новость эта, опубликованная на следующее утро, вызвала во всей России неопиcуемый энтузиазм... Все ждут следующего заседания в пятницу».

Действительно, демарш думцев на всех произвел впечатление сильнее, но... не на всех столь благоприятное. «Калуга, Москва, и теперь Петербургская дума,— записывает в дневник 4 декабря великий князь Константин,— единогласно постановили адрес, в котором всеподданнейше требуют всякой свободы. Революция как бы громко стучится в дверь. О конституции говорят почти открыто. Стыдно и страшно».

Так вот, те, кому было «стыдно и страшно», уже справились со своей первоначальной растерянностью и действовали довольно решительно. «В пятницу вечером (3 декабря.— В. К.) в думе я присутствовал при том, как задушили предполагавшиеся прения. Получен был приказ сверху, от министра внутренних дел, «сторонника либеральных реформ», как всякому известно,— которым предписывалось председателю объявить собранию, что оно в своих суждениях не должно выходить за тесный круг вопросов городского благоустройства» (Э. Авенар).

Но главное, переломное событие начала декабря произошло все-таки не в Петербурге, а в Москве. 5-го, собравшись у Страстного монастыря, довольно многочисленная группа демонстрантов направилась в сторону генерал-губернаторского дома. Руководили ею эсеры, люди решительные, иногда совсем не по разуму. Когда на Тверской демонстрантов окружили полиция и жандармы, из толпы хлопнуло несколько пистолетных выстрелов. С ответом, разумеется, не замедлили. И, несмотря на многочисленные жертвы, назавтра же все повторилось¹. Странно, что наши историки, столь охотно и шумно

¹ Любопытным свидетельством той растерянности, в которой пребывала московская охранка накануне этой демонстрации, является письмо А. Ратько Зубатову от 3 декабря 1904 года: «Пишу Вам из конспиративной квартиры, спешу, а потому простите за краткость. Если Вас не затруднит, не откажите, в память нашей совместной службы и до сего времени сохранившихся дружеских отношений, приехать хотя бы на денек и немного меня поддержать нравственно. Я совершенно измучен: все ходит ходуном, а силы и средства для борьбы совершенно парализованы — не знаешь, что делать. Ответственность не снята, а сделано все для создания революционного настроения и сознания, что самое главное, полной безнаказанности.

Дорогой Сергей Васильевич, я совершенно одинок. приезжай-

осуждающие полицейские провокации, нигде не именуют провокацией эти вот эсеровские выстрелы из безоружной толпы по вооруженной силе. Но если это не провокация, то что же?!

Так или иначе, но кровь пролилась, и 6 декабря Мирский, которому всего неделю назад удалось разогнать демонстрацию без стрельбы, телеграфирует московскому обер-полицеймейстеру Трепову, что его боевые качества могут быть с большим успехом применены против Японии.

Судя по всему, именно этот эпизод имел решающее значение для судьбы «конституционной попытки» Мирского. Согласно воспоминаниям А. Лопухина, комиссия, прибыв в Царское на второе свое заседание (оно проходило 7 и 8 декабря), неожиданно обнаружила, что ее состав изменился. «Для участия в этом заседании прибыли великие князья Владимир, Алексей, Сергей, для того приехавший из Москвы¹, Александр Михайлович и Михаил Александрович. Было очевидно, что они приглашены вследствие сказавшейся в первом заседании недостаточности для провала проекта Мирского сил одного Победоносцева. Но по открытии совещания великий князь Владимир, вопреки ожиданиям, заявил себя решительным сторонником проекта... Зато великий князь Сергей... сказал всего несколько слов, но таких, которые в известной среде действуют сильнее блестящих речей. Он выдвинул самый страшный для чиновничьей среды жупел — подозрение в измене престолу. Эффект сказался тотчас же».

В подготовленном Витте проекте указа пункт о представительстве все-таки был, но 11 декабря, подписывая указ в присутствии Витте и великого князя Сергея Александровича, Николай заявил, что его этот пункт «смущает». Оба собеседника немедленно предложили его исключить, и он тут же был зачеркнут царской рукой.

Как только судьба проекта определилась, Мирский подал прошение об отставке, которая без промедлений была принята Николаем, только на месяц отсрочена.

те завтра к вечеру и помогите мне Вашим трезвым умом и опытностью. Сегодня дал телеграмму департаменту — прошу указания, могу ли произвести предварительные аресты».

¹ Т. Е. Сергей прибыл непосредственно после получения телеграммы Мирского с фактическим требованием его отставки из-за расстрела демонстрации, виновником которой московская администрация считала того же Мирского, «все сделавшего для создания революционного настроения и сознания... безнаказанности». Понятно, как он был настроен.

С «осенней весной» фактически было покончено. Ретро-грады одержали убедительную победу в правительстве, но публика еще не знала этого, и весенние ее настроения шли по нарастающей. Банкетная кампания входила в самую шумную и многолюдную стадию.

Об этой кампании у нас принято писать скупо и более чем иронично — как о смешной нелепице. Выше я уже говорил о том, сколь серьезны были идеи, лежавшие в ее основе. И теперь для полноты картины мне остается лишь пригласить читателя на один из самых нашумевших банкетов — в память декабристов, состоявшийся 14 декабря в зале Павловой, — для чего и передать слово документам, сведя собственный комментарий к минимуму.

«При входе в зал молодые девушки с корзинами продают красные бантики (символ свободы и конституции) и белые с красным (свобода, конституция, мир). Я замечаю, что публика покупает почти исключительно последние. В зале длинные ряды сервированных столов. В убранстве нет ничего, что бы специально относилось к предмету сегодняшнего собрания... Студенты (не имеющие билетов) входят и располагаются шпалерами. Среди них много молодых девушек. У студентов синие блузы, сверху накинуты тужурки...

Один гласный думы провозглашает «ура» в честь декабристов, «великих патриотов и мучеников». Затем желает присутствующим приятного аппетита. Банкет начинается... Без инцидентов дело, конечно, не обходится. Один из них разыгрывается совсем близко от меня. Какой-то журналист, сидя в конце стола, записывает что-то в книжечку. Это кажется подозрительным. К нему приступают с вопросами. Кто его рекомендовал? Дело становится серьезным. Очевидно, его объяснения недостаточны, ибо ему приходится встать и уйти. Я замечаю, что у него на глазах слезы.

После первого же блюда начинаются речи. Первым говорит Анненский, сотрудник «Русского богатства». Это человек пожилой, седой, приятного вида... Он повторяет резолюцию банкета писателей, имевшего место 3 декабря...

Кто-то из журналистов выразился так: «Нечего искать далеко сцен ужаса: они разыгрываются на Невском». Другой оратор произносит очень сильную речь и в заключение, пародируя слова царя, говорит: «Мы должны заявить об этом **дерзко и бестактно...**» Председатель возглашает: «Мы будем иметь честь выслушать товарища

рабочего». Один за другим на трибуну выходят два рабочих. Они говорят очень серьезно, вполне свободно; слушают их с чрезвычайным вниманием. Это один из первых банкетов, на котором появляются рабочие. Оба они социал-демократы» (Э. Авенар).

Тут французский журналист не совсем точен. Впервые рабочие появились на банкетах двумя неделями раньше. Руководившие этими выступлениями меньшевики уделяли им особое внимание. Один из упоминаемых Авенаром рабочих — это наборщик Боханов, только что нелегально вернувшийся в столицу из ссылки. Второй — А. Сухов. Он также совсем недавно (5 ноября) появился на столичном горизонте, отбыв срок. Правда, он никакой не рабочий, а студент-технолог, бывший руководитель одного из рабочих кружков (весной, до ареста, у него занимался, например, видный гапоновец Д. Кузин).

«Боханов, — вспоминал Сухов спустя два десятилетия, — излагал программу социал-демократов, я критиковал указ 12 декабря. Боханов произвел на слушателей впечатление своей наружностью: высоким ростом, широкими плечами, широким же энергичным лицом со следами оспы. Громким голосом, нанося кулаком тяжелые удары по хрупкой кафедре, с которой только что говорил один из журналистов, он признает своим учителем Карла Маркса. Когда в конце собрания в резолюции пропустили было «тайное» избирательное право, откуда-то из конца залы раздался громовой голос Боханова: «А тайное почему пропустили?» Моментально несколько человек с карандашом бросились пополнять пробел, чтобы успокоить грозного пролетария».

Призыв А. Сухова идти по революционному пути был встречен на банкете бурными аплодисментами. «Конечно, большинство считали пока революцию только красивой фразой, простым украшением речи. Пошехонов даже подошел ко мне и Боханову и с явной досадой спросил нас, где же, наконец, тот пролетариат, о котором так много говорят и который все не желает появляться на сцене»¹ (А. Сухов).

«Наконец, переходят к обсуждению резолюций. Я хотел

¹ Пролетариат очень даже «желал появиться на сцене». Среди «штабных» гапоновского Собрания уже свыше двух недель обсуждались формы и способы этого появления. Но сия тайна была велика не только для либерала Пошехонова, но и для представителей «рабочей» партии Сухова и Боханова. Вот парадоксы!

бы знать, на чем остановятся, но в течение часа спорят о том, как написать: «Представители интеллигенции и народа, собравшиеся 14 декабря» или просто «представители интеллигенции». Я удаляюсь раньше, чем вопрос решен. Уже больше двух часов ночи, а банкет начался в 9 с половиной. На другой день я узнал, что немного спустя после моего ухода собрание, включавшее в себе 780 писателей, адвокатов, врачей, студентов и т. д., единогласно вынесло постановление, требующее прекращения войны и для этого — немедленного созыва учредительного собрания» (Э. Авенар).

В двадцатые годы, когда у нас была издана книга Э. Авенара, принято было, печатая мемуары или записки, сообщать в послесловии об авторе что-нибудь... этакое. Так сказать, характеризовать его с точки зрения пролетарской идеологии. И об Авенаре было сказано, что он «обыватель, который всерьез считает, что банкетное движение является одним из основных факторов революционного процесса. Интеллигентные слои общества являются в его глазах самостоятельной революционной силой...»

Наверное, я еще более обыватель, ибо уверен, что интеллигенция есть не только самостоятельная общественная сила, но и точнейший индикатор общих настроений.

Интеллигент Э. Авенар прекрасно видит и честно фиксирует смешные и даже жалкие стороны «мероприятия» своих собратьев-интеллигентов. Ряженый же «рабочий» А. Сухов и два десятилетия спустя не видит ничего плохого в устроенном им маскараде. Прямо-таки любит он и поведением своего товарища, которое наиболее вежливо и мягко можно характеризовать, пожалуй, так: на грани хамства. Впрочем, этой театрализованной «рабочей» наглости Боханова не замечают как бы и сами участники банкета — их абстрактно-теоретическая «любовь к народу» не позволяет им увидеть в рабочих какие-либо недостатки.

А жаль. Всякое общественное, всякое политическое движение имеет не только высокую, трагическую сторону, но и сторону смешную. Это неизбежно, ибо таков человек, такова жизнь. Увидеть вовремя обе эти стороны — значило бы избавиться от множества опасных иллюзий и избежать тяжких ошибок.

На этом мы, пожалуй, и закончим картину того общественного фона, на котором развивалось, начинало

разбег к высочайшей своей точке гапоновское движение, и вернемся к нему самому.

Глава четвертая

Взрыв

Жизнь Собрания шла до поры до времени как бы параллельно кипению либеральной «осенней весны» — замкнутая, почти неведомая образованному обществу, разве что по смутным и противоречивым слухам. И даже то, что газетные статьи, земские петиции и банкетные резолюции все горячее обсуждаются в стенах Собрания, было до поры неведомо авторам этих петиций и резолюций.

(Замечу в скобках, что наши дни воспроизвели эту схему взаимовлияния социальных слоев до странности близко: кто знал о перестроечных настроениях рабочих до шахтерских забастовок? Пришедшая в движение интеллигенция — писатели, публицисты, экономисты, социологи — упоенно числила в «прорабах перестройки» только себя и была уверена, что «раскачивать» рабочих ей придется еще Бог знает какое время!..)

Еще недавно свято хранившее эту свою замкнутость, отгороженность от внешних влияний, Собрание именно в связи с «осенней весной» вдруг остро ощутило нехватку интеллигентных сил, начав чуть ли не охоту за ними. Сам Гапон упорно выискивает, вербует повсюду новых лекторов и консультантов...

«Перед одним из районных собраний нашего отдела, — показывал на следствии путиловец В. А. Янов, — в самом начале ноября была получена записка от Гапона, что в воскресенье прочтет лекцию «О замене ручного труда машинным» его знакомый Финкель. И действительно приехал Финкель, которого я видел тогда в первый раз».

Немало делали для привлечения новой интеллигенции и «штабные». «В числе приходивших ко мне в ноябре месяце был и рабочий Васильев, — показывал на следствии С. Я. Стечкин, — как я позже узнал, председатель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». Он просил меня о поддержке Собрания в печати, указывая на него как на весьма полезное для рабочих учреждение... Васильев указал на статью в «Неделе», № 4, где под

заглавием «Игра в самодеятельность» очень резко осуждалось это Собрание. Я был вынужден сказать Васильеву, что статью написал я (под псевдонимом «Сергей Соломин»). Васильев просил меня не судить Собрание, а предварительно ознакомиться с ним, на что я выразил согласие».

Даже случайно заглянувшие в Собрание интеллигенты сразу же становились объектом его живейшего интереса. Так, сотрудник Петербургского телеграфного агентства Г. Филиппов, зашедший в Василеостровский отдел во время экстренного собрания 27 декабря, был тут же включен в группу интеллигентов, вырабатывавших резолюцию. «Три дня спустя, — вспоминает он, — меня неожиданно посетил на квартире покойного критика А. И. Введенского, где я жил, Гапон, который заехал ко мне для переговоров относительно устройства чтений по русской истории и литературе на фабриках и заводах Петербурга».

Не следует, однако, думать, что эти расширяющиеся контакты с интеллигенцией как-то ускорили выступление Собрания. Выше я уже писал, как возникла вначале смутная потребность, а затем и настоятельная мысль о некой демонстрации силы, оформившаяся на собрании «штабных» 28 ноября в «заговор на выступление». К этой решающей точке мы и вернемся.

Н. Варнашов вспоминал, что «речи Гапона и других, то торжественно-серьезные, то страстные до отчаяния, так овладели всеми, что пишущему это в первый момент показалось, что результат достигнут обратный — какая-то растерянность и паника отражалась на лицах и движениях всех. Но вот начали раздаваться восклицания и фразы, в которых звучал один вопрос — когда, каким образом и что надо делать?»

Сразу же возник и острый спор о сроках планируемого выступления: не подождать ли крупного военного поражения? Скажем, падения Порт-Артура или гибели небогатовской эскадры? Что «эскадра погибнет, у нас не было двух мнений, но за ожидание этой катастрофы стояли Гапон, Кузин и Варнашов с одной частью Собрания, а вторая часть с Карелиным и Васильевым во главе настаивала на скорейшем выступлении, но все-таки соглашалась с Гапоном, пока ко второй части не присоединилось событие, перепутавшее все расчеты, — это Путиловская забастовка».

Таким образом, до начала обсуждения в Собрании ситуации с четырьмя уволенными рабочими-путиловцами идея общего выступления Собрания никак не связывалась с забастовочным движением. Даже освобожденные рекомендовали только сбор подписей под резолюцией.

Между тем первые признаки стихийной «забастовочной лихорадки» уже прорезывались. «3 декабря, — сообщает В. И. Невский, — было брожение на мануфактуре Кожевникова, где рабочие требовали увольнения какого-то подозрительного служащего Полковникова; 17 декабря забастовали ткачи Ново-Сампсоньевской мануфактуры, требуя установления наименьшего заработка в 20—80 копеек в день, увольнение ткацкого мастера, отметчика и ревизчика; забастовка закончилась соглашением рабочих с предпринимателями 21 декабря». Невский считал, что «есть основания полагать, что и эти забастовки дело рук Общества».

Увы, эти «основания» весьма зыбки. По сути, все доказательства причастности Собрания к указанным забастовкам сводятся к одному месту из составленного уже после 9 января доклада старшего фабричного инспектора Чиждова, где он сообщает, что с осени 1904 года поток анонимных жалоб в инспекцию увеличился, причем «замечалось, что они начинали появляться из тех округов, в которых появлялись союзы так называемых «гапоновцев». Сущность их сводилась к жалобам на кого-либо из мелких представителей фабричной администрации, на тяжесть штрафов и на несоблюдение закона о продолжительности рабочего времени.

Расследование показывало обыкновенно, что жалобы несправедливы.

Все это вместе, а также по большей части одинаковый слог и почерк жалоб заставляли думать, что они пишутся не самими рабочими, а кем-то другим, посторонним данной фабрике».

Допустим, это сообщение чистейшая правда. Но... Во-первых, Чиждов раньше и сам не раз докладывал по начальству, что закон о продолжительности рабочего времени соблюдается плохо, а о фабричных старостах — и вовсе саботируется заводчиками. Следовательно, поводы для таких однотипных жалоб реально существовали. Во-вторых, даже если жалобы действительно писались гапоновцами, то ведь это были попытки скорее предотвратить, а не возбудить забастовку. Нет, видимо, не случайно никто из

гапоновцев ни разу не упоминает о каких-либо ранних «забастовочных попытках» Собрания, хотя скрывать таковые, особенно после революции, не было, понятно, никаких оснований.

Не имеет связи с этими мелкими декабрьскими забастовками и жестокость, проявленная хозяевами предприятий в ответ на первые, весьма невинные требования гапоновцев, — причины ее, как уже было сказано, лежат гораздо глубже, в сфере социальной и политической психологии, а также в динамике общеполитической ситуации.

И. Павлов, наблюдатель заинтересованный, но все же посторонний, также свидетельствует, что жесткость эта начала проявляться задолго до забастовки, что едва ли не с сентябрьского общегородского собрания гапоновцев заводчики «мало-помалу стали распускать всякие вздорные слухи про Собрание, поносили Гапона на чем свет стоит, но это только приносило ему пользу, так как увеличивало интерес к Собранию у рабочей массы. Затем пошли насмешки над «гапоновцами», «поповичами» и т. п. — и это не действовало. Тогда, очевидно, решили идти на форменное противодействие. Что расчет (четырех рабочих. — В. К.) был пробным шаром со стороны Путиловского завода, в том нет никакого сомнения. До сих пор Гапон все встречавшиеся трения и недоразумения с полицией и администрацией заводов обходил келейно, ему одному известным путем¹. Но в этом случае он сам, сколько мне помнится, заявил, что наступил момент, когда Собрание может сделать открыто выступление в защиту своих интересов».

Если решимость Собрания выступить подогревалась нарастающей либеральной волной, то и решимость заводчиков «стоять насмерть» тоже ведь подогревалась — волною противоположной, идущей из консервативных кругов, только что одержавших победу на самом верху и, естественно, желавших свой успех закрепить. Это с одной стороны, а с другой — решимости заводчиков немало способствовали и доходившие до них слухи о готовящемся грандиозном выступлении рабочих. Уже упоминавшийся меньшевик С. Сомов свидетельствует, что в декабре «ста-

¹ Об этом пути, точнее — путях, мы уже подробно рассказывали. Понятно, что Гапон пренебрег ими в истории с путиловцами не потому, что он так решил, но потому, что перемена в политическом настроении заводчиков пути эти наглухо *перекрывала*. Собрание попросту загоняли в угол.

ли доходить слухи, что гапоновские Собрания привлекают массу рабочих, что на них произносятся рабочими смелые, горячие речи, что к 19 февраля 1905 года готовятся огромные собрания, на которые Гапон хотел бы пригласить и социал-демократов»... Слухи эти не были абсолютно беспочвенны: 19 февраля как возможную дату и повод для выступления Собрания называют и другие мемуаристы. И разумеется, слухи эти должны были так или иначе стать известными заводчикам, — слишком много собраний и совещаний, в том числе и с участием интеллигенции, было посвящено данному вопросу.

В. Янов, например, говорил на следствии о совещании 12 декабря: «...мы собрались на квартире Гапона... При открытии собрания Финкель указал на то, что студенты поддерживают выставляемые ими требования уличными демонстрациями; земцы, юристы и другие общественные деятели составляют и подают петиции с изложением своих требований, а рабочие остаются безучастны к этому, и предложил присоединиться к тому или другому способу заявления своих требований...»

Ссылка на инициативу Финкеля здесь связана скорее всего с общей защитною тактикою гапоновцев — все валить на самого Гапона и привлеченную им интеллигенцию. Но дата, всего вероятней, реальна, поскольку это легко проверить показаниями других.

Тот же вопрос, по Янову, обсуждался и 15, 18, 19 декабря и, видимо, так прочно занимал умы «штабных», что когда «около половины декабря на Путиловском заводе были уволены 4 рабочих, состоявших членами Собрания», то «первоначально этому никто, даже Гапон, не придавал серьезного значения. Думалось, что уволены, вероятно, не без причин, и только когда Гапон, вернувшийся из Нарвского отдела, сказал, что он видит в этом увольнении вызов со стороны завода Собранию, все почувствовали серьезность положения...»

Внимательный анализ связанных с увольнением четырех путиловцев **практических шагов** Гапона и его «штабных» показывает, однако, что до поры до времени (по крайней мере до 27 декабря) они еще не связывали возможную по этому поводу забастовку с заявлением общих требований Собрания. На нее смотрели как на возможность скорее оттянуть, попридержать главное выступление.

И действительно, успех в частном вопросе мог разрядить грозную обстановку **ожидания** чего-то важного, реши-

тельного, которая нагнеталась в отделах «глухой» агитацией «штабных». А надеяться на этот частичный успех были все основания.

«Я рассчитывал, что стачка на Путиловском заводе немедленно побудит администрацию к уступкам ввиду того, что в данный момент завод оканчивал чрезвычайно серьезный заказ для правительства». Поддерживала гапоновскую уверенность и подчеркнутая скромность первоначальных требований: вернуть уволенных рабочих и уволить мастера — ничего больше. С этим и пошла делегация Нарвского отдела Собрания к директору Смирнову и фабричному инспектору Чижову, а ничего не добившись у них — к градоначальнику Фуллону, который «встретил хорошо, за руку с нами поздоровался», однако «выслушал и сказал, что надо стать на работу, что у нас нет права требовать приема уволенных» (А. Карелин).

26 декабря торжественно открылся очередной, 10-й, отдел Собрания на Гаванской улице. Председателем кружка ответственных лиц был избран «действительный член Собрания с августа 1904 года» тридцатитрехлетний модельщик Балтийского завода Павел Михайлович Давлидович. Гапон торжественно кропил помещения святою водой, звучали речи, молитвы... Все было как всегда — Собрание росло, процветало и, похоже, само еще не до конца осознавало, что ступило на ту тропу войны, с которой возврата к прежнему существованию нет.

Когда же был сделан решающий шаг на эту тропу и кто его сделал? Вопрос непростой, ибо, по многим свидетельствам, этому повороту предшествовал резкий, хотя и кратковременный конфликт Гапона и его «штабных».

«26 или 27 декабря (скорее 26-го, ибо совещание «штабных» 27-го дало уже иной результат.— В. К.) пришел ко мне Карелин, — вспоминает И. Павлов, — и сообщил общее положение дела с назревавшим конфликтом между штабом и Гапоном. Предвидя полный разрыв, штаб готовил почву свалить Гапона с его пьедестала «рабочего вождя», т. к. в это время Гапон совсем потерял доверие своих сотрудников».

А. Е. Карелин, воспоминания которого имеют четко выраженную установку на оправдание Гапона, какой-либо серьезный конфликт отрицает, но, между прочим, и по его рассказу «Гапон на собрании упорствовал, был против выступления с петицией; мы же, наоборот, думали, что наступил самый подходящий момент для выступления».

Карелин-то как раз и подтолкнул штаб к решительному шагу, заявив: «Товарищи! Нас называют зубатовцами. Но зубатовцы оправдали себя тем движением, что было от них в Одессе, а мы оправдаем себя подачей петиции». После карелинского выступления «вышло так, что при голосовании голоса разделились почти поровну и решающим должен был быть голос Гапона: как он скажет, так и будет. Сильно верили в него. Гапон сказал: „Хотите сорвать ставку? Ну, срывайте!“».

Психологически картина вполне достоверна. На собрании 27 декабря (а именно о нем ведет речь Карелин) присутствовало человек 80 различных руководителей отделов. Понятно, что степень их решимости, «разогретости для действий» была разной и далеко не у всех такую же, как у представителей Нарвского отдела, только что вполне безуспешно прошедших первый круг переговоров. Впрочем, здесь есть еще несколько моментов, безусловно заслуживающих быть отмеченными.

Первый. Воспоминания Карелина, отрицающего конфликт 26 декабря, по сути его подтверждают, ибо и его собственная речь, и реплика Гапона получают естественность только в контексте давнего и хорошо известного присутствующим спора.

Второй. Кратковременность конфликта. Она так же легко объяснима абсолютной взаимозависимостью сторон. «Штабные» хорошо чувствуют, что любая их попытка «свалить Гапона» приведет к развалу Собрания. А что до самого Гапона, то, по словам И. Павлова, «несмотря на то, что к концу 1904 года в Собрании насчитывалось около 7—8 тысяч членов¹, огромное большинство которых, быть может, и не знало настоящих вдохновителей и готово было куда угодно двинуться по первому знаку Гапона, последний отлично понимал, что тронься он только без своего штаба, масса бы недолго шла за ним».

Третий. Мотивировка Карелина, его «оправдание» будущей забастовки. Года три-четыре назад создатель легального рабочего движения С. В. Зубатов полагал, что рабочие, имеющие свои собрания, клубы, свой общий капитал, станут осмотрительнее подходить к решениям о забастовках — не захотят всем этим рисковать. И вот все это есть у Собрания — и клубы, и капитал в банке... И все

¹ Этой численности Собрание достигло уже в дни забастовки, когда запись пошла массово. На конец декабря, по данным газеты «Русь», число «действительных членов» было около трех тысяч.

разом с легкостью необычайной ставится на карту по столь пустяковому поводу. В чем дело?

Конечно, «штабные» захвачены общим чувством необходимости перемен, сознанием, что «так дальше жить нельзя». Но это только одна сторона. А есть и другая: «Нас называют зубатовцами...» Собрание помнит нечистоту своего источника и стремится окончательно разорвать с ним, эмансипироваться. Ему нужно доказать свою *истинность* как рабочей организации; оказывается, оно «под подозрением» не только у партий, но и у себя самого. Рожденное «в маске», Собрание испытывает теперь настоятельную необходимость второго рождения, явления миру своего подлинного лица.

28 декабря («на третий день Рождества») происходят собрания в Нарвском, Невском и других отделах, а также экстренное делегатское совещание всех отделов на Васильевском острове.

«Вечером, скучая в пыльных комнатках Петербургского Телеграфного Агентства, где я участвовал в качестве чтеца газет для составления ежедневных по утрам докладов министру финансов В. Н. Коковцову,— вспоминает Г. Филиппов,— я получил предложение моего начальника Шпигановича или побывать на каком-то собрании рабочих, или развлечься в опере по даровому билету.

И совершенно случайно и бессознательно, интересуясь всеми движениями, а рабочим в особенности, не более чем ординарный обыватель, я пустился в поиски места собрания этих рабочих... С трудом узнал, что штаб-квартира одного из отделов находится в Дегтярном переулке, где-то около Невской лавры... В скверном, тесном помещении, своего рода клубе, теснились потные рабочие, кричали, спорили, не пропуская никого постороннего, внимательно всех опрашивая». Филиппова сперва было совсем прогна-ли. Но «какой-то сердобольный „товарищ“, поняв, что сыщик не мог оказаться столь простодушным, как я, в своих поисках, сообщил, что рабочие собрались на экстренное заседание, не здесь, а в Василеостровском отделе, на первой (4-й.— В. К.) линии, и что там председательствует Гапон, там обсуждается вопрос о путиловцах. После некоторых колебаний и нерешительности, вызванных тягостной сценой допросов и осмотров, я все-таки двинулся по указанному адресу и, приехав туда довольно поздно, застал собрание в полном разгаре: на кафедре выступали

представители от Путиловского завода и старший мастер Иноземцев».

На своего случайного гостя делегатское собрание произвело впечатление полного сумбура и бестолковщины. Особенно смутило Филиппова, что его, никому здесь незнакому, тут же включили в комиссию по выработке резолюции, где «один из присутствующих» вдруг предложил «подкрепить вторую часть указанием, что в случае отказа в требованиях рабочих удалить определенных лиц из среды администрации последует забастовка. Это случайное, хотя и логичное дополнение сначала поставило присутствовавших в тупик, затем вызвало живейшее одобрение Гапона»...

Для человека, знающего предысторию собрания, в описанном Филипповым хаосе просматривается, однако же, довольно четкая логика. Официально делегаты всех отделов собрались здесь по инициативе рабочих вагонной мастерской Путиловского завода после того, как делегациям Нарвского отдела везде и во всем было отказано. Принятое накануне решение «штабных» использовать забастовку для выступления с политической резолюцией большинству делегатов, разумеется, неизвестно. Да и объявлено о нем быть не может, так как вопрос о самой забастовке официально еще не решен... «Когда было назначено экстренное собрание 27 декабря¹, — показывал на следствии В. Иноземцев, — то перед выборами председателя была большая борьба. В председатели собрания выставили меня, так как мне было предложено Гапоном путем расспроса рабочих лесобделочной выяснить инцидент удаления Тетявкиным 4 рабочих. Я выяснил, что уволены они были неправильно. А так как собрание 27 декабря имело целью исследование того же предмета, то меня и выставили в кандидаты председателя этого собрания».

Итак, выборы председателя — уже победа сторонников решительных мер. Далее — необходимо принять резолюцию, которая не только бы подтверждала от лица всего Собрания выдвинутые ранее требования, но и повела бы дело к забастовке, внешне сохраняя всю прежнюю скромность заявленных претензий. Только тогда она станет

¹ В своих воспоминаниях гапоновцы вообще часто путают даты делегатского собрания и совещания «штабных», происходившего накануне, что и неудивительно при тогдашней «плотности» подобных мероприятий.

и мощным оружием дальнейшей агитации: видите, мол, нам отказали даже в такой малости!.. Естественно, что пункт, ведущий к забастовке, не может быть предложен кем-то из всем хорошо известных «штабных» — он должен возникнуть «случайно», как и раньше «случайно» возникали все нужные для агитации примеры и соображения. За год осторожнейшей пропагандистской работы под постоянной «маской», в атмосфере молчаливого, но всем понятного заговора, руководители Собрания, я думаю, прекрасно выучились организовывать такие «случайности».

Итак, делегатское собрание решает:

«1. Заявить через градоначальника нашему правительству, что отношение труда и капитала в России ненормально. Это проявляется, между прочим, в отношениях мастеров к рабочим.

2. Потребовать от администрации Путиловского завода, чтобы мастер Тетявкин немедленно был удален с завода.

3. Уволенные за принадлежность к обществу должны быть немедленно приняты обратно.

4. Через особую депутацию довести до сведения градоначальника и фабричного инспектора о случившемся и просить, чтобы впредь подобные факты не повторялись.

5. Если законные требования рабочих не будут удовлетворены, то собрание фабрично-заводских рабочих не ручается за спокойное течение жизни города».

Три депутации должны были вновь представить эту резолюцию директору, фабричному инспектору и градоначальнику — теперь уже от лица всего Собрания. Отчеты об этих переговорах Собрание заслушает 2 января.

Забастовка еще как бы и не решена. Но уже неизбежна. Неизбежна политически, ибо к четырем очень скромным пунктам присоединен пятый, по существу своему оскорбляющий власть. А российская власть болезненно чутка к оскорблениям, поскольку тайно уверена, что хорошего отношения к ней у подданных быть не может. «Фуллон, — вспоминает Гапон, — внимательно просмотрел резолюцию, но, дойдя до пятого пункта, воскликнул с удивлением: «Но это настоящая революция; вы угрожаете спокойствию столицы». — «Вовсе нет, — ответил я успокоительно, — мы и не думаем ни о каких угрозах. Рабочие просто хотят поддержать своих товарищей. Вы говорили, что будете помогать им в затруднениях, и вот вам представля-

ется случай»... Фуллон обещал сделать все, что в его силах, для удовлетворения наших требований».

Думается, обещание это было лишь выражением предельной растерянности генерала. Имея на руках такие требования, Фуллон никак не мог нажать ни на дирекцию Путиловского завода, ни на его владельцев, ибо был бы немедленно обвинен ими в «сдаче власти бунтовщикам», «измене престолу» и, наконец, просто в трусости.

То, что он, как увидим, пытался все же кое-что сделать, было последней попыткой старого генерала сохранить собственное политическое лицо, ибо конфликт власти с Собранием, столь долго и столь явно им покровительствуемым, при любом исходе не сулил ему ничего хорошего.

События меж тем разворачивались стремительно, никому не давая времени для размышлений и привыкания к новым реалиям.

29-го делегация Собрания посещает директора Смирнова, о чем и сообщается в вывешенном по заводу с утра 30-го «Объявлении» от его имени. Для начала тут говорится, естественно, что буча затеяна из-за пустяков, что уволен, мол, только один рабочий, да и тот как «показавший малую способность к работе в сравнении с другими мастерами». Но не это было, естественно, в «Объявлении» главным. Директор желал довести до сведения рабочих прежде всего следующее:

«Мною было указано депутации, что я считаю ее явление малоуместным и что разборы претензий рабочих должны прежде всего производиться на самом заводе, а не по заявлению учреждения, постороннего заводу, которое легко может впасть в ошибку и, кроме того, вопреки утвержденному уставу обнаруживает вмешательство во внутренние дела завода, что мною и усматривается по тому тону, которым говорила со мной депутация.

После этого депутация решилась прибегнуть даже к угрозам, выразив, что такое отношение к делу может кончиться для завода очень плохо.

Убедившись окончательно, что депутация от имени «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» проявила явное устремление нарушить утвержденный правительством устав для этого общества, я считаю своим долгом поставить об этом в известность всех тех рабочих завода, которые состоят в вышеупомянутом обществе...»

Хотя высказанное И. Павловым предположение о предварительном сговоре петербургских заводчиков против Собрании никакого документального подтверждения так и не получило, нельзя не отметить, что уже в этом объявлении Смирнова оказалась четко заявленной позиция, которая неделю спустя будет сформулирована на совещании всех промышленников у В. Н. Коковцова: никаких уступок Собранию! Даже там, где уступки рабочим вообще-то возможны. Рабочим — пожалуй, но их Собранию в целом — ни в коем случае! И понятно, что какие-либо экономические соображения здесь ни при чем. Это позиция политическая, и никаких серьезных надежд на мирное разрешение конфликта она не оставляет.

Таким образом, уже с 30 декабря события приобретают грозные черты необратимости. Но ни одна из сторон еще не осознает этого до конца, не понимает, на что идет.

Весьма любопытны в этом плане свидетельства мемуаристов о том, как провел следующий за этим решающим поворотом событий день их главный герой — Гапон.

С утра 31-го он направляется к Г. Филиппову, чтобы договориться о будущих чтениях по истории литературы. «Если бы этот вождь революции, — недоумевает Филиппов, — каким его привыкли считать, был уверен в предстоящем движении масс, то для него не было бы смысла вести упорное (в течение трех часов. — В. К.) обсуждение вопроса о просветительских чтениях».

Полная беспечность? Но другой мемуарист, И. Павлов, у которого Гапон побывал всего несколькими часами позже, рисует его другим.

«— Ну, батя, что выйдет из всего этого? — задал я вопрос.

— Что выйдет? А, ей-Богу, не знаю. Должно быть, что-нибудь здоровое (крупное), но что именно — не могу сказать. А может быть, и ничего не выйдет — кто ж теперь разберет!..»

Тем не менее Гапон тут же начинает и «разбирать», строить планы:

«— Мы будем ждать ответа в Нарвском отделе до 6 часов вечера 2 января. Если мы не получим к тому времени ответа, то 3 января, в понедельник, весь Путиловский завод бастует...

— Ой-ой! Неужели так здорово?!

— После этого, — продолжал Гапон, — мы предъявляем более широкие требования и ждем еще два дня; если

во вторник в шесть часов вечера наши требования не будут удовлетворены, то в среду бастует еще два больших завода: Семянниковский и Франко-Русского общества или какой-либо другой. Мы предъявляем ко всем петербургским заводам широкие экономические требования и делаем попытку перейти на путь политики, вносим некоторые требования с политическим оттенком и даем еще два дня, а седьмого в случае надобности весь пролетариат Петербурга, как один человек, объявляет забастовку до полного удовлетворения расширенных политических и экономических требований.

— Значит, раскрываете карты?

— Я уже раскрыл карты и пустился в широкое морское пространство, но там, наверху, до сих пор никак не сообразят, в чем дело...

— Что же дальше?

— А вот дальше-то ничего и не знаю. Мне кажется, что наверху успеют понять настоящее положение дела и не дадут развернуться событиям — пойдут на уступки, т. е. сделают путиловской администрации внушение, и она удовлетворит наши мизерные требования. Святополк-Мирский и Фуллон мною извещены о нашем плане действий».

Заметим, что правительство (да и вообще все то, что обозначается словом «наверху») предстает в этих рассуждениях Гапона некой цельною, единой силой, понимающей свой интерес. А этот интерес, безусловно, в том, чтобы как можно скорей и безболезненней погасить путиловскую забастовку, ибо тут все сходится — и поддержание остатков патриотизма, и военные заказы, и прибыли, и спокойствие столицы...

Ну, а если все же предположить, что эта слитность, обозначаемая словом «наверху», разладилась и ощущение своего общего интереса утратила? Если предположить, что у каждой шестеренки появился свой интерес, отчего все они могут заупрямиться и начать крутиться в разные стороны?

Этот вариант с неожиданным, «неумным» правительственным упрямством представляется Гапону столь маловероятным, что на соответствующий вопрос Павлова он начинает нести явно импровизированную чушь — с разоружением полиции за 10 минут и прочими сказками.

По-настоящему его заботит вариант иной: «Правительство поняло истинное положение, перепугалось,

делает давление и Путиловский завод, или, если то будет в более поздней стадии развития движения, то и все заводы сдаются. Мы выигрываем сражение, Собрание укрепевает, и пролетариат открыто объединяется... Но я-то как буду? Вы думаете, что меня по головке за это погладят? Пока меня оставляют в покое, но ведь спустя некоторое время, когда все войдет в спокойную колею, меня непременно уберут. Мой конец так или так неизбежен».

Действительно, та стадия, когда победа Собрания в забастовке могла бы укрепить положение Гапона по сути, пройдена. Дальше начинается открытое столкновение, игра без маски. А без маски — это уже другая игра, и игроки потребуются другие. Предчувствуя это, глуша гложущую сердце тревогу, и мечется по городу, по мелочным, но привычным делам наш незадачливый революционер.

«31 декабря 1904 года ко мне приехал священник Гапон часов в восемь вечера, — показывал на следствии С. Я. Стечкин, — и предложил мне и живущей со мной Н. А. Беллингер встретить Новый год в отделах Собрания. Я, Н. А. Беллингер и священник Гапон вместе отправились в карете сначала в 9-й отдел, потом в 1-й и, наконец, в Василеостровский. Во всех отделах были елки, танцы, закуски с вином. Никаких обсуждений, бесед и речей в этот вечер не было».

Речей не было. Но ведь речи и всегда-то были в Собрании отнюдь не главной формой агитации. «Для каждого отдела Союза мы устроили елки, на которых веселилось 5 тысяч детей. Каждый получал какой-нибудь маленький подарок, а сиротам раздавали материю на платье. На этих елках мы говорили с рабочими и их женами; несколько тысяч прошло через наши залы, и всюду раздавались речи, в которых судьба уволенных рабочих была преобладающей темой».

И наступило, наконец, воскресенье 2 января, последний день праздника. В зал Нарвского отдела набилось свыше 600 рабочих. С Путиловского, Семянниковского заводов, резиновой мануфактуры... Это совещание, окончательно решавшее вопрос о забастовке, привлекло самое пристальное внимание как революционеров, бросивших сюда лучшие агитационные силы, так и полиции, почуявшей вдруг исходящую отсюда угрозу. Обе сторо-

ны, как ни странно, смотрели теперь на Собрание почти одинаково — с надеждой и опасливым недоверием.

Председательствует уже знакомый нам Владимир Иноземцев. Для начала он «разбирает» объявление директора: «Сергунин, уволенный «за неумелую работу», на заводе 15 лет и, когда работы шли в две смены, даже назначался за мастера. Субботин, уволенный за прогул, пропустил один день по болезни, для лечения обращался к заводскому доктору, и тот прописал лекарство, но когда Субботин пришел на следующий день за выпиской, сказал: «Ты вот грубишь мастеру, а потом являешься за записками», — и записки не дал. С Уколова совершенно незаконно и насильно взяли подписку, что у него не будет больше прогулов, — прогулы бывают по не зависящим от рабочего обстоятельствам».

Затем депутатии, ходившие по начальству, докладывают о своей безуспешности. Иноземцев ставит на голосование вопрос: «Желают ли рабочие поддержать своих товарищей?» Собрание единодушно: да, желают! Обсуждают тактику начала забастовки.

«В это время один из присутствовавших на собрании евреев¹ предложил идти заявлять свои требования с красными знаменами и притом добавить к вышеуказанным требованиям требование политической свободы. На что Иноземцев заявил, что необходимо держаться на чисто экономической почве, не затрагивая политических вопросов. Тогда тот же еврей попытался разбросать несколько штук прокламаций, но, ввиду общего протеста рабочих, сейчас же это оставил и был выгнан из собрания вместе с остальными евреями. Что же касается 3 евреек, то они были даже сначала задержаны рабочими, но затем, из опасения, что их могут обвинить в произволе, отпущены».

Полковник Кременецкий явно удовлетворен: пока что Собрание оправдывает надежды скорее его, нежели революционеров. Но события еще только разворачиваются, и неумение видеть их в динамике, заглядывать в перспективу, еще выйдет полковнику боком.

¹ Полиция специально отмечает присутствие на собрании «трех интеллигентных евреев и трех евреек, по-видимому курсисток». Это понятно: всякий еврей для русской полиции есть революционер и всякий революционер — еврей. Согласно различным воспоминаниям, на этом собрании были большевики В. Харик, В. Шелгунов, М. Явич и Ю. Жилевич.

Третьего, как и намечалось, забастовку начали столярная и деревообделочная мастерские. К восьми часам стал весь завод; рабочие огромными толпами стекались к конторе. «Директор Смирнов, весьма гордившийся своим красноречием, — пишет Гапон, — вышел к толпе и сказал, что «лучше бы оставили эти шутки и избрали делегацию, т. к., может быть, он может удовлетворить их желания. Рабочие ответили, что у них другие требования и что делегацию они пошлют только с условием, что о. Гапон будет в ней участвовать. Смирнов на это не согласился и даже не удержался, чтобы не сказать, что я-то и есть враг рабочих и веду их к гибели, что едва не привело к печальному инциденту. Один из рабочих, малоросс, высокий смуглый парень, выхватил свой нож и бросился на Смирнова, который быстро скрылся».

В тот же день Л. Кременецкий рапортовал А. Лопухину:

«Около часу дня в собрание (имеется в виду все тот же Нарвский отдел. — В. К.) приехал священник отец Георгий Гапон, представитель сего «Общества фабрично-заводских рабочих» в столице, и привез составленный им проект требований, которые должны предъявить рабочие...

По имеющимся агентурным сведениям, рабочие решили твердо держаться первоначально заявленных ими требований, хотя бы забастовка благодаря этому затянулась на неопределенное время. Что же касается требований, заключающихся в проекте о. Гапона, то многие рабочие не сочувствуют им, и исполнения этих требований рабочие особенно настойчиво добиваться не станут».

Проморгавшая изменение политических позиций и самого облика Собрания, охранка оказалась как бы тоже загнанной в угол, вынужденной себя же опровергать — отсюда и все эти высосанные из пальца надежды, что «рабочие не сочувствуют» и все еще обойдется. На самом деле рабочие не только сочувствовали новым требованиям, но и настаивали на их ужесточении, с чем Гапон, однако же, не спешил. В этот день, видимо еще до поездки на Путиловский, у него состоялся телефонный разговор с Фуллоном.

«Он был в большом волнении. Он виделся с Витте (вона какой обходной маневр пришлось предпринять ста-

рому генералу! — В. К.), который добился возвращения одного рабочего и обещания принять еще двух. Оставался только один (все-таки оставался, несмотря на нажим председателя Комитета министров и лично очень авторитетного среди заводчиков Витте! Велика была, выходит, решимость противостоять Собранию, велика! — В. К.), и Фуллон просил меня прекратить забастовку. Я ответил, что поздно; теперь это не было вопросом только об обратном приеме 4-х рабочих. Теперь каждая мастерская предъявляла свои требования, и я мог только посоветовать администрации Путиловских заводов устроить совещание с представителями отделов моего Союза и делегатами от забастовщиков. В качестве гарантии я просил Фуллона дать мне слово, что ни один из делегатов не будет арестован или наказан, и т. к. несомненно они попросят меня сопровождать их, то чтобы и я был гарантирован от ареста. Фуллон обещал и в то же время признался, что не доверяет мне, и припомнил о доносе великого князя Сергея Александровича... „В вашей власти арестовать меня, — сказал я, сознавая, что от этого разговора зависит все будущее рабочего движения, — но предупреждаю вас, что, если в течение двух дней не будут удовлетворены желания путиловских рабочих, забастовка распространится еще на некоторые заводы и, если и тогда администрация будет продолжать упорствовать, рабочие всего Петербурга присоединятся к забастовке. В рабочем классе масса недовольных. До настоящей минуты все требования только экономические, но если вы не пойдете на уступки, чтобы предупредить взрыв, то дальше будет хуже. Но, по крайней мере, не употребляйте силы, не приводите казаков. Может быть, рабочие захотят подать петицию царю, так не бойтесь: все будет тихо и мирно. Рабочие желают только, чтобы услышали их голос“»¹.

Между тем события разворачивались с явным опережением графика, составленного гапоновским «штабом». Путиловцы два дня ждать не пожелали — в тот же день разослали делегатов на другие заводы. Останавливаются Обуховский, Семянниковский, Патронный...

¹ Похоже, что описанная Гапоном беседа есть контаминация нескольких его разговоров с Фуллоном. Во всяком случае, И. Павлову, как помню, он уже 31-го говорил о том, что Фуллон знает о планах развертывания забастовки. Если так, то не было нужды излагать их и 3-го.

4-го, во вторник, Смирнов принимает все же депутацию во главе с Гапоном, но заявляет, что повысить расценки (путиловцы уже требуют поднять оплату чернорабочих: мужчин — с 60 коп. до рубля, а женщин — с 40 до 75 коп. в день) значит «пустить акционеров общества Путиловских заводов по миру». «Эта фраза вызвала общий смех», — доносит полиция. Между тем встает Франко-Русский завод. К концу дня бастует свыше 15 тысяч человек. Смех приобретает грозный оттенок...

Что делать? Пугнуть Гапона? О, это первое, что приходит в голову властям предержащим. «4 января правительство сделало новую попытку принудить меня отговорить рабочих от их намерения. Начальник главного тюремного управления Стремухов, личный друг министра юстиции Муравьева, призвал меня к себе и, в присутствии инспектора тюрем, сказал, что ему поручено уговорить меня убедить рабочих стать на работу; при этом он намекнул мне, что если я этого не сделаю, то лишусь места священника в пересыльной тюрьме.

— Если это угроза, — сказал я, — то я предупреждаю, что буду действовать только согласно своим убеждениям».

Звучит патетически! Но смешно, согласимся, пугать потерю доходного места человека, во-первых, бескорыстного, а во-вторых, еще несколько дней назад прекрасно осознавшего, что в затеваемой им игре рискует он — головой!

Был ли у Гапона и его «штаба» определенный план развертывания забастовки, превращения ее во всеобщую? Несомненно был. Дело не только в совпадающих воспоминаниях; известное единообразие просматривается в самих способах эскалации забастовочного напряжения, в действиях. «Обыкновенно, — отмечает В. Невский, — дело шло так: устраивалось заседание отдела гапоновского союза в каждом районе; на это собрание являлись представители путиловских рабочих, просили о поддержке, а наутро главнейшие заводы и фабрики уже стояли». И так же несомненно, что движение развертывалось и своей внутренней, стихийной силой, опережая намеченные для него сроки. Слишком велик был запас накопившейся горечи, гнева... К тому же начало забастовки совпало с сообщением о капиту-

ляций Порт-Артура: к чувству социальной ущемленности примешалось оскорбленное национальное достоинство.

Но все же: что было тут главным — стихия или организация? Близко наблюдавшие движение современники придерживались на сей счет мнений разных, порой прямо противоположных. Вот некоторые.

Г. Филиппов: «Те, кому удалось присутствовать, подобно мне, на собраниях в скромной, даже жалкой, из трех комнат квартире Гапона на Церковной улице, слушать по целым часам бестолковые рассказы гапоновских секретарей относительно того, что делается среди масс, и подобно Гапону, который с воспаленными глазами от недосыпания и возбуждения вслушивался в сообщения о том, как ему не доверяют, как у него отнимают пальму первенства и как влияние его сводится на нет, — те знают, что никакого штаба и никаких определенных планов действия у Гапона не было... Гапона по чьему-то предложению внезапно одевали, куда-нибудь везли и так же случайно и неожиданно привозили назад. Им пользовались в ту пору как именем, хотя таким, под которым одинаково можно провезти и революционный, и охранный груз... Отдавшись всецело общему возбуждению, которое независимо от него превращалось в подобие вихря, Гапон крутился в нем и испытывал наслаждение от этого стихийного процесса, где, как ему казалось, он занимает ведущую роль».

Н. Симбирский: «Я заехал к Гапону в его тесную квартиру на Церковной улице в ночь на 7 января¹. Шел дым коромыслом.

Приходили и уходили рабочие. Являлись бесконечные вереницы депутатов от различных заводов с изъявлением согласия на забастовку...

Я не узнал Гапона. Лицо его пылало. Глаза метали огонь. Это было вдохновенный вождь накануне боя.

Припоминаю одну сцену.

Являются депутаты с императорского фарфорового завода и говорят:

— Наши не хотят бастовать.

Гапон пронзил их глазами:

— Скажи рабочим фарфорового завода. Если завтра

¹ Вероятно, все же на 6-е или даже на 5-е, поскольку в ночь на 7-е Гапон, опасаясь ареста, ночевал не дома, а на квартире одного из рабочих в Невском районе.

к полудню все не бросят работу, я пришлю туда тысячу человек, которые заставят их сделать это.

Назавтра громадный казенный завод встал, как один человек».

Н. Варнашов: В Василеостровском отделе «внутренний и наружный порядок поддерживался рядовыми. Они, вытащив столы на улицу, записывают со слов являвшихся требования, какие им желательно предъявить заводу, и доставляют моему помощнику Смирнову для редакции, затем переписывают... Они, соединившись по два, по три человека и помогая друг другу, образуют на улице сотни митингов, давая разъяснения, и — самое важное — знакомят гостей с петицией...»

Правы здесь, несомненно, все: в массовом движении, охватывающем десятки и сотни тысяч людей, не может не быть потрясающей неразберихи и бестолковщины. И какое-то организационное влияние здесь возможно только в том случае, если оно совпадает с эмоциональным настроем массы, отражает его и дает ему выход. Но, с другой стороны, организованность толпы всегда кажется тем выше, чем полнее захвачен наблюдатель ее эмоциональным настроем. Поэтому Н. Варнашову, скажем, толпа видится почти идеально организованной. И потому главный секрет этой организованности состоит несомненно в том, что движение, нарастая массово, все более явно консолидировалось и духовно.

Впрочем, движение было столь сложно и разнопланово, захватывало или задевало так или иначе столь далекие друг от друга социальные слои, что окинуть его единым взглядом даже из сегодняшней исторической перспективы едва ли возможно. Попробуем поэтому, продвигаясь слева направо, представить себе, как выглядело оно с точки зрения различных политических сил и социальных групп.

Итак, революционные партии.

Об эсерах говорить не будем. Их представитель инженер Рутенберг познакомился с Гапоном только 5 января, а о сколь-либо заметном его влиянии на Гапона можно говорить, только начиная с 9-го¹. До этого гапо-

¹ Это утверждение не совсем согласно с воспоминаниями жены Рутенберга О. Н. Хоменко, утверждающей, что именно ее муж «редактировал петицию». Читая, однако, воспоминания самого Рутенберга, такое редактирование трудно даже предположить. Зато в них под-

новское движение в целом вызывало у него отношение скорей настороженно-опасливое, нежели сочувственное. Причина — антиинтеллигентские настроения, весьма в Собрании распространенные. «В некоторых отделах, — пишет он, — заподозренные в качестве интеллигентов или распространителей прокламаций немедленно изгонялись и избивались. Зачинщиками являлись сыщики, бывшие в большом количестве на собраниях. Они увлекали за собой серую толпу рабочих, насторожившуюся, нервно-приподнятую, опасющуюся неожиданного подвоха, удара в спину, крушения последних ее надежд. Только вмешательство сознательной, развитой части рабочих¹ предупреждало бессмысленное пролитие крови, отвлечение неожиданно скопившейся революционной силы в наиболее желательную для правительства сторону — сторону погрома интеллигенции». Даже 9-го утром главной опасностью Руттенбергу еще казалась возможность превращения движения в «патриотическую манифестацию».

РСДРП, увлеченная и обессиленная борьбою двух фракций, эволюцию Собрания прозевала. Но с первого же дня стачки социал-демократы пытаются оказать посильное влияние, подталкивая гапоновцев влево. Д. Гиммер вспоминает, например, о каком-то собрании «всех революционных организаций», проходившем в селе Смоленском в помещении технических классов: «Из речей мне запомнилась только одна, произнесенная каким-то большевиком. Он говорил о том, что Гапон — это ворона, но белая ли ворона — это еще вопрос... но и он, подобно нам, находил нужным примкнуть к движению».

Примкнуть к движению, не доверяя его руководителям и не разделяя их целей, примкнуть, дабы явочным порядком превратить его в нечто иное, — такова была тактика. Особых пропагандистских успехов она не сулила, и большинство мемуаристов (в отличие, увы, от позднейших историков) единодушны в том, что выступления социал-демократов, особенно большевиков, встре-

робно описана работа над воззванием, написанным Гапоном в ночь на 10 января. Очень может быть, что именно этот эпизод и имеет в виду О. Н. Хоменко, говоря о «редактировании петиции».

¹ Выше мы отмечали, что отношение руководящей части Собрания к интеллигентам было иным уже с октября 1904 года, но общий поворот в этом отношении не был завершен даже к январю 1905-го.

чались гапоновцами в штыки. «Говорю о том, — вспоминает Н. Дорошенко, — что социал-демократия давно уже настаивает на необходимости осуществления всех свобод, которые выставлены в петиции. Дело в том, как получить... Вас зовут к царю. Вам говорят, что нужно только, чтобы он узнал, чего требует народ, как все будет представлено им. Это — неправда. Достаточно было только коснуться этого самого болезненного, а не касаться было невозможно, как поднялись крики: «довольно», «уйдите от нас», «не мешайте нам» и т. п.»

Логическим продолжением этой безуспешной пропагандистской тактики была цель на 9-е, поставленная совещанием большевиков вечером 7 января: превращение «в отдельных местах предположенного шествия в демонстрацию лишь после того, как шествие будет сорвано властями, почему и предложено было порайонно собраться организованным рабочим и иметь при себе заготовленные знамена». Попытки выполнить это решение были, но успех опять же имели весьма ограниченный. Причины самые разные, в том числе и весьма деликатные. «Комитет установил сборным пунктом 9 января угол Садовой и Чернышова переулка, — вспоминает, например, Н. Дорошенко. — На Садовой улице собралась небольшая группа, человек 15, не больше, рабочих городского района. Наш знаменосец Кулагин тоже был в числе неявившихся. Только в 1917 году, в одной из книжек «Былого», узнал я истинную причину этой неявки. Этот выдающийся по своей энергии работник (я с ним работал и после 9 января), Арсений Кулагин, уже в период январских дней был агентом департамента полиции¹». Увы!..

Меньшевики начали также с критики и разоблачений, но большевистской твердости в борьбе со стихией рабочей массы не проявили. «В собрании, — вспоминает С. Сомов об одном из первых забастовочных дней в Невском районе, — царил все время какой-то мистический, религиозный экстаз; в страшной тесноте и жаре часами стояли друг возле друга тысячи народу и жадно ловили безыскусные, поразительно сильные, простые и страстные речи своих измученных ораторов-рабочих. Мы не выдер-

¹ К этому деликатному обстоятельству, его следствиям, да и к большевистскому совещанию вечером 7 января в целом нам еще придется вернуться.

жали, поддались общему настроению и, вместо прежней критики гапониады, наши ораторы стали выступать с призывами к борьбе, с яркими описаниями невозможности положения рабочих и необходимости положить ему конец, с проповедью самой широкой борьбы во всех сферах... С этого времени влияние социал-демократических ораторов растет, толпа их охотно слушает, не разбираясь совершенно в том, что отличает их от гапоновцев».

С 5 января меньшевиков уже приглашают на собрания рабочих отдельных предприятий для выработки частных требований к «своим» владельцам. «Мне приходилось быть на нескольких таких собраниях, — пишет С. Сомов. — И мне показалось, что во всех этих требованиях рабочие руководились не столько соображениями материального характера, сколько моральным стремлением устроить все «по справедливости» и заставить хозяев искупить свои прежние грехи. А грехов открывалось на этих собраниях чрезвычайно много».

Вершиной меньшевистских успехов было приглашение их на совещание гапоновских «штабных», к чему мы тоже еще вернемся.

Либеральная интеллигенция

Отношение либералов к Собранию было весьма неоднородным.

С одной стороны, именно «Союз освобождения» первым среди политических партий обратил на Собрание взор и попытался втянуть его в общедемократическое движение. Установленные еще в начале ноября контакты не прерывались вплоть до участия освобожденцев в составлении и редактировании промежуточных вариантов петиции.

Эту явную склонность и взаимное стремление к сотрудничеству не следует считать чем-то случайным. У Собрания и «Союза» была важная точка схода — идея сотрудничества (а не только смертельной борьбы!) различных классов, вера в возможность гармонизации их отношений. Для освобожденцев эта политическая идея вообще была центральной. Гапоновцы же хоть и любили порассуждать о «чисто классовом подходе», «собственно рабочих интересах» и т. п., но движение свое изначально мыслили как исключительно мирное,

а мирное рабочее движение не может не признать естественным некий баланс классовых интересов, не может не опираться на систему ведущих к нему компромиссов. Ведь и Зубатов не случайно начинал именно в союзе с либералами, а еще раньше, как помним, даже пытался защитить идеи подпольного журнала будущего освободителя С. Н. Прокоповича.

Скажу больше: идея не только борьбы, но и сотрудничества классов была, по-моему, органично присуща тому стихийному самосознанию рабочих масс начала века, на которое в куда большей степени, нежели на какие-либо доктрины, опиралось гапоновское Собрание. Конечно, с таким утверждением вряд ли согласились бы не только тогдашние большевики, но и сегодняшние ревнители неколебимых принципов. Но... Да перечитайте хотя бы процитированное выше воспоминание С. Сомова о «всепроникающей идее справедливости» в требованиях забастовщиков. И скажите, на чем зиждется эта идея, если не на признании некоего баланса интересов не только возможным, но и желательным?

Так что союз Собрания и освободителей имел вполне объективные предпосылки. Либеральная интеллигенция могла бы поэтому оказать гораздо большее влияние на рабочее движение, нежели интеллигенция радикальная и революционная, но...

Отрыв российской интеллигенции от народа, их обоюдная непривычка к прямому контакту, элементарное неумение найти общий язык вкупе с интеллигентски-теоретическим признанием за народом монопольного права на некую высшую истину, априорная уверенность в том, что народ не учить следует, а у него учиться, сказались тут, быть может, с наиболее трагическими для судеб этого народа последствиями. Освободители так и не пошли непосредственно в массы, ограничиваясь осторожным воздействием на самого Гапона и приближенных к нему «штабных». О своей гуманизирующей миссии интеллигенция вспомнила только на самом последнем этапе движения, когда кровавый исход его был уже неизбежен.

С другой стороны, если говорить не о партийных «выразителях», а о массе либеральной интеллигенции, о «публике», то она открыла для себя существование Собрания еще позже, чем революционные партии, и далеко не сумела сориентироваться в своем к нему отношении.

Э. Авенар, постоянно вращавшийся в либеральных кругах столицы, очень точно зафиксировал в своих записках момент этого внезапного открытия, обнаружения публикой никому не ведомого гапоновского движения.

Вплоть до 4 января включительно он вспоминает о рабочих только в связи с выступлениями их на либеральных банкетах, а 6-го начинает с внезапного признания:

«В обществе не отдают себе точного отчета о том, что происходит в предместьях Петербурга, — но тут же прерывает себя, чтобы поделиться с читателями, сногсшибательной новостью: — Сегодня после обеда распространился слух о покушении на царя. Во время водосвятия на Неве был дан выстрел из пушки первой гвардейской артиллерийской батареи; орудие помещалось около Биржи, против Зимнего дворца, на противоположном берегу Невы и оказалось заряженным картечью. Стекла четырех дворцовых окон разбиты, и один городской ранен.

По этому поводу создаются многочисленные гипотезы. Представляется весьма странным, что могли **случайно** забыть заряд в пушке после учебной стрельбы и оставить его как раз до сегодняшнего торжества... Из тех, кто верит в покушение, некоторые приписывают его не исключительно революционерам. „Странное совпадение, — говорит мне один, — ни великий князь Михаил, брат государя, ни Витте не присутствовали на церемонии“».

Зато уже назавтра, 7-го: «О случае на Неве нет и речи. Только и говорят, что о стачке, развивающейся с молниеносной быстротой... Все, кого я встречаю, изумлены и встревожены. Кто мог еще несколько дней назад ожидать всеобщей стачки? Кто говорил о Русском Рабочем Союзе? Кому известен был этот Гапон, имя которого сегодня у всех на устах? Наиболее осведомленные либералы стали интересоваться им *третьего дня* (выделено мною. — В. К.)...»

То есть публика обнаружила гапоновское движение только тогда, когда стачка приняла впечатляющие размеры — 4-го, а то и 5 января. И, как всегда, обнаружив непонятное, неведомо как и почему возникшее, популярными теориями непредусмотренное, она испугалась.

Восьмого Э. Авенар записывает: «Новые актеры вышли на сцену; речи их будут серьезнее речей либералов-конституционалистов, и с первого момента они сумели привлечь на себя всеобщее внимание... В огромном развертывающемся движении есть что-то самопроизволь-

ное, всеобщее и таинственное, превышающее организационные силы одной партии...»

Естественно, что вокруг забастовки циркулирует масса слухов, самых фантастических построений, проникнутых горячим сочувствием, мучительнейшей тревогой и робкой надеждой одновременно: «Внезапное и грандиозное выступление 150 000 рабочих представляется столь громадным, что трудно отделить идею революции от идеи демагогических насилий. Никто не может утверждать, что дело обойдется без вооруженного столкновения с войсками, и даже быть уверенным, что правительство выйдет победителем из этого конфликта. Случай 6 января на Неве дает даже некоторым повод утверждать, что у революционеров существуют сторонники в армии. И только таким способом революция победит. А если она победит, то где остановится? „Тогда мы все взлетим на воздух,— сказал мне иронично, но не без тревоги один конституционалист.— Все либералы, все буржуа — на фонари!“».

Сами рабочие

Всякое массовое движение осознает себя до конца лишь разворачиваясь, обретая собственные формы действия и существования. И характерно, что именно в эти стремительные январские дни гапоновское Собрание осознает себя как движение общенародное, «всем миром». Даже антиинтеллигентские его настроения заметно смягчаются. Правда, отдельные эксцессы имеют место до самых последних часов, но связаны они либо с противодействием попыткам нарушить мирный характер движения, либо с инициативой не членов Собрания, а вновь привлеченной массы. Н. Варнашов рассказывает, например, что 7-го вечером рабочие сахарозавода Кенига, ранее в Собрание не ходившие, задержали и хотели сдать в участок партийных агитаторов, но активисты Василеостровского отдела во главе с В. Смирновым с миром отпустили агитаторов через черный ход.

Этот же процесс крепнущего самосознания движения как общенародного находит отражение как в истории самой петиции (т. е. ее текста), так и в поисках формы ее подачи.

Впрочем, рождение самой идеи шествия момент столь важный, что ради полноты его изложения есть смысл

несколько отвлечься от принятого нами принципа панорамирования движения с точки зрения на него различных задеваемых им социальных групп.

Итак, обратимся к мемуарам.

«5 января я лежал больной, — вспоминает Н. Варнашов. — Кого-то впустили. Дверь распахнулась, ко мне в комнату вошел Гапон, не раздеваясь, в шубе и шапке.

— Вставай! Хворать не время! Едем — центр без вожака! — проговорил он, закуривая.

Я понял все: момент, к которому готовились, наступил! Хворать не время. В голове прояснилось. Исчезла тяжесть, озноб прекратился, и я торопливо, молча оделся... Я спросил, готова ли петиция.

— Петицию получишь завтра, или лучше заезжай за нею; еще не выработан текст. Получивши ее — собирай подписи, не теряя ни минуты¹.

6 января к 12 часам дня я был уже у Гапона, но петиция еще не была готова. У него я застал Тана, Богучарского и еще незнакомого мне интеллигента, который был занят составлением текста петиции.

С Гапоном мы вышли в другую комнату, и здесь, взяв меня за рукав, он пониженным голосом, очевидно не желая, чтобы слышали в соседней комнате, спросил:

— Скажи, как, по-твоему. Не лучше ли будет, если подавать петицию мы отправимся всем миром? Известим царя и кого следует, что, скажем, в воскресенье соберемся у Зимнего дворца. Что народ хочет его видеть — и больше ничего! Что ты скажешь?

В первый момент я был ошеломлен. Такою дикою мне показалась эта идея. Но затем засверкали иные мысли: поддерживать петицию забастовкою? Но долго ли? Неделю-другую! Голод, лживые обещания, и вернуться к работе! А дальше — разгром Собранин. Аресты — тюрьмы переполнены. Вера в царя-батюшку по-старому.

Шествием же — брали быка за рога! Маски будут сброшены! Слепой узрит! С народом или против народа? Будут стрелять. Расстреляют идею царя!»

Внимательно вчитываясь в воспоминания Варнашова, почти физически ощущаешь, как перемешиваются у него припоминаемые размышления о том, что и как *может*

¹ Т. е. речь, собственно, еще не о петиции, с которой двинутся всем миром, а о резолюции, которую следует подписать и поддержать забастовкою. Момент важный!

случиться, с позднейшим оправданием случившегося. Последняя, например, фраза о расстреле «идеи царя» — даже текстуально! — явно пришла из позднейшей публицистики, из оправдания случившегося. А что из тогдашних, январских размышлений? Почему идея шествия показалась им вдруг столь заманчивой? Почему, из каких предпосылок могла она родиться?

Отметим, что, как минимум, два момента безусловно важны для обоих собеседников. Это, во-первых, ощущение, что движение принимает характер *неслыханно массовый*, т. е. что можно двинуться действительно «всем миром»; а во-вторых — что движение жаждет некоего *общего действия* и потому идея шествия как несомненного, зримого события мгновенно завоюет популярность гораздо большую, нежели растянутые во времени и потому не столь остро ощущаемые сбор подписей и поддерживающая уже предъявленную резолюцию забастовка. Сомнений в том, что идея шествия будет с радостью принята, не возникает у них ни на секунду!¹

Но есть и третий момент, особенно важный, пожалуй, лично для Гапона (вспомните-ка его размышления в гостях у И. Павлова 31 декабря!). Так вот: именно всенародное шествие к царю могло стать тем единственным вариантом, при котором для всех сторон сохранялся шанс выйти из конфликта бескровно и достойно, «сохранив лицо». Для этого даже не требовалось ничего особенного — только чтобы «там, наверху» в очередной раз осознали свою собственную выгоду!..

В самом деле! Забудем-ка на минутку, что история не знает сослагательного наклонения, и попробуем представить себе, что депутация рабочих была принята 9 января царем и петиция торжественно вручена... Что было бы?

¹ Впрочем, весьма вероятно, что первоначальную «обкатку» этой идеи Гапон провел еще накануне вечером. «На воскресенье Гапон назначил шествие к Зимнему дворцу, — писал большевик С. И. Гусев Ленину еще 5-го вечером, — для подачи петиции с требованиями, вполне соответствующими программе-минимум (политич. части)». Вероятно, сам Гусев или кто-либо из его агентов был в тот вечер на собрании Невского отдела, где была оглашена резолюция, составленная неким социал-демократом. А Гапон, которого она не удовлетворила, мог и не советуясь со «штабными» объявить о *шествии* и подаче *всем миром* петиции, тем самым уже предопределяя и переработку оглашенной резолюции. Во всяком случае, 5-го днем о шествии и, следовательно, о петиции еще нет и речи.

Само шествие как важное событие, к которому долго готовятся и которое оканчивается чем-то зримым, хотя бы и взмахом платка с дворцового балкона, — само шествие дало бы облегчающую разрядку тому эмоциональному напряжению, грозному ожиданию, которые накапливались в рабочей среде все дни забастовки. Скорее всего, оно действительно вылилось бы в патриотическую манифестацию.

Разумеется, в петиции были неприемлемые и даже оскорбительные для самодержавия пункты — прекращение войны по воле народа, созыв Учредительного собрания... Но, во-первых, в практической политике любую идею можно по-разному интерпретировать — проектировал же Витте для прекращения войны созыв Земского собора, отнюдь не считая, что подрывает этим самодержавие! А во-вторых, самодержцу, принимающему петицию подданных, необязательно «знать», что в ней написано, даже если ему и доложили об этом. Достаточно пообещать проявить милость, сделать, что возможно, и большинство уже будет удовлетворено... Хотя бы на время!

Итак, петиция принята, забастовка мирно прекращена, рабочие запаслись новым терпением и надеждами, а правительство — временем и авторитетом для маневров и переговоров. Гапону же, приведшему к мирному исходу столь опасную ситуацию, вообще ничего, кроме славы, грозить не может!

Конечно, поляризация политических настроений шла независимо ни от правительства, ни от Гапона и к началу января, безусловно, уже достигла той степени остроты, при которой восстановленного подачей петиции спокойствия хватило бы разве на несколько дней. Потом потребовались бы более реальные дела, т. е. уступки, на которые в тот же день, 6 января, когда родилась и идея шествия, совещание промышленников решило не идти ни под каким соусом! Ситуация, безусловно, оставалась бы кризисной, но все же правительству было бы легче, чем после пролитой 9 января крови. Ибо, повторю, у него был бы запасец времени и укрепившегося авторитета, а у рабочих — окрепших надежд.

Между прочим, во всей колоссальной литературе о гапоновщине попытки обсудить возможность такого исхода петиционного движения редки и скупы. Считается,

вероятно, что он не мог случиться, потому что случиться никак не мог. Ни при какой погоде! Но...

Но как же нам быть с теми революционерами, которые до конца больше всего боялись именно превращения шествия в патриотическую манифестацию? Ведь если бы не видели они такой возможности, то, поди, и не боялись бы? И как быть с той депутацией интеллигентов, которая, побывав 8-го у ряда правительственных сановников и возвратившись в редакцию газеты «Наши дни», с горестью и недоумением объявила поджидавшим ее, что «ехать сейчас в Царское и упрашивать Государя прибыть в Зимний дворец и принять петицию рабочих — и мысли об этом сановники не допускали». Выходит, сама-то депутация эту мысль допускала и на ней даже настаивала? А депутация — это как-никак лучшие умы того времени: Гессен, Горький, Пошехонов, Семеновский, Карев!..

Или — как быть с жандармским генералом А. Спиридовичем, недоумевавшим уже после всех революций: «Что думали всемогущий министр внутренних дел и градоначальник? Как эти два почтенных генерала, носивших вензеля государя на погонах, прозевали *столь лестное для престижа монарха народное движение*, как выпустили его из своих рук и дали провести себя кучке авантюристов (подчеркнуто мною.— В. К.)?» Генерал-то был совсем не глупый!

Заметим, что по крайней мере двое из современников 9 января не только предполагали возможность превратить петиционное шествие в патриотическую манифестацию, но и прямо *предлагали* правительству это сделать. Прокурор Петербургской судебной палаты Э. И. Вуич в официальном письме министру юстиции доказывал, что «при таком направлении образа мыслей толпы... нападение на толпу, идущую к царю с крестом и священником, будет явным доказательством невозможности для подданных царя просить о своих нуждах. Поэтому в случае столкновения толпы с полицией и войсками произойдет кровопролитие, которое будет сигналом к беспорядкам, в которых примет участие, вероятно, около 100 000 рабочих при поддержке революционеров... Ввиду сего может заслуживать внимания мнение о том, что появление к просителям кого-либо из приближенных его величества, быть может, остановит движение, если в том же направлении

успокоения подействует священник Гапон на увлеченных им рабочих». Вряд ли стоит сомневаться в том, что Гапон с радостью принял бы подобное предложение!..

Частный советник и корреспондент царя А. А. Клопов в своем письме от 8 января также призывал к «сердечному отношению» к идущим с челобитной. Увы, никакого серьезного внимания в правительственных сферах на это не обратили.

Дело, мне кажется, в том, что любой участник события перебирает в уме множество вариантов его развития. Во-первых, в поисках благоприятного или хотя бы приемлемого для себя выхода, а во-вторых, потому, что многие причины и механизмы события, в котором он участвует, от него скрыты — он вынужден держать в голове и проверять по ходу дела несколько версий происходящего одновременно. У историка же эта информация, как правило, полней и разносторонней. Он знает, **что именно и почему** произошло, но это еще не значит, что он вправе отбросить все неслучившееся. Ибо, отбросив его, он лишит себя возможности понять мотивы своих героев, доводы, которыми был обоснован их выбор. Ведь иллюзии и фантомы также властны над нашими поступками, как и факты. Ну, например...

«В это время,— пишет Гапон,— я верил в добрые намерения царя, находясь под влиянием слов Нарышкиной. Некоторые конституционные права мне казались абсолютно необходимыми. Я представлял себе царя чрезвычайно добрым и благородным и считал, что если обратиться к нему непосредственно с такой просьбой, то он незамедлительно ее исполнит». Если Гапон здесь искренен — мне это кажется несомненным! — то счастливый исход петиционного шествия должен был представляться ему не только возможным, но даже наиболее вероятным, не так ли? А мы его до сих пор пытаемся обвинить в сознательной провокации...

Еще важней, как увидим, оказались иллюзии, питаемые властями, но... Именно поэтому не будем забегать далеко вперед, а вернемся к крещенским событиям.

«6 января,— вспоминает И. Павлов,— на Гороховой, в доме №..., в три часа дня было назначено собрание, на которое были приглашены представители партий. Гапон, несколько опоздав, пришел в высшей степени возбужденный и прямо обратился к собравшимся:

«Господа, события развиваются с поразительной

быстротой, шествие к Дворцу неизбежно, а у меня только всего и имеется...» Он выбросил на стол три листка, вырванные из записной книжки и исписанные красными чернилами. Это был проект петиции. По ознакомлении с содержанием проекта представитель социал-демократии заявил, что в такой редакции петиция для социал-демократии не приемлема. Гапон предложил тогда сделать исправления или составить другую петицию. Представитель социал-демократии тут же набросал проект, который был присутствующими и самим Гапоном одобрен и который в тот же вечер был прочитан известным газетным сотрудником, близко стоявшим тогда к Гапону (С. Я. Стечкиным.— В. К.), в Невском отделе и там был принят многочисленным собранием рабочих. На другой день, т. е. 7 января утром, было еще собрание, на которое представитель социал-демократии не мог прийти. На этом собрании к принятой уже петиции были присоединены некоторые пункты от народнических групп и от группы так называемой „Без заглавия“¹.

Сам Гапон описывает этот день несколько иначе: «В ночь на 6 января я ушел из дому из боязни быть арестованным и тем погубить все дело... Мое последнее посещение своего дома навсегда останется в моей памяти. Некоторые из преданных мне людей пошли вперед посмотреть, нет ли там полиции... Но никого не было, и я вошел в дом. Там уже находилось несколько литераторов и один английский корреспондент. Я попросил моих друзей составить проект петиции к царю, в которую вошли все пункты нашей программы. Ни один из составленных проектов не удовлетворил меня; но позднее, руководясь этими проектами, я сам составил петицию, которая и была напечатана».

Вообще, если сопоставить все воспоминания, так или иначе отражающие ход работы над петицией, историю ее текста, то легко обнаружить множество расхождений и даже непримиримых противоречий, о которых немало поспорили историки вот уже нескольких поколений. Экономия места, не будем вспоминать ход и суть этой полемики, но воспользуемся некоторыми ее результатами

¹ В это время участники будущей группы «Без заглавия» (Прокопович, Кускова и др.) еще входили в «Союз освобождения» и действительно поддерживали контакты с Гапоном. Но гапоновцы, как видно по их мемуарам, обычно именно их именовали «социал-демократами».

и собственным воображением, чтобы представить себе, как же все это в действительности происходило.

За хронологическую основу возьмем воспоминания Н. Варнашова: дату 6 января он связывает с водосвятием на Неве и, следовательно, спутать ее не мог.

Итак, приехав к нему 5-го, в первой половине дня, Гапон сообщает, что резолюция еще не готова, и просит заехать за ней завтра утром. Видимо, назначая этот срок, он рассчитывает на нечто конкретное, готовящееся. В самом деле: корреспондент газеты «Вперед», рассказывая о том, как плохо принимали социал-демократов в Нарвском отделе 5 января, сообщает тут же, что «резолюция, принятая Собранием, такова, что под нею смело может подписаться социал-демократ; говорят, что резолюция эта составлена социал-демократом, имеющим влияние на Гапона». Что за социал-демократ, неизвестно. Однако же выходит, что 5-го вечером какая-то резолюция уже была, обсуждалась. 6-го, к 12 часам утра, резолюция, однако, все еще не готова. Это может означать только то, что текст, принятый накануне в Нарвском отделе, Гапона не устраивает, и скорее всего — именно своим явным несоответствием новой форме его подачи — «пойти всем миром к царю». И пока Тан, Богучарский и «еще один интеллигент» пытаются набросать новый вариант резолюции, представители всех отделов, явившиеся, как и Варнашов, за уже готовым текстом, обсуждают и горячо принимают саму идею всенародного шествия, которому соответствует уже не «резолюция», а именно *петиция*.

Между тем на три часа дня на Гороховой, скорее всего на квартире Стечкина, назначено еще одно совещание — с представителями партий — о возможности каких-либо совместных действий. Гапон приходит сюда, «несколько запоздав», «сильно возбужденный» недавно принятым решением. И сразу же начинает с того, что «шествие неизбежно» (ибо теперь именно *шествие* становится основным действием, формой заявления требований Собрания, и представители партий могут уже обсуждать только текст требований и то, примкнут ли они к этому шествию). Он выбрасывает на стол «три листка из записной книжки, исписанные красными чернилами».

Описавший данный эпизод И. Павлов его участником не был (Карелин — основной источник его информации — тоже). Страницей ранее Павлов пересказывает хорошо

известный нам эпизод с «программой пяти», изложенной на «листе бумаги, исписанном красными чернилами». Если же «три листка», как полагает Павлов,— это все те же три перечня требований (мер), то, разумеется, Гапону не было никакой нужды переписывать их в записную книжку, да еще обязательно теми же «красными чернилами». Скорее всего, такие яркие, точные детали, как «красные чернила» из рассказа Карелина и «три листка», т. е. три варианта резолюции [а) принятый 5-го в Нарвском отделе; б) написанный Таном, Богучарским и «еще одним интеллигентом» на квартире у Гапона утром 6-го и в) какой-то еще, нам неизвестный] из другого эпизода, произвольно объединены здесь памятью И. Павлова.

Риску высказать также предположение, что вариант петиции, найденный историком Р. Ш. Ганелиным в архиве Л. Гуревич: «Мы идем к тебе, Государь, мы все рабочие и жители Петербурга с нашими женами, детьми, отцами и матерями идем к тебе просить правды и защиты. Мы бедны, забиты, обременены непосильным трудом. Нас оскорбляют, обращаются с нами не как с людьми, но как с рабами, которые должны молча терпеть самую жестокую участь. У нас нет прав, нам не дают образования, нас душат насильем и несправедливостью...» — и есть, скорее всего, первоначальный ее вариант, составленный «тремя интеллигентами» 6-го утром.

Это уже петиция, предполагающая общенародное шествие, но написана она явно не Гапоном, а людьми светскими, причастными к литературе. И кстати, представляется весьма естественным, что именно составленный литераторами вариант попал затем к Л. Гуревич, известной издательнице.

Совершенно иного плана довод в пользу сделанного предположения находим мы в показаниях В. А. Янова: «6-го вечером Гапон приехал в помещение нашего отдела... и сказал довольно зажигательную речь, сущность которой заключалась в том, что на рабочего не обращают внимания, не считают его за человека, правды нельзя нигде добиться, все законы попораны, рабочим нужно поставить себя в такое положение, чтобы с ним считались как с людьми, и что нужно обратиться к самому царю». Т. е. доводы, звучавшие на утреннем заседании в пользу шествия, в этой речи Гапона перемешаны с положениями, почти текстуально повторяющими только что отвергнутый им вариант петиции. Гапон явно уже

зажигается ею, чтоб ночью те же идеи облачить в высокую церковную риторику, заодно смягчив политические требования.

Р. Ш. Ганелин, нашедший этот текст, выдвигает, впрочем, иное предположение относительно найденного им варианта петиции, хронологически располагая его между вторым (гапоновским) и третьим (окончательным) вариантами и обосновывая это тем, что текст содержит ряд важных политических требований, отсутствующих у Гапона, но попавших в заключительный вариант. В таком построении, на мой взгляд, слишком явно просматривается желание прочертить процесс постоянного «полевения» петиции под напором требований рабочих, чего еще совсем недавно категорически требовали идеологические стереотипы, тяготевшие над нашей исторической наукой.

Психологически куда естественней предположить, что Гапон и окружавшие его либералы старались вставить в петицию каждый свое, как то и бывает со всеми коллективно вырабатываемыми политическими документами.

Так, впрочем, или иначе, но на Гороховой принесенные Гапоном варианты бракуются и составляется еще один — возможно тот, что опубликован в 65-м номере «Освобождения» под заголовком «Резолюция рабочих о их насущных нуждах» и помечен именно 6 января.

«„Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга“, от лица своего представителя Георгия Гапона, своих 7000 членов и остальных петербургских рабочих, обсудив положение русского рабочего класса, пришло к следующему заключению:

Современное положение рабочего класса в России является совершенно не обеспеченным ни законом, ни свободными правами личности, которые дали бы возможность рабочим отстаивать свои интересы самостоятельно. Рабочие, как и все русские граждане, лишены свободы слова, совести, печати и собраний...» и т. д.

Содержа значительно расширенный перечень требований к правительству, эта резолюция ни в коей мере не отвечала новой форме подачи — торжественному шествию к царю «всем миром». И потому в ночь на 7 января в квартире каких-то знакомых Гапон на основе ранее составленных вариантов самостоятельно создает текст «петиции 9 января». Впрочем, 7-го утром в

этот текст вносится еще несколько поправок, направленных в основном на придание ему более «общенародного» звучания и возврат выброшенных Гапоном «левых» требований (о необходимости «народного представительства» и т. п.). Например, в первой фразе: «Мы, рабочие и жители г. Санкт-Петербурга разных сословий», где подчеркнутые слова вставлены позже. А 7-го вечером петиция уже читается и объясняется во всех отделах.

Эмоциональное воздействие гапоновской петиции было колоссальным. «Какое было настроение у рабочих,— пишет А. Карелин,— видно из того, что люди, слушая ее, складывали пальцы как для клятвы и поднимали руки. У людей было что-то чистое, хорошее, то, что на всю жизнь остается».

Что ж... Петиция и теперь производит неизгладимое впечатление своей интонацией сдержанного рыдания, истинно народным сочетанием простоты и «трагической важности» стиля: «Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности,— в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения. Нас поработили, и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмелился поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу... Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят... Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь?...»

Уже первый исследователь этого текста А. Шилов отметил, что петиция выстроена по всем правилам церковной риторики, приемами которой Гапон владел в совершенстве. Начинается она «приступом»: «Государь, мы, рабочие, пришли искать правды и защиты...» Далее следует «изложение»: мы обнищали, нас угнетают, нет сил

больше терпеть; затем третья часть — «причина»: причина обнищания — хозяева (излагаются экономические требования, предъявленные в начале забастовки путиловскими рабочими), причина угнетения — чиновники (сообщается о бесправии рабочих). Наконец, «главная часть»: хозяева и чиновники суть зловредное средостение между царем и народом. Царь, разрушь эту стену, созови представителей всех сословий, правь страню со своим народом и исполни наши дополнительные требования (мартовскую «программу пяти»). Оканчивается петиция «заключением»: у нас два пути — к счастью и в могилу: укажи любой их них».

Это так. Но еще важнее, по-моему, что и эти риторические приемы, и чисто фольклорный, почти сказочный образ «царя-батюшки» — все в тексте петиции исполнено горячего сочувствия народному горю, сердечной потрясенности им и трагического отчаяния. Именно это и определяло эмоциональное воздействие петиции, создавало ту особую атмосферу обсуждения ее в отделах, которая зафиксирована всеми с полным единодушием.

«Возбуждение страшное. Оратор рабочий чуть ли не в десятый раз читает петицию перед все меняющимися рядами слушателей (зал собраний вмещает 700 человек, и весь он битком набит) и обращается все с теми же вопросами: «Смеют ли полиция и солдаты не пустить нас, товарищи?» — «Не смеют!» — гремит ему в ответ гул 700 голосов. «Товарищи, — продолжает оратор, — лучше умереть нам за наши требования, чем жить так, как жили до сих пор!» — «Умрем!» — несется в ответ. «Все ли клянутся умереть?» — «Клянемся!» — «Кто клянется, пусть поднимет руку». Сотни рук дружно поднимаются в воздух» (газета «Вперед»).

Движение «совсем особенное — вне всяких партий, совсем народное, русское, стихийное, но по-своему чудесно организованное и народу вполне понятное. Вся прислуга, извозчики, вся улица на стороне рабочих» (анонимное «женское письмо» в «Освобождении»).

Заметим, однако, что это торжество принародной клятвы, эта прекрасная атмосфера сплочения, очищения, атмосфера вполне религиозная, даже экстатическая, всего менее могла способствовать деловому и трезвому обсуждению политического документа.

Впрочем, в отделах Собрания такого обсуждения и не было. Нужно вообще сказать, что понимание петиции как

результата «творчества масс», а тем более как «своеобразного преломления», в этом творчестве социал-демократической программы хоть и чрезвычайно распространено в нашей литературе, но существует как бы само по себе, ни на какие факты не опираясь. Между тем во всей гряде воспоминаний и документов не зафиксировано *ни одного случая* правки петиции (или хотя бы предшествовавших ей резолюций) непосредственно рабочими в отделах. Все известные нам *варианты и поправки* — результат работы ряда *узких* совещаний, о которых рассказано выше. Именно там рождалась петиция как политический документ, там она вырабатывалась как общая платформа, равно приемлемая для либеральной общественности, левых партий и самого Собрания. Результаты этих поисков и компромиссов закреплены в последней части петиции, в значительно расширенном (по сравнению с «программой пяти») списке требований.

Как публицистическое сочинение высочайшего эмоционального накала петиция — плод личных творческих усилий самого Гапона. И тут мы не можем не отдать ему должного: описанное выше эмоциональное воздействие петиции — это, собственно, воздействие написанной им преамбулы, а не самого списка требований.

Что же до этого списка, то, вдумываясь не в форму его, а в его суть, мы без труда обнаруживаем, что общими для всех участников политического процесса, его породившего, были не только демократические идеалы, но и одна, им в корне противоречащая, иллюзия: представление о *всесилии и всевластии государства*. Иллюзия, опаснейшая для всех, а для революционеров — особенно.

Ближайшим следствием этой иллюзии и стала та совершенно непростительная ошибка, что руководители движения, решившегося на столь резкие требования к правительству, тут же полностью и выпустили из рук инициативу, передоверив тому же правительству определять смысл и направление последующего развития ситуации. Ибо никакие варианты того, что должно последовать за предъявлением этих требований, по сути и не прорабатывались. Это после первых же выстрелов и обернулось полнейшей растерянностью и судорожно-бессмысленными политическими жестами.

Но не будем забегать так далеко вперед. Лучше продолжим прерванное паномирование отношения различных социальных слоев к гапоновскому движению.

Предприниматели, реакционная буржуазия

Выше мы уже отмечали, что начиная с сентября деятельность Собрания вызывала в этой среде все возрастающую тревогу и жажду отпора. Неудивительно, что позиция этого слоя и до забастовки, и после ее начала была предельно жесткой: никаких уступок!

Промышленники дрогнули только однажды, 5 января, во время приема гапоновской делегации в Правлении акционерного общества Путиловских заводов. Они даже пообещали принять ряд мелких второстепенных требований. Но что касается главных, то часть их была отвергнута с ходу, по остальным акционеры обещали принять решение после консультаций с другими промышленниками. Рабочие, по словам В. Янова, расценили их ответ как «неопределенный».

Вялая сия полуготовность на некоторые уступки объясняется, мне кажется, только тем, что к этому часу забастовка уже приняла угрожающий размах (26 тысяч человек!), а позиция правительства все еще оставалась неясной и даже двусмысленной, так как полиция в ход стачки не вмешивалась.

Министр финансов Коковцов в тот же день поспешил, однако, стать на сторону промышленников. «Высказывая серьезные опасения за исход забастовки,— писал он 5 января Николаю,— в особенности ввиду тех результатов, которых достигли рабочие в Баку, я признал бы действительно необходимым, чтобы были приняты действительные меры для обеспечения безопасности тех рабочих, которые пожелают приступить к обычным своим фабрично-заводским занятиям... Что касается общества «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга», то о возникших у меня весьма больших опасениях относительно характера и результатов его деятельности я счел долгом обратиться к министру внутренних дел».

Итак, еще до совещания с промышленниками, до обсуждения с ними требований бастующих наибольшую тревогу министра уже вызывают «характер и результаты деятельности» Собрания, а также возможность хотя бы частичной победы стачечников (как в Баку).

Разумеется, при такой позиции министра ждать от совещания промышленников, собранных им 6 января, каких-либо серьезных уступок не приходилось. По сведениям Э. Авенара, им был поставлен вопрос: «Как они же-

лают отвечать на требования рабочих? Присутствует 40 человек, большинство с иностранными фамилиями. Один высказался за примирительный образ действий, но после того, как представитель одного завода сказал, что на насилие следует отвечать насилием, и потребовал вмешательства вооруженной силы, большинство присоединилось к этому мнению. Никто не протестовал».

Авенар записывает это 8-го, когда город стремительно наполняется войсками и самыми тревожными слухами, а люди, предчувствуя нечто ужасное, заранее подыскивают виноватых, но...

Но ведь и официальные сведения об этом совещании в докладе А. Лопухина разнятся с авенаровскими только в подробностях: «Собравшиеся на совещание хозяева забастовавших заводов и фабрик пришли к выводу, что удовлетворение некоторых домогательств рабочих должно повлечь за собой полное падение отечественной промышленности, другие же из них могут быть рассмотрены и даже частично удовлетворены, но лишь при условии отдельных соглашений в каждом случае, а не в виде уступок настояниям массы стачечников».

То, что перспектива «полного падения отечественной промышленности» была чистейшим блефом, всего наглядней показывает позднейший доклад того же Коковцова. Всего-то через десяток дней он решительно заявил, что «вслед за восстановлением работ на петербургских фабриках и заводах необходимо... попытаться удовлетворить без всякой задержки те из выясненных нужд, которые окажутся справедливыми и могут найти себе удовлетворение на почве действующего закона». А в расклеенном 14 января по городу «Объявлении» даже заявлял, что «министерство финансов готово приступить к разработке закона о дальнейшем сокращении рабочего времени».

Итак, причина жесткости, проявленной промышленниками 6 января, отнюдь не в экономических расчетах, а в преобладании среди них и в правительстве тех настроений, что еще в конце 1904 года со свойственной ему грубой прямоотой были сформулированы С. Ю. Витте: «Нужно, чтобы публика знала и чувствовала, что есть правительство, которое знает, чего оно хочет, и обладает волею и кулаком, чтобы заставить всех поступать согласно своему желанию».

Кстати, здесь будет нелишним вспомнить, что в дореволюционной литературе наиболее популярным обвинением

в адрес зубатовщины было то, что именно она-то якобы и создала «среди промышленной буржуазии противоправительственное течение».

Увы! Как прекрасно видно из всего, что в этой книге изложено, попытки властей сманеврировать и опереться не только на промышленников, но и на рабочих были столь робки, что правительство при первых же затруднениях отступало и в решающие моменты действовало в полном соответствии с пожеланиями промышленников — кулаком. И в том, что после 9 января буржуазия «вдруг стала стремительно леветь, к октябрю 1905 года почти полностью оказавшись в оппозиции к режиму», зубатовщина никак не виновата.

«Капитал разочаровался во всеисцеляющем действии полицейской репрессии, которая одним концом бьет рабочего по живому телу, а другим — промышленника по карману, и пришел к торжественному выводу, что мирный ход капиталистической эксплуатации требует либерального режима». Это — Троцкий. Но на сей раз он, увы, прав. И нам остается только жалеть, что здравый сей вывод был сделан российскими промышленниками непоздно — после большой крови, когда возможный поворот к «либеральному режиму» был, по сути, уже пройден.

Власть: МВД, войска, царь

В своих отношениях к гапоновскому Собранию министерство Святополк-Мирского так же катастрофически не поспевало за меняющейся действительностью, как и в поисках опоры на либеральную общественность. Внимательный анализ документов показывает, что истинное политическое лицо Собрания оставалось неведомым полицейским властям вплоть до 4-го, даже до 5 января. Агенты, посланные 2-го в Нарвский отдел, привычно рапортовали о полном порядке: «листки» разбрасывать не дают, евреев бьют — чего еще надо? В. Иноземцев постоянно твердит, что надо твердо держаться «экономической почвы», в политику не вмешиваться. Да и «объективные соображения»... «Возникновение забастовок во второй половине декабря, т. е. в то время, когда студенты и курсистки еще не были в сборе после рождественских каникул, ранее истечения коих избран был и день для движения рабочих на площадь Зимнего

дворца, также служило признаком отсутствия в этом движении политических целей» — так писал новый градоначальник Дедюлин даже после 9 января. Следовательно, до 9-го этот довод уж точно казался всем совершенно неопровержимым.

Когда трагические события произошли и кровь пролилась, потрясенная общественность нашла в поведении властей немало странного, даже загадочного. Почему, например, предприняв грандиозные военные приготовления и даже отдав распоряжение некоторым больницам подготовиться к приему раненых, власти не сделали практически ничего, чтобы предупредить само шествие, объяснив рабочим его незаконность? Как писала в своем докладе «комиссия, избранная общим собранием присяжных поверенных 16 января 1905 г.»: «Нигде полицейская власть не заявляла рабочим о незаконности происходившего движения и не предлагала им расходиться ни в предшествующие три дня, ни с утра 9 января. Если и допускалась возможность вооруженного нападения войск, то только в случае какого-нибудь непредвиденного беспорядка, или незаконного действия отдельных лиц, или по недоразумению; ибо войска, по мнению рабочих, выставлены были в известных пунктах «для того, чтобы рабочие не безобразничали», и, как видно из многих показаний, сами рабочие прилагали все усилия к тому, чтобы избежать неприятных инцидентов».

Вывод о грандиознейшей провокации, о стремлении правительства устроить, так сказать, превентивное кровопускание, чтобы остановить революцию, напрашивается как бы сам собой. Особенно при том отношении к власти, которое существовало в общественном сознании России в начале 1905 года.

Но *напрашивающийся* вывод далеко не всегда, увы, оказывается выводом *справедливым*. Чтобы убедиться в этом, давайте еще раз переберем в памяти события первых дней января и попробуем представить, какую же информацию о гапоновском движении могло почерпнуть из них правительство и какие решения на основании этой информации оно могло предложить. Естественно, что в расчет при этом надо брать не только то, что действительно было, но и то, что сторонам конфликта *казалось*....

Не будем, кстати, забывать и то, что князь Мирский фактически уже был отставлен, что ожидание нового

начальства в чиновничьей среде всегда рождает немалую путаницу, повышенную амбициозность, интриги, несогласованность действий и прочие прелести, составляющие, так сказать, фон, на котором и развиваются все события.

Первым звонком, первым сигналом о том, что Собрание, оказывается, не оплот порядка, а источник опасности, могла стать для МВД встреча Гапона с Фуллоном **28 декабря**, когда старый генерал, дойдя до пятого пункта требований еще только планировавшейся забастовки, воскликнул: «Но это настоящая революция; вы угрожаете спокойствию столицы!»

Могла, да не стала. Поверил ли Фуллон гапоновским «успокоениям», просто ли потерялся или доверился собственному добродушию, всегда подсказывающему нам, что «все еще обойдется», — гадать не будем. Так или иначе, но доложить начальству об «угрозе спокойствию столицы», исходящей от им же покровительствуемого Собрания, он пока не решился.

2 января Лопухин получает подробную записку Кременецкого о собрании в Нарвском отделе — записку, однако же, опять *успокаивающую*.

3-го на его стол ложится копия новых требований стачечников — требований дерзких, задиристых, но еще без явной «политики». К тому же — опять успокаивающий комментарий Кременецкого, что рабочие-де этим требованиям «не сочувствуют».

3-го же Фуллон вновь, и «в большом волнении», говорит по телефону с Гапоном, сообщая, что он через Витте добился обратного приема одного рабочего и обещания принять еще двух, ввиду чего и просит «прекратить забастовку». В ответ же получает неожиданное сообщение, что к забастовке в ближайшие дни присоединятся «рабочие всего Петербурга», что возможны «не только экономические» требования, а под занавес туманные, как всегда, обещания, что «все будет тихо и мирно».

4-го... Да, только **4-го** генерал набирается решимости для доклада начальству. «Ввиду высказанного генерал-адъютантом Фуллоном опасения, что возникшая на Путиловском стачка перенесется на другие промышленные заведения столицы, министерством внутренних дел был поставлен генерал-адъютанту вопрос о том, какие меры предполагает он принять в отношении священника Гапона и его Общества, на что генерал Фуллон заявил,

что арестом их стачка едва ли будет остановлена, что аресты эти скорее вызовут в рабочих раздражение и что он может рассчитывать на спокойное течение стачки только при условии оставления священника Гапона и общества рабочих на свободе, т. к. через них воздержит рабочую массу от беспорядков» (доклад А. Лопухина). На том пока что и порешили.

Итак, Гапон, с одной стороны, организатор забастовки, стремительно разворачивающейся и уже угрожающей спокойствию столицы, но с другой — он же единственная возможность «воздержать рабочую массу от беспорядков». Странно?

В общем-то да. Но если посмотреть на ситуацию глазами Фуллона — вовсе нет. В самом деле: там, в таинственном, непонятном горниле заводов и фабрик, происходит движение совершенно необычайное по своей стремительности и внешнему спокойствию. И этой необычайностью своей пугающее. Ведь неизвестность для нас хуже, страшней любых сведений. А сведения идут только через Гапона. И, как ни странно, правдивые. Он говорит: завтра-послезавтра произойдет то-то — и оно действительно происходит. Он говорит: но вы не бойтесь, эксцессов не будет — и дело действительно обходится без них. Так как же ему не верить? Как на него не надеяться?

К тому же и Фуллону лично тоже выгодно представлять Гапона как силу сдерживающую и умиротворяющую: иначе его, Фуллона, недавнее покровительство Гапону и вовсе будет выглядеть преступным. Вот в чем подлинный секрет того, что «петербургский градоначальник стал едва ли не подчиняться» приказаниям Гапона. «Чем объяснить это последнее положение, я решительно не знаю, — писал Н. Симбирский. — Это какая-то психологическая загадка, ключ к которой можно найти разве только в том смятении умов, которое охватило тогда... правящие сферы». Но никакой «психологической загадки», как видим, здесь нет.

Наступает **5 января**. Забастовка обретает уже не просто пугающий, но — грозный, неслыханный размах. Министр финансов Коковцов бьет тревогу, требуя у МВД объяснений по поводу деятельности Собрания, требует жесткости по отношению к бастующим, но полицейское ведомство не спешит — у него есть мощное оправдание, ибо «порядок в столице нигде нарушен не был» и — глав-

ное! — «не было никаких данных, указывающих на участие в агитации подпольных преступных организаций, которые, по агентурным сведениям, сами оказались застигнуты врасплох стихийным характером забастовки» (доклад А. Лопухина).

Действительно, первые данные, бесспорно указывающие на такое «участие», могли лечь на стол министерских чиновников только 5-го поздно вечером в виде доставленной агентами резолюции Нарвского отдела Собрания — резолюции столь откровенно политической, что под ней «мог бы подписаться и социал-демократ».

Но, собственно, не столь уж и важно, насторожились ли высшие чины министерства уже 5-го вечером или не успели насторожиться: следующий день все равно все смысл и спутал своими неожиданными и совершенно невероятными событиями.

6 января — день не рабочий. Крещение. Это важно учесть.

К вечеру этого дня в столице создан военный штаб во главе с дядей царя, великим князем Владимиром Александровичем, шефом гвардии. Город разбит на 8 секторов, каждый сектор получает своего командира, начинают составляться «ежедневные диспозиции воинских частей»... Власти явно и спешно готовятся к каким-то чрезвычайным событиям. Но — к каким?

В большинстве работ советских историков эти военные приготовления напрямую связываются с совещанием промышленников, забастовкой и будущим шествием рабочих. Но — так ли это?

Разумеется, просьба промышленников о применении «кулака» могла быть встречена властью весьма одобрительно и сочувственно. Но вряд ли она смогла бы вызвать действия столь поспешные, лихорадочные — для этого нужен испуг, ощущение смертельной угрозы...

Забастовка? Но военное положение введено именно шестого, в нерабочий день, когда масштабы забастовки неясны, а 7-го вечером, когда выясняется, что бастует уже свыше 100 000 рабочих, оно вдруг отменяется. Значит, не забастовка...

Шествие к дворцу? Но идея этого шествия только шестого и родилась. Около часу дня, на совещании в квартире Гапона. Власти же об этом плане могли узнать только поздно вечером, после выступления Гапона в Нарвском отделе...

Но если чрезвычайные военные приготовления вызваны не просьбой промышленников, не забастовкой и не угрозой шествия, то чем же? Выстрелом на Иордани? Происшествие действительно пренеприятнейшее. Впервые за эту зиму для участия в традиционно пышной церковной церемонии водосвятия на Неве прибыл в свою столицу Их Величество, и вдруг одна из пушек, стоявших у Биржи, во время салюта палит в сторону дворца картечью!.. Что это — досадная и труднообъяснимая небрежность? Или неудавшееся покушение?

Город мгновенно наводняется слухами, напрямую связывающими выстрел с рабочими волнениями и либеральным движением. Э. Авенар в тот же день записывает повсюду высказываемое предположение, что «у революционеров есть сторонники в армии»...

Но слухами питается публика. А чем правительство? Как рисовалось властям положение 6 января в столице?

Есть один документ, рожденный несколькими днями позже, но без сомнения проливающий определенный свет и на события 6 января, во всяком случае — на то, как могли они выглядеть в глазах полиции. Я имею в виду письмо А. Лопухина начальнику Петербургского жандармского управления от 14 января 1905 года¹. С конца 1904 года, сообщается в нем, полицейские власти озабочены розысками некоего «Комитета», образованного, «по агентурным сведениям», революционерами в России и эмиграции «из представителей всех действующих в империи противоправительственных организаций». «По тем же сведениям, — пишет Лопухин, — Комитет этот должен был приступить в конце текущего января к руководству одновременными действиями всех подпольных организаций, непосредственно направленными к низвержению самодержавной власти, одновременными возбуждениями стачек и беспорядков, волнениями в учебных заведениях, предъявлениями правительству разными кружками самых крайних требований о реформе государственного строя и т. п.»

В «агентурных сведениях», исходящих, возможно, от Е. Азефа, под именем такого «комитета» могло фигу-

¹ Это письмо было опубликовано еще в 1933 году, однако в связи с предысторией 9 января впервые рассмотрено лишь совсем недавно ленинградским историком Р. Ш. Ганелиным. Но и Ганелин ставит сообщаемые здесь сведения лишь в контекст событий 8 января, что, по моему, хотя и совершенно верно, но недостаточно.

рировать, скорее всего, так называемое «посредническое бюро», созданное на состоявшейся в сентябре парижской конференции либеральных и революционных партий, о работе которой мы уже упоминали. Азеф представлял на этой конференции партию эсеров. «На деле,— пишет историк Р. Ганелин,— посредническое бюро ничем себя не проявило... Тем не менее, судя по письму Лопухина, департамент полиции связывал все происходящее с деятельностью грозного своей таинственностью и неуловимостью комитета и разыскивал его со всем усердием».

И надо опять же признать, что все «агентурные сведения» об этом Комитете казались властям более чем убедительными, ибо вполне соответствовали их пониманию политической логики момента. «Конец января,— пояснял Лопухин,— как начало действий (таинственного Комитета.— В. К.) был избран ввиду того, что к этому времени во всех университетских городах сбор учащейся молодежи после рождественских каникул должен быть уже полный и что к тому же времени должно определиться настроение январских сессий земских собраний. Вспыхнувшая в самом начале января под влиянием агитации священника Георгия Гапона и организованного им «общества фабрично-заводских рабочих» всеобщая стачка с.-петербургских рабочих явилась для революционных кружков совершенно неожиданной, но весьма для их вмешательства благоприятной. Отдельные подпольные кружки тотчас же попытались взять движение в свои руки, а затем были получены указания на то, что вышеупомянутый Комитет выступил в своей объединяющей роли, причем удалось установить, что в состав этого Комитета входят лица с крупным положением в ученом и литературном мире...»

Ну, о «лицах» — потом, по ходу дела. Пока же зададимся вопросом: когда и как «удалось установить», что Комитет уже выступил «в своей объединяющей роли»?

По собственным воспоминаниям Гапона, в ночь с 5-го на 6-е, а по другим — в ночь с 6-го на 7-е, он прекратил ночевать дома, обнаружив за собой явную слежку. Пожалуй, можно не сомневаться, что началась она даже двумя-тремя днями раньше. Во всяком случае, все его перемещения 6 января полиции были, безусловно, известны. Как же могла она рассматривать поступающую о них информацию?

Итак, с самого утра у него на квартире происходит совещание, в котором кроме рабочих участвуют Тан, Богучарский и другие «лица с крупным положением в ученом и литературном мире», являющиеся, впрочем, одновременно и членами «Союза освобождения», т. е. одного из «подпольных кружков». Затем он направляется на Гороховую, где совещается с представителями разных партий¹. А кто объединяет, кто может собрать представителей «всех партий»? Так Комитет же! Давно разыскиваемый и неуловимый Комитет... И наконец, вечером этого же дня Гапон, выступая в Невском отделе, громогласно, открыто призывает идти к дворцу «всем миром», чтобы «искать правды». И в ответ рабочие, как-то чудодейственно (как никогда!) организованные и сплоченные, клянутся идти и умереть, если нужно!

Картина крупномасштабного революционного выступления с участием рабочих, «либералов», «всех партий» и даже части военных (выстрел на Иордани, «обнаруживший» сторонников революции и армии!) под единым руководством таинственного Комитета — вот что за

¹ В целом ряде исторических сочинений это совещание «представителей всех партий» с Гапоном «переносится» на 5 января. Доводы, приводимые в пользу такого «переноса», не кажутся, однако, убедительными. Праздничный день, да еще отмеченный таким чрезвычайным происшествием, как выстрел на Иордани, любому мемуаристу — если у него, разумеется, нет какого-либо умысла — перепутать трудно. К тому же, «перенеся» совещание на 5-е, нам приходится отвергать такие живые подробности, как опоздавший и возбужденный Гапон, начинающий свое выступление с того, что шествие к дворцу неизбежно... А ведь такое нарочно не выдумашь! Создает «перенос» и другие логические несообразности: почему, например, Гапон договаривается сначала с представителями партий, а уж потом со своими «штабными» — ведь при наличии сильной оппозиции в лице карельской группы это попросту невозможно!

Ну, и еще один довод... «6 января, — пишет князь М. Шаховский в брошюрке «Гапон и гапоновщина», вышедшей в свет в 1906 году, то есть намного раньше воспоминаний И. Павлова, — как известно, произошло возмутительное событие во время молебствования на Иордани, к счастью закончившееся благополучно... Русский народ должен смотреть на этот факт глазами судебного процесса, который напечатан в газетах, но вот какие совпадения весьма важны.

В 2 часа дня, того же 6 января... состоялось экстренное собрание главных организаторов демонстрации с якобы челобитной царю».

Ярый черносотенец князь Шаховский вряд ли мог пользоваться информацией из кругов либеральных или близких к Гапону — скорей всего, источником его сведений была именно полиция, сразу же связавшая выстрел на Иордани с гапоновскими совещаниями и ужаснувшаяся представившейся при этом картине!

картина встает вдруг перед испуганным взором властей к вечеру 6 января. Встает так явственно, что не верить в нее нет никаких оснований.

Судя по воспоминаниям В. Н. Коковцова «Из моего прошлого», поздним вечером 6 января Мирский обсуждал с царем складывавшуюся в столице ситуацию. Было решено, что в воскресенье царя в городе не будет и полиция, заблаговременно известив об этом рабочих, предупредит, таким образом, их «скопление» перед дворцом. Но, видимо уже после отъезда министра, намеченные меры показались царю недостаточными, и «7 января утром явившимся к градоначальнику начальником Штаба войск гвардии и Петербургского военного округа генерал-лейтенантом Мешетичем было заявлено, что по высочайшему повелению Петербург объявляется на военном положении и высшая власть переходит к князю Васильчикову...» (доклад Дедюлина). Вот результат той общей оценки положения, что сложилась в полицейском воображении 6 января к вечеру.

Военные власти столицы сразу же начинают энергичные действия. Одно из них зафиксировано для нас воспоминаниями врача Обуховской больницы А. Сюзова: «За несколько дней до 9 января (никак не больше, чем за два, но такие дни способны растягиваться в памяти до бесконечности.—В. К.) из четвертого полицейского участка Московской части в Обуховскую больницу было прислано секретное предписание и запрос: каков штат хирургического отделения? Имеет ли больница достаточное количество перевязочных материалов? Вслед за этим новое предписание: подготовиться к массовому приему раненых, сформировав летучие отряды из врачей, сестер и санитаров».

Параллельно действиям военных разворачиваются, однако, и другие события. Уже к середине дня 7 января выясняется, что забастовка приняла поистине угрожающие размеры (382 предприятия, 105 тысяч человек!). Гапон, ночью написавший петицию и утром еще правивший ее текст с представителями каких-то «народнических групп», отвозит его в перепечатку. Жена артиста И. Павлова изготавливает 12 экземпляров; 11 тотчас рассылаются по отделам, один остается у Гапона (воспоминания Карелина), у Павловых же Гапон узнает, что на его квартире уже побывал с утра курьер из Министерства юстиции. Министр Муравьев приглашает его

встретиться. Встреча состоялась где-то уже ближе к обеду. Гапон описывает ее так:

«— Скажите мне откровенно, что это все значит?— спросил меня министр, когда мы остались одни.

Я, в свою очередь, попросил его сказать мне откровенно, не арестуют ли меня, если я буду говорить без опаски. Он как будто смутился, но затем, после некоторого размышления, ответил «нет» и затем торжественно проговорил это слово. Тогда я рассказал ему об ужасных условиях, в которых находятся рабочие и народ в России.

— Страна,— сказал я,— переживает серьезный политический и экономический кризис; каждое сословие предъявляет свои требования, жалуется на свои нужды, выражая их в своих петициях к царю; настал момент, когда и рабочие, жизнь которых очень тяжела, желают также изложить свои нужды к царю.— При этом я вручил ему копию нашей петиции...

Он внимательно просмотрел ее и затем простер руки с жестом отчаяния и воскликнул:

— Но ведь вы хотите ограничить самодержавие!

— Да,— ответил я,— но это ограничение было бы на благо как для самого царя, так и его народа. Если не будет реформы свыше, то в России вспыхнет революция, борьба будет длиться годами и вызовет страшное кровопролитие. Мы не просим, чтобы все наши желания были немедленно удовлетворены... Пусть простят всех политических и немедленно созовут народных представителей, тогда весь народ станет обожать царя...

[Министр], отпуская меня, сказал:

— Я исполню свой долг.

Когда я спускался по лестнице, меня поразила мысль, что эти загадочные слова могут иметь только тот смысл, что он поедет к царю посоветовать стрелять без колебаний. Тогда я подошел к телефону в сенях и, вызвав министра финансов Коковцова, рассказал ему случившееся и просил его содействовать к прекращению (недопущению?— В. К.) кровопролития.

Ответа я не слышал, так как меня разъединили».

А между тем петиция, действительно содержащая ограничивающие самодержавие требования, начинает свое триумфальное шествие: в каждом из отделов Собрания она десятки раз читается перед сменяющейся публикой, и десятки тысяч людей восторженно клянутся умереть, но довести до царя свои требования...

Между прочим, эта клятвенно подтверждаемая решимость действовать послезавтра сама по себе смягчает сегодняшнее нервное раздражение. В результате — на улицах спокойнее и тише, чем даже обычно... Тем временем с несомненностью выясняется, что выстрел на Неве есть глупая случайность и верность войск пока что вне всяких сомнений. Можно перевести дух и взглянуть на обстановку спокойнее.

«7 января вечером состоялось заседание у князя Святополк-Мирского при участии министров: юстиции — Муравьева, финансов — Коковцова, товарища министра, заведывающего полицией, — генерала Рыдзевского, директора Департамента полиции Лопухина, командира гвардейского корпуса князя Васильчикова, градоначальника Фуллона; по поводу сделанного Муравьевым заявления, что он на основании беседы с Гапоном, который был у него утром, считает его ярым революционером, градоначальник Фуллон предложил немедленно распорядиться арестованием Гапона, но, по ближайшем обсуждении, все члены этого совещания пришли к заключению, что арест Гапона нежелателен». На этом же заседании были также «высказаны отрицательные соображения, и предполагавшегося объявления военного положения не последовало». Но не последовало, заметим, и прекращения деятельности штаба под руководством великого князя Владимира: машина насыщения города войсками, однажды запущенная, продолжала работать, т. е. введение военного положения было как бы и не объявлено, приостановлено, но все же не отменено до конца.

Этим же вечером, 7 января, почти одновременно с совещанием у Мирского, происходят два важных совещания в лагере противоположном. Одно из них началось в десятом часу вечера в Невском районе, на квартире одного из знакомых Гапона. «Задачей совещания, — пишет меньшевик С. Сомов, — было, по словам Гапона, его желание выяснить отношение социал-демократов к хождению к Зимнему дворцу 9 января и столкнуться с ними о необходимых тактических приемах... Началось с перепалки, но Гапон вмешался. Он правдиво признал, что начало движения, связанного с его именем, действительно «темное», но несколько грубоватой лестью успокоил как своих обидевшихся приверженцев, так и озлившисьших социал-демократов... В этот вечер он вполне

верил, что будет допущен к Зимнему дворцу, о возможности кровавых расправ даже и не думал. Он был убежден, что правительство для вида, быть может, попытается полицейскими мерами задержать рабочие массы и не допустить их до Зимнего дворца, но при настойчивости массы добьются своего. Но он сильно сомневался в устойчивости, прочности и выдержанности боевого настроения масс... «Я прошу вас, социал-демократов,— говорил он,— поставить свои кадры в последних рядах манифестации. Социал-демократы народ стойкий, убежденный и не испугаются первых насильственных действий полиции. Мой же народ, как и «социалисты-революционеры»,— народ хотя и славный и умереть готов за дело, но способный ли он на что-нибудь другое, кроме мгновенного порыва, за которым следует упадок духа, я не знаю...»¹ Мы, однако, не скрывали перед Гапоном своих более пессимистических взглядов, сказали ему, что предвидим кровавый оборот движения, и, по-видимому, нам удалось несколько поколебать его оптимизм. На следующий день утром, после дальнейших разговоров с социал-демократами, заночевавшими с ним на той же квартире, Гапон написал свое известное письмо к князю Святополк-Мирскому».

К этому письму мы еще вернемся.

Примерно в то же время в Нарвском районе проходило и совещание большевиков. Участвовали: Богданов, Гусев, Румянцев, Квитка, Липшиц, Харик, Землячка, Смиттен и другие. Н. Дорошенко отправился сюда сразу после своего неудачного выступления в Нарвском отделе Собрания. «Гусев,— вспоминает он,— доложил о своих переговорах с представителями революционных организаций, о том, что никакого единства действий не установлено. Если мне не изменяет память, тот же Гусев сообщил и о своем свидании с Гапоном, это свидание также ничего не дало для установления согласованного образа действий. Общее впечатление было таково, что Собрание как-то не представляет себе вероятным, что шествие к дворцу состоится». Тем не менее именно здесь 7 января «намечена была необходимость превращения в отдельных местах предположенного шествия в демонстрацию лишь после того, как

¹ Заметим, что за такого рода «признаниями» могли стоять как и действительные колебания в оценке настроения рабочих, так и стремление, польстив социал-демократам, убрать их на задворки демонстрации, обезопасив себя от всяких неожиданностей с их стороны.

шествие будет сорвано властями, почему и предложено было порайонно собраться организованным рабочим и иметь при себе заготовленные знамена».

Одним из большевистских знаменосцев, как помним, должен был стать полицейский агент Арсений Кулагин. По-видимому, в тот же вечер или, по крайней мере, рано утром 8-го эти планы большевиков становятся известны охранке. Во всяком случае, в записке Кременецкого от 8 января говорится:

«По полученным агентурным сведениям, предполагаемым на завтра, по инициативе отца Гапона, шествием на Дворцовую площадь забастовавших рабочих намерены воспользоваться и революционные организации столицы для производства противоправительственной демонстрации».

Для этой цели сегодня изготавливаются флаги с преступными надписями, причем флаги эти будут скрыты до того момента, пока против шествия рабочих не станет действовать полиция; тогда, воспользовавшись замешательством, флагоносцы выкинут флаги, чтобы создать обстановку, что рабочие идут под флагами революционных организаций».

Что ж... Если о «массе рабочих» еще можно было, как делал то А. Лопухин, питать иллюзии, что она «обманно уверена в представлении Его Величеству ходатайства исключительно об удовлетворении экономических нужд рабочего класса»¹, то о целях и настроениях подпольщиков никаких иллюзий власть не питала. Она была склонна их силы скорее преувеличивать...

Итак, сговор Гапона с революционными партиями налицо, хотя и неизвестно, о чем они там договорились. Но, с другой стороны, хорошо известны планы этих партий превратить шествие в революционное выступление. И что, если они — вовсе не секрет от Гапона, а с ним же и согласованы? И что, если его талант демагога, его безграничное влияние на толпу тоже будут брошены 9-го на революционную чашу весов?..

¹ Между прочим, это не так уж и далеко от истины. Рабочие искренне считали, что они политикой не занимаются. Идти к царю-батьшке со своею нуждой — какая ж это политика? Даже такие требования, как созыв Учредительного собрания или прекращение войны «по воле народа», вряд ли воспринимались ими как революционные, ограничивающие самодержавие, зато горячие слова о собственной нужде и бесправии жгли душу.

В этих нерадостных размышлениях, взорвавших едва наметившееся с вечера успокоение, и наступает для властей утро 8 января.

Здесь следует обратить внимание на целый ряд официальных отчетных документов и заявлений крупных чиновников, которые все сходятся в том, что на каком-то очень позднем этапе (не ранее 8-го) в текст петиции были-де внесены дополнения, которые и превратили ее из документа, содержащего чисто рабочие требования, в политическое воззвание. Это, конечно, блеф. Ни один из вариантов петиции не свободен от «политики». Но, быть может, это блеф на не совсем пустом месте, именно 8-го, может, и появилось нечто, чиновников испугавшее? Но нечто такое, что лучше прямо не называть, ибо сразу же возникает вопрос: а как же это вы проморгали? То есть не являются ли эти внезапные «политические требования» своеобразным эвфемизмом примерещившегося полиции сговора гапоновцев и революционеров?

Во всяком случае, именно утром 8-го — задолго до визита министра двора В. Б. Фредерикса, сообщившего о недовольстве царя неисполнением его приказа о военном положении, — Мирский сам отправляется к военному министру для «установления формальностей по вызову войск на 9-е» (воспоминания Д. Н. Любимова).

Гапон между тем пишет министру внутренних дел письмо:

Ваше Высочайшее Превосходительство!

Рабочие и жители Петербурга разных сословий желают и должны видеть царя 9 января, в воскресенье, в 2 часа дня на Дворцовой площади, чтобы ему выразить непосредственно свои нужды и нужды всего русского народа. Царю нечего бояться. Я, как представитель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», мои сотрудники товарищи-рабочие, даже так называемые революционные группы разных направлений гарантируем неприкосновенность его личности. Пусть он выйдет, как истинный царь, с мужественным сердцем к своему народу и примет из рук в руки нашу петицию. Этого требует благо его, благо обитателей Петербурга, благо нашей родины.

Иначе может произойти конец той нравственной связи, которая до сих пор существовала между русским царем и русским народом. Ваш долг, великий, нрав-

ственный долг перед царем и всем русским народом, немедленно, сегодня же, довести до сведения его императорского величества как все вышесказанное, так и приложенную здесь нашу петицию. Скажите царю, что я, рабочие и многие тысячи русского народа мирно, с верою в него решили бесповоротно идти к Зимнему дворцу.

Пусть же он с доверием отнесется на деле, а не в манифестах только к нам.

Копия с сего, как оправдательный документ нравственного характера, снята и будет доведена до сведения всего русского народа.

8 января 1905 года.

Священник Гапон.

Почти одновременно с этим письмом составляется бумага совсем иного рода — подписанный товарищем министра внутренних дел генералом Рыдзевским ордер № 182: «Секретно. С.-Петербургскому Градоначальнику. Препровождая при сем отношение на имя коменданта крепости от 8 января за № 181, имею честь просить Ваше Превосходительство не отказать в распоряжении о личном задержании священника Георгия Гапона и о препровождении его для содержания под стражей в С.-Петербургскую крепость».

Оба документа цели своей не достигают.

Ордер — потому, что к требованию ареста Гапона присовокуплено и требование об аресте 19 его ближайших сподвижников, на что генерал Фуллон весьма резонно заявляет, «что эти аресты не могут быть выполнены, так как для этого потребуется слишком значительное количество чинов полиции, которых он не может отвлечь от охраны порядка, и так как аресты эти не могут не быть сопряжены с откровенным сопротивлением».

Полиция боится массового взрыва в рабочих кварталах и правильно делает¹, ибо, как позже писал А. Лопухин, «виновник всего происшествия, священник Гапон, по имеющимся сведениям, пользовался среди рабочих репутацией человека сверхъестественного. Ра-

¹ Судя по дневнику жены, Мирский считал, что арестом Гапона и закрытием отделов можно было предупредить случившееся, но Фуллон-де видел в Гапоне «единственное спасение» от выступления рабочих, уверяя, что «если бы не союзы [гапоновские], то они давно бы взбунтовались». Если это не попытка оправдаться, то — еще одна опаснейшая иллюзия. Арест Гапона накануне 9 января — со «штаб-

бочие были поражены грандиозным размахом забастовки и приписывали это силе Гапона. На последних собраниях он неоднократно зондировал настроение рабочих, стараясь узнать, как они отнесутся к нему, если он подвергнется преследованию или аресту, и неизменно получал ответ, что его поддержат. В Нарвском отделе он спросил: «Вот, товарищи, стою за ваши интересы, а что я за это получу, тюремную карету от ваших врагов?» На что рабочие закричали: „Разобьем мы эту карету! За тебя заступимся и тебя не выдадим...“».

Письмо Гапона также не достигает своей цели. Ибо у Мирского никаких оснований верить этому письму уже нет. Гапон явно всех обманул: уверил в мирном, экономическом характере забастовки, а в последний момент вдруг выдвинул неслыханные политические требования! Кто знает, куда он повернет завтра? И кто поручится, что партии — даже и без согласия Гапона, за его спиной — партии, планы которых Мирскому точно известны, не смогут развернуть поднятое Гапоном движение против правительства?

Где-то около семи прибывает из Царского барон Фредерикс с выговором, а после девяти Мирский проводит новое совещание с генералами, где о вчерашних планах отмены военного положения никто и не вспоминает. Наоборот, здесь определяются завтрашние задачи всех восьми воинских отрядов, перекрывающих дороги к дворцу (силы для этого собраны неслыханные: 20 батальонов пехоты, 23 с половиной эскадрона и 8 сотен кавалерии). Затем министр отправляется в Царское — оправдываться и докладывать о принятых мерах.

Ложась спать, Николай записывает в дневник: «Ясный морозный день. Было много дел и докладов. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 000 человек. Во главе рабочего союза какой-то священник-социалист Гапон. Мирский приезжал вечером для доклада о принятых мерах».

Устные доклады монарху не протоколировались, и мы

ными» или без них, неважно! — скорее всего вызвал бы у рабочих взрыв негодования, выразившийся бы, вероятно, в самых нецивилизованных формах — погромах и т. п.

не знаем, что именно докладывал Мирский. Сообщил ли он, что войскам уже отдан приказ стрелять?.. Впрочем, это не имеет серьезного значения даже для оценки личной вины Николая. Достаточно сказать, что через две недели, принимая наспех собранную Треповым депутацию, он простил рабочим 9 января. Монаршее великодушие бывает подчас красноречивей кровавых приказов!..

И что бы ни докладывал Мирский, а механизм трагедии был уже полностью собран и запущен, машина крутилась, и фактически ни у кого не было уже возможности ее остановить. Беда, как и всегда в таких случаях, была в том, что стороны входили в кровавую драму как бы на ощупь, ничего толком друг о друге не зная, живя каждая в мире собственных надежд и страхов, порою вполне фантомных, бесконечно далеких от реального положения вещей.

Пожалуй, гапоновцы были все же ближе к подлинному смыслу происходящего, нежели власти. С утра еще почти уверенный в благополучном исходе дела, которое было бы так выгодно и ему, и правительству, Гапон к середине дня 8 января заметался, отчаянно хватаясь за любые соломинки. Он пишет, например, письмо самому Николаю и с нарочным отправляет его в Царское.

Государь, боюсь, что твои министры не сказали тебе всей правды о настоящем положении вещей в столице. Знай, что рабочие и жители г. Петербурга, веря в тебя, бесповоротно решили явиться завтра в 2 часа пополудни к Зимнему дворцу, чтобы представить тебе свои нужды и нужды всего русского народа.

Если ты, колеблясь душою, не покажешься народу и если прольется невинная кровь, то порвется нравственная связь, которая до сих пор существует между тобой и твоим народом. Доверие, которое он питает к тебе, навсегда исчезнет.

Я вись же завтра с мужественным сердцем перед твоим народом и прими с открытой душой нашу смирную петицию.

Я, представитель рабочих, и мои мужественные товарищи ценой своей собственной жизни гарантируем неприкосновенность твоей особы.

8 января 1905 года.

Священник Георгий Гапон.

Нет никаких шансов, что нарочному удастся пройти хотя бы за дворцовые караулы, и тем более — что письмо попадет в руки адресата. Да если и попадет — захотят ли к нему прислушаться?.. И все-таки — а вдруг?!

Да что письмо! Ближе к вечеру, стоило журналисту Г. Филиппову случайно обмолвиться о предстоящей ему встрече с секретарем императрицы-матери князем Шервашидзе, как Гапон прямо-таки впился в него и «стал упрашивать самым настойчивым образом ехать к нему немедленно и представить все положение дел угрожающим и повлиять на то, чтобы не было никаких насилий со стороны полиции и народ мог увидеть Государя, которому Гапон лично в почтительных выражениях передаст верноподданейшие просьбы, и „тогда вся площадь перед дворцом сколыхнется как один человек, увидя эту картину общения царя и его народа“».

И еще попытка: «В течение вечера я послал Кузина к известным либералам, в том числе и к Максиму Горькому, с просьбой сделать, что можно, чтобы предотвратить кровопролитие...»¹ После чего «все вожаки рабочих, всего около 18-ти человек, собрались в одном из трактиров, чтобы закусить и проститься друг с другом... Я предложил каждому из вожakov избрать себе по два помощника на случай, если они будут убиты, но я сомневаюсь, чтобы они это сделали. Васильева я назначил заменить меня в случае, если меня убьют, и еще одного, чтобы заменить Васильева».

Причины этого стремительного перехода от эйфории, от ощущения всевозрастающей силы за плечами — к трагическим предчувствиям вполне понятны. Весь день 8-го и Гапон, и его «штабные» в постоянных разъездах и не могут не замечать, как насыщается город войсками. Впрочем, всевозрастающая, почти уже непереносимая тревога терзает в этот вечер не только гапоновцев.

«Сейчас, когда я пишу, все переживают невыразимую тревогу. Существует предположение, что забастовка перейдет в революцию. Можно ожидать всего. На завтрашний день полицией приняты неслыханные меры, и солдатам запрещено выходить из казарм. Некоторые воинские части, как передают, проведут всю ночь под ружь-

¹ Правда, эти либералы ждут Гапона еще с утра, ибо он зачем-то наплел им, что поедет к Муравьеву и постарается предупредить кровавый исход, хотя у Муравьева был накануне и бесполезность нового визита была ему более чем ясна.

ем, и ходит слух, что на предместья наведены пушки. У входа на каждый мост поставлено по пол-эскадрона кавалерии и по роте пехоты. Дворники рекомендуют жильцам своих домов запастись водой, керосином и т. д. Они предупреждают также население, что на улице рискуешь получить пулю, ибо, как это было месяц тому назад, полиция расклеила сегодня вечером объявления, приглашающие жителей не подвергать свою жизнь опасности, выходя на улицу... В этой лихорадке теряешь власть над разумом, над чувствами» (Э. Авенар).

Последнюю, вполне уже безнадежную попытку остановить трагедию, как и всегда, делает интеллигенция. Из редакции «Сына Отечества» (после запрета в декабре газета выходит, впрочем, под названием «Наши дни») к министрам отправляется депутация, состоящая из К. К. Арсеньева, Н. Ф. Анненского, А. В. Пошехонова, И. В. Гессена, В. А. Мякотина, В. И. Семевского, А. М. Горького, Е. И. Кедрина, Н. И. Карева и рабочего-гапоновца Д. В. Кузина.

Из министров, впрочем, принял их только С. Ю. Витте, все еще скупавший своей «бездеятельной должностью» и потому озабоченный созданием о себе у публики хорошего впечатления. «Г-н Витте заявил нам, — писал Горький, — что министры Святополк-Мирский и Коковцов имеют более точные сведения о положении дел, чем сведения наши, что, по его мнению, и сам государь должен быть осведомлен о положении и намерениях рабочих и что лично он, Витте, бессилён сделать что-либо в желаемом нами направлении. Мы просили его устроить нам свидание со Святополк-Мирским, г-н Витте согласился на это и при нас спрашивал по телефону г. Святополк-Мирского, желает ли он принять нас как выразителей мнения группы литераторов и ученых по вопросу о возможных 9 января кровавых событиях и мерах к устранению их. Г-н Святополк-Мирский отказался принять нас».

Происходило это, по всей вероятности, после полуночи. Вернувшийся из Царского Мирский никак уже не мог переменить высочайше одобренных на завтра распоряжений, даже если бы и захотел... Это понятно. Но отчего бы все-таки и не принять ему делегацию, состоящую из лиц столь знаменитых? Впрочем, и это станет очень понятным, если вспомнить о призрак таинственного Комитета, объединившего все революционные

силы и состоявшего из лиц «с крупным положением в ученом и литературном мире» — призраке, мучавшем правительственное воображение уже третьи сутки, если считать с вечера 6 января. И теперь, с появлением столь именитой делегации призрак этот вновь выскочил перед испуганным взором Мирского, как черт из табакерки.

Впрочем, причина министерского перепуга прояснится для общественности лишь через два дня, когда вся депутация будет арестована как... Временное правительство России! А пока что, уже в половине второго, депутация возвращается в редакцию, к поджидавшим ее коллегам, «чтобы сообщить о результатах своих переговоров. Ничего более нельзя было предпринять в этот поздний час; ввиду неорганизованности интеллигенции не сформированы были как следует даже летучие врачебные отряды. После долгих томительных прений постановлено было только вновь собраться утром в помещении Тенишевского училища, а в настоящий момент предложить желающим отправиться в рабочие кварталы на разведку» (Л. Гуревич).

Сама трагедия 9 января описана многожды и притом, в отличие от ее предыстории, достаточно подробно и точно. События этого дня, сразу же осознанные обществом как переломные и имеющие решающее значение для судеб нового века, породили огромный слой документов: воинских рапортов, полицейских донесений, дневниковых записей, писем, мемуаров, официальных докладов и справок, неофициальных общественных расследований...

Например, Л. Гуревич, говоря о характере документальной основы своего очерка, опубликованного в «Былом», сообщает следующее: после 9 января «представители взволнованной петербургской интеллигенции разных профессий, самочинно объединившейся в союзы, из которых образовался вскоре «Союз союзов», собрались на частной квартире известного политического защитника Сидамонова-Эристов... Сходились в одном: нужно, прежде всего, точно установить картину совершившегося, еще смутную и полную противоречий, воспринятую отдельными лицами в клочках и дополняемую фантастическими слухами. В тот же вечер, при

помощи нескольких видных политических защитников того времени, мы составили вопросник, обращенный к участникам событий, который был немедленно размножен и распространен при помощи врачей — по больницам, где лежали раненые, при помощи адвокатов — по нескольким имевшимся в городе бесплатным юридическим консультациям, куда обращались за советами пострадавшие. Эта анкета дала нам около 300 ответов...».

В различных работах о 9 января детально прослежены события в каждом из районов и в целом по городу, произведены достаточно точные подсчеты и оценки числа убитых и раненых¹. Но думаю, что именно эта тщательно разработанная, общесобытийная канва избавляет нас от необходимости ее воспроизводить. Остановимся лучше на эмоционально-нравственной стороне события, на том, как оно воспринималось и переживалось современниками.

Ясное солнечное утро с легким морозцем как нельзя лучше отвечало высокому и светлому настрою большинства людей, собиравшихся в отделах. Да, высокому и светлому, ибо за ночь в настроениях произошел определенный слом. Почти никто уже не сомневался, что войска станут стрелять, что будут жертвы. Но люди шли за правдой, а правды достоин лишь тот, кто способен принять за нее страдание — это основа основ нравственного самоощущения русского человека! И поэтому острота угрозы не снижала, а взвинчивала решимость.

Одним из документов, фиксирующих это возвышенное и решительное настроение демонстрантов, является прощальное письмо личного гапоновского телохранителя кузнеца Ивана Васильева:

«Нюша, если я не вернусь и не буду жив, то, Нюша, ты не плачь, как-нибудь первое время проживешь, а потом поступи на фабрику и работай, расти Ванюру и говори ему, что я погиб мученической смертью за свободу и счастье народа. Я погиб, если это будет верно, и за ваше счастье.»

Расти и развивай его лучше, чтобы и он был такой же, как отец. Нюша, если я уже не вернусь, то сохрани

¹ Наиболее приближенной к реальности представляется мне следующая оценка: около 500 убитых и получивших серьезные ранения. Еще несколько сот составили, вероятно, лица, которым характер полученных повреждений позволил обойтись без врачебной помощи.

записку и храни ее: Ваня вырастет, я его благословляю. Скажи ему, чтобы он не забыл тебя. Пусть поймет отца, что отец погиб за благо всего народа, за рабочих. Целую вас. Ваш горячо любящий отец и муж Ваня».

Иван Васильевич действительно был убит — первым же залпом у Нарвских ворот. Другой документ того же ряда — один из записанных Л. Гуревич рассказов — относится к событиям на другом конце города — Васильевском острове.

«К десяти часам двери собрания были открыты, и мы вошли. Настроение толпы было напряженно-спокойное, чувствовалась какая-то связь, какое-то дружеское взаимное отношение. Были и женщины, молодые и старые, хотя и немного. Громадное помещение сплошь было заполнено народом. Стояли на скамьях, на окнах, разговоры не слышно было. На эстраде появился пожилой рабочий и обратился к толпе: «Товарищи! Вы знаете, за чем мы идем. Мы идем к царю за правдой. Невмоготу нам стало жить. Помните ли вы Минина, который обратился к народу, чтобы спасти Русь? Но от кого? От поляков. Теперь мы должны спасти Русь от чиновников, под гнетом которых страдаем...» Затем на трибуну стала женщина, по виду интеллигентная, уже не молодая (В. М. Карелина. — В. К.). Она обратилась к женщинам с речью: «Матери и жены! Не отговаривайте ваших друзей и братьев идти за правое дело. Идите вместе с ними. Если на вас нападут и будут стрелять, не кричите, не визжите, явитесь сестрами милосердия. Вот вам перевязки с красным крестом. Обвяжите эту повязку кругом рукава, но только тогда, не раньше, когда в нас начнут стрелять». — «Идем! Идем!» — раздалось вокруг меня, где стояло несколько девушек и несколько пожилых женщин... А девушка, стоявшая подле меня, обратилась к подруге в сильном возбуждении, говоря: „Пойди, скажи маме, я пойду. Все равно, убьют так убьют. Что же это. Одних будут убивать, другие воспользуются — это нехорошо. Все, все должны идти!“».

В тех же эмоциональных тонах описывает Н. Симбирский и шествие по Каменноостровскому проспекту:

«Рабочие шли стройными рядами в хороших праздничных одеждах, с ясными и светлыми лицами. В этом шествии чувствовалось что-то мистическое, благоговейное.

За громадным количеством стройных рядов мужчин шли женщины, бежали дети, еле поспевая за взрослыми.

Публика стояла на панелях и молчаливо провожала их глазами. Я видел многих, которые крестили идущих вслед. Как бы благословляя их на смерть и страдания на этом пути.

Многие женщины из интеллигентной публики тихо плакали».

Этот светлый жертвенный восторг, это внезапное нравственное распрямление десятков тысяч людей, единый их порыв постоять и пострадать за правду, их надежду, переломившую в этом порыве их же отчаяние, — все это было расстреляно, смято и затоптано с потрясшей страну жестокостью, с бесчеловечностью, вызвавшей общенациональный нравственный шок.

Именно этот шок, эта неизбывная потрясенность чувствуется во всех свидетельствах о 9 января, даже в таких коллективных и деловых, как Доклад комиссии присяжных поверенных.

«Во многих местах не пускали бегущих во дворы, — читаем мы в нем, — впрочем, даже успевшие забежать во двор этим не спасались; войска, как сказано, стреляли и во двор, попадая даже в людей, вовсе в шествии не участвовавших. Свидетель Филин рассказывает, что «в крестном ходе не участвовал; стоял во дворе своего дома и смотрел на шествие, когда раздались выстрелы и на двор стал забегать народ, войска без всякого предупреждения стали стрелять во двор». То же подтверждает свидетель Галиновский и другие.

Пули попадали в окна домов и ранили находившихся внутри; так, в ресторан «Ташкент» попало пять пуль и ранен был половой Яков Виноградов (его же показание); в дом № 6 по Новосивковской улице попали три пули, причем ранен крестьянин Якубовский (его показание).

Никаких иных мер рассеяния толпы, кроме стрельбы, — напр., попытки рассеять толпу, оцепить, арестовать — предпринимать не было».

«Потрясающее впечатление производило обилие ружейных, сабельных и штыковых ран, которые оказывались при осмотре раненых и убитых, — свидетельствует Вл. Кранихфельд. — Две-три раны у одного лица представляли весьма обычное явление, но были случаи еще более зловещего характера. Так, на теле 17-летнего юноши каменотеса Бойкова обнаружено одиннадцать штыко-

вых ран (sic!)... что свидетельствует, конечно, не об усердии, а об озверении доблестных слуг самодержавного правительства».

Жестокость солдат и особенно офицеров, проявленная 9 января, даже для русского общества, воспитанного без «излишнего» благоговения перед человеческой жизнью, составила мучительную загадку: зачем, почему вдруг? Думаю, что, сопоставив воинские рапорты начальников районов со свидетельскими описаниями тех же событий, мы могли бы ответить на этот вопрос с достаточной степенью уверенности. Так, генерал-майор Рудановский рапортовал командиру своей дивизии Зальцу: «Вышедшие навстречу ей (толпе. — В. К.) чины полиции напрасно уговаривали не идти в город, предупреждая неоднократно, что в противном случае войска принуждены будут стрелять по ним. Когда все увещания не привели ни к каким результатам, был послан эскадрон лейб-гвардии Конногренадерского полка, чтобы заставить рабочих возвратиться назад. В это время был тяжело ранен (по сведениям, сообщенным полицмейстером Нарвского отдела) рабочими помощник пристава Петергофского участка Жолткевич, а околоточный надзиратель убит. Толпа при приближении эскадрона раздалась по сторонам, и вслед за тем с ее стороны были произведены 2 выстрела из револьвера, не причинивших вреда никому из людей эскадрона и задевших только гриву одной лошади. Кроме того, одним из рабочих был нанесен удар крестом взводному унтер-офицеру. Когда эскадрон, встретив вооруженное сопротивление и не будучи в силах остановить движение толпы, возвратился назад, командовавший двумя ротами 93-го пехотного Иркутского полка капитан фон Гейн подал сигнал «стрелять»; повторенный более трех раз, он не оказал воздействия, и толпа, продолжавшая наступать, приблизилась на 200 шагов. Тогда было сделано 5 залпов, после чего толпа повернула назад и быстро рассеялась, оставив более 40 человек убитыми и ранеными».

Но по многочисленным свидетельским и мемуарным показаниям несложно установить, что: а) никто толпу не уговаривал; б) никаких пистолетных выстрелов по коннице не было; в) Жолткевич и околоточный шли с рабочими, «сопровождая крестный ход», и оба получили смертельные ранения армейскими пулями; г) сигнал рожка подан был только однажды и т. д. и т. п.

Понятно, что рапорты составлялись таким образом, чтобы максимально приблизить происшедшее к полученным накануне инструкциям. Но не только у Нарвских ворот, а и почти что повсюду войска (т. е., по сути, офицеры) действовали с какой-то лихорадочной, нервной спешкой, импульсивно и оттого — крайне жестоко. Это объяснимо только одним: ими владел страх. Толпа, идущая с торжественными, просветленными лицами прямо на штыки; толпа, не разбегающаяся перед конницей, а только пропускающая ее, чтобы вновь сомкнуться, — такая толпа была никогда ими не видана, совершенно непонятна и, видимо, вызывала у них чувство, близкое к ужасу.

Даже после конных атак и расстрелов, даже рассыпавшись, она, точно за магнитом, неумолимо тянулась к центру, ручейками огибая воинские заслоны, просачиваясь проходными дворами и переулками. Расстрелянная и затоптанная, она упрямо возникала вновь, в другом месте, и ужас, вероятно, охлаждал душу тем, кому было приказано ее остановить.

Мы не знаем, информировали ли полицейские власти войсковое командование о своих подозрениях на крупномасштабное революционное выступление... Впрочем, столь спешное, беспрецедентное по масштабам сосредоточение войск в столице и само по себе способно было создать атмосферу крайней тревоги, противостояния какой-то нешуточной угрозе. Тем более что это весьма соответствовало и настрояниям командующего войсками — великого князя Владимира.

Корреспондент «Дейли телеграф» Диллон сохранил для нас следующий рассказ «одного придворного»: «Его Величество решил отменить гражданскую власть и вручить заботу о поддержании общественного порядка великому князю Владимиру, который очень начитан в истории французской революции и не допустит никаких безумных послаблений. Он не впадет в те ошибки, в которых повинны были многие приближенные Людовика XVI; он не обнаружит слабости. Он считает, что верным средством для излечения народа от конституционных затей является повешение сотни недовольных в присутствии их товарищей... Великому князю Владимиру представляется необыкновенный случай обнаружить свои способности государственного человека и наполеоновские качества, и он ничуть не опасается

за результат, что бы ни случилось; он будет укрощать мятежный дух толпы, даже если бы ему пришлось для этого послать все войска, которыми он располагает».

То, что пули, выпущенные по безоружной толпе, способны не только укрощать, но и приумножать ее мятежный дух, то, что всякий посев насилия рано или поздно обильно плодоносит, — почему-то не было вычитано Владимиром Александровичем из книг по истории Французской революции. Впрочем, из любой истории мы вычитываем обычно лишь то, что нам нравится, а такие соображения вряд ли имеют шанс понравиться тем, на чьей стороне сила.

Что же до офицеров, то и офицеры в этот день были разные.

«Так, нужно сказать, что офицер, командовавший у Шлиссельбургской заставы, — отмечает Э. Авенар, — приказал стрелять по демонстрантам холостыми, и, объявив им, что выполнит приказ о непропуске толпы на мост, он в то же время дал понять, что если демонстранты пойдут другим путем, то это его не касается. Они так и сделали, пройдя по Неве... Но следует сейчас же добавить, что большая часть офицеров была менее совестлива. На одно свидетельство в их пользу я имею десяток против них. Тут я могу назвать имена.

Таков капитан Преображенского полка Мансуров, приказавший дать первый залп по народу на Дворцовой площади. После залпа он сейчас же произвел осмотр ружей своих солдат и нашел 8 незаряженных; эти восемь солдат, не стрелявшие в народ, были арестованы. Называются также барон Остен-Дризен, Жерве (Финляндский полк), Коцебу (Конногвардейский)...

Таков уланский корнет Гурков: не удовлетворяясь ранами, которые он наносит своей саблей, он выхватывает у солдата ружье и гонится за каким-то проходящим мальчиком. Он его отесняет под ворота частного дома и наносит там мальчику штыковую колотую рану в область сердца».

В этот день трижды — в Тенишевском училище, затем в Большом зале Публичной библиотеки и вечером в Вольно-экономическом обществе — собирается петербургская интеллигенция, пытаясь что-то предпринять. Но что? Что?! У наших историков принято писать об этих собраниях с иронией. Напрасно, мне кажется! Чувства этих людей понятны так же, как и их растерянность.

Ведь даже сегодня, спустя почти столетие, — кто возьмется сказать, как следовало бы им тогда поступить?! Представить себя на их месте нам совсем несложно, а вот подсказать достойный выход, поступок — увы!..

«Упомянутое здесь собрание в зале Тенишевского училища, куда явились «разведчики» с разных сторон с сообщениями о том, что делается в городе, представляло собою нечто незабываемое. Мужчины плакали, женщины даже потеряли способность плакать и сидели с бледными застывшими лицами. В глубокой тишине «разведчики» передавали свои впечатления. Наконец, известный писатель Тан сорвался с места, вскочил на стол и, конвульсивно топая ногами, стал кричать, призывая всех идти на улицу» (Л. Гуревич).

«Я иду туда (в Публичную библиотеку. — В. К.) по Невскому, запруженному народом. Слышен громкий голос, крики. Толпа громко говорит. Это производит сильное впечатление на того, кто знает обычное молчание улицы в России. Проезжают отряды казаков и уланов. Демонстранты уже проникли в город». В библиотеке «те же сцены, что и на утреннем собрании. Слушают ораторов, которые, взобравшись на столы, передают волнующие новости. Это эмиссары, ходившие за сведениями; на этот раз они возвращаются не из предместий. Стреляют в двух шагах от нас, на Казанской площади... Горький здесь. Он тоже взбирается на стол. Высокий, тонкий, очень бледный, склонив немного голову и оперев подбородок на левую руку, он произносит несколько слов густым голосом... В соседней небольшой зале продолжают сбор денег в пользу раненых, начатый сегодня утром. Бросают деньги прямо на стол, в беспорядке. Целая куча золотых монет. Дальше монеты в рубль, бумажки в три, в 25, даже в 100 рублей. Мне известны люди, которым нечем будет заплатить за квартиру после пожертвования, но они не колеблются» (Э. Авенар).

В ближайшие дни после 9 января все революционные партии отметят громадный приток новых членов и добровольных помощников. К ним пойдут, им предложат услуги, от них потребуют руководства... Пойдут, конечно, и рабочие, но на первых порах — именно эти люди, нравственно потрясенные, измученные своим бессилием при виде торжествующего зла. И когда мы говорим теперь — и совершенно справедливо! — о трагических

ошибках многих революционеров, даже о их вине перед народом, то не надо, мне кажется, забывать, что революционный их путь был начат как путь крестный, как путь искупления зла, принесенного в мир другими.

Вернемся, впрочем, на вечереющие улицы Петербурга — в пространство продолжающейся трагедии. Вот еще несколько свидетельств.

«Мне она (бойня у Александровского сада. — В. К.) тоже прошла не совсем гладко — конница сбила с ног. Ударился головой о киоск, очнулся уже сидящим на панели, а товарищи прикладывали к голове снег.

На углу сада виднелась груда тел, которая шевелилась, как черви.

Из груди поднялась девочка, побежала прочь, но сейчас же вернулась и упала на то место, где лежала. Вероятно, там лежали ее отец или мать.

Я плакал, грозил кулаками, кричал «что делаете!», а затем ослаб, хотел лечь, уснуть — лихорадило. Пускай арестуют, расстреляют, повесят, но прежде согреться и заснуть. Болезнь вернулась. Я был болен. Товарищи отыскиали где-то извозчика и отвезли меня домой» (Н. Варнашов).

«После трех часов настроение толпы резко изменилось.

На углу Невского и Морской мы застали страшную картину: везли на извозчиках убитых и тяжелораненых... Вели под руки более легко раненных. Снег был забрызган кровью. Толпа стояла без шапок, многие в землю кланялись раненым...» (С. Сухотин).

«Небывалое, невиданное зрелище представлял собой в это время Петербург. И как бы в довершение фантастической картины бунтующего города на затянувшемся белесоватую мглою небе мутно-красное солнце давало в тумане два отражения около себя, и глазам казалось, что на небе три солнца. Потом необычная зимою яркая радуга засветилась на небе, а когда она потускнела и скрылась, поднялась снежная буря. И народ и войска были в это время в каком-то неистовстве» (Л. Гуревич).

«В 4-м часу 9 января наступил критический момент движения, так как масса жертв навела панику на толпу и многие разбежались. Можно было думать, что в этот день больше ничего не будет, но спустя некоторое время масса начала возвращаться, и толпа еще более увеличилась в своем размере. Настроение снова окрепло и приняло вновь ярко выраженный демонстрационный

характер» (анонимное письмо в газету «Освобождение»).

«Заранее было установлено, что после шествия мы вместе сойдемся, кто уцелеет. Со страхом шли мы в отдели...»

В отделах люди, не только молодые, но и верующие прежде старики, топтали портреты царя и иконы. И особенно топтали и плевали те, кто прежде в отделах заботился о том, чтобы перед иконами постоянно лампадки горели, масла в них подливали...» (А. Карелин).

Следующие два дня город был во власти казачьей расправы и полицейского произвола.

«Нужно самому наблюдать сцены, чтобы понять ужас и ненависть, распространяемые казаками, которые хозяйничают в городе с субботы, — записывает Э. Авенар. — Свирепость их поступков извиняет всю ненависть рабочих и все отдельные насилия с их стороны. В одиночку или попарно, во всяком случае в отсутствие начальства, казаки могут, отделясь от отряда, безнаказанно совершать в глухих улицах свои подлые нападения на прохожих, безоружных и слишком малочисленных, чтобы им сопротивляться. Со всех сторон я слышу достоверные свидетельства, подтверждающие то, что я видел собственными глазами, иногда в еще более трагической окраске. Так, на одной улице Васильевского острова казак ударил саблей по голове какого-то прохожего, молодого человека, без всякого повода со стороны последнего. На Большом проспекте Петроградской стороны старик при виде проезжающих казаков говорит своей спутнице: «Вот те, кто нас избивают». Один казак услышал и замахивается саблей на старика. Тот бросается в лавку, казак требует его выдачи, но старик убегает через ворота, выходящие на другую улицу. Тогда казак вновь угрожает убить лавочника и уходит, все еще грозясь. На Васильевском острове студент с импернала трамвая видит солдатский пикет, охраняющий мост. Он кричит солдатам тоном презрения: «Опричники!» Солдаты останавливают трамвай, поднимаются на импернал, волочат вниз студента, наносят ему удары саблей и, умирающего, оттаскивают за ноги в сторону, чтобы не оставить его среди мостовой.

В понедельник вечером (10-го. — В. К.) среди населения царствовала большая паника. Отсутствие электричества, пожар киосков на Невском, разбитые витрины магазинов, слухи о пожарах в подгородных местах —

словом, все, что делалось и о чем говорилось, способствовало распространению страха, еще более напряженного, может быть, чем накануне».

«Зловещее время. В прошлую и позапрошлую ночь (на 12 и 13 января. — В. К.) с девяти часов вечера до семи часов утра обыскивают, арестовывают. Произвели обыски в редакциях «Нашей жизни», «Наших дней», у частных лиц. Арестовывают во всех частях города, среди всех слоев населения. Адвокаты, профессора, студенты, рабочие отправляются в «Кресты», на Выборгскую сторону. Женщины, молодые девушки также подвергаются арестам, как подозрительный элемент. Полиция накладывает арест на деньги, подписные листы, конфискует звания к обществу, резолюции профессиональных групп...

Впрочем, результаты поисков полиции не удовлетворяют правительство; большинство отобранных документов относится к дням, следовавшим за избиениями. *А правительству хотелось бы открыть следы революционного заговора, доказательства длительных конспиративных сношений между либералами и рабочими.* Этого ему не удастся, ибо на самом деле такого союза и не существовало» (выделено мною. — В. К.).

Вот ведь в чем суть! Призрак революции, породивший пароксизмы правительственного страха 6 и 8 января, — оказывается, всего лишь призрак. Революции *еще* не было! Гапоновское Собрание и его демонстрацию еще действительно можно было превратить в реформистское движение, и даже с патриотическим оттенком! Мирный путь, путь реформ был еще открыт перед правительством, оно могло даже выгадать время для необходимых маневров! Еще неделю назад.

Да, еще неделю. Но теперь, когда выяснилась пустота былых страхов, теперь — уже поздно! Ибо кровь пролилась и возврата нет! Теперь-то Россия вступила в полосу революций! Но и это, увы, выяснится с запозданием... А пока правительству кажется, что вождеденный результат хоть и кровавой ценой, но достигнут — наступает некоторое успокоение.

«Рабочие вернулись к станкам. Нет больше банкетов; генерал-губернатор Трепов запретил ресторанам сдавать для этого залы. Итак, наученная ошибками потерявших престол королей, русская монархия прибегла вовремя к насилию, чтобы обуздать революцию?»

Нет, борьба не только не кончилась, а, наоборот, кажется, что настоящая борьба только началась, с вечера воскресенья (т. е. с 16 января. — В. К.). Прокламации, резолюции, адреса все умножаются в ответ на избиения». Э. Авенар, французский журналист средней руки, видит и понимает то, что не способно еще увидеть правительство великой державы — увы!

Кровь пролилась, но она, как и всякая несправедливая кровь, если и напугала кого-то, если кого-то и обессилила, то только ее проливших!

Глава пятая

Крах

Речь пойдет, собственно, о двух явлениях, различных по самой своей природе, но переплетенных так тесно, что отделить одно от другого практически невозможно, — о личном крахе Гапона как человека и политика и о крахе рабочего движения, связанного с его именем.

Что до личного краха, то начался он, пожалуй, у Нарвских ворот в ту самую секунду, когда грохнул первый воинский залп.

Гапон был сбит с ног не только в политическом, но и в буквальном смысле — кто-то из шедших с ним рядом был убит и, падая, свалил его на мостовую, прикрыл своим телом. В промежутках между следующими залпами Гапону и оказавшемуся с ним рядом Петру Рутенбергу ползком и перебежками удалось добраться до ближайшей подворотни.

«Двор, в который мы вошли, был полон корчащимися и мечущимися телами раненых и стонами. Бывшие здесь здоровые так же стонали, так же металась, с помутившимися глазами, стараясь что-то сообразить».

— Нет больше Бога! Нет больше царя! — прохрипел Гапон, сбрасывая с себя шубу и рясу» (П. Рутенберг).

На него быстро напялили отданные кем-то пальто и шапку и — через заборы, канаву, глухими задворками — вывели к населенному рабочими дому, надеясь, видимо, в нем спрятаться, но пустить к себе целую группу демонстрантов никто уже, разумеется, не решился. Между тем толпа рабочих, двинувшаяся было за

своим батюшкой, стремительно таяла, и как-то очень быстро и со всей несомненностью выяснилось, что все, говоренное им позавчера на совещании с меньшевиками, все это гордое «если нас будут бить, мы ответим тем же; будут жертвы, но часть войск перейдет на нашу сторону, и тогда мы, будучи, кроме того, сильны количеством, устроим революцию. Устроим баррикады, разгромим оружейные магазины, разобьем тюрьму, зайдем телефон и телеграф,— словом, устроим революцию...» — все это лишь слова, и они годны, лишь чтобы покрасоваться собственной решимостью, но реально пора думать не об этом, а совсем о другом — о собственном спасении.

Здесь же во дворе, прямо у пленницы, Гапона остригли (волосы его были подобраны рабочими и хранились некоторыми почти как реликвия!), и — единственный так и оставшийся рядом! — П. Рутенберг через глухие переулки и подъездные пути Варшавского вокзала повел его сначала к одним, а затем, вновь преодолев того, к другим знакомым.

«Раньше,— пишет П. М. Рутенберг,— я знал и видел Гапона только говорившим в рясе перед молившейся на него толпой, видел его звавшим у Нарвских ворот к свободе или к смерти.

Этого Гапона не стало, как только мы ушли от Нарвских ворот.

Стриженный, переодетый в чужое, передо мной оказался предоставивший себя в полное мое распоряжение человек, беспокойный и растерянный, куда находился в опасности, тщеславный и легкомысленный, когда ему казалось, что опасность миновала.

Он не мог удержаться, чтобы не назвать себя в мое отсутствие совершенно посторонним ему людям; не мог удержаться, чтобы не рассказывать свои планы, несмотря на предупреждение не делать этого...»

К вечеру они оба попали на Петроградскую сторону, в квартиру Горького:

«— Что теперь делать, Алексей Максимович?

Горький подошел, глубоко поглядел на Гапона. Подумал. Что-то радостно дрогнуло в нем, на глаза навернулись слезы. И, стараясь ободрить сидевшего перед ним совершенно разбитого человека, он как-то ласково и в то же время товарищески сурово ответил:

— Что ж, надо идти до конца! Все равно. Даже если придется умирать!

Но что именно *делать*, Горький сказать не мог.

Естественно! Ибо настоящий ответ на этот вопрос надо было искать раньше, *до* начала петиционного движения. Его же инициаторы ограничивались просчетом лишь одного варианта: власть, осознав свои подлинные интересы и выгоды, пойдет на диалог и уступки. А власть, смертельно напуганная размахом движения и — еще больше! — примерещившимся ей вселенским революционным заговором, схватилась впопыхах не за лучшее и выгоднейшее, а за наиболее привычное ей орудие — дубинку воинской силы. И руководители движения — отнюдь еще не побежденного! — сразу же, увы, оказались страшно дезориентированы и лишены не только ближних практических планов, но и политических идей дальнего прицела.

Понятно, что, не зная ответа на вопрос «что теперь делать», Гапону было лучше и не появляться там, где его больше всего ждали — в отделах Собрания, среди вверившихся ему рабочих. В Нарвский отдел Гапон послал лишь записку, что он, мол, жив и «занят их делом», т. е. позаботился прежде всего не о деле и не о соратниках — ибо никаким «их делом» занят он не был, — но о сохранении своей харизмы, нерассуждающей веры людей в его особую мудрость и силу.

Сам же он вместе с Горьким отправился на очередное собрание интеллигенции в Вольно-экономическом обществе, где, выступив «от имени отца Георгия Гапона», прочел свое вчерашнее послание к царю и неуклюже пытался в чем-то оправдываться.

Ночью, на квартире еще одного из знакомых все того же П. М. Рутенберга, прочно взявшего его под свою опеку, Гапон написал первую свою «революционную листовку». Она тут же была сильно поправлена П. Рутенбергом в эсеровском духе. Но вот то, что несомненно принадлежит самому Гапону:

Братья товарищи-рабочие!

Самому царю я послал 8 января письмо в Царское Село, просил его выйти к своему народу с благородным сердцем, с мужественной душой. Ценою собственной жизни мы гарантировали ему неприкосновенность его личности. И что же? Невинная кровь все-таки пролилась.

Зверь-царь...

Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им всем!..

Боже мой! Какой разительный контраст с его же всего лишь сутки назад написанными письмами к царю или князю Святополк-Мирскому! Там было достоинство сознающего свою правоту и силу политика, была логика, веские доводы; здесь же — только растерянность и отчаянные выкрики-заклинания человека, полностью сбитого с панталыку.

Привыкший улавливать и превращать в слово настроения и желания толпы, он был теперь непоправимо от нее оторван и сразу же утратил не только исходившую от нее силу, но и нравственно-эмоциональный контакт с нею. Отсюда и этот колоссальный просчет в оценке настроения массы. Ведь листовка написана явно в расчете на мгновенный взрыв гнева, а взрыва-то и не произошло...

Ошибка эта, впрочем, достаточно типична. Вечером 9 января меньшевики, например, также делали ставку на взрыв революционного гнева, но уже утром, как рассказывает С. Сомов, «самый вид улиц предместья принес первое опровержение наших расчетов на то, что теперь у рабочих может быть только одно настроение — революционное. По пути нам то и дело попадались большие плакаты — треповские объявления, которые молчаливо читались группами рабочих, а порой возле объявления стоял треповский же оратор с характерной «переодетой» физиономией и комментировал объявление. Мне лично пришлось выслушать речь одного такого «оратора». Он подробно рассказывал о виденных им многочисленных изуродованных трупах убитых рабочих; доведя своим рассказом негодование рабочих до высшей степени, он прибавил, что все это были трупы «русского народа» и что ни одного студента или «демократника» там не было. Все они 9 января прятались¹. Сбитые

¹ Если подобные комментарии, как полагает С. Сомов, действительно давались правительственными агентами, то это означает, что взрыва народного гнева остерегалось и правительство, пытаясь «переадресовать» его организаторам вчерашнего движения. Но и это никак не оправдывает того явного психологического просчета, что лежит в основе подобных ожиданий.

с толку рабочие в первые дни очень легко поддавались на эту удочку. Кроме того, рабочая масса, сильная своим единством, была раздроблена: гапоновские отделы были почти повсюду закрыты и рабочие не могли собираться и совместно разбираться в той страшной загадке, которую создал для них день 9 января. Мы с товарищем прежде всего направились в Невский гапоновский отдел, который почему-то еще не успели закрыть. Нам удалось собрать небольшую толпу, открыть собрание и в небольшой речи попытаться подвести итог вчерашнего дня. Но на первое же резкое слово критики существующих политических условий из толпы раздался голос: „В пропасть нас тащишь? Повесить тебя надо!“».

Растерянность, подавленность, даже кратковременное оцепенение... Нужно ли быть мудрецом, чтобы предсказать именно такой поворот в настроениях масс? Нет, разумеется... Гнев и решимость — чувства тяжелые; чтобы вызреть, им нужно время, нужна внутренняя подготовка каждого... Поэтому взрыв гнева и решимости сопровождают, как правило, хоть и внезапные, но вполне *ожидаемые* повороты событий (самый недавний пример — события в Румынии конца 1989 года, где расстрел в Темишоаре был вполне ожидаем). После ужаса же, внезапного и неожиданного, массовое сознание, так же как и индивидуальное, требует более или менее длительной паузы для осознания происшедшего и его причин. А потому предсказать растерянность и подавленность масс было совсем не трудно, если, конечно, рассматривать ситуацию без энтузиастических надежд и иллюзий.

Но тем, кто вложил собственную страсть во взвинчивание ситуации и потому не мог отрешиться от возбужденных ею надежд и иллюзий, — т. е. Гапону, его «штабным» и части интеллигенции, — тем не оставалось ничего иного, как превращать собственное отчаяние и растерянность в ультрареволюционные призывы.

Тот же С. Сомов вспоминает, как активисты Невского отдела Собрания пригласили его на некое конспиративное совещание. «Они нам заявили, что и они убедились в том, что рабочая масса крайне инертна, тупа и несознательна, что она теперь неспособна бороться за себя и что, если ожидать, пока она разовьется, — пройдут долгие годы без всяких перемен. Остается поэтому наиболее сознательным, наиболее самоотверженным рабочим взять дело борьбы за рабочие интересы в свои

руки... Мы, конечно, попытались им дать более верное понимание наших воззрений и отклонить их от безнадёжного предприятия (террора.— В. К.). Но, кажется, они расстались с нами, несколько разочарованные нашей холодностью и несочувствием к их презрению к массе и к своеобразной теории ее замещения».

Тому, что трагическое это оцепенение питерских рабочих прошло достаточно быстро, немало поспособствовала наспех придуманная Треповым, шутовская, чуть ли не издевательская даже, церемония представления царю отобранных полицией «рабочих» депутатов.

Не исключено, правда, что сама идея такой депутации родилась как раз из сознания ошибки, допущенной властью 8—9 января, и была попыткой вернуть упущенное, добиться тех политических выгод, которые можно было извлечь, приняв гапоновцев в Зимнем. Возможно даже, что и само назначение в Петербург именно Д. Ф. Трепова диктовалось не столько его «бойцовскими качествами», проявленными в начале декабря при расстреле демонстрации, сколько прославленным умением «ладить с рабочими». Ведь Трепов был никак не меньшим зубатовцем, чем сам Гапон, хотя и на другой салтык...

Но, увы, в политике не так уж редки ситуации, когда идея, еще вчера сулившая бесчисленные выгоды, сегодня уже не способна принести ничего, кроме убытков. Нет сомнений, что царские слова: «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их» (т. е. дерзость их выступления) — могли быть с благодарностью и умилением выслушаны 9 января. Но 19-го они уже могли восприниматься только как издевательство.

Итак, новая волна решимости и гнева начинает подниматься поразительно быстро — всего через десять дней после расстрела. И она сразу же выражается в желании и попытках вновь открыть отделы Собранин. 27 января на квартире С. Я. Стечкина происходит совещание представителей всех отделов, но, увы, «в 12-м часу ночи, когда рабочие уже начали расходиться, явилась полиция и, пригласив всех присутствующих в участок, переписала поименно».

Разумеется, теперь гапоновцам и не приходилось рассчитывать не только на покровительство, но даже

и на нейтралитет полиции. Но движение их, как видим, отнюдь еще не распалось, не изжило себя, так что имей оно в этот момент энергичного и авторитетного руководителя... Увы, к концу января Гапон был уже далеко от своего Собрания. Еще продолжалась стачка, когда все тот же Рутенберг переправил его в имение своего знакомого — подальше от опасностей столицы. «Перед его отъездом мы условились, что, если настроение рабочих поднимется, ему будет дано знать, и он вернется в Петербург. Если все успокоится, он уедет за границу... На всякий случай я дал ему адреса для перехода границы и явки за границей. Его снабдили деньгами...»

Сам же Рутенберг помчался в Москву, чтобы через Б. Савинкова достать Гапону подложный паспорт, но нервы Гапона не выдержали деревенской тишины и мерещившихся в ней опасностей, и он, не дождавшись Рутенберга, один, ночью, бежал из имения, добрался до границы и перешел ее близ Таурогена на день раньше Рутенберга. «...Переезд через всю Европу без языка и с боязнью быть узнанным и арестованным закончился тем, что в Женеве он не нашел лица, к которому я его направил. Не нашел, значит, и меня. Два дня, как рассказал он мне потом, он ходил по городу беспомощный и измученный. Отправился, наконец, к Плеханову»¹.

Разумеется, эсеру Рутенбергу Гапон рассказывает об этом визите как о нелепой случайности. Но — так ли? В русской читальне, на которую он наконец-то набрел, ему могли бы подсказать и адреса иные. Но если вспомнить, что и в Петербурге, в самый канун 9 января,

¹ Н. К. Крупская считала, что Плеханов принял Гапона «крайне холодно». По воспоминаниям же самого Гапона этого никак не скажешь, так что, возможно, «крайней холодностью» прием Плеханова отличался разве что в сравнении с тем необычайным волнением, которое испытывал накануне свидания с Гапоном сам Ленин. «Через некоторое время после приезда Гапона в Женеву, — вспоминает Крупская. — к нам пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала Владимиру Ильичу, что его хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер. Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол. Гапон был живым куском нарастающей в России революции, и Ильич волновался этой встречей... Ильича интересовало, как мог Гапон влиять на массу». И характер и степень ленинского интереса схвачены здесь очень живо, а его будущие политические оценки — дело уже расчета, а не живой жизни.

Гапон ближе всего сошелся именно с меньшевиками, для которых авторитет Плеханова был бесспорен, то ничего случайного в визите не останется. К кому хотел — к тому и попал.

Появление Гапона стало для эмигрантской среды настоящей сенсацией. Имя героя 9 января звучало здесь уже достаточно громко, но что именно оно в политике означает, никто пока толком не знал. Эту свою новоявленную популярность Гапон решил немедленно использовать для того, чтобы объединить — а главное, возглавить! — всех, все организации и группы! Вообще стремление непременно что-нибудь «возглавить» было ведущим мотором его натуры и прямо-таки снедало, толкая порой на шаги и смешные, и явно невыгодные. Впрочем, голове его бедной было от чего закружиться в Европе. «На rue Corratier Гапон отстал от меня. Я обернулся. Он стоял, застывши у витрины писчебумажного магазина, очарованный, не в состоянии оторваться от... своего портрета на почтовой открытке. Я не мешал ему. Не мог мешать — так поразил меня его вид» (П. Рутенберг).

Итак, едва освоившись, Гапон предпринимает попытку созвать объединительную конференцию всех революционных организаций. Случайно сохранившийся отчет о переговорах, составленный представителями Бунда для своего ЦК, позволяет нам заглянуть, так сказать, на кухню подготовки этой конференции. «Вообще, — сообщают безвестные бундовцы (их отчет подписан только литерами В. К. и М. Л.) — практического значения этому соглашению (т. е. имеющему появиться в результате проектируемой Гапоном конференции. — В. К.) он не придает». Но видит в нем ряд политических выгод:

1) Моральная сила революции возрастает («все объединились»); 2) сделаются возможными боевые соглашения на местах («бумажка из-за границы! А то без этого, например, в Петербурге социал-демократы и говорить не хотят с социалистами-революционерами, подайте нам бумажку «оттуда» — говорят они». «Поэтому, — продолжает Гапон, — нужна бумажка; говоришь с каким-нибудь социал-демократом в Петербурге, он так и эдак, а услышит, что П[леханов] сказал то-то и то-то, и сразу повернул. Нет, без бумажки никак нельзя»); 3) хотя каждая партия из блока будет действовать совершенно самостоятельно, но все будет делаться под

фирмою общего комитета, таким образом создастся вера в него, а в нужный момент, когда он выйдет из своего бездействия, все за ним пойдут.

К сожалению, продолжал Гапон, он убеждается, что и широкое соглашение встречает большие препятствия, но он уверен, что если Бунд, то все устроится... Мы ему сказали, что согласие на участие в конференции может дать только наш ЦК, что дело осложняется фактом образования социал-демократического блока... и что, наконец, мы не верим, что два десятка организаций, так резко различающихся между собой в вопросе программы и тактики, могли бы на чем-нибудь сойтись.

Характерна для Гапона та легкость, с которой он разрешает сложные практические вопросы, например вопросы о соглашении с либералами. Боязнь соглашения с либералами, по его мнению, неосновательна: пусть, мол, либералы, идя за нами, воображают, что они получают львиную долю; беды тут нет, ведь мы знаем, что мы сильнее и что при дележе им достанется разве только хвостик или ушко. Что касается «социализма» Гапона, то он довольно-таки примитивный: «все люди — братья» — и все!».

Как видим, нечистота и цинизм политической кухни Гапона совершенно ясны его партнерам по переговорам. Они, разумеется, отталкивают. Но тяга к приумножению собственных сил путем объединения так велика, а имя Гапона как харизматического лидера на будущем знамени сулит столь многое, что и это отталкивание в конце концов было преодолено. Конференция состоялась. Хотя и в несколько урезанном виде. Протекала она бурно. Гапон председательствовал и употреблял всю свою ловкость для сохранения хоть призрачного единства. Впрочем, как рассказывал позже он сам Н. Симбирскому, два инцидента возникли и по его инициативе. Первый — «когда обсуждался вопрос о федерации, т. е. отделении Польши от России, и вопрос этот прошел, конечно, единогласно, — единственным оппонентом явился председатель Гапон, который заявил, что он считает эту федерацию крайне вредной для Польши и совершенно не отвечающей интересам русского народа. Естественно, на этой почве поднялся большой скандал». Второй — когда обсуждался вопрос «об устройстве аграрных отношений крестьян в России».

«Председатель Гапон, к немалому ужасу собрания, заявил, что экспроприация всех земель и бесплатная раздача их крестьянам внесут лишь разврат в крестьянскую среду и совершенно дезориентируют их и обратят в сообщество и даже кучу анархистов; что надо внушить крестьянину уважение к собственности, что если надевать их земель — а это чрезвычайно необходимо, — то отнюдь не бесплатно...»

Отдадим должное гапоновскому патриотизму и здравому смыслу. Но каково было слушать это представителям революционных партий — людям принципа и идеи, строгим теоретикам!.. Несмотря на такое председательство, конференция смогла все же принять кое-какие решения. «Посылаю вам выработанную декларацию состоявшейся конференции, созванной Гапоном, — докладывает Л. Ратаеву Е. Азеф в письме 17 апреля 1905 года. — На конференцию явились следующие организации: 1) «С. Р.» (Чернов и Бабушка¹); 2) Дрошак (Рустем, Сафо и Омон); 3) «ППС» (Иодко, Славинский и Войцеховский); ...7) Грузинская партия социалистов-революционеров (Деканози). Явились еще представители от С.-Д. большинства, Бунда, армянской социал-демократии и латышской социал-демократии. Но все социал-демократические организации удалились со съезда, так как на нем преобладал дух социалистов-революционеров². Конференция продолжалась с 3-го по 10 апреля... Бабушка, Гапон и Хилков образовали боевой комитет, который скоро начнет функционировать».

Задача созданного комитета формулировалась весьма пышно: «заняться боевой подготовкой масс». Не меньше! Практически же это, как сообщает Б. Савинков, означало: «Рутенберг... должен был подготовить квартиру для складов оружия в Петербурге, изыскать возможность приобретения оружия в России, получить от армян, членов партии «Дашнакцутюн», транспорт бомб, нам ими уступленный, наконец, выяснить возможность экспроприации в арсеналах. Предполагалось впоследствии, когда окрепнет организация в Петербурге, расширить деятельность ее на всю Россию — дальнейшим

¹ Е. Брешко-Брешковская.

² Собственно, и сам Гапон, начавший подготовку к конференции в качестве новоиспеченного социал-демократа, председательствовал на ней, верный подвижности своей натуры, уже в качестве эсера.

шагом в этом направлении была экспедиция корабля «Джон Крафтон».

Что же касается самого Гапона, то эсеры, безусловно, предпочли бы в таких делах использовать его имя, но не его самого. Его доморощенная, опробованная на полицейских кругах и основанная на непрерывном вранье «дипломатия» явно не срабатывала в эмигрантской среде, где все быстро становится известно всем, порождая только скандал за скандалом. А тут еще, как пишет П. Рутенберг, «большое влияние на него оказало следующее обстоятельство. Посланная в Петербург по личному его делу госпожа Н.¹ вернулась и сообщила ему, что встретила Пасху в обществе «его» рабочих, гапоновцев, что рабочие его помнят и никогда не забудут и хотят устроить подписку, чтобы поставить ему памятник.

— При жизни,— добавлял Гапон, рассказывая мне позже в Лондоне про это.— Как никому!»

К этому же примерно времени относится и знакомство Гапона с купцом Соковым², которого он «просил дать ему средства для самостоятельной работы» среди своих, гапоновских, рабочих. Свидетелем солидности его планов и организации он представил «раненого 9 января» своего помощника, «„председателя Невского отдела“ рабочего Петрова, приехавшего к нему с полномочиями от петербургских рабочих»... На основании свидетельства Петрова Гапон и получил 50 000 франков.

Впрочем, мы несколько забежали вперед. Приезд Петрова и получение денег — это было уже в конце лета. А пока что, в середине мая, эсерам удалось найти издателя для будущих мемуаров Гапона и с немалым облегчением отправить его в Лондон, где он и написал многократно цитировавшуюся выше «Историю моей жизни».

¹ М. А. Медведева. Азеф писал о ней Ратаеву из Цюриха 31 мая: «Она теперь поехала легально в Питер. Между прочим, она едет теперь во второй раз. Месяца два тому назад поехала впервые в Питер по поручению Гапона и содействовала организации в Питере гапоновцев. Теперь она везет новые инструкции от Гапона этим рабочим. Все это очень серьезные дела. Мне кажется, вам по этой Марии Александровне Медведевой — она легальная и выдается с сожительницей Гапона,— можно все важнейшее, касающееся гапоновской организации, установить».

² По некоторым данным, которые у нас нет оснований ни убедительно подтвердить, ни опровергнуть, Соков был японским агентом и действовал по указаниям посланника Японии в Париже. Этой версией в дальнейшем, склоняя Рутенберга к выдаче полиции Боевой организации эсеров, пользовался и сам Гапон.

за время работы над ней заметно охладев к эсерам и близко сойдясь с анархистами, в том числе и с П. А. Кропоткиным.

К концу августа Гапон оказался уже в Гельсингфорсе. Эта его поездка, безусловно, как-то связана с экспедицией затонувшего в Ботническом заливе парохода «Джон Крафтон», но как именно — мы можем только гадать.

История этого крупнейшего за годы первой революции оружейного транспорта — дело вообще довольно темное. Не до конца прояснены источники финансирования экспедиции, причины ее нелепой гибели, царившая вокруг нее путаница и многое другое. Не ясна и роль Гапона во всем этом деле. Хотя при сопоставлении различных источников она представляется мне все же более значительной, нежели та, что отводится ему в воспоминаниях Б. Савинкова — только принять и спрятать часть оружия, предназначенную для его Собрания.

Ясно во всей этой истории, пожалуй, одно: экспедиция была обречена на провал с той самой минуты, когда отправленный в Россию для приемки оружия П. Рутенберг был схвачен¹ прямо на улице после несостоявшегося свидания с членом ЦК эсеровской партии и... известным провокатором Татаровым. Арест этот столь явно означал провал всего плана, что труднее всего понять, почему же он продолжал осуществляться.

Что же касается Гапона... Б. Савинков вспоминает, как к нему пришел знаменитый матрос Афанасий Матюшенко, поднявший восстание на броненосце «Потемкин» и командовавший переходом этого корабля в Констанцу.

«Он с любовью заговорил о Гапоне:

— А батюшка-то вернулся.

— Вернулся?

— Да. Два месяца в Петербурге прожил, «Союз» устроил.

— Кто вам сказал?

— Да он и сказал.

Гапон сказал Матюшенке неправду. Я знал, что Гапон в Петербурге не был, а, прожив в Финляндии дней десять, вернулся за границу, причем никакого «Союза» не учредил, а ограничился свиданием с несколькими ра-

¹ Освобожден затем по манифесту от 17 октября 1905 года.

бочими¹. Я не сказал, однако, об этом Матюшенке. Он продолжал:

— Эсеры, эсдеки... Надоели мне эти споры, одно трепание языком. Да и силы в вас настоящей нету. Вот у батюшки дела так дела...

— Какие же у него дела?

— А «Джон Крафтон»?

— Какой «Джон Крафтон»?

— Ну, корабль, что у Кеми взорвался...

— Ну?

— Так ведь батюшка его снарядил.

— Гапон?

— А кто же? Он и водил. Он и во время взрыва на корабле находился. Едва-едва жив остался. <...>

— Вы уверены в этом?

— Еще бы: сам батюшка говорил! <...>

Через несколько дней после моего разговора с Матюшенкой я случайно встретил Гапона. Я сказал ему, что он лжет, рассказывая о своем участии в экспедиции «Джон Крафтон», и что могу уличить его в этом.

Гапон покраснел. В большом гневе он сказал:

— Как ты смеешь говорить мне, Гапону, что я лгу?

Я ответил, что настаиваю на своих словах.

— Так я, Гапон, по-твоему, лжец?

Я ответил, что он, Гапон, по-моему, несомненный лжец.

— Хорошо. Будешь помнить. Я все про тебя расскажу.

— Что ты расскажешь? — спросил я.

— Все. И про Плеве, и про Сергея.

— Кому?

Он махнул рукой в ответ.

Возможно, что Савинков рассказывает об этой ссоре тенденциозно. Скорее всего — даже весьма тенденциозно.

¹ В Гельсингфорсе на встречу с Гапоном ездили Карелин, Варнашов, Кузин и В. А. Поссе, которого прочили на роль редактора будущей гапоновской газеты. Впрочем, уже через неделю Поссе отказался, да и сам план издания газеты лопнул. Однако же к начавшимся вскоре попыткам возобновить работу отделов встреча эта имела, по-видимому, прямое отношение. К тому же само участие в поездке В. А. Поссе показывает, что она была завершением какой-то значительной организационной работы, а не просто «свиданием Гапона с несколькими рабочими», как пытается представить дело Б. Савинков. И Гапон, похоже, имел некоторые основания говорить Матюшенко, что он «устроил» (т. е. направил, упорядочил) деятельность своего Союза. Хотя и прихвастнуть при случае батюшка был совсем не дурак.

Уж больно безупречным молодцом он выглядит в любом эпизоде своих воспоминаний, чтобы во все это верить. Но так или иначе, а ссора была. Ее отзвук мы находим и в ряде других воспоминаний, никак с савинковскими не связанных. Например, у А. Е. Карелина:

«Я убежден, что к убийству Гапона причастен был Азеф. Он знал про службу Азефа в департаменте полиции. Поэтому Азеф настаивал в ЦК партии социалистов-революционеров на убийстве его. Рутенберг честно верил, руководил же им Азеф.

Далее я думаю, что здесь был замешан и Савинков.

Однажды Гапон у меня дома рассказал, что, будучи в эмиграции за границей, он в пылу спора назвал Савинкова сволочью. Савинков ответил: „Попомнишь меня!“».

Действительно, в поведении эсеровского ЦК, сначала настойчиво требовавшего от Рутенберга казни Гапона (требования шли в основном через Е. Азефа), а потом отказавшегося взять на себя ответственность за совершившееся убийство, немало темного. И никто уже, пожалуй, не разгадает, что шло здесь от идеологии и мерещившихся опасностей (в связи с «предательством» Гапона), а что от уязвленного самолюбия и сознания безнаказанности...

Но нам-то эта ссора важна не сама по себе, а как одно из свидетельств того, что за границу Гапон к сентябрю уже так «надипломатичался», так изолгался, что не только какая-либо политическая деятельность, но и само существование его в эмигрантской среде сделалось невыносимым. Его авторитет упал здесь до нуля, а бешеное честолюбие по-прежнему не позволяло жить спокойно, никого и нечего не возглавляя.

Он рвется теперь в Россию, к «своим» рабочим. Новое политическое положение, сложившееся после всеобщей стачки и манифеста 17 октября, делает наконец такую поездку возможной. Впрочем, очень может быть, что дело тут совсем не в новом внутривнутриполитическом положении или, во всяком случае, не только в нем.

Вообще в истории повторного сближения Гапона с правительством еще остается немало темных страниц и невыясненных подробностей. Прежде всего: когда оно началось? В. Л. Бурцев утверждал — не приводя, впрочем, никаких доказательств, — что Гапон возобновил контакты с полицией «после 20 мая», через Е. Медникова, выезжавшего к нему за границу.

Имя Евстратия Павловича Медникова поминалось в этой книге неоднократно, но мы, кажется, еще не говорили о нем специально. Между тем эта колоритнейшая фигура такого разговора безусловно заслуживает. В бытность Зубатова начальником московской охраны Медников занимал при нем пост чиновника для поручений, ведая всеми филерами, в том числе и «летучим отрядом». А. И. Спиридович писал: «Медников был простой, малограмотный человек, старообрядец, служивший ранее полицейским надзирателем. Природный ум, сметка, хитрость, трудоспособность и настойчивость выдвинули его. Он понял филерство как подряд на работу, прошел его горбом и скоро сделался подрядчиком, инструктором и контролером. Он создал в этом деле свою, «медниковскую» или, как говорили тогда, «евстраткину», школу. Свой для филеров, которые в большинстве были из солдат, он знал и понимал их хорошо, умел разговаривать, ладить и управляться с ними». Переводясь в Петербург, Зубатов взял с собою и Медникова, выполнявшего его «деликатные» поручения, и весь «летучий отряд». В 1906 году Медников вышел в отставку.

Посвященный в свое время во все зубатовские «рабочие затеи» (на его квартире устраивались совещания с участием зубатовцев различных мастей) и отлично знавший Гапона, Е. Медников был, конечно, очень подходящей фигурой для возобновления контактов с ним. Но действительно ли он встречался в указанное время с Гапоном? Не имея никаких прямых доказательств, взглянемся попристальней в косвенные.

В июле 1905 года Е. Медников пишет Зубатову: «Каков брат П. (Петр Иванович Рачковский.— В. К.), весь оказался, вечно он все со своею политикой. Помнишь, как он клялся быть верным союзником твоим, но теперь он другую поет песнь; ну, что Зубатов — фантазер. Мне это Михаил Иванович (Гурович.— В. К.) говорил. Следовательно, он тебя проваливает воню; боится, ты его перешибешь. Вот дипломатия!»

Если повнимательней вникнуть в полуграмотные евстраткины фразы, письмо это окажется чрезвычайно интересным. Во-первых, оно подтверждает сообщение самого Зубатова о том, что Трепов предлагал ему «вернуться к делам». Иначе — отчего бы это Рачковскому опасаться, что его «перешибет» отставной и полуопальный чиновник? Во-вторых, выясняется, что в связи с этим предложением (по крайней мере — в кулуарах департамента) обсуждалась и возможность того или иного возврата и к зубатовским рабочим организациям. Ведь именно и только в связи с этими организациями Рачковский мог именовать Зубатова фантазером!

Но, кстати сказать, возможный возврат к политике

зубатовских союзов обсуждался весной 1905 года не только в кулуарах полиции. Тому мы имеем прямое доказательство: в конце марта депутация московских зубатовцев в составе М. Афанасьева, Н. Красивского, В. Коркина, И. Советова прибыла в Петербург и представила министру финансов В. Н. Коковцову петицию с 2573 подписями. В ней было 11 пунктов, отнюдь не революционных, но... Вот некоторые:

«1. Разрешить в законодательном порядке учреждение профессиональных рабочих союзов, так как только путем объединения рабочих интересов может быть достигнуто необходимое улучшение в условиях труда, как свидетельствует об этом опыт западноевропейских государств.

2. Уничтожить уголовную ответственность за стачки, которые касаются лишь области частно-правовых отношений и служат необходимым средством в борьбе с предпринимателями за улучшение условий труда...»

В. Н. Коковцов, наученный горьким опытом январской своей несговорчивости и нарастающим хаосом в промышленности, депутацию принял, как сообщает М. Григорьевский (Лунц), «с отменной торжественностью, и речи министра были отпечатаны брошюрой в несколько тысяч экземпляров для раздачи московским рабочим».

Как видим, возврат к зубатовской тактике создания в самом рабочем движении политических противовесов революции был (или казался) весной 1905 года делом едва ли не решенным даже для Министерства финансов! Так что в июле Медников сообщает уже явно о *новом* политическом повороте. В самом деле: Рачковский, как мы знаем, сделал ставку на иной «противовес» революции, всячески поощряя и подхлестывая черносотенное, погромно-националистическое движение, способствовавшее, впрочем, лишь дальнейшей дестабилизации обстановки. В этом, собственно, и была «политика» Рачковского, а не только во внутриволиейских интригах, хотя интриган (в отличие от политика) он был выдающийся.

Так что переговоры в конце мая — начале июня между Гапоном и Медниковым вещь вполне вероятная, особенно если видеть их цель не в вербовке еще одного «агента» (как полагал Бурцев), а в обсуждении открывающейся возможности возвращения Гапона в Россию с целью реорганизации его Собрания.

В письме Гапона к С. Ю. Витте, написанном в конце 1905 года и сохранившемся в полицейской копии, в связи с этим обращает на себя внимание такой абзац: «Естественно, я, скорее под влиянием возмущенных чувств гнева и мести за неповинную кровь народных мучеников, нежели под влиянием истины и разума, впал в крайность. Первый провозгласил лозунг — вооруженное восстание, временное революционное правительство, изо всех сил старался привести к соглашению существующие в России социалистические и революционно-демократические партии для планомерных боевых действий. Но мало-помалу чад начал проходить... Густой туман, окутавший было мой ум и мое сердце, начал рассеиваться... Разум входил в свои права... И к концу же конференции меня взяло сомнение: да хорошо ли я поступаю?! Куда иду?! Принесет ли это пользу бедному нашему народу... И я, несмотря на просьбы участников конференции, не подписал ее декларации, ее постановлений».

Письмо это — документ очень и очень продуманный, хоть и стилизованный слегка под «чистосердечное раскаяние». В нем ничего не сообщается зря. И время «прозрения» уточняется здесь, похоже, с единственной целью: показать, что переговоры с правительственными агентами (а Витте может быть хорошо известно, когда они начались) есть не простая сделка, а следствие политического прозрения.

Таким образом, всего вероятней, что первые контакты Гапона с правительством, первые его переговоры о дальнейшей судьбе Собрания именно в начале лета и состоялись. К каким-либо конкретным результатам они, скорее всего, не привели, но...

Установление самого факта этих переговоров важно для нас в двух отношениях. Во-первых, он позволяет смотреть на дальнейшее поведение Гапона как на хорошо нам знакомую его «двойную игру», что способно объяснить многие странности и загадочности. А во-вторых, факт этот позволяет понять, как же удалось Гапону так стремительно выйти на высший правительственный уровень и достичь соглашений с самим премьер-министром в ноябре.

Вообще его осеннее пребывание в столице предстает в этом свете как очень неплохо продуманная политическая операция. Едва ли не сразу после гельсингфорсского свидания со своим вождем гапоновцы начинают усиленно

хлопотать о новом открытии отделов. Причем, как сообщает Карелин, «явилось у рабочих желание получить у правительства вознаграждение за убытки, понесенные нами при разгроме наших отделов после 9 января. Гапон... не советовал обращаться за денежной помощью к правительству, но рабочие настояли». Ну, то, как умел Гапон организовывать нужную ему «настойчивость» рабочих, мы знаем.

Сам Гапон появился в Петербурге несколько позже. В начале ноября, после второй всеобщей забастовки, П. М. Рутенберг уже встретил его в Совете рабочих депутатов. Почему именно там, легко объяснимо: членами Совета были многие видные гапоновцы — например, супруги Карелины (Алексей Егорович — под своим именем, а Вера Марковна — под чужим). Но поведение его любопытно: Рутенберга он попросил узнать, подпадает ли он под амнистию, которая была уже объявлена. Тот удивился: зачем?

«— Поди, попроси сейчас же у председателя слова, скажи собранию: «Я — Георгий Гапон и становлюсь под вашу защиту». И никто тебя не посмеет тронуть.

Он не соглашался. Вялый, задумавшийся, не договаривающий чего-то, он отвечал мне:

— Ты ничего не понимаешь».

Рутенберг действительно «ничего не понимал». Ибо Гапон давно уже вернулся к своей излюбленной «двойной маске»: являясь на переговоры с правительством как усмиритель рабочих страстей и вообще миротворец, он не мог, разумеется, гласно отдать себя под защиту революционного Рабочего совета. Но при этом в глазах рабочих он должен был оставаться самым страшным р-р-революционером, который вынужден скрываться даже тогда, когда все прочие давно амнистированы и на свободе. Вот почему даже когда Рутенберг навел справку («Мне сказали, что все привлекавшиеся со мной по делу 9 января, и Гапон в том числе, амнистированы») и сообщил об этом Гапону, тот все же «подпольного образа жизни не изменил».

Переговоры Гапона с правительством шли, по-видимому, параллельно нарастающей «снизу» агитации за возрождение гапоновского Собрания и продвигались тем успешнее, чем полнее обнаруживалось сочувствие этой агитации со стороны массы рабочих. Предварительным итогом этого движения стало собрание гапоновцев 21

ноября в Соляном городке. Туда пришло 4000 человек, причем каждый от своего «пятка» — т. е. собрание было делегатским и представляло около 20 тысяч рабочих. «Момент для партий, — сообщает Н. Симбирский, — был очень серьезный по последствиям — в этот день невидимая рука Гапона вырвала из рук социал-демократов целую армию организованных и сознательных рабочих. И поэтому со стороны партий были пущены в ход все средства. Выступали десятки ораторов». И все-таки «рабочая среда, даже партийная, заколебалась. Захотели идти в «отделы». Привлекали широта организации и имя Гапона» (П. Рутенберг).

Эта способность самого имени Гапона, с которым у большинства питерских рабочих связывалась память не только о начале революции вообще, но и о собственном высоконравственном, жертвенном порыве 9 января и которое было поэтому живым олицетворением этого порыва, символом самых светлых и чистых, объединяющих начал движения, — именно эта способность его имени во мгновение ока стать желанным знаменем, поднимающим десятки тысяч человек, и была главной ставкой в его переговорах с правительством.

В своих основных чертах соглашение Гапона и Витте было выработано уже накануне описанного собрания, в чем мы можем легко убедиться, сопоставив ряд свидетельств и документов.

Н. Симбирский: «В конце ноября пришел ко мне рабочий Д. В. Кузин, игравший крупную роль 9 января и состоявший секретарем комитета 11 отделов, и сообщил, что здесь Гапон, и что того же числа будет в Соляном городке собрание всех бывших рабочих отделов, и что на это собрание меня просят непременно прибыть...» На собрании «между журналистами, заседавшими на эстраде, увидел и едва узнал А. И. Матюшенского (я знал его раньше с длинной полуседой бородой...), теперь ко мне подошел какой-то совершенно бритый субъект, видом напоминавший захудалого актера без дела. Мы с ним перекинулись несколькими словами в антракте, как ко мне подошел Д. В. Кузин и предложил мне пройти с ним:

— Вас хочет видеть Гапон.

Я не видел Гапона с 9 января и, естественно, пожелал его видеть. Мы прошли в один скромный ресторанчик, где и свиделись в кабинете. Здесь уже сидели 3 ино-

странных корреспондента, которые разом как-то интервьюировали Гапона через переводчика. Сюда же приходили рабочие, члены комитета. Сюда пришел и Матюшенский, довольно враждебно отнесшийся ко мне, когда увидел, что я нахожусь в самом центре конспирации.

Когда мы остались с Гапоном наедине, он сообщил мне следующее. Он приехал сюда конспиративно, под опасением ареста. Но ему теперь предлагает гр. Витте следующую комбинацию: при условии немедленного его отъезда за границу (в эти дни в Петербурге было крайне повышенное настроение — готовилась всеобщая забастовка, готовилось московское вооруженное восстание — Гапона тогда боялись чрезвычайно) ему гарантирует правительство: 1) восстановление и открытие всех закрытых и разгромленных 11 отделов русских фабрично-заводских рабочих, 2) полную амнистию ему, Гапону, через 6 недель, считая с сего числа.

— И наконец, относительно третьего пункта, — сказал Гапон нерешительным тоном, — гр. Витте предлагает 1000 рублей.

— Кому?

— Не мне... Это будет в счет возмещения тех убытков¹, которые правительство нанесло рабочим организациям 9 января».

П. Рутенберг (он записывает по горячим следам рассказ самого Гапона): «Во второй его приезд (на самом деле в первый. — В. К.), т. е. после 17 октября, некоторые либералы: Струве, Матюшенский и др., стали хлопотать у Витте об его легализации и об открытии 11 отделов. Особенно хлопотал о нем Матюшенский, бывший много лет социал-демократом и социалистом-революционером и имевший большие связи. Витте не соглашался.

Раз Матюшенский познакомил его с чиновником особых поручений при Витте, Мануйловым, который сообщил, что Витте очень беспокоится о судьбе Гапона и ему будет крайне тяжело, если Гапона арестуют. Дурново на-

¹ В других источниках называется иная сумма — 500 рублей, и отнюдь не «в счет возмещения убытков», а из личных средств премьер-министра.

Нельзя не обратить также внимания на то, что вскоре после отъезда Гапона з' границу вместе с гапоновцами (Н. Варнашовым и др.) об открытии отделов начинает хлопотать надворный советник Н. А. Демчинский, крупный инженер-путеец, человек, по общему мнению, близкий отнюдь не к Гапону, но к Витте.

стаивает на аресте. Пребывание Гапона в П-ге очень опасно. Этот арест принесет большой вред рабочему делу. Граф Витте просил его, для его же пользы, уехать из Петербурга.

После долгих переговоров с Мануйловым, «бывшим агентом Плеве в Париже», пояснил Гапон, пришли к следующему соглашению: правительство через Мануйлова выдает ему паспорт. За это Витте обещает: 1) открыть отделы; 2) возместить причиненные в январе отделам убытки в сумме 30 000 рублей и 3) недель через 6 легализовать Гапона.

Около 24 ноября¹ (точно числа не помню) Гапон уехал за границу. Уполномоченным по всем делам оставил Матюшенского.

Решение было принято Гапоном не единолично, а по совещанию с „организационной комиссией“.

Однако же обоим своим собеседникам Гапон не сказал еще об одном пункте соглашения — том самом, ради которого Витте, судя по всему, и попал на переговоры с ним. Зато в уже упоминавшемся письме Гапона к Витте мы без труда обнаружили след и этого пункта:

«Повидавшись со своими товарищами-рабочими и соприкоснувшись непосредственно с русской действительностью, я понял свою грубую ошибку и мужественно, открыто сознался в ней, и, прежде чем войти в какие-либо сношения с представителями г. Витте, я мужественно и открыто пошел против вооруженного восстания (см. многие беседы за границей — интервью, а также письмо в Организационный центральный комитет рабочих против стачек; см. телеграмму своим товарищам рабочим), прежде чем началась последняя стачка или вооруженное восстание в Москве.

Все это я сделал по глубокому убеждению, что единственный исход, гарантирующий благо России и государя, есть закономерное устройство России на началах, возведенных с высоты престола манифестом 17 октября».

Даже прекрасно зная, сколь подвижны были «глубокие убеждения» Георгия Аполлоновича, сколь зависимы от сиюминутных его расчетов и выгод, я не решился бы все же представить его выступление против готовившегося во-

¹ А уже 26 ноября С. Ю. Витте распорядился арестовать председателя Петербургского совета рабочих депутатов Г. С. Хрусталева-Носаря, а еще через день — и весь состав Совета, что было исполнено, однако, лишь 3 декабря. Так ли уж случайна близость этих дат?

оруженного восстания только как результат сделки. Упоминаемые телеграммы «товарищам-рабочим» нам неизвестны, но можно заглянуть в написанные уже за границей 3 декабря письма его в газеты.

1) В «Юманите»:

«Великий русский народ, по моему убеждению, еще не готов ни технически, ни внутренне,— сознанием к освобождению посредством немедленного вооруженного восстания, на что толкают его, к чему взвинчивают его мои самоотверженные товарищи. В этом состоит первая их тактическая и, может быть, пагубная для дела революции ошибка... Я восстал против отсутствия у них политического чутья, против отсутствия у них иногда жалости-любви к самому пролетариату.

Нельзя же, в самом деле, так часто испытывать пролетариат стачками и нищетой, попыткой преждевременно ввести 8-часовой рабочий день революционным путем, выбрасывая тысячи на улицу с детьми. И так он много умирал, голодал и холодал; пора бы ему отдохнуть, собраться с силами».

2) В «Нью-Йорк геральд»:

«Все это меня убеждает, что пролетариат своим неуместным вооруженным восстанием в данное время может привести к страшно убийственной гражданской войне, которая зальет братской кровью улицы, города и поля моей родины, разорит вконец страну, надолго ослабит пролетариат и, главное, вызовет реакцию и, пожалуй, военную диктатуру. Одним словом, вооруженное восстание в России в данное время есть тактическое безумие. Вот почему я, будучи в Петербурге в ноябре, в кругу своих товарищей высказался против всеобщей стачки и против решительного вооруженного натиска пролетариата на царизм».

Нельзя отрицать, что высказанные здесь соображения Гапона действительно могли быть результатом его «соприкосновения с русской действительностью», точнее — с настроениями петербургских рабочих, в которых, по тогдашним наблюдениям многих, явственно давала себя знать усталость и, соответственно, повышенная тяга к мирным, легальным формам организации и борьбы. Эта-то усталость, хоть и не без участия развернутой гапоновцами агитации, и удержала, как известно, петербургский пролетариат от участия в декабрьском вооруженном восстании, обозначившем собою высшую точку развития, но вместе с тем и начало поражения первой русской революции.

Зато уж со стороны правительства соглашение с Гапоном было чистейшею сделкой. Использовать его для удержания столичных рабочих от участия в вооруженной борьбе, а вместе с тем (зная его способность, заражаясь настроением толпы, ясно его формулировать и тем уже резко усиливать) убрать его из столицы на самые опасные полтора ближайших месяца — вот цель, ради которой Витте не жалко было вытряхнуть из государственной мошны 30 000 рублей¹.

Но 24 декабря, когда Гапон возвратился в Россию (по другим данным — 25-го), цели эти были уже достигнуты, московское восстание подавлено, грозный петербургский Совет рабочих депутатов ликвидирован. Никаких резонов вновь открывать закрытые во время московских боев отделы, равно как и выполнять другие обещания, данные месяц назад Гапону, правительство уже не имело. Да и полиция предупреждала: «Значительная часть членов, вновь записавшихся в бывшие гапоновские отделения, принадлежит к социал-демократам... Последние намерены использовать означенные соображения рабочих в качестве социал-демократических клубов. Не подлежит сомнению, что как бы ни были благонамеренны нынешние руководители «Собрания рабочих», — их положение и авторитет не могут считаться прочными, и направление деятельности «Собрания» может легко уклониться в нежелательную сторону под влиянием усиленной агитации революционеров. Между тем, допуская организацию рабочих союзов, и при том на такой исторически скомпрометированной почве, как гапоновские отделы, правительство тем самым организует сплоченность рабочей массы, за направление коей даже и в ближайшем будущем нельзя поручиться» (докладная записка градоначальника фон-дер-Лауница министру Дурново).

Но, разумеется, отказаться от своих обещаний сразу и напрочь было бы все еще опасно; мало ли что мог выкинуть взбешенный Гапон и, главное, как могли отре-

¹ Вот еще одно любопытное свидетельство Н. Симбирского: «„Гапон, — сказал граф Витте, — это конь, на которого я бы не сел; не знаю, вывезет ли он вас на торную дорогу, или вдруг закусит удила и понесет вас прямо в пропасть... Все зависит от того, куда темперамент в данный момент повернет“... Эту фразу Витте сказал в интимном свидании одному рабочему». (Вероятно, М. Ушакову. Ни с одним другим рабочим Витте не имел отношений достаточно близких для подобной реплики.)

агировать рабочие? Неприятностей у правительства хватало и без того. Да и к чему торопиться? Не лучше ли манить Гапона разными намеками, обещаниями, держа тем самым на коротком поводке и стараясь окончательно запутать и скомпрометировать не только мятежного попа, но и его подручных?

В отчетах П. Рутенберга для ЦК партии эсеров, написанных по горячим следам его встреч и бесед с Гапоном, мы легко обнаруживаем следы именно такой правительственной тактики. Во-первых, оказывается, что открыть отделы Витте почему-то уже «не властен». «При следующем свидании с Мануйловым (т. е. 15 января.— В. К.) тот объявил, что Витте ведет борьбу с Дурново за отделы, что отделы теперь кабинетский вопрос. Дурново сказал, что подаст в отставку, если откроют отделы. Мануйлов еще прибавил, что теперь этим делом ведает Дурново и что с Гапоном хочет повидаться правая рука Дурново — Рачковский».

Так выдвигается на сцену новая фигура: переговоры с Гапоном берет в свои руки великий мастер политической интриги и провокации. При первом же свидании с ним Гапон неожиданно узнает, что, хотя основные положения его вышецитированного «покаянного» письма были заранее согласованы, оно как свидетельство благонадежности автора считается уже недостаточным.

«За обедом Рачковский передал впечатление, которое произвело письмо (Гапона.— В. К.) на Витте и Дурново.

Витте сказал: Гапон хочет меня вы..., но это ему не удастся.

Дурново, дойдя до фразы, где Гапон, излагая события 9 января, говорит, что особа государя для него священная, но интересы народа также, рассвирепел и отшвырнул от себя бумагу.

Вообще отношения и Витте, и Дурново, и Трепова к Гапону недоверчивые. Они боятся его — опять что-нибудь устроит.

— Ведь вот вы говорите, что теперь у вас никаких революционных замыслов нет; вы бы нам доказали это как-нибудь...» (Былое, 1917, № 2).

Какие доказательства могут убедить полицию — это, как говорится, и ежу понятно. Тем более Гапону. Но до начала февраля он все еще медлит, ничего не предприни-

мая для предоставления их ¹. Между тем разворачивается история с тридцатью тысячами.

Как свидетельствует Н. Симбирский, согласно ноябрьскому договору Матюшенский «получил в несколько приемов 30 000, спрятал в банк Лионского кредита и выдавал рабочим «по мелочам». Приставленных к нему Гапоном двух рабочих уполномоченных Варнашова и Кузина Матюшенский стал оттирать от дела под разными предложениями. Кузин к тому же заболел в это время, Варнашов оказался не особенно настойчивым... И в результате ни тот, ни другой совершенно не знали даже, что Матюшенский получил именно 30 000 рублей, а не 7000 рублей, как он говорил им.

Эти 7 тысяч Матюшенский передал рабочим в разные сроки небольшими суммами, уверив их, что именно такими суммами идут поступления.

Пока шла эта история, Матюшенский стал довольно открыто играть в петербургских клубах в азартные игры. Это не могло ускользнуть от кружка журналистов... Он объявил, что получил от умершего брата наследство в Саратове и скоро поедет туда издавать газету... А затем скрылся из Петербурга совершенно, бросив здесь семью на произвол судьбы». Произошло это в первых числах января, т. е. как раз через несколько дней после появления в Петербурге Гапона, в самый канун его переговоров с Рачковским.

Что было делать? Кричать: «Караул! Украли!»? А чье украли? К тому же Гапон, конечно, догадывался, что Матюшенский — человек слишком мелкий и робкий, чтобы пуститься в столь крупную авантюру совершенно самостоятельно. Жаловаться властям значило надеяться на защиту тех, кто скорее всего эту кражу и вдохновил. Гапон почел за лучшее организовать частную погоню, отправив на поиски беглого держателя кассы Кузи-

¹ Мне кажется, что это само по себе если не опровергает, то ставит под большое сомнение то место записки Дурново от 6 марта 1906 года, где утверждается, будто бы Варнашов довел до сведения Витте, что Гапон знает группу лиц, составляющих в Петербурге верховную революционную организацию, и что он-де брался «раскрыть» всю группу, если Гапоном будет дано на это согласие. И, мол, в результате таких переговоров Варнашов с состоявшим при Витте чиновником Мануйловым был отправлен в Париж для переговоров с Гапоном. Будь так, от Гапона, да и от Варнашова, потребовали бы куда более энергичных действий. Им пришлось бы скорее отложить погоню за украденными тысячами, нежели «раскрытие заговора».

на и Черемухина (Сычева) — двух своих верных помощников.

И только 5 февраля Гапон наконец-то отправился в Москву — «соблазнять» Рутенберга выдать полиции Боевую организацию за солидный куш, о чем специально поставил в известность Рачковского. А 8-го в газете «Русь» появилось вдруг сенсационное разоблачение «рабочего Н. Петрова», бывшего ближайшего гапоновского сотрудника, председателя Невского отдела Собрания, того самого «героя 9 января», что выезжал к Гапону за границу с «мандатом рабочих» на получение денег у Сокова.

Теперь же Н. Петров поспешил поведать миру, что на собрании в Соляном городке «товарищ Смирнов сказал речь о милости Гапона, что он заработал в Лондоне 40 000 рублей и из собственных трудов дал нам 1000 рублей...» На собрании же во второй половине декабря 1905 года «Варнашов начал (свой отчет. — В. К.) с того: «Товарищи! Вы знаете, что у нас было 4 тысячи рублей и 1000 рублей дал Гапон, который получил их от Витте». Не буду описывать, что произошло при этом открытии между товарищами, но обнаружилось, что знали это только Гапон, Варнашов, Кузин и Карелин». Революционный вождь, тайком от своих товарищей принимающий правительственные подачки, — вот это скандал так скандал!!

Нельзя, однако, не обратить внимания на странную близость этих двух дат: 5 и 8 февраля. Особенно если учесть, что о разоблачаемых фактах (сообщении Варнашова и побеге Матюшенского) Петров, согласно его же письму, знает уже больше месяца. К тому же почти одновременно всплывает в прессе и другая темная история — парохода «Джон Крафтон»... Не обнаруживают ли подобные «совпадения» некую умелую руку, дергающую за потаенные шнуры?

«Гапона затравили», — утверждал Карелин. На том же, по сути, настаивал и Симбирский:

«Под градом этой газетной канонады Гапон совершенно растерялся и приехал ко мне подавленный и взволнованный:

— Что делать?!»

Но первый числил инициаторами травли Азефа и Савинкова, а второй — революционеров вообще и в особенности социал-демократов, которых считал в россий-

ской прессе «силой большой, даже командной». А я вот к примеру, подозреваю Рачковского. И так как прямых доказательств ни у кого, то... кто же прав?

Попробуем задать себе старый, но в общем-то всегда уместный вопрос: а кому это было выгодно? Первыми из списка подозреваемых придется тогда исключить, пожалуй что, социал-демократов. Ибо им-то открытие отделов теперь было бы безусловно на руку, это даже полиция понимала, — к чему же им в этом случае разоблачать Гапона?

Далее — Азеф. Рассказ Рутенберга о гапоновских «соблазнах», конечно, должен был Азефа насторожить и обеспокоить. Впрочем, выдать что-либо серьезное сам Гапон без Рутенберга никак не мог. Не знал¹. Но, чтобы посеять сомнения в достоверности некоторых «агентурных данных» самого Азефа, познаний Гапона могло бы и хватить. Таким образом, возобновившаяся двойная игра Гапона могла всерьез угрожать двойной игре самого Азефа — всюду своя конкуренция! И разумеется, Азеф сразу же согласился, что Гапона необходимо убрать. Настаивал только на том, чтоб убийство свершилось именно при свидании с Рачковским, т. е. на разоблачении в сам момент смерти.

И это очень существенно. Ибо Азеф, выходит, прекрасно понимал, что как убийство неразоблаченного Гапона (скажут: «Гапон убит из зависти революционерами, которым он мешал»), так и разоблачение его при жизни, толкающее его, по сути, в объятия все того же Рачковского, равно невыгодны.

Так что по-настоящему в прижизненной дискредитации Гапона могло быть заинтересовано правительство, и только оно. Во-первых, ему было желательно откреститься и обелиться от ноябрьской сделки, свидетельствовавшей о его тогдашней слабости, а во-вторых, существенный выигрыш для него составляло то деморализующее влияние, которое могло иметь это скандальное разоблачение на рабочих. Удар, таким образом, наносился не только будущему Собранию, но и по светлой, возвышающей памяти о жертвенном подвиге рабочих 9 января!

Разумеется, дело было не в одном только желании

¹ Б. Савинков в своих воспоминаниях намекает, что Гапон мог бы выдать его участие в убийствах В. К. Плеве и в. кн. Сергея Александровича. Но об этом полиция была неплохо осведомлена и без Гапона.

правительства и провокаторском мастерстве Рачковско-го. Как и всегда, возможности таких «разоблачений» равно создаются обеими сторонами. Гапон тут отчасти перехитрил сам себя, «не заметив», что время для излюбленной им тактики двойной игры прошло — прошло хотя бы потому, что в России появилась пресса если и не совсем независимая, то все же достаточно строптивая, чтобы клянуть на любую сенсацию. Впрочем, дело не только в прессе: изменилось и сознание рабочих — стало более критичным, свободным. Детской готовности бездумно обожать вождя сильно поубавилось. Тот же взбунтовавшийся против Гапона Н. П. Петров обвинял его не в одних только денежных шашнях с правительством: «Еще порождали недоверие к Гапону железные тиски диктаторства, которыми он сжимал нас и нашу инициативу — «дело рабочих должно быть делом рук самих рабочих»; выходило наоборот — рабочим представлялось быть только слепым орудием в руках Гапона...» Подобные бунтарские настроения были достаточно типичны, что и показывает запись Рутенберга от 10 марта: «Он (Гапон. — В. К.) теперь день и ночь работает над своими организациями. Устроено уже 15 пунктов. Отделы сами по себе. Там хотят проводить выборное начало. А он считает необходимой железную дисциплину. Пусть отделы сами устраиваются. Он будет работать только с теми рабочими, которые остались ему верны».

В этих новых условиях прежняя тактика Гапона успеха иметь не могла, а никакою иною он не владел, долгосрочной политической программы у него не было — следовательно, как политик он был обречен.

Последние его судорожные метания, отчаянно-наглые заявления в прессе; то требование общественного суда, то грубый, заносчивый отказ от него; то попытка использовать истеричного Черемухина, чтобы убрать Н. Петрова; то самоубийство Черемухина прямо на заседании... — все это было картиной и жалкой, и отвратительной. Особенно — подробности «переговоров» Гапона и Рутенберга, закончившихся казнью в Озерках... Два человека мечутся, дергаются в липкой паутине, сплетенной, с одной стороны, Рачковским, а с другой — Азефом, все больше запутываясь и запутывая друг друга, не понимая, что оба одинаково оболванены и обречены. И обоих их страшно жаль, ибо оба (да-да, и Гапон!), несмотря на

страшную кровавую путаницу обстоятельств, сохранили еще в душе нечто светлое.

«Припоминается теперь,— пишет Н. Симбирский,— что на страстной неделе, во вторник, 28 марта, Гапон заехал ко мне между часом и двумя дня и сказал, что он уезжает на Пасху в Териоки, к семье, а перед отъездом хочет получить от меня один совет.

— Только откровенно. Прямо. Совершенно прямо. Скажите: можно ли еще восстановить суд, которого я добивался? Скажите совершенно откровенно — мне это очень важно знать...

Я подумал и отвечал совершенно определенно:

— Нет, теперь ни о каком суде не может быть и речи. После вашего последнего письма это будет не суд, а только лишний и притом окончательный скандал.

Гапон страшно нахмурился и как бы про себя сказал: — Значит, с этой стороны все... оборвано...?»

В этот день Петр Рутенберг встретился с Гапоном на специально нанятой даче в Озерках. За тонкой перегородкой в соседней комнате их дожидались рабочие, заранее приглашенные на роль свидетелей и судей. Гапон, ничего не заподозрив, принялся напористо уговаривать Рутенберга выдать своих товарищей за 25 000 рублей¹.

«Он был совершенно откровенен. Рабочие все слышали. Мне оставалось только поддерживать разговор.

— Надо кончать. И чего ты ломаешься? 25 000 — большие деньги.

Гапон был повешен в 7 часов вечера во вторник 28 марта 1906 года.

Я не присутствовал при казни. Поднялся наверх только, когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки, в петле. На этом крюке он остался висеть. Его только развязали и укрыли шубой...

Все ушли. Дачу заперли» (П. Рутенберг).

19 апреля 1906 года редакции некоторых петербургских газет получили из Берлина следующий документ:

«Суд рабочих имел неопровержимые доказательства того, что:

...3) Гапон взял на себя специальное поручение Рачковского и Герасимова узнать и выдать заговоры против

¹ Кроме излагаемой ниже версии П. М. Рутенберга существуют и другие версии убийства Гапона. Сравнительный и критический их анализ занял бы слишком много места. Да и пришли бы мы к выводу, что наиболее достоверна именно эта.

царя, Витте и Дурново. Для этого он взял на себя «соблазнить» одного из близких к нему людей в провокаторы. Гапон уговаривал его получить 25 000 рублей за выдачу только одного дела, а за 4 дела можно будет заработать 100 000 рублей...

5) Пользуясь своим влиянием на рабочего Черемухина, Георгий Гапон взял с него клятву и дал ему револьвер, чтобы убить рабочего Николая Петрова за опубликование в печати про сношения Гапона с правительством. 18 февраля во время заседания центрального комитета под председательством Гапона Черемухин сам застрелился из этого револьвера.

6) Кроме 10 000 рублей, полученных за напечатанный в Англии рассказ о событиях 9 января 1905 года, Г. Гапон получил летом 1905 года от частного лица для дела рабочих 50 000 франков. Деньги эти рабочим не переданы.

Застигнутый на месте преступления, Георгий Гапон сам все признал, но объяснил, что все это сделал ради имевшейся у него идеи.

Принимая во внимание все вышесказанное, суд постановил:

Гапон — предатель-провокатор, и, растратив деньги рабочих, он осквернил честь и память товарищей, павших 9 января 1905 года.

Георгия Гапона предать смерти.

Приговор приведен в исполнение.

Члены суда:

(подписи неразборчивы)».

Можно понять то чувство гадливости и гнева, что охватило рабочих, ставших свидетелями последнего тура гапоновской «дипломатии». Но признать их приговор справедливым все же никак нельзя. Ведь вскоре выяснилось, что полученные «на рабочее дело» деньги растрачены не были — лежали себе смирно в банке Лионского кредита. Не так проста оказалась и история Черемухина (Сычева). Во всяком случае, обвинять Гапона в прямом подстрекательстве к самоубийству здесь оснований нет. А если так, то за что же был повешен Гапон? Не за дела его, выходит, а всего лишь за намерения да за «измену идее», «измену делу рабочих»?..

Впрочем, я не склонен обвинять и его судей. Уверенность в своем праве судить и карать от имени некоего

«дела» или «идеи» к тому времени, увы, вошла в плоть и кровь слишком многих людей! Нравственные понятия оказались непоправимо сдвинуты... Жена нашего бунтаря и гапоновского разоблачителя Н. Петрова Татьяна Ивановна записала, например, такой монолог одного из рабочих: «Еслаух сказал: разве можно говорить массе все, что делал Гапон, — она не сознательна. Какое нам дело, что Гапон взял денег. Пусть берет у правительства больше, мы ему верили и будем верить и умрем за Гапона. Он раньше брал у правительства, зато открыл 11 отделов, объединил нас всех, просветил нас, дал всем рабочим свет. Мы доказали, что мы не черная сотня, о нас и Гапоне весь мир говорит. Мы так же пойдем, как пошли 9 января, и завоюем все, что нам нужно. Гапон тоже провокаторствовал, но он на пользу рабочих».

Вот так! Когда мы десятилетиями твердили, что революция формировала в людях высокую нравственность служения общему делу, верность, безоглядную жертвенность, — мы говорили правду. Но, увы, еще не всю правду! Ибо монолог Ф. Еслауха — это тоже правда о нравственности, которую формировала в людях революция. И, закрывая глаза на эту не слишком приятную часть правды, мы никогда не сможем понять истории народов России в XX веке.

А с другой стороны, когда мы нынче спешим одних большевиков обвинить в том беспримерном ожесточении, что охватило нашу страну в нынешнем веке, то мы опять говорим безусловную правду, но опять-таки не всю правду, далеко не всю! Монолог Ф. Еслауха прекрасно показывает, как стремительно ожесточались сердца и извращались души тех, кто о большевиках еще и не слыхивал толком.

Для полноты сюжета надо бы здесь рассказать и о таких зеркально-осколочных по отношению к зубатовщине легальных рабочих движениях, как «ушаковщина» и «смесовщина». Но эти эпизоды столь кратковременны, их влияние на дальнейшее в сравнении с той же зубатовщиной так незначительно, что не стоит ради них затягивать завершение книги.

Впрочем, добавить несколько строк все-таки стоит. Не об этом — совсем о другом.

В пятом часу утра 6 января 1918 года, через 13 лет

после Кровавого воскресенья, матрос Анатолий Железняков объявил депутатам Всероссийского Учредительного собрания — того самого, публичное требование о созыве которого было впервые провозглашено питерскими рабочими в «петиции 9 января», — что, несмотря на дымившую во дворе Таврического полевую кухню и прочие удобства, караул сильно устал и обремененным доверием народа российским законодателям следует разойтись.

Законодатели разошлись.

Стало ясно, что отныне в стране будет действовать только одно право — право сильного.

Потом была, естественно, демонстрация протеста, и одни защитники «рабочего дела» немножко постреляли в других. Были убитые... По странному стечению обстоятельств, а может, и по чьему-то умыслу, петроградцы похоронили их на том же кладбище, бок о бок с могилами жертв Кровавого воскресенья. Конец и начало революционного катаклизма сошлись.

Что ж... Рано или поздно мы должны будем поставить общий памятник всем жертвам кровавого безумия гражданской войны. Памятник-предупреждение всему человечеству. По-моему, нет для него лучшего места, чем граница этих двух захоронений.

И да будет этот памятник напоминать нам, что историю нельзя ни изменить, ни отвергнуть, ни — тем более! — исправить. Единственное, что можно с ней сделать разумное, — это понять!

Автор надеется, что его книга будет способствовать этому.

1989—1990 гг.

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ИМЕН

I. Активисты зубатовских организаций

Афанасьев М. 82, 83, 96, 144, 187, 188, 399;

Варнашов Н. 86, 87, 99, 189—190, 196, 244—245, 247, 253—254, 255, 261, 267—268, 269, 270, 278, 292, 294, 295, 297, 315, 333, 339—340, 346, 381, 396, 403, 408—409;

Васильев И. 244, 255, 269, 295, 297, 314—315, 371, 374—375;

Вильбушевич М. 14, 138—139, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 164, 171, 173, 200, 223;

Волин Ю. 137, 144, 162, 168;

Гапон Г. 6—7, 9, 164, 173—174, 188, 190, 195, 196, 227—250, 252—264, 266—269, 271—275, 277—279, 281, 290—292, 294, 297, 303, 314—315, 317—323, 325—327, 329, 331—334, 337—342, 344—349, 351, 356—358, 360—371, 384—386, 388—414;

Жилкин Ф. 87, 104, 117;

Иноземцев В. 257, 322, 328, 354;

Карелин А. 244, 245, 247, 255, 256, 259, 264—267, 269, 270, 271, 279, 294, 295, 298, 315, 319—320, 346, 349, 362, 382, 396—397, 401, 409;

Карелина В. 264—266, 268, 270, 271, 277, 375, 401;

Красивский Н. 86, 87, 88, 89, 104, 111, 117, 187, 399;

Кузин Д. 255, 260, 261, 269, 271, 294, 298, 312, 315, 371—372, 396, 402, 408, 409;

Петров Н. 394, 409, 411, 413—414;

Пикунов В. 85—86, 189, 244, 297;

Слепов Ф. 82—84, 85, 86, 93, 96, 115, 125, 144, 173, 187, 194—195;

Соколов И. 173, 189—190, 243—244, 254;

Ушаков М. 254, 297, 406;

- Черемухин (Сычев) Н. 409, 411, 413;
Чемериский С. 139, 162, 211;
Шаевич Х. 144, 152, 159, 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 210, 217, 223—224;
Шахнович Г. 138—139, 143, 151, 155;
Янов В. 257, 314, 318, 347, 352.

II. Деятели революционных партий и организаций

- Богораз Н., народоволец, 25—26, 27, 28;
Бурцев В., народоволец, затем был близок к эсерам, историк революции, редактор и соиздатель журнала «Былое», 22, 36, 63, 68, 71, 72, 110, 113, 198, 397, 399;
Боханов, наборщик, социал-демократ, 312—313;
Гершуни Г., идеолог террора, создатель Боевой организации партии эсеров, 138, 139, 141, 142, 143, 208, 209, 217;
Гоц М., один из основателей эсеровской партии, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
Дорошенко Н., социал-демократ, студент, 299, 303, 335, 365;
Ленин В., социал-демократ, 8, 341, 390;
Лядов М., социал-демократ, 38, 66, 67, 116, 201;
Мартов Ю., социал-демократ, 52, 54, 55, 56, 82, 143, 303;
Махаевский И., автор трактата «Умственный рабочий», анархист, 56, 59, 60;
Мицкевич С., социал-демократ, 56, 65, 66, 67, 97;
Невский В., социал-демократ, 298, 299, 316, 331;
Пик С., народоволец, 20, 21, 22, 24, 25;
Рума Л., социал-демократ, 65, 66, 67, 82;
Руттенберг П., эсер, 333—334, 384—386, 390—391, 393—394, 395, 397, 401—402, 403, 407, 409, 410, 411, 412;
Савенков Б., эсер, один из руководителей Боевой организации, 390, 393, 395—396, 397, 409—410;
Сверчков Д., социал-демократ, 276—277, 300;
Соломонов М., народоволец, 21, 23, 25, 26, 32, 36;
Сомов С., социал-демократ, 299, 301, 303, 317, 335—337, 364, 387—388;
Сухов А., социал-демократ, студент, 255, 260, 262, 312—313;
Терешкович К., народоволец, студент, 16—18, 24, 28, 29, 32, 33, 36;

Троцкий Л., социал-демократ, 9, 209, 217, 281, 354;
Фондаминский М., народоволец, 17, 19, 20, 28;
Фрумкин Б., социал-демократ, 135, 136, 138, 139, 143,
144, 157, 158.

III. Государственные деятели, чиновники

Фон Валь В., виленский губернатор, затем — товарищ министра внутренних дел 162, 222—223;

Витте С., министр финансов и председатель Кабинета министров, 71, 74, 98, 109, 119, 131, 133, 164, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 207, 208, 210, 212, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 254, 285, 306—307, 308, 310, 329—330, 338, 342, 353, 356, 372, 400, 402—403, 404, 406—407, 408, 409, 413;

Владимир Александрович, великий князь, шеф гвардии, 310, 358, 364, 378—379;

Дурново П., крупный чиновник МВД, затем — министр в правительстве Витте, 406—407, 413;

Клейгельс Н., генерал-лейтенант, петербургский градоначальник, затем — киевский генерал-губернатор, 191—192, 237—238, 243, 274;

Коковцев В., министр финансов, 72, 74, 200, 306, 307, 321, 325, 352, 353, 357, 362, 363, 364, 372, 399;

Куропаткин А., военный министр, 177, 212—213, 252, 284;

Манасевич-Мануйлов И., политический авантюрист, агент охранки, затем — чиновник для поручений при премьер-министре Витте, 224, 272, 403—404, 407—408;

Муравьев Н., министр юстиции, 306, 307, 331, 362, 364, 371;

Николай II, 14, 61, 92, 113, 126, 162, 187, 202, 207, 214—215, 219—220, 221, 223, 239, 283, 286, 287, 293, 304—306, 308, 310, 352, 359, 369, 371;

Плеве В., министр внутренних дел в 1902—1904 гг., 64, 69, 126—127, 143, 162, 164, 166, 177, 184, 185, 192—194, 197—198, 200, 215, 217—223, 247, 250—253, 274, 285, 288, 290, 410;

Победоносцев К., обер-прокурор синода, 16, 200, 234, 306, 307;

Кн. Святополк-Мирский П., министр внутренних дел (сентябрь 1904 г. — январь 1905 г.), 9, 111, 286—290, 293—294, 300, 305—308, 310, 326, 354—355, 362, 364—365, 368—370, 372—373, 387;

Сергей Александрович, великий князь, генерал-губернатор Москвы, 68, 71, 74, 87, 113, 126, 198, 204, 273—274, 310, 330, 410;

Сипягин Д., егермейстер двора, министр внутренних дел до 1902 г., 74, 75, 106, 109, 119—121, 126—127, 130, 193, 200, 208;

Трепов Д., генерал-майор, обер-полицмейстер Москвы, после 9 января переведен в Петербург с диктаторскими полномочиями, 9, 33, 36, 68—71, 73—75, 77, 90, 104, 106, 110—111, 113—114, 116—118, 121—122, 126, 161, 198, 200, 228, 273, 310, 370, 383, 389, 398, 407;

Фуллон А., петербургский градоначальник (осень 1904 г.—январь 1905 г.), 253, 271—272, 274—275, 292, 319, 323—324, 326, 329—330, 356—357, 364, 368.

IV. Сотрудники полиции и охранки

Азеф Е., агент, член ЦК партии эсеров, руководитель Б. О., 198, 208—210, 359, 393—394, 397, 409—410;

Арсеньев, генерал, градоначальник Одессы, 176, 183—184, 186, 223;

Бердяев, жандармский ротмистр, начальник московского охранного отделения, 21, 24, 34—35;

Васильев, жандармский ротмистр, начальник одесского охранного отделения, 180—181, 183—184;

Васильев, жандармский полковник, начальник минского охранного отделения, 155—157, 158, 160—161, 163—164;

Герасимов, жандармский полковник, начальник петербургского охранного отделения, 255, 412;

Герарди, жандармский ротмистр, 129, 139, 145;

Гурович М., агент, 221, 271, 398;

Жолткевич, помощник пристава, 8, 377;

Зволянский С., директор департамента полиции, 90—91, 101, 103, 113, 149, 161, 194;

Зубатов С., заведовал московской охранкой, с 1902 г.—начальник особого отдела департамента полиции, 13—38, 41, 60—61, 63—80, 82—83, 87—94, 96—97, 101—106, 109—117, 119, 121, 126—127, 129—149, 151—152, 154—155, 160—161, 163—164, 166, 173—174, 177, 182—184, 187—188, 190—191, 193—200, 204—205, 207—211, 217, 219—224, 238, 242—245, 247, 250—254, 264, 273, 297, 309, 320, 337, 398;

Кременецкий Л., жандармский полковник, 264, 285, 302, 328—329, 356, 366;

Лопухин А., директор департамента полиции, 127, 129, 169, 179, 183—184, 186—187, 197—198, 201—202, 208—212, 216, 219—

220, 222—223, 250, 254, 258, 274, 285—286, 287, 306—307, 310, 329, 353, 356—357, 358—360, 364, 366, 368;

Медников Е., чиновник московской охраны, создатель и руководитель «летучего филерского отряда», 126, 134, 163—164, 173, 397—399;

Меньшиков Л., чиновник московской охраны, 19, 24—26, 29, 34, 36, 66—67, 74, 82, 129, 134—135, 210;

Новицкий В., жандармский генерал, 126, 204—205;

Ратаев Л., заведовал особым отделом департамента полиции, с осени 1902 г.—заграничной охранкой, 87, 102, 106, 117, 138, 140, 162, 198—199, 204, 208, 210, 217, 393—394;

Ратько, жандармский ротмистр, 118, 129, 137, 309;

Рачковский П., руководитель зарубежной охраны, автор многих политических провокаций и фальсификаций, 114, 198—199, 200, 214—215, 398—399, 407—411;

Сазонов Я., полковник, начальник петербургского охранного отделения, 129, 191, 243, 254;

Семякин Г., генерал, один из создателей охраны, начальник особого отдела департамента полиции, 34—35, 134, 199;

Скандраков А., жандармский генерал, чиновник особых поручений при В. К. Плеве, 164, 173, 223, 271—274;

Спиридович А., жандармский генерал, начинал карьеру в московской охране при С. В. Зубатове, 66, 75—76, 112—114, 127, 129, 143, 155, 197, 209, 221, 223, 274, 343, 397;

В. Прочие

Авенар Э., французский журналист, корреспондент «Юманисте» в Петербурге, 260, 302, 304, 308—309, 312—313, 338, 352—353, 359, 372, 378, 380, 382, 384;

Антоний, митрополит Петербургский и Ладожский, 173, 190, 241—242, 245;

Бердяев Н., философ, 5, 76, 92;

Бернштейн Э., германский социал-демократ, 53, 78, 110;

Богучарский В., писатель, 290, 294, 297, 340, 346—347, 361;

Вебб С., английский экономист и политический деятель, отрицал классовую борьбу и призывал к классовому сотрудничеству, 76, 86, 87, 89;

Ганелин Р., советский историк, 67, 347—348, 359—360;

Гвоздев С., фабричный инспектор, 39—40, 45—46, 50;

Гольцев В., литератор, издатель, 24, 29—33;

Горький А., писатель, 343, 371—372, 380, 385—386;

Грингмут В., редактор «Московских ведомостей», 111, 133, 144, 273;

Гужон Ю., французский промышленник, совладелец московского «Товарищества шелковой мануфактуры», 104, 116—119, 124, 130—133;

Гуревич Л., издательница, 247, 265, 347, 373, 375, 380—381;

Ден В., доцент Московского университета, 95—96, 116, 122, 144;

Зомбарт В., немецкий профессор, автор книги «Совершенный капитализм», 76, 86, 89, 110;

Крушеван Н., журналист, издатель газет «Бессарабец» и «Знамя», организатор и вдохновитель погромного антисемитского движения, 213—215;

Литвинов-Фалинский В., фабричный инспектор, 100, 191, 297;

Кн. Львов Н., либерал, земский деятель, 203, 288, 293;

Матюшенский А., журналист, 402—404, 408—409;

Маркс К., 40, 57—58, 312;

Кн. Мещерский В., издатель газеты «Гражданин», 14, 193, 205, 214—215, 219—221, 224, 286;

Михина А., жена С. В. Зубатова, 18, 20, 22, 142;

Морской А. (В. И. фон Штейн), публицист, литературный агент С. Ю. Витте, 72, 163, 187;

Озеров И., профессор Московского университета, 10, 33, 74, 94—99, 101—102, 107—111, 116, 122, 144, 188, 195;

Павлов И., певец, 246, 256, 260, 266—269, 273, 275—276, 292, 317, 319—320, 325—326, 330, 341, 344, 346—347, 361—362;

Погожев А., статистик, 40, 46, 251—252, 274;

Попов М., соученик Гапона по духовной академии, 236—237, 240—241;

Пошехонов А., литератор, член союза «Освобождение», 290, 312, 343, 372;

Прокопович С., экономист и общественный деятель, редактор журнала «Без заглавия», в последнем правительстве Керенского был министром продовольствия, 34, 76, 290, 297, 337, 345; Святловский В., профессор, 50—52, 99, 264—266;

Симбирский Н., журналист, 188—189, 228, 231—233, 247, 262, 278, 279, 281, 332, 357, 375, 392, 402—403, 406, 408—409, 412;

Смирнов, директор Путиловского завода, 319, 324—325, 329, 331;

Стечкин С. (Н. Строев, Соломин), журналист, 260, 291, 314, 327, 345—346, 389;

Тимофеев Л., петербургский рабочий-металлист, 43—46, 50;

Тан-Богораз В., писатель, этнограф, 340, 347, 361, 380;

Тихомиров Л., раскаявшийся народоволец, реакционный публицист, 60—61, 110—111, 121—125, 144, 188, 205;

Филиппов Г., корреспондент Петербургского телеграфного агентства, 315, 321—322, 325, 332, 371;

Финкель Я., помощник присяжного поверенного, 260, 314, 318;

Янжул И., академик, 33—34, 94, 110, 195, 250, 251.

ЛИТЕРАТУРА

Авенар Э. Кровавое воскресенье. Харьков, 1925.

Азеф Е. Донесения Л. А. Ратаеву. — Былое, 1917, № 1.

Айнзафт С. Зубатовщина и гапоновщина. М., 1922; *Он же.* Зубатов и студенчество. — Каторга и ссылка, 1927, № 5(34).

А. С. Из заграничных встреч с Гапоном. — Русское богатство, 1909, № 1.

Бецкий К., Павлов П. Русский Ракамболь. Л., 1925.

Бухбиндер Н. Из жизни Гапона. — Красная летопись, 1922, № 1; *Он же.* Независимая еврейская рабочая партия. — Красная летопись, 1922, № 2—3; *Он же.* О зубатовщине. — Красная летопись, 1922, № 4; *Он же.* Разгром еврейского рабочего движения в 1898 г. — Красная летопись, 1922, № 4; *Он же.* Еврейское рабочее движение в Минске. — Красная летопись, 1922, № 5; *Он же.* Зубатовщина в Москве (Неизданные материалы.) — Каторга и ссылка, 1925, № 14; *Он же.* Зубатовщина и рабочее движение в России. М., 1926.

Варнашов Н. От начала до конца с гапоновской организацией. — Историко-революционный сборник. Л., 1924.

Васильев П. Ушаковщина. — Труд в России, 1925, № 1.

Васильченко А. После первого боя. — Каторга и ссылка, 1922, № 4.

Венедиктов Д. Георгий Гапон. М., 1931.

Волобуев О. Революция 1905—1907 гг. в публицистике русских буржуазных историков. — Исторические записки, 1978, т. 102.

Гапон Г. История моей жизни. Л., 1925.

Гвоздев С. Записки фабричного инспектора. М., 1911.

Гефтер М. Экономические предпосылки первой русской революции. — Доклады и сообщения Института истории АН СССР. Вып. 6. М., 1955.

Гиммер (Суханов) Д. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге. — Былое, 1906, № 9.

Г. Л. И. Бегство Гапона из России. — Исторический вестник, 1906, № 2.

Гольцов В. Воспоминания о Зубатове. — Русская мысль, 1906, № 11.

Гоц Р. С. В. Зубатов (Страничка из пережитого). — Былое, 1906, № 9.

Григорьевский М. (Луц М.) Полицейский социализм в России. (Зубатовщина). М. [Б. г.].

Гуревич Л. Народное движение в Петербурге 9 января 1905 года. — Былое, 1906, № 1; *Она же.* Девятое января. Харьков, 1926.

Дан Ф. Из истории рабочего движения и социал-демократии в России в 1900—1904 гг. Ростов-на-Дону, 1906.

Дело А. А. Лопухина в Особом присутствии правительствующего Сената (Стенографический отчет). СПб., 1911.

Демидова С. Из воспоминаний. — Голос минувшего, 1923, № 1.

Доклад чиновника особых поручений Вкласса при Департаменте полиции С. В. Зубатова директору Департамента полиции. — Былое, 1917, № 1.

Доклад А. А. Лопухина министру внутренних дел Дурново о событиях 9 января. — Красная летопись, 1922, № 1.

Докладная записка Гапона директору Департамента полиции 14 октября 1903 г. — Былое, 1925, № 1(29).

Документы из дела полиции «О собрании русских фабрично-заводских рабочих». — Красная летопись, 1922, № 1.

Дорошенко Н. Роль социал-демократической большевистской организации в январских событиях 1905 г. — Красная летопись, 1925, № 3(14).

Жилинский В. Организация и жизнь Охранного отделения. — Голос минувшего, 1917, № 9—10.

Записка директора Департамента полиции действительного статского советника Лопухина по делу о стачках и беспорядках, происшедших в июле 1903 года в г. Одессе, Киеве и Николаеве. — Красная летопись, 1922, № 4.

Зародов К. Три революции в России и наше время. М., 1977.

Зубатов С. Письмо в редакцию «Вестника Европы». — Вестник Европы, 1906, № 3; *Он же.* Зубатовщина. — Былое, 1917, № 4 (26).

Зубатовщина как особый вид анархизма. — Русское знамя, 1907, 2 сент.

И. Г. Гапон и его газета. — Исторический вестник, 1912, № 7.

Игнатъев В. Борьба против зубатовщины в Москве. М., 1939.

Из архива Л. Тихомирова. — Красный архив, 1924, т. 6.

История легализации рабочего движения (Справка Департамента полиции). — Былое, 1917, № 1.

Карелин А. Е. 9 января и Гапон. — Красная летопись, 1922, № 1.

Карелин А. П. Крах идеологии «полицейского социализма» в России. — Исторические записки, 1973, т. 92.

К биографии Гапона (Из женевского архива Бунда). — Минувшие годы, 1908, № 7.

Кранихфельд Вл. Кровавое воскресенье. — Мир Божий, 1906, № 1.

Кузьмин Б. С. В. Зубатов и его корреспонденты. М., 1928.

Лелевич Г. Доктор Шаевич в тюрьме. — Красная летопись, 1922, № 5.

Лозинский Е. Что же такое, наконец, интеллигенция? СПб., 1907.

Лось Ф. Всеобщая стачка 1903 года на Украине. — Вопросы истории, 1953, № 8.

Лядов М. (Мандельштам). История Российской социал-демократической рабочей партии. Часть 2. 1897—1903 гг. СПб., 1906.

Майнов И. (Саратовец). На закате народовольчества. — Былое, 1917, № 5—6.

Мартов Ю. Записки социал-демократа. М., 1924.

Меньшиков Л. Охрана и революция. Часть 1. М., 1925; часть 2. М., 1928.

Михайлов Я. Из жизни рабочего. Л., 1925.

Мицкевич С. Очерки истории московской организации. Зубатовщина. — На заре рабочего движения в Москве. М., 1919.

Морской А. (В. И. фон Штейн). Неудачный опыт (Зубатовщина). — Исторический вестник, 1912, т. 129; *Он же.* Зубатов-

щина (Страницы из истории рабочего вопроса в России). М., 1913.

Невский В. Январские дни в Петербурге в 1905 г. — Красная летопись, 1922, № 1; *Он же.* Январская забастовка 1905 г. в Москве. — Красный архив, 1922, № 2—3; *Он же.* Рабочее движение в январские дни 1905 года. М., 1930.

Новицкий В. Из воспоминаний жандарма. Л., 1929.

Озеров И. Политика по рабочему вопросу в России в последние годы (По неизданным документам). М., 1906.

Павлов И. Из воспоминаний. — Минувшие годы, 1908, № 3—4.

Панкратова А. Первая русская революция 1905—1907 гг. М., 1951.

Петров Н. (Рабочий Петров). Правда о Гапоне. СПб., 1906.

Пионтковский С. Зубатовщина и социал-демократия (Архивные материалы). — Каторга и ссылка, 1924, № 8.

Погожев А. Из воспоминаний о В. К. фон Плеве. — Вестник Европы, 1911, № 7.

Португалов В. Лжерабочая газета. — Без заглавия, 1906, № 6.

Путиловцы в 1905 году (Стенограмма воспоминаний на вечере 8 января 1930 г.). Л., 1931.

Работница в 1905 году в Санкт-Петербурге. Л., 1926.

Ратаев Л. Письма. — Былое, 1917, № 2.

Рутенберг П. Дело Гапона. — Былое, 1917, № 2.

Савинков Б. Из воспоминаний. — Былое, 1917, № 2—3.

Савинкова С. Одна из невзгод. (Несколько страниц о кн. Святополк-Мирском). — Голос минувшего, 1915, № 3.

Сверчков Д. На заре революции. Пг., 1922.

Святловский В. На заре российской социал-демократии (Воспоминания). — Былое, 1922, № 19; *Он же.* Профессиональное движение в России. СПб., 1907.

Семенов С. Кровавое воскресенье. Л., 1965; *Он же.* Петербургские рабочие накануне первой русской революции. М. — Л., 1966.

Семенов-Булкин Ф. Смесовщина. — Труд в России, 1925 № 1.

Симбирский Н. Правда о Гапоне и 9-м января. СПб., 1906.

Смолин И. 9 января 1905 года в Петербурге. Л., 1965.

Сомов С. Из истории социал-демократического движения в Петербурге в 1905 году (Личные воспоминания). — Былое, 1907, № 4(16).

Спиридович А. Записки жандарма. Харьков, 1926.

Сухотин С. 9 января 1906 года (Личные впечатления). — Всемирный вестник, 1905, № 2.

Сыркин Л. Махаевщина. — Красная летопись, 1929, № 6.

Терешкович К. Московская молодежь 80-х годов и Сергей Зубатов. — Минувшие годы, 1908, № 5—6.

Тимофеев Л. Чем живет заводской рабочий. СПб., 1906.

Троцкий Л. 1905. М., 1922.

Филиппов Г. Страничка минувшего. О Гапоне. — Библиотека для всех [Б. г.], № 4.

Шаховский М. Гапон и гапоновщина. Харьков, 1906.

Шилов А. К документальной истории «Петиции» 9 января 1905 г. — Красная летопись, 1925, № 2(13).

Шлосберг Д., Шульман Б. Всеобщая забастовка в Одессе в 1903 году и «независимцы». — Летопись революции, 1929, № 1.

Шустер У. Петербургские рабочие в 1905—1907 гг. Л., 1976.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О чем, зачем и почему	6
---------------------------------	---

ЗУБАТОВЩИНА

<i>Глава первая.</i> С. В. Зубатов: личность, судьба, идея	13
<i>Глава вторая.</i> «Политический мужик»	37
<i>Глава третья.</i> Зубатовская идея	60
<i>Глава четвертая.</i> Приключения идеи: зубатовщина в Москве	80
<i>Глава пятая.</i> Приключения идеи: зубатовщина в Западном крае	134
<i>Глава шестая.</i> Приключения идеи: зубатовщина в Одессе . .	166
<i>Глава седьмая.</i> Зубатовщина в Петербурге: конец карьеры .	187

ГАПОННАДА

<i>Глава первая.</i> Георгий Гапон: личность в истории	227
<i>Глава вторая.</i> Гапоновское собрание: механизм эволюции .	249
<i>Глава третья.</i> Осенняя весна: надежды, страхи, миражи . .	280
<i>Глава четвертая.</i> Взрыв	314
<i>Глава пятая.</i> Крах	384
Указатель основных имен	416
Литература	423

Литературно-художественное издание

КАВТОРИН Владимир Васильевич

**ПЕРВЫЙ ШАГ
К КАТАСТРОФЕ**

**Свободное размышление
строго по документам**

Заведующий редакцией

И. Ю. Куберский

Художественный редактор

И. В. Зарубина

Технический редактор

И. В. Буздалева

Корректор

Е. В. Новосельская

ИБ № 5486

Сдано в набор 16.04.91. Подписано к печати 24.10.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарн. литерат. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 24,44. Тираж 65 000 экз. Заказ № 768. Цена 1 р. 50 к.

Лениздат, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.

Кавторин В. В.

К12 Первый шаг к катастрофе: 9 января 1905 года. — Л.: Лениздат, 1992. — 428 с. (Историческая б-ка «Петербург — Петроград — Ленинград: Хроника трех столетий»).

ISBN 5-289-00725-3

Свое документальное исследование Владимир Кавторин посвятил предыстории событий 9 января 1905 года — одной из важнейших рубежных дат бурного двадцатого века. Расстреляв мирную демонстрацию, правительство царской России сделало решающий шаг навстречу собственному краху и катастрофе, постигшей всю Российскую империю. Столкновение каких же социальных сил, действие каких политических механизмов привело к кровопролитию на мирных Санкт-Петербургских улицах? Было ли оно неизбежно? Могли ли события пойти по-иному? Отвечая на эти вопросы, автор пытается посмотреть на события 1905 года с позиции нетрадиционных для нашей историографии общечеловеческих ценностей.

К $\frac{0503020300-154}{M171(03)-91}$ 25—91

63.3(0)53

В 1991 году
историческая редакция
ЛЕНИЗДАТА
выпустит в свет:

МИФ О ЗАСТОЕ

Составители *Е. Б. Никанорова,*
С. А. Прохватилова

Всего несколько лет отделяют нас от того времени, когда за попытку высказать правду о положении, в котором находилась страна, честных людей объявляли особо опасными преступниками, обрекали на годы заключения и ссылки, лишали гражданства. Сборник «Миф о застое» посвящен именно этим людям, активно не принимавшим царившего режима, противостоявшим прогнивающей командно-административной системе. Сахаров и Солженицын, Синявский и Даниэль, Войнович и Владимов, Роштропович и Вишневская, целый ряд других борцов за права человека предстанут перед читателями. По большому счету, основная тема книги — разговор о нравственном выборе и человеческой совести.

В сборник включены материалы, в разное время опубликованные в периодической печати. Это мемуары, документы, публицистика, воссоздающие яркую картину общественной жизни, не замиравшей и в мрачную эпоху застоя.

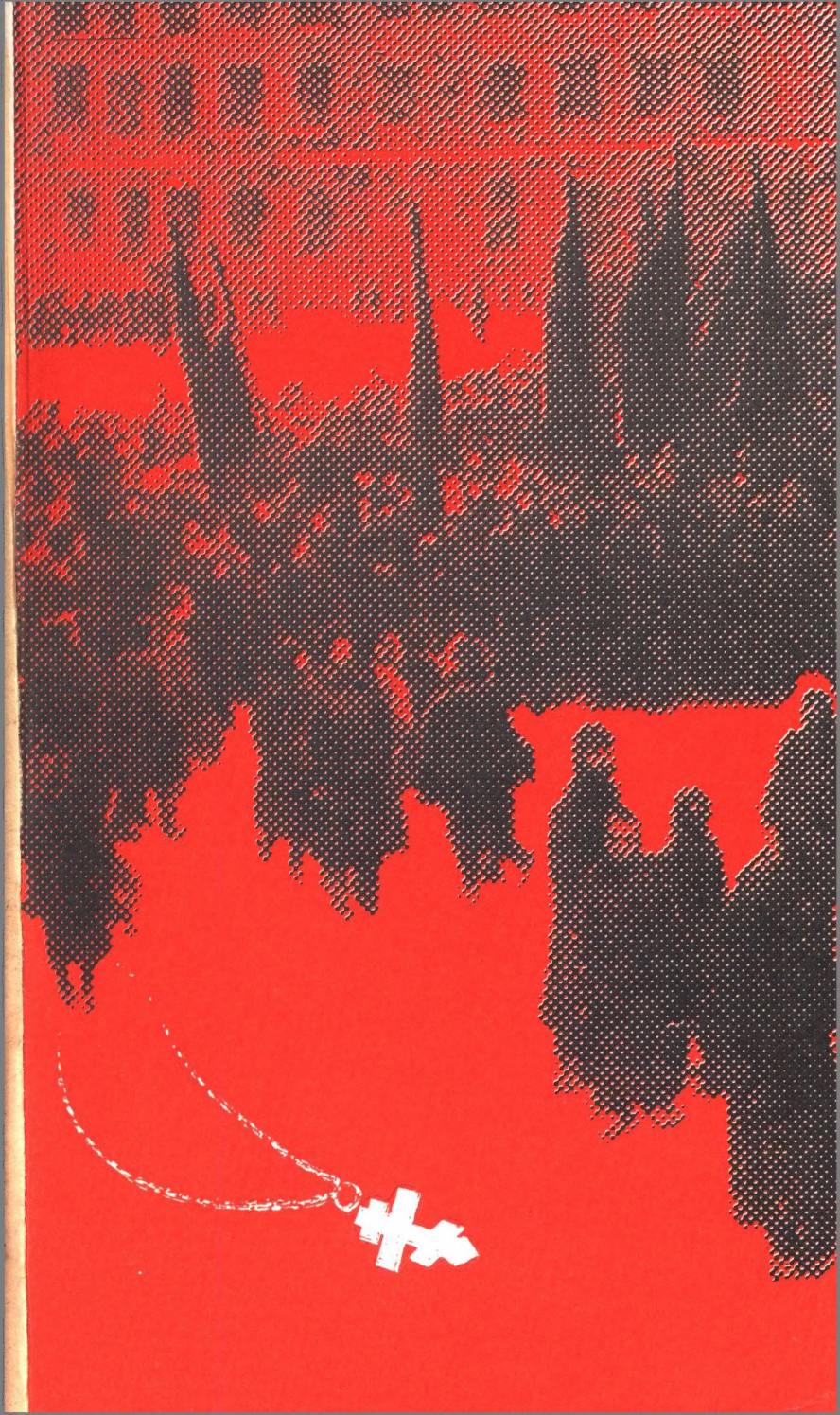
В 1991 году
историческая редакция
ЛЕНИЗДАТА
выпустит в свет:

И. М. Ефимов
МЕТАПОЛИТИКА
НАШ ВЫБОР И ИСТОРИЯ

Известный ленинградский прозаик Игорь Ефимов написал эту книгу еще в России, не надеясь на публикацию. Она вышла в США в 1978 году под псевдонимом Андрей Московит, а вскоре после этого вынужден был эмигрировать и ее автор.

Теперь, когда покончено с государственной монополией на идеологию, актуальность иных, немарксистских взглядов на ход истории человечества неизмеримо возрастает. Зависят ли исторические события от индивидуальных усилий отдельного человека, и если зависят, то как? Заслуживают ли народы своих правительств? Как развязываются войны? Отвечая на эти и другие вопросы, автор предлагает свою концепцию политической истории разных народов и стран. Как писал его друг, поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, проза Игоря Ефимова — «в русле великой традиции русской философской прозы».

В нашей стране книга выходит впервые.



ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ХРОНИКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

ПЕТЕРБУРГ · ПЕТРОГРАД · ЛЕНИНГРАД

ВЫШЛИ В СВЕТ:

Я. Гордин
МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ
14 декабря 1825 года

Н. Эйдельман
МГНОВЕНЬЕ СЛАВЫ НАСТАЕТ...
Год 1789-й

Евг. Анисимов
ВРЕМЯ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ
XVIII век, 1-я четверть

И. Троцкий
III-е ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ НИКОЛАЕ I
3 июля 1826 года

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

В. Лапин
СЕМЕНОВСКАЯ ИСТОРИЯ
Октябрь 1820 года

А. Каменский
«ПОД СЕНИЮ ЕКАТЕРИНЫ...»
XVIII век, 2-я половина

ВЛ. КАВТОРИН

ПЕРВЫЙ ШАГ К КАТАСТРОФЕ

ХРОНИКА
ТРЕХ СТОЛЕТИЙ